

Анатолий Ким

Отец-Лес

Роман-притча

I

Семнадцать часов потратил Степан Тураев, чтобы добраться до этого лесного угла, где он хотел умереть, привалясь спиной к стволу большой раздвоенной сосны, а его отец Николай Николаевич, отставной офицер, военный ветеринар, впервые пришёл туда в 1889 году осенью, облюбовал большую поляну среди берёз и сосен, там и начал с весны строить свою усадьбу. Степан пробирался заглохшими лесными дорогами, выйдя пешком из Гуся Железного, и чуть ли не ползком, согнувшись в три погибели, довлёкся к огромному дереву на краю поляны и упал на колени, плюясь на землю сгустками крови – той самой полудворянской крови, которую был обязан сожителю Николаю Николаевичу и его кухарки Анисьи. Прислонясь головою к широкому комлю дерева, Степан закрыл глаза и надолго впал в беспамятство, валяясь на том самом месте, где под гигантской сосною, вверху раздвоенной наподобие лиры, стоял когда-то Николай Тураев и размышлял о свободной и счастливой жизни, которую устроит в благодатной лесной глуши, удалясь от суеты мира наподобие американца Генри Торо.

Очнувшись от ночного холода, Степан Тураев с трудом приподнялся с земли и, не видя ни зги, сделал шаг-другой, сам не зная, куда ему направиться. Вдруг ясно и горько подумалось, что настал, очевидно, час его одинокой смерти вот в этой холодной лесной тьме, рядом с таящимися в ней буграми и ямами, которые остались на месте большого барского дома – усадьба была сожжена мужиками летом 1918 года. Собственно, с этого времени Степан Тураев и не видал родных пепелищ, вырос на чужбине, на войне, оказался в плену - и только теперь с больной надорванной грудью пришёл сюда – умирать.

Не с этим явился когда-то в лес его отец, Николай Николаевич Тураев, молодой розовощёкий философ, стремившийся постичь не книжные знания, в чём он разочаровался, а ту ступень натуральной свободы, в которой пребывали животные и растительные существа – все материальные предметы вселенной от малого муравья до гигантской звезды небес, – и которую мешало постичь суетливое человеческое общежитие с наложением своих жестоких обязательств, предрассудков и разных правил, как благородных, так и подлых. Подчинённость этим правилам лишала разум силы и самостоятельности, нужно было порвать с ними и для этого уйти в лес, там обрести себя в свободе, чего и достиг полстолетия спустя не сам Николай Николаевич, а его младший сын Степан в час одинокого умирания среди холода и тьмы ночного леса.

Это действительно была полная и неограниченная свобода – протянув перед собою руки, Степан Тураев стоял в плотной ослепительной мгле, не чуя под собой тверди, не ощущая собственной тяжести, словно выброшенный в межзвёздное пространство, где нет даже понятия опоры. И подступившая смерть – очень простое и сильное *чувство*, смерть впервые предстала перед Степаном не ужасным завершением тяжкой неволи жизни, а началом легчайшей свободы, и не отторжением от всего мира, а приобщением ко всему неисчислимому сонму свободных предметов. И он мысленно как бы встретился с нею взглядом и кивнул согласно, и она кивнула в ответ с пониманием того, что он постиг её

сущность и что она ничуть на то не обижена – его познанием её совсем незначительной роли, сильно преувеличенной разумом и чувствами человека. А когда свершилось это взаимосоглашение со смертью, она повернулась и усталой поступью ушла в сторону, сгинула в лесной тьме, и Степан Тураев ощутил, что он сильно озяб, что ему хочется есть, и вспомнил, где должен находиться его солдатский вещевой мешок, и там лежит хлеб, две банки американской свиной тушёнки да головка лука с бруском сала, завернутые вместе в газетную бумагу.

Он тогда не умер, но смерть узнал всю, и многочисленные боли и болезни его тела сжались в комочки и застыли в жилах, костях, в сердце, в мышцах усталой спины, а рассвет он встречал у костерка, весело лепетавшего свою недолгую огненную песенку, и грелась на краю огня вскрытая ножом консервная банка с тушёнкой. Привлечённая жирным духом заокеанской свинины, выглянула из-за мохнатой сосенки лиса с мокрой мордочкой, издали уставилась завистливыми глазами на человека, он свистнул – и лисицы как не бывало.

Николай Тураев высказал однажды в споре со старшим братом, Андреем Николаевичем: "Вы хотите, как пчелы или муравьи, жить только интересами улья или муравейника. У вас индивид должен быть полностью подавлен законами и порядками социального роя, поэтому ваши счастливицы никогда не постигнут категорий свободы. Их норма – это несвобода, наложенная на них эгоизмом роя или видовой семьи. Человек вашего социума никогда не будет знать счастья, как не знают, что это такое, те же пчёлы и муравьи. И даже высшая привилегия счастья – любовь – будет неизвестна вашему бедному индивиду, потому что пчела и муравей только трудятся, а не любят, вместо них это делает их царственная матка, которая обжирается этой любовью и непрерывно извергает из себя яйца. Любить могут, Андрюша, только свободные существа, а самым верным признаком внутренней свободы является способность человека любить безудержно, необузданно, так, как ему заблагорассудится, и безо всяких сдерживающих уз морального порядка". Результатом ли этих воззрений явились пятеро детей Николая Николаевича от Анисьи? (Она впервые на Колин Дом явилась в лаптях, подпоясанная верёвкой – искала отбившуюся от стада корову, заблудилась и выбрела к Колину Дому, как называли в народе новую лесную усадьбу младшего из братьев Тураевых.) Плоды естественной и свободной любви философа, которые, однако, полностью отняли у него всяческую свободу, потому что плоды росли здоровыми, хотели есть-пить, быть в образе людей, а всё это, разумеется, неукоснительно требовало родительской заботы... И последыш Степан, зачатый в отцовском слепом устремлении к свободе, пришёл теперь на изрытую печальную поляну в лесу, где когда-то стояла барская усадьба отца, витала в мечтах его сумрачная душа стихийного агностика и где теперь мечталось обрести смерть тридцатилетнему Степану Тураеву.

Николай при разделе отцовского имения убеждённо взял себе только лес, отказавшись в пользу брата Андрея от всех пахотных земель, а их сестра Лида поступила точно так же, как братец Николаша, потому что с детства привыкла во всём подражать ему. И ей братья выделили красивые берёзовые рощи с полянами, с хорошей травой, с изрядным куском тихой лесной речки Нармы. Тураевой Лиде было всё равно, что выделили братья в её долю, она даже не понимала, что Николай и тут сделал уступку, отдав сестре богатые естественной травой луга и пастбища, а себе выбрав угрюмую чащобу в отдалённом углу леса. Он искал отшельничества и счастья, независимости и уединения для размышлений, а неожиданно обрёл Анисью и белобрых детей, дочь и четырёх сыновей, младший из которых, Степан Николаевич, единственный вернулся на Колин Дом.

После еды Степан сделал обход лесной поляны, на которой двадцать семь лет назад стоял рубленый барский дом, большой, нелепый и неуютный, видом своим напоминающий какой-нибудь казённый склад. Стены дома были сложены из могучих сосновых брёвен без изъяна, крыша набрана мелкой чешуйчатой щепой, дворовые постройки и амбар такого же могучего крепостного вида, – и это было по душе Николаю Николаевичу, такими он представлял себе первые форты в американских лесистых просторах во времена фенимор-куперовских войн с индейцами. Бревенчатый форт, неприступная для дикарей

крепость, как не без тщеславной гордости называл своё обиталище Николай Тураев, – и эту крепость дикари всё же спалили с помощью серной спички, плеснув на стены керосину из ржавого ведра. От этой могучей крепости ничего не осталось, только продолговатые моховые бугры на месте остатков стен и таинственные ямы подвальных недр, нынче заросшие мхом и вереском, берёзовым молодняком и зверобоем с жёлтыми цветами.

От всех построек сохранилась лишь полуразрушенная мастерская Николая Николаевича, где стоял неуклюжий токарный станок с ножным приводом, с чугунными колесом и станиной. На этом станке любил он побаловаться, вытачивая балясины для перил мезонина или грубые шахматные фигурки, при этом отдаваясь странным и бесплодным мечтаниям, таким же неосуществимым, как и мезонин, никогда так и не выстроенный, как и замечательные праздничные вечера в доме, с нарядными дамами, сидящими в креслах у камина, и господами, играющими в шахматы при свете ярких канделябров. Интеллигентные славные вечера с умными беседами единомышленников и друзей, которых никогда не было в доме Николая Тураева – ни праздничных вечеров, ни друзей-единомышленников, а была лишь одна Анисья, где-то во дворе визгливо ругавшая вырвавшуюся из стайки свинью, затем бранившая кого-нибудь из детей... Но вся эта грубая брань действительности ничуть не мешала облачному полёту неосуществимых грёз барина, армейского экс-ветеринара, когда он усердно поддавал ногою, вращая тяжёлый маховик токарного станка. И уносили грёзы-облака в далёкое прошлое Николая Николаевича – например, в незнакомую квартиру в Москве, на Разгуляе, куда он пришёл, чтобы найти брата Андрея и сестру Лиду, которым надо было сообщить известие о болезни отца и срочном вызове всех троих детей на родину, в мешерскую усадьбу.

Резец снимал ровную стружку с деревянной болванки, зажатой в токарном станке, дверь квартиры открыл высокий, кудрявый молодой человек с большим медным чайником в руке, прозаически прихваченным не очень чистой тряпкою за горячую дужку, в чайнике плескался кипяток, только что снятый с горячей плиты. И постаревший Николай Николаевич вздыхал, вытачивая балясину перил, почему-то из всего этого памятного и такого дорогого для него дня запомнив лучше всего этот медный чайник и тряпку в руках человека, открывшего дверь. Кудрявый малый, Гостев Сергей Никанорович, спросил у него, дружелюбно приподняв брови и глядя в глаза Николаю взглядом веселого глубочайшего дурачка: "Кого надо вам, господин хороший?" И услышав, что надо Лиду, стал декламировать тут же сочинённые стихи. "Лиду, Лиду, эфемериду, пришёл увидеть её брат, который встрече будет рад", – рассмеялся нарочито дурашливо, но безусловно мило и ушёл с чайником в другую комнату, оставив за собою неприкрытую дверь. И, стоя в передней, Николай услышал целый хор весёлых молодых голосов, и среди них различил Лидин, глубокий контральтовый, щедрый, любящий всё на белом свете, и голос брата Андрея, педантично-самолюбивый, но тоже ещё молодой и чистый и очень родной.

Николай Николаевич дрыгал ногою на станке и улыбался, как и тогда, ожидая в передней незнакомой квартиры, держа фуражку в руке, стружка из-под резца пошла ломкая – видимо, попало сучковатое место в дереве. Сердце молодого офицера в белом мундире охватило невероятно могучее предощущение близкого счастья, и оно не замедлило явиться перед ним в ту же минуту, ибо он был тотчас приглашён в комнату – и тем же Сергей Никанорычем Гостевым, который показался в дверях с церемонным и, как всегда, несколько дурашливо исполненным, глубоким поклоном: "Пожалте, сударь миленький! Вас просят войти". Счастье Николая Тураева было затянато в строгую белую блузку, безупречно выутюженную, но, несмотря на строгость этой блузки, грудь и великолепный стан девицы Веры Ходаревой читались во весь голос торжествующей молодости, которая заявляла о себе сквозь подчеркнутую серьёзность, даже суровость, её насупленного румяного лица и холод серых глаз. Она как бы нехотя подняла их на Николая, когда рядом сидевшая с нею Лида представила подруге своего брата-офицера. И теперь, работая в полумгле дубового сарая, который он называл мастерскою, Николай Николаевич кротко улыбался, находясь в полном одиночестве, и улыбка его означала понимание: счастье заключается не в том, что я обладал

или не обладал любимой женщиной, а в том, что такая на свете существовала и я её встретил, пока жил. И разговаривал с нею, и смотрел в её серые глаза, когда она спрашивала:

– Так вы, говорят, ветеринар?

– Имею честь... – ответил он скованно и весьма нелепо.

– Да какая тут честь, Коляня, фу-ты, ей-богу, – рассмеялась и весело оглядела его Лида, любуясь им и гордясь тем, какой он бравый и хорошенький в своём мундире. – Он у нас с детства лошадей любил, лазал к ним под брюхо без всякого страха.

– А я считаю, что в этом и есть подлинная честь, – прервала подругу девица Ходарева. – Человек избрал полезное поприще и может на деле приносить пользу обществу, а не на словах, как некоторые. Вы меня понимаете, Николай Николаевич? – с серьёзным видом обратилась она к офицеру-ветеринару.

И он с остервенением мотал ногой, нажимая на педаль токарного станка, вновь ощущая, как горячая вихревая мгла накрывает его с головою, и нельзя вздохнуть, потому что дыхания нет и вместо него рвется из груди мучительный крик: Я одиночество! – как можно принять счастье любви, радость самопознания, всякий жизненный труд – если всё обращается в пустоту вместе со временем?! Он вступил тогда в спор с девицей Ходаревой, неосознанно, но ясно ощущая всем своим существом, что ореол радостной любви, окружающий тёплое, торжествующее, пышущее здоровьем существо Веры Ходаревой, есть призрачность, подобная огням святого Эльма на мачтах погибших кораблей. Он страдал сильно, оставаясь совершенно непонятым другими и в то же время не совсем понимая и самого себя, когда неожиданно вступил в пререкания.

– Никакой пользы обществу никто не может принести и, главное, никто и не должен приносить, – начал он; и когда все бывшие в комнате и безо всяких сомнений считавшие, что цель жизни каждого из них заключается в бескорыстном и полезном служении народу, – когда все в комнате недоумённо умолкли, Николай чуть смущённо и оттого угрюмо завершил: – Это всего лишь фикция предвзятого мышления.

– То есть что вы этим хотите сказать, г-н офицер? – совсем уж мрачно и сухо спросила у него Вера Ходарева.

– А то, – полез в глубокую бутылку Николай, – что общество есть собрание таких, как мы, отдельных индивидов, и если каждый из нас принесёт своим трудом пользу себе, то тем самым он принесёт пользу и обществу. Это естественный ход, господа, соответствующий природной закономерности. А то, о чём вы говорите, барышня, это и есть фикция, игра праздного ума и отвлечённое представление.

– Выходит, что вы отрицаете саму идею общественного служения? – растерянно и почти испуганно спросила девица Ходарева, и румянец на её добром лице вспыхнул до пунцового свечения. – Господа, да что это он говорит? – обвела она серыми глазами общество молодых людей, московских студентов и курсисток конца XIX века. – Как же ему не стыдно?

– Идею вашу не отрицаю, но взгляд на неё имею свой собственный, – потупившись, молвил Николай Тураев.

– А образование? А знания, необходимые для народа? А борьба с невежеством и темнотой? – не могла успокоиться Вера Ходарева. – Неужели вы можете сомневаться в том, Николай Николаевич, что наши знания, наш общественно полезный труд нужны народу?

– Народу было бы полезно, чтобы мы не трогали его, – пробурчал Николай, чувствуя, что тоже краснеет, как и девица. – Народ сам знает, что ему делать для своего блага. Нам бы только не мешать ему да не грабить его.

– А наш долг перед народом? – подхватила праведное рвение своей подруги Лида, сокурсница Веры Ходаревой по счётно-статистическим курсам, которые они вместе посещали уже целый год. – Долг образованных людей, Николаша?

– Народу за все века мы так задолжали, Лидушка, что долг этот игрушками вашими не заплатить, – мягко взглянув на сестру, ответил ей брат.

– Чем же заплатить предлагаете, сударь вы мой прекрасный? – подал голос свой кудрявый Гостев, разливавший чай по чашкам: он, видимо, добровольно взял на себя роль

прислуги или же был хлопотливым хозяином дома и стола. – Чем должок вековой платить?

– Пусть каждый идёт на пустые земли в Сибирь, в Кайсацкие степи и заводит там ферму, как сделали это американцы у себя, – уже нехотя отвечал Николай, сильно сожалеющий, что затеял спор. – Или предприятие доходное заводит, чтобы самому кормиться и другим дать заработок.

– Он у нас американских убеждений, – снисходительно усмехаясь, вступил в беседу Андрей Тураев, брат, тогда ещё худощавый, с круглыми очками на большом носу. – Стихийный индивидуалист, господа, но малый добрый, смею вас уверить.

– Видим, добрый малый, да что-то очень шалый, – с ходу зарифмовал Сергей Никанорович, и рассыпался нарочито дурашливым смешком, и, забавно округлив глаза, налил в синюю чашку чаю из белой заварочницы.

– И где вы такого держали, кто воспитывал его? – тоже со смехом, но вполне дружелюбно молвила третья бывшая в комнате барышня, тоже курсистка, с круглыми загорелыми щеками.

– Иметь такие взгляды в наше время! – воскликнула кипевшая от негодования Вера Ходарева, принимая от Гостева чашку. – Благодарю, Серёжа.

– Какие же это *такие*? – подчеркнул на последнем слове Николай, криво усмехаясь.

– Вы хотя бы перчатки сняли, – неприязненно заметила ему Вера Ходарсва, движением гладкого крупного подбородка указывая на его руки, затянутые в белые перчатки. – А то в них вы похожи на околоточного при исполнении служебных обязанностей.

– Вера! Вера! – смеясь, клокоча звучным хохотом, обратилась к подруге Лида. – Что ты нашего Коляню с околоточным-то сравниваешь? Он же и обидеться может, он у нас обидчивый.

– И пускай обижается! Я и хочу его обидеть, – воинственно продолжала Вера Ходарева. – А взгляды у вас такие, г-н офицер, что они сильно отличаются от взглядов передовых людей нашего времени. Какие вы там у себя в казарме хоть книги читывали?

– Ну это вы зря, Верочка, – вступился и Андрей за младшего брата, – Он книгою изрядный, всех нас, пожалуй, за пояс заткнёт. Книги и увели его от действительности. Мы с ним всегда спорим, он ведь идеалист чистой воды, не глядите, что в офицерской форме и к тому же полковой ветеринар. Он ведь, господа, самостоятельно китайский изучил, с Толстым переписку имел.

– Андрюша! – перебил его младший брат. – Лидочка, – полуобернулся он к сестре, стоявшей за спиною Веры Ходаревой, которая отпивала глоток чаю из глубоко-синей чашки с золотым ободком. – У нас есть разговор, выйдемте со мною на минуту... А всех присутствующих я прошу извинить за чужеродное вторжение. Я действительно читал не те книги, которые, наверное, нужно было прочесть в наш просвещённый век. И у себя в казарме по размышлению я пришёл не к том выводам, к каким пришли вы... А посему ещё раз прошу прощения у всех, особливо у вас, – чопорно поклонился Николай Вере Ходаревой, которая и бровью не повела на это, – Прощайте, господа!

– Разве вы не остаётесь? – вскинулась смуглощёкая курсистка. – Чаю бы хотя попили! Потом Лидочка нам споёт под гитару, и все вместе хором споём. Оставайтесь, Николай Николаич, право!

– Благодарю за честь, но петь я не умею, – отказался Николай.

– Тем паче в хоре, – подкинула ему шпильку Вера Ходарева.

– Да-с, тем паче в хоре, – мрачно подтвердил он и, приняв стойку, держа у груди фуражку, ещё раз прощально поклонился Вере, которая опять никак на это не ответила.

И он быстро покинул комнату, вышел в прихожую и там стал ждать брата с сестрою, чтобы сообщить им о срочном призыве отца к своему смертному одру.

Таковых призывов последовало в течение нескольких последующих лет ещё два раза, ибо отца смерть каждый раз не брала, хотя он бывал совершенно уверен, что она вот, стоит у изголовья, и умер-то он внезапно во сне, и вовсе не от той болезни, которую считал роковой для себя. Так что не успел дать детям последнего, воистину последнего наставления и

благословения, но дети получили уже по три благословения, а наставление его запомнили хорошо, завет пламенного народовольца, который из любви к народу не мог как следует его эксплуатировать и почти довёл до полного краха родовое имение. Но зато он воспитал детей в духе свободолюбия и народолюбия тож, а наставлением его потомкам было: служить благу народному – хотя сам он этому благу мало чем послужил из-за многочисленных детей (от которых уцелело лишь трое), по слабости здоровья и, главное, из-за своей невероятной бестолковости в практических делах, требующих внимательности и проявления силы воли.

Дух отца, таким образом, решительно повлиял на судьбы его трёх детей, об этом и думал Николай Николаевич в своей лесной фортеции, вращая ногою как проклятый колесо токарного станка и с запоздалым раскаянием ругая себя за тот нелепый спор, в который он вступил там, на Разгуляе, с прекрасной девушкой, тёмно-каштановой красавицей с серыми глазами, с Верочкой Ходаревой, Верой Кузьминичной, ставшей его счастьем просто потому, что он её видел однажды, одетую в накрахмаленную белую блузку и чёрную длинную юбку, а потом и вовсе потерял девушку из виду, потому что отец умирал и надо было к нему спешно ехать. Старик целый месяц пребывал в предсмертном торжественном состоянии и однажды вдруг взял да и выздоровел – а Верочка Ходарева всё это время где-то жила, и Лида, уехавшая из отчего дома в Москву неделю раньше остальных, уже где-то встречалась с нею и могла хоть каждый день видеть её, а Николай этого не мог, увы, не мог, как и не мог решиться хоть словечко спросить о ней у сестры, которая по простодушию своему полагала, что после первой недружественной встречи и взаимных пререканий они отныне навсегда враги.

Не судьба была Николаю Тураеву увидеть ещё раз девицу Веру Ходареву в многие последующие годы после их встречи, а судьба была ей через год выйти замуж за наследного касимовского купчика Козулина, который учился в Москве в университете на юридическом вместе с Андреем и который вначале считался как бы женихом Лиды, а потом внезапно перелюбил и сделал предложение её лучшей подруге, тем самым навсегда рассорив их и попутно нанося скрытую чудовищную рану брату бывшей невесты, и раненая душа Николая Тураева совсем легко приняла то решение, что предопределило всю его дальнейшую судьбу: он вышел в отставку и начал строить дом в лесу.

И вот дом выстроен, его в восемнадцатом году сожгут мужики, а опростившийся барин знай крутит себе, накручивает токарный станок, при этом вспоминая единственную встречу с курсисткой Верой Ходаревой, и ему уже не верится, что это он полюбил её роковой бесплодной любовью, а время – это пустота, – и вот сын Николая Тураева, Степан, приполз на родное пепелище умирать. Он с невнятным чувством жалости ко всем жившим и уже исчезнувшим смотрит на ржавые останки чугунного токарного станка, на котором его отец вытачивал шахматные фигурки и балясины для так и не осуществлённого мезонина, – и, постояв над неподвижным маховым колесом и чугунной переломленной станиной как над останками умерших, погибших, взорванных мощной миной замедленного действия – беспощадно искореженных и размётанных взрывом прошедшего времени, Степан Тураев ещё раз оглядел широкую поляну, заросшую молодыми соснами и берёзами, вкусил миг жгучей скорби по навеки утраченному прошлому и отправился в деревню, чтобы найти там родственников или тех, кто ещё помнили его. Надо было раздобыть топор, пилу и вновь вернуться сюда, чтобы отремонтировать дубовый сарай и остаться в нём жить до скончания своих дней или до следующей весны – что было в его сознании одно и то же.

За лето и осень он устроился основательно, поступил в лесничество работать лесником, и ему выделили лошадь, дали форму, получил на службе старенькое ружьё и к зиме добыл двух кабанов и лося, обеспечил себя мясом, часть поменял в деревне на картошку и хлеб, разжился полушубком, валенками – и к зимовке был готов. Его болезни и раны, а вместе с ними и смерть, с которою он пришёл в лес, пока о себе не напоминали, и дух Степана Тураева, живший в это лето и осень как бы отдельно от тела, приобрёл необычное доселе свойство: бодрствовать и не растворяться во сне, а постоянно пребывать в каком-то особенном состоянии растительного самоощущения, в чём не было усталости и отдыха,

сновидений и яви, движения и покоя.

Иногда грудь его содрогалась, как бывало раньше, и он кашлял, выхаркивая на зелёную траву алый сгусток крови, но было это свидетельство внутреннего разрушения тела настолько далёким и безразличным его духу, словно это происходило с кем-то другим, с существом прошлых веков. Степаново сознание не ведало, что всё в его существе, являющееся жизненностью, взято под защиту силы и власти Отца-леса, что то временное и человеческое, почти до смерти замученное войной, пленом, концлагерями, гноем и сукровицей ран, беспощадностью людей, согнанных в огромных количествах, чтобы убивать друг друга, – то малое и обессиленное, что было его вариантом человеческой жизни, теперь захвачено и растворено иной стихией, которая не ведаёт ни пощады, ни беспощадности и вечно пребывает в самой себе, отринув время, историю, смерть одинокого человека и всякие болезненные раны существ, чувствующих себя особями отдельными и одинокими перед лицом неминуемой гибели своей.

Степанова душа могла скорбеть, его сознание могло изрыгать проклятия или возвышенно оправдывать злодеяние в человеческой истории – но это было почти ничто, малая толика мельчайшего, всего лишь инородная пылинка во влажном ночном вздохе Отца-леса. Всё, что переживали люди как своё долгое бытие, всё это никакого значения не имело внутри вечного тихого ропота Леса, и не на одинокие метания человека по поляне смотрели недремлющие лесные зраки, а на движение и передвижение всех, кто когда-либо появлялся на этой поляне.

Вот лось, а вот лиса, вот заблудившийся татарин из Касимова на лохматой лошади, воин в островерхой бараньей шапке, с луком и колчаном у бедра, а вот снова лиса, и кабаны стадом в десять голов – громадные бурые свиньи и совсем маленькие полосатые поросята. А там и духовой мастер леса прошёл, чумазый углежог и смолокур с топором на плече или приبلудный грибник в парусиновом картузе, конторщик из завода Баташовых, промелькнувший через поляну, едва влача ноги и таща в руке пустую корзину – он чуть не погиб, этот конторщик, день и ночь проплутав по мещерским болотистым мшарам. И снова стадо кабанов, их на этот раз штук тридцать – лупят галопом через снег поляны, подгоняемые недалёким рёвом голодного медведя-шатуна, и сам медведь, с неопрятной шерстью, измазанной в собственном кале, тоскливым ходом, шевеля выпирающими лопатками, проследовал краем поляны. И снова лиса – зырк по сторонам, прыг за ёлку, осыпанную свежим снегом, – и вновь лето, многотравье буйное, разноцветное и яркое, тишина и дух покоя, как в раю, а потом светлый сентябрь, золотая осень. На край поляны выходит Николай Тураев в крестьянском зипуне, опоясанный патронташем, через плечо ружьё, ягдташ набит рябчиками – остановился под сосною, ствол которой раздвоился в вышине изогнутыми, как рога лиры, мощными отростками, прислонил ружьё к сосне и осмотрелся: падало в мозг его первое зерно мысли о том, чтобы когда-нибудь здесь, на чудесной поляне в вековом лесу, выстроить себе дом для уединённой счастливой жизни философа.

Лес всё это видел совокупно как одну картину – вернее, как непрерывный кинофильм, в котором все действия происходят на одной и той же лесной поляне, но в отличие от тех кинокартин, которые смотрят люди, видение для Леса продолжалось не час и не два, а безначально и бесконечно, ибо Лес не ведаёт течения времени. Тураев Николай стоит, заложив руки за спину, и смотрит, как мужики из Княжей копают колодец: двое оборванцев склоняются над ямой, вытягивая бадью с землёю, затем подаёт в этой же бадье заготовленные колоды для сруба; шахта вырыта уже довольно глубокая, а воды всё нет, и это беспокоит барина – вдруг её не будет совсем; но вода всё же появляется, и она блестит далеко внизу, помаргивая там, в сырой глубине земли – комья земли сыплутся вниз из-под ног Тураева Степана, сына Николая, он нагнулся над краем давно заброшенного колодца в тот день, когда приполз с войны на лесную поляну своего детства, еле живой дотащился до той мерцавшей в его гибельной памяти опушки леса, где он впервые в жизни нашёл огромный белый гриб, совсем недалеко от колодца, что предстал теперь его взору без

верхней надземной клетки сруба – просто квадратная яма вровень с землёй, заглянув куда он угадал в глубине блеск недосыгаемой воды.

Той самой колодезной воды, глоток которой вмиг приободрил полумёртвую от усталости и жажды Анисью, мать Степанову, когда она впервые пришла к Колину Дому, – внезапно наткнулась на него прямо в лесу где она проплутала с вечера и всю ночь и весь наступивший затем жаркий комариный день в поисках запропавшей коровы. Перепоясанная верёвкой рыжеголовая с потным лицом, молодая баба первым делом протрусилась, мелькая стоптанными лаптями, к колодцу, кинула прикольцованную к цепи бадью в дохнувший холодом зев сруба, и когда ворот замолотил с устрашающей быстротой, со свистом махая в воздухе железной изогнутой рукоятью, Анисья умело притормозила грубой ладонью бревенчатый вал ворота, с которого разматывалась цепь, и бадья шлёпнулась на воду без лишнего шума, сразу перевернулась и потонула – из глубины вытянула его, легко налегая всем плечом на изогнутую рукоять, вытянула мокрую бадью на край колодца и клоня её, проливая при этом воду на свою большую как каравай, грудь, припала испёкшимся ртом ко сверкающей струе, закрыв глаза от блаженства.

Этой вечерней минуте Степан Тураев и был обязан тем, что позднее явился на свет человеком, что Анисья стала ему матерью, а Николай Николаевич отцом, – ибо в ту минуту нестарый холостой барин вышел на крыльцо, шлёпая по доскам босыми ногами, хотел кликнуть конюха Ивана, чтобы закладывал гнедого в легковые дрожки – ехать в имение к брату Андрею, и увидел возле колодца рыжеволосую молодую бабу: как пьёт она, пригнувшись к бадье, и вода льётся через край, низвергается ей на грудь, огибает извилистой струёй эти выпирающие из сарафана холмы и далее падает на землю сверкающими крупными брызгами. "Эй, откуда ты такая, голубушка?" – приветливо окликнул Анисью молодой барин. "Княжовска... – поспешно оторвавшись от бадьи, выпрямилась, смахнула ладонью капли воды с подбородка. – Коровку ищу, барин, коровка вчор пропала, дак не нашла. Сама заблудилась, ночь ночевала в ясу". – "Ну и как вода? Нравится?" – улыбаясь и не зная, что другое сказать, спрашивал Николай Николаевич. "Вода скусная, – отвечала Анисья звонким голосом, на лёгкий крик, каким разговаривали все княжовские бабы. – Аж зубья ломит". – "Чья будешь?" – "А Евпаловых. Гурьяна Ротастого сноха. Евпалов Прошка мужик мой". – "Что-то не знаю такого". – "А он у меня в Порт-Артуре служит солдатиком". – "Дети есть?" – "Доцка одна". – "Пойдёшь ко мне кухаркой или огородницей?" – спросил Николай Николаевич, и сердце его вдруг настороженно замерло. "В кухарки бы пошла, – быстро оглянувшись вокруг и с такою же настороженностью, как и чувство сердца его, ответила барину Анисья. – С Гурьяном договаривайся".

Так у свежего, ещё белого колодца происходило то, что являлось новым ходом, очередной комбинацией среди неисчислимых замыслов Леса, который творил новую жизнь нехитрым способом, сводя воедино два начала: как бы брал в одну руку женщину, во вторую мужчину и тесно сближал их друг с другом, пока они не соединятся естественным образом в одно целое и не затеплится в недрах этого целого капля новой жизни. Когда рыжая Анисья в дебрях сосняка у речки Байдур искала корову, то уже забрезжила у Леса мысль-надежда, идея, что может появиться на свет младенец мужского пола, которого поп Грачинский, отец Венедикт, окрестит Стефаном в честь излюбленного своего святого апостола-мученика; а когда изжаждавшая баба пила из бадьи у колодца, щедро лия воду себе на грудь, мысль Леса окрепла и надежда его стала почти наполовину исполнимой. Окончательному торжеству замысла поспособствовали две войны, случившиеся у России: с Японией, во время которой под далёким Порт-Артуром был убит муж рыжей Анисьи, а она окончательно переселилась в Колин Дом, и первая мировая, на которую Николая Николаевича могли ещё призвать как отставного офицера и военного ветеринара, но тут отец Венедикт быстренько повенчал Николая Тураева с Анисьей и пожилой дворянин сразу же оказался семейным и многодетным, к тому же Анисья была уже с брюхом, и она не пошла к бабке Овдотье и не ковырнула, а решила для верности рожать ещё одного ребячёнка – так появился Степан, давно замышленный Лесом.

И, понимая наконец свою нерасторжимую связь с Лесом, вернувшийся живым со второй мировой войны Степан Николаевич Тураев расплакался от сложного чувства счастья, почали и бессилия, которое охватило его при виде разрушенного, обросшего колючей ежевикой колодца. Он в то же лето решил вновь отстроить колодец, взялся за топор и пилу, нарезал и натесал новых плах для колодца, благо менять в глубине его оказалось не нужным, ибо старый сруб был до самого дна сложен негниющими дубовыми колодами, -пришлось только четыре ряда спустить под землю, а над землёю поднять срубик в три венца. Но ворот сделать было невозможно: не достать железа на оковы, на рукоять, на ось, не достать и цепи. Степан выстроил и отладил славную систему – журавль с длинной тонкой жердью вместо цепи, с противовесом из дубового пня.

И вновь колодец стал давать чистую воду, которая с первой же пробы так понравилась Анисье, и уже после, привыкнув за долгие годы к ней, не могла она пить иной воды, а когда пришлось покинуть насиженное место, бросить всё и спасти жизнь на чужбине, Анисья на городском житье из всех чувств, связанных с утратами прошлого, сильнее всего ощущала тоску по воде из своего колодца. Оттого и Степану Тураеву, тысячу с лишним дней проведшему на войне и в лагерях, в плену, не было дня из этой тысячи, когда б не померещилась хоть на миг сладкая прохлада родной колодезной воды.

Новой журавлиной жизнью колодца предполагалось быть временной, недолгой, но потекла вода из неё – и протекла на двадцать с лишним лет, он и забыл вначале, в первые годы на кордоне, что вернулся, собственно, умирать в родные места, а не жить дальше, и вспомнил об этом лишь двадцать лет спустя, когда его старшая дочь Ксения, приехав на каникулы из Рязани, где училась в педучилище, однажды ночью кинулась в колодец, и он проснулся от страшного гвалта двух своих лаек и фокстерьера Пипа, которые кружились в темноте вокруг колодца, дико сверкая глазами, вздыбив на загривках шерсть, и он луч электрического фонаря направил вниз, в черноту колодца, там что-то ворохнулось мокрое, облепленное блестящей тиной, и вдруг на поток света попали глаза Ксении – они сверкнули в темноте, как и у собак, и это звериное полыхание дочерних глаз почему-то больше всего поразило отца. Степан вмиг ослабел, фонарь запрыгал у него в руке, он крикнул, всхлипывая, в чёрный зев колодца: "Миленькая, потерпи! Я тебе щас ведро подам!" – и кинулся, воздев руки в темноте, ловить висевшее над колодцем ведро. В тот раз и переломилось длинное жердевое плечо журавля – когда вверху затрещало, Степан вмиг догадался, в чём дело, потому что во всё время бешеной, напряжённой суеты подсознательно боялся именно того, что старая жердь переломится, а когда это случилось, не стал даже кричать жене, которая тоже выскочила в ночной рубахе из дома и с воем повисла на противовесе журавля, – Степан лишь крепче вцепился в шест и осторожно, пошире расставив ноги, стал на весу выбирать тяжкий груз из колодца... Потом жена увела мычавшую в темноте, ляскавшую зубами дочь в избу, а Степан остался у журавля, сел на сруб и надолго поник головою.

И хотя вокруг была темень непроглядная – но тотчас в его глазах вспыхнуло яркое видение совсем иного света, не принадлежащее никакому времени из всей его прожитой жизни: он усидел пёстрый, мелькающий бал-маскарад, нагие плечи танцующих женщин, которых бережно вели обнявшие их мужчины в масках, и даже грянула музыка. Но тотчас же всё исчезло, и музыка оборвалась на полутакте, в руку ткнулось что-то холодное, влажное поначалу, затем тёплое и лохматое – подошёл с ласкою и успокоением к хозяину фокстерьер Пип – и его хозяин не придал никакого значения внезапному видению, слишком потрясённый только что случившимся несчастьем, непонятным и чёрным. Он ещё ниже поник головою, погладил Пипа и шёпотом стал сокрушаться и упрекать себя, почему до сих пор не собрался устроить добротный колодец на кордоне или хотя бы не сменил старую высохшую жердь журавлиной плечины. Тогда и вспомнил Степан, при каких обстоятельствах он наспех перестроил колодец двадцать лет назад, когда жить ему тоже не хотелось – и всё же нашлись у него силы починить дубовый сарай и колодезь, и вот, гляди-ка, прожито больше двадцати лет, дом новый выстроен на кордоне, жену привёл из Кочемар, народили с нею троих детей, Ксенюшка старшая...

Кроме неё были сыновья Антон и младший Глеб, который единственным из детей оказался любимцем Леса. Антон же, его старший брат, к Лесу с детства имел враждебное, непримиримое отношение, никогда не отходил от избы, а если и удалялся, то только по дороге, – и когда он чуть оперился, то улетел из отчего дома в Ленинград, поступил в мореходку и стал моряком, с тех пор никогда больше не появлялся на лесном кордоне... Редко навещала дом и Ксения, теперь одинокая учительница в совхозе под Боровском, её-то больше всех жалел отец, в особенности после той непонятной попытки утопиться в колодце, и она любила отца и, когда умерла мать, хотела забрать Степана Николаевича к себе, в казённую однокомнатную квартиру с видом на реку Протву, но лесник наотрез отказался и от тёплой квартиры, и от дочериних забот, и от мирной пенсионерской рыбалки на Протве.

Никому нельзя было объяснить, даже любимой дочери, почему он не может покинуть лесной кордон, где странные видения овладевали им и где прошла половина его жизни, которая казалась ему такою же странной, как и те видения – словно бы не он прожил множество земных лет, а кто-то другой. И как будто бы не его была жизненная сила, что заставляла все эти годы ломить работу, строить дом, выходить по чернотропу и первой пороше на охоту, горячо и азартно биться сердце, когда в скрытой теснине леса его лайки поднимали зверя, гулко, набатно оглашая лес чудесным лаем. И однажды не он это стоял, удобно прислонясь плечом к стволу ели, держа наизготовку ружьё, вслушиваясь, как идёт, приближается к нему шквальный треск сучьев, живо представляя, что лось летит напрямик через чащобу молодого сосняка, куда загнали его псы. Ломит без утайки, в открытую, потому что настала для него такая минута, когда ему терять уж нечего, собаки наседают с обеих сторон, суются к бокам и щелкают клыками у задних ног, зная, что лось не может лягнуть позади себя, и нет возможности позволить себе приостановиться и, приподнявшись на дыбы, прыгнуть на собаку, выставив копыта передних ног, а потом наклонить голову и махнуть по широкой дуге перед собою, как косарь косой, разлапистыми рогами над самой землёю, чтобы зацепить ревущего от страха и возбуждения пса...

Нет, это не он, Степан Николаевич Тураев, стоял в засаде и ждал лося, приближающийся шквал его неистового бега, зверь выскочил наконец из соснячка, как паровоз из тоннеля, и помчался прямо на охотника, хотя успел заметить его, – остановиться не мог или не хотел, или совсем ошалел от собак, от шума, от безысходности, – но не шархнул в сторону, не свернул, а летел всей глыбою своего бурого тела по прямой, которая должна была пройти открытым местом совсем вблизи человека, шагах в двадцати перед ним... И зверь набежал, охотник вскинул ружьё – щелчок осечки, он перевёл курок – и вновь осечка, а лось был уже совсем рядом, уже с топотом пересекал поляну, кося на него грозно выкаченным глазом. И содрогающаяся гора мускулов на нём, и весь он был как громадное скомканное напряжение, и ком этот, словно лавина, наворачивался ещё большим напряжением по мере того, как подгремел ближе, и человек тоже закаменел в чудовищном напряжении, которое нарастало в нём, недвижимом и это был не он, Степан Тураев, и не лось перед ним, а мгновенный сгусток, взрыв той могучей энергии, которая была силой Леса, жаром ноздрей гневного зверя, гулким стуком охотничьего сердца.

И эта энергия, перелившись в его издырявленное на войне тело, вытеснила из него все болезни, обновила кровь и стала повелевать его руками и ногами, его человеческим сознанием, в котором установился иной порядок, чем раньше, иное чувство времени, что прежде ощущалось как пустота и утрата. И тридцать лет, прожитые Степаном в лесу на кордоне, не были для него всего лишь тремя десятками земных годов, пролетевших птицей или промелькнувших как сон, жена Настя, дети, новая форма для лесников, новая лошадь взамен палой, срубленная им самим изба, электростанция на бензиновом движке, установленная в дубовом сарае, яркий свет на кордоне, лампа под колпаком, подвешенная на столб посреди двора, и опять жена, дети – постаревшая, повзрослевшие, – и новенькое шведское ружьё, подарок сына Антона, и ежегодная санитарная рубка на его большом участке – всё это было лишь новыми ветвями в зелёной кроне его жизни, ствол которой погружался в чащобу леса.

И нельзя было теперь вырвать его из сумрачной, сырой чащи, потому что вся сырость Леса, сочащаяся во мшарах, хлюпавшая под ногами в болотах, наполнявшая кадки с солёными грибами, красневшая кровью мочёной брусники, стекавшая росой по узким листьям осоки, выбегавшая липкими струями из ран берёзы – влага Леса и явилась той кровью жизни, которую он получил взамен старой, подгнивающей, доведённой до изнурения тысячью с лишним днями войны. И он впредь не мог существовать так, чтобы его личная, Степанова, алая кровь была отделена от лесной влаги, от воды в колодце, журавль над которым он обновил крепким шестом, так и не удосужившись устроить ворот с цепью или со стальным тросиком, как стали впоследствии делать это в деревьях.

Оставшись один без жены Насти, которую он отвёз назад в Кочемары и там похоронил на родном погосте, Степан повёл прежнюю жизнь, – но уже была она без кудрявой кроны, с обломленными ветвями, и ствол этой жизни глубоко задуплился, в нём завелась многочисленная насекомая живность, ковырявшая плоть древесины. Какой-то мохнатый зверёк поселился в дупле и стал бегать ночами вверх и вниз по стволу, Степан ощущал на себе острые коготки, и беспокоил его едкий дух зверушечьего гнезда, от которого исходила невнятная угроза всему древу Степановой жизни. Словно оттого, что внутри этой древесной жизни завелась жизнь чужеродная, хищная, хитрая, – старый лесной исполин словно оказался кем-то и как-то отмеченным, во всяком случае крошечный зверёк поселился в дупле ни у кого не спрашиваясь, расположился вполне по-хозяйски и преспокойно посиживал там, сверкая глазками-бусинами, и наглая его уверенность в том, что можно поселиться здесь как бы на вполне законных основаниях – эта небоязнь маленького хищника особенно смущала Степана, когда ранними осенними вечерами дремал он на тёплой печке, подложив под голову обмятый старый валенок.

Да любил ли я её когда-нибудь, вдруг явственно слышал он некий голос, и тогда, обеспокоенный непонятым вопросом, исходившим Бог весть откуда, Степан садился в темноте и, свесив босые ноги на казёнку, нашаривал папиросы, спички, закуривал, дышал едким дымом "Прибоя", кашлял, сплевывая в темноту на пол, и озабоченно качал головою – ибо снова слышал звучащую речь, с печалью разъяснявшую, что нет, наверное не любил, потому что видел её всего один раз и даже не мог хорошенько уяснить себе, что она за человек и добра ли, умна ли, а может быть, вовсе не добра и не умна, да и собою хороша ли – не успел как следует разглядеть. Но если всё это так, согласно здравому смыслу, то почему же я так мучаюсь по ней всю жизнь и так несчастен, а может быть, это я вовсе не по ней тоскую, а просто гложет мне сердце могильный зуд и темнота тьмы, куда все попадают в конце концов, – это она застилает глаза раньше времени. А я желаю видеть некий свет, образ спасения, которого не будет, нет и не может быть, и это не беззаконие, а просто ничто, пустота и какой-то нудный, вечный, непрекращающийся процесс, куда и я вставлен со всеми моими терзаниями, тоскою, всеми глупыми словами, которые произнесу за свою жизнь, – со своим могильным зудом и дворянским происхождением, с нехваткою четырёх зубов на левой стороне верхней челюсти, с широкими ноздрями тураевской нашей породы, со всеми своими мечтами о счастливой жизни мудреца, уединившегося в лесу...

Изнемогая от тягостных чуждых слов, доводящих его до умоисступления, бессонный Степан ворочался на печи и незаметно втягивался в собственные размышления, не менее тягостные и тоскливые: ну ладно, Ксюшка баба, притом незамужняя и одинокая, ей в лесу нечего делать, вон даже в колодец кидалась, у неё своя жизнь не задалась, – а вот сыновья-то могли бы чаще проведывать отца. Антона вообще не видел с тех пор, как умотал он, только прислал через Глеба шведское ружьё, а я его смазал и держу на тот случай, когда он сам приедет, Антоша, может, на кабанов сходим вместе или на слепую ночную охоту. А как же быть с целью, которая для меня так ясна – слышал далее Степан чужое, – с отсутствием всяких желаний, с достижением полного недеяния, как учили китайцы древности? Когда же я, наблюдая всё то, что происходит вокруг и называется жизнью, смогу наконец удовлетворённо сказать самому себе: ну вот я и свободен, кажется, потому что я достиг такого духовного состояния, когда нет уже во мне никаких желаний и я больше не раб

подлого хозяина, который так мучает нас, прежде чем сунуть головою в помойное ведро с какой-нибудь гадостью, от которой и умереть.

Про слепую ночную охоту знаю, однако, только я один, наверное: и представлял Степан выход в лес где-то уже к полуночи, когда зверьё вылезает из чащоб на дороги, поляны и широкие луга, чтобы погулять, как люди гуляют в городах на площади или по широким проспектам; когда бредёшь осторожно сквозь темень по известному редколесью, но такому жутко незнакомому в ночи, и тишина вроде бы совершенно бездушная, под ногами хрупок-хрупок-хруп -похрустывают мелкие ветки; и вдруг мимо как шарахнет что-то огромное, как холм, неясное, чуть чернее ночи, но такое стремительное и могучее, что вихри воздуха рождаются за ним следом, и только ветки на дереве качаются, слышно, как они встревоженно шепчутся и постепенно притираются друг к дружке, вновь устраиваясь на ночной покой; никто не ходит на слепую охоту, нет, не слышал я ни от кого, чтобы так же ходили, как и я. Антошку бы сводить разок – он леса боится, и днём-то боялся по лесу ходить, не в меня пошёл, хотя ростом и силой такой же, как я.

Ох, не знают люди, что цель эта невероятно трудная, ведь отсутствие всяких желаний есть смерть при жизни, а если ты здоров и ещё полнокровен, то каким же образом можно победить это здоровье? А никаким, злорадно отвечал про себя Степан чужому звучащему голосу: самого себя не одолеть, всё равно тебе захочется чего-нибудь – например, хотя бы покурить, и ты побежишь за табаком хоть на край света. Но ведь то отсутствие желаний, которого должно добиваться философу, не есть механическое отсекование от себя всяких естественных желаний, наоборот, – лишь удовлетворив всё алчное в себе и всю меру страстей изведав, философ может сказать себе: я это уже знаю и я этого больше не хочу. Правильно, соглашался Степан, вот и сводить Антона на слепую охоту, чтобы он изведаль такую страсть – потом он и бояться перестанет леса, будет ходить туда со спокойной душой и днём, и ночью.

Вот я не изведаль любви, не потому ли столь мучает меня образ этой женщины; и душа моя не потому ли томится в безысходной скорби, предошущая могильный зуд; а ведь я тоже не изведаль любви, ну и что, никакой зуд меня не мучает, и я Настю вспоминаю каждый день не потому, что уж так её любил, а потому, что вместе прожили жизнь, народили детей, а теперь я остался один и мне трудно доживать век свой без неё. А как я ругал Настю при жизни: и дура она, и неряха, и неумёха бестолковая, сколько лосятины и кабанятины притаскивал домой, а она запихает мясо в бочки, протухнет там у неё, потом только собакам на корм годилось, а ведь можно было и накоптить, и тушёнку завернуть в банки, как это делалось у других, – но на кой нужна была мне тушёнка или свинина копчёная, если суждено было Насте помереть, а мне жить без неё, и я вез её в гробу на телеге до Кочемар, чтобы похоронить рядом с её родителями, которые умерли, когда она была ещё маленьким ребенком, – о чём она просила меня перед смертью.

Мужчине потому надо испытать большую любовь к женщине, что она, эта любовь, открывает душе наивысшее ощущение бытия, вполне уравновешивающее все неудачи и несвершения его реальной земной жизни. Это великая надежда, которой, может быть, не дано сбыться, но которая путеводит им, как яркая звезда в ночи... В лоб тебя этой звездой, какая там яркая звезда, ежели я вёз Настю по лесу, телега подпрыгивала на корнях, голова Настина стучалась в гробу, и я говорил вслух, как будто она слышать могла: "Прости меня, Настя. Прости меня, собаку". А взять тех санитарок на фронте, с которыми мы, связисты, зиму спали в одной землянке? Какая там большая любовь, звезда яркая, когда я дрых рядом с ними – и ничего во мне даже не шевелилось, и ничего самой тёмной ночью не бывало, и только наутро они подымались раньше, чтобы успеть одеться до нас, мужиков. Одну тоже Настей звали, убило её, другую Катей, тоже убило, а третья, Верочка, сухонькая такая и маленькая, синеглазка, замуж вышла за лейтенанта из Челябинска, одна жива осталась.

И Степан в темноте сползал с печки, надевал на босу ногу резиновые калоши, ошупью шёл к двери и выходил во двор, где была темень, хоть выколи глаза, но он пробирался уверенно к колодцу, чтобы черпнуть свежей воды и попить. А вокруг стоял чёрной стеною и

дышал холодом ночной Лес, бестрепетный, тысячеглазый очами затаившихся зверей, птиц, деревьев, угрюмых лешаков и тихих речных плескинь, которые выходят из омутов на землю, чтобы погреться и несмело полетать в туманных парах, текущих вдоль опушки леса. И Николай Николаевич Тураев тоже выходил из дома, истомлённый бессонницей, шёл к колодцу, чтобы набрать той же воды и попить, он доставал её деревянной бадейкой, наматывая цепь на ворот, а Степан доставал ведром, наклоня журавль и перебирая руками по тихо уходящему вниз шесту, стоя на том же месте, где стоял его отец; но не задевали широко расставленные Степановы ноги, обутые в калоши, отцовых ног, обутых в мягкие войлочные бурки, и не налетал шест журавля на колодезный ворот, не сталкивались, громко лязгая, помятое оцинкованное ведро и окованная железными обручами тяжёлая бадейка, не лилась зря разливаемая колодезная вода, одинакового химического состава, но разных времён. И возвышалась посреди поляны тёмная глыба нового барского дома, углами крыши подрезая едва заметную, призрачную синеву ночного неба, и стояла там же, на поляне, островерхая изба кордона, небольшая, но в темноте казавшаяся массивной и объёмистой, и светила над домами одна и та же яркая звезда, на которую смотрели отец и сын, не видя, не ощущая друг друга, ибо между ними была та странная пустота, что называется временем. И отцу в ту бессонную ночь, когда он тоскливо и мечтательно смотрел на звезду не было ещё и сорока лет, а сын, слезящимися глазами уставившийся на неё, был шестидесятидвухлетним стариком.

А вокруг них стоял на корнях не шелохнувшись чёрный мещерский Лес и потихоньку вбирал в себя их тёплые жизни, растворяя во влаге своего чрева и постепенно превращая каждого в обыкновенное дерево, каких много в густой чащобе. Но по мере того, как это происходило и с одним из Тураевых, и с другим, в том же влажном чреве Леса зародилось ещё одно независимое движение, возникла самостоятельная воля. Внук Николая и сын Степана, математик Глеб Тураев часто приезжал на Колин Дом навестить отца – и в молодости, сразу после службы в армии, и в студенческие годы и в секретное своё время службы в системе, разрабатывавшей Оружие. И ничего плохого с ним бы не произошло, постепенно забрал бы его Лес обратно к себе, выросло бы новое деревце в тенистой чащобе, – но случилось так, что я обратил на него внимание в тот миг, когда он подходил, протягивая руку, к двуединой сосне с лирообразными изогнутыми стволами; он должен был прикоснуться к дереву – и тем самым вновь соединить Лес мещерский с душой Николая Николаевича Тураева, его деда, который умирал на земле, под стеною какого-то ремонтного дома в переулке Москвы около Преображенского рынка. И умирающий человек вдруг осознал со всей ясностью, что у него есть Отец, и имя ему – Лес.

Для Глеба Тураева его отец Степан Николаевич и был Лесом, и для Степана его отец был Лесом, но для Глеба Лес представлялся близким, в узлах корневищ и глубоких бороздах морщин по корью дубов и обомшелых лип, с золотистой чешуёй загара на лбу, как стволы вековых сосен, уходящих косматыми головами в самое небо. А для маленького Стёпки его тятя-барин всегда был дальним Лесом, окутанным в голубой туман, и дорога к нему шла через широкое неизвестное поле. Чаще всего вспоминался Глебу отец в мокрой тяжёлой одежде, с каплями дождя на лице, с прищуренными синими глазами, внимательно и чуть насмешливо смотрящими с высоты, из-под низко надвинутого козырька кепки, и этот вид набухлой сырости одежды вместе с ощущением огромной высоты, с которой смотрели отцовские синие глаза, как просветы ясного неба меж деревьями, и были для сына тем чувством Отца-леса, которое пришло к нему с первосознания.

Стёпке же, последнему из детей Николая и Анисьи, отец всегда представлялся проходящим мимо или уходящим куда-то вдаль, даже тёмные глаза его, остававшиеся на маленькой фигурке сына, вначале смотрели рассеянно, мимоходом, и затем погружались в туманные дали своей затаённой мысли, куда не было доступа его малым детям, как и в те зубчатые леса, что виднелись на синем горизонте. Барин-отец совершенно не вникал в дела своей детворы, которыми полностью занималась одна лишь мать, даже и помещалась с ними в отдельной половине дома, рядом с кухней, и дети никогда не заходили в покои отца,

состоящие из трёх комнат с общей для всех большой голландской печью. Туда маленькому Степке не было доступа, как в чужой неизвестный лес, синеющий за полями, и он привык к тому, что отец никогда не обращался к нему со словом или делом, просто существовал себе в своей отдалённой недоступности, со всеми своими неизвестными дебрями, полянами, извилистыми дорожками.

С годами отдалённость отца всё увеличивалась, и сам он казался подрастающему Степану ниже, незначительнее, неинтереснее, в особенности тогда, когда они стали жить в городе, в единственной на шестерых комнате многолюдного барака, и отец спал в закутке позади посудного шкафа на коротком пузатом диване. Синий лес совсем исчах, растаял за набежавшими горизонтами иной жизни, и лишь в глубоких омутах Степановой памяти всё ещё сохранялся, синел далекий и таинственный прежний лес.

А когда отец совсем покинул их и уехал в Москву с какой-то старой, оборванной, похожей на нищенку женщиной, десятилетний Степан, единственный из детей проводивший отца до парохода, остался на пристани с чувством какого-то облегчения, словно произошло именно то, что должно было произойти как необходимое и долгожданное разрешение тайной и неизбывной муки всей жизни семьи. Живой отец навсегда исчез, сгинул где-то в Москве вместе со своей спутницей-оборванкой, но тем заманчивей и прекрасней всплывал над туманами утра далёкий зубчатый лес, навсегда оставшийся в душевной памяти сына, – и он впоследствии смотрел на все дальние леса с чувством тоски и влечения, безнадёжной нежности и стойкой верности сыновней любви.

К своим появившимся после войны детям Степан Тураев относился с исконным чувством недоступного душевного томления и глубинной сильной тяги к ним, хотя они были у него всегда под рукою, рядышком, и он имел возможность любого взять на руки и приласкать: Антона, Глебушку, Ксению. Но не мог он этого делать, ибо никогда не знал тех простых и удобных дорог любви и близости, по которым ходит человеческое кровное родство, сплоченное семейными инстинктами и обычаями. Жизнь на кордоне, крестьянская, труженическая, обособленная от мира, держала Степана в кругу привычных забот, одних и тех же из года в год: огород, картошка, скотина, сенокос, лесные работы, охота... Но была совершенно невидимая и отдельная жизнь его души, которая сильно отличалась от внешней, вполне благополучной и обыденной. Внутри этой отдельной незримой жизни тлела непроходящая боль, которая выросла из необычного детства, окрепла в одиночестве юности, набрала могущества в буднях фронта и плена и стала невыносимой к тому времени, когда Степан был отпущен с войны. Смерть была бы закономерным завершением этой его неимоверно возросшей боли, но он неожиданно для себя выжил – и по прошествии множества лет, когда сам стал отцом семейства и должен был ломить работу, боль эта перестала править его жизнью, но как бы обрела в ней самостоятельность и устойчивую отчуждённость.

Он не мог бы определить, что это за боль, как мог определить сын Глеб, назвав её для себя незаживающим ожогом сердца, или его отец Николай Тураев, философ, определивший её как всеобъемлющую муку материи, в человеческом варианте выраженную неподвижной душевной тоской, которую Николай Николаевич с философическим сарказмом называл могильным зудом. Как-то на пути к своему лесному дому Николай Тураев чуть не вывалился из тарантаса – слетело переднее колесо и укатилось вперёд по дороге, нужно было слезать и попытаться найти выпавшую из оси чеку, потом пристроить назад колесо. Но, охваченный раздумьями о проклятой муке материи, свойственной не только живым существам – и для укатившего колеса тож – Тураев и не подумал сдвинуться с места, а надолго остался полулежать на передке завалившегося тарантаса, лишь сместил ноги и упёрся ими в доску боковины, чтобы не выпасть на землю... Он обычно погружался в сонное оцепенение и ложился куда-нибудь, Степан же неистово кидался в работу, чаще всего колол дрова или, схватив ружьё, бежал на охоту, а Глеб замолкал на полуслове и опускал глаза – если незаживающий ожог сердца вдруг напоминал о себе среди приятельского разговора. Глеб боялся обнаружить себя тяжёлым мертвенным взглядом, какой, он знал, бывал у него во

время этого отвратительного и ненавистного для него приступа; отец же его, Степан Николаевич, обрушивал раз за разом колун на ровно отпиленные чурбаки, которые разлетались как от взрыва, – однажды он наколол, не разгибаясь, десять кубометров берёзовых дров. Он не ведал тревоги или стыда за свой душевный недуг, как его сын или отец, – Степан страдал неосознанно, невероятно, на ходу, на бегу, в порыве неистового действия, в отличие от отца своего, которому хотелось в такой миг "забыться и заснуть". Заснуть или гнаться за зверем, кричать или тихо плакать – всё равно запиралась эта боль в безысходном одиночестве души, которого не разделить было ни с другом, ни с женою, ни с Богом.

И нигде, как только в лесу, каждый из этих Тураевых получал облегчение, гуляя ли с тросточкой в руке по затенённым извилистым дорожкам, ставя ли капканы на звериных тропах или собирая по светлому редколесью благородные грибы. Лес не вступал с людьми в разумные успокоительные беседы, не насылал чудес и многозначительных видений, не врачевал язвы сердца целительным бальзамом, – Лес растворял их души субстанцией, в которой не было ощущения быстротекущего времени, разлагал их волю к самоутверждению и превращал каждого в такое же послушное и безмолвное существо, как дерево, кустик черники, затаённый под слоем палой листвы гриб. При этом человек не становился ни счастливее, ни разумнее или глупее, – но он жил и дышал всей глубиной необъятной зелёной груди тысячелетнего Леса.

Ветеринар Тураев-старший как-то вырезал из-под кожи гнедого полкового жеребца непонятного происхождения желвак, в котором оказалась массивная золотая серьга, зашитая, должно быть, каким-то контрабандистом в лошадь – вся вещица обросла диким мясом, образовав изолированную капсулу, мешочек для содержания инородного вещества в теле лошади; подобные мешочки обнаруживал и его сын Степан в тушах убитых лосей и кабанов – покоившиеся в зверином мясе пули и картечины, всаженные неудачными выстрелами охотников; внутри же организма Леса клубок едкой человеческой тревоги обволакивался слоем безмолвия, влажным по отпущению: и долгими часами бродившему по чащобам Глебу все невзгоды его и брошенные дела казались незначительнее комара, впившегося в скулу, а берестяное лукошко с грибами, висевшее на широком ремне через плечо, гораздо тяжелее самой мрачной беды.

В лесу Глеб Тураев искал не грибов – они росли на опушках, полянах, на прогретых дорожках, – в глухомани же еловой, в бурых теснинах дикого сосняка, в чащобе сырых лип и в берёзово-осиновых дебрях Глеб вбирал, словно пил, всей грудью влажный настой леса и этим врачевал "ожог сердца", потому и бродил он долгими часами без цели и направления по самым мрачным, скрытым трущобам леса. Дед Глеба, Николай Николаевич, во влажном дыхании растительного царства искал струю вещественности, поток экзистенции, что унесёт его самоощутимое одинокое "я" прямо в океан Наджизни, где независимо от течения времени пребывают неразделёнными дух и материя, сущность и его отражение, субъект и объект, путь "дао" и совершенство "дэ". А сын философа, лесник Степан, питался лесным духом, словно младенец материнским молоком, – по отношению к живой прохладе древесного дыхания на земле и остался он навсегда бесстрашным и беспомощным младенцем, которого нельзя отнять от груди – иначе погибнет.

Он и погибал, когда его надолго отрывали от леса, – увезли в детстве в город, затем в другой город, и наконец в Москву – там впервые и чуть не умер от страшного потрясения во время трамвайной катастрофы, когда трамвай на выезде с моста выбросило с рельсов и опрокинуло на бок. Он ехал, прицепившись с приятелем сзади, и ничего ещё не понял, когда его сдёрнула резкая сила с буфера и повлекла по бульжной мостовой, переворачивая и безжалостно колотя лицом об окатные камни. Когда он, наконец, прекратил скользить по земле и замер, уткнувшись головою в какое-то бревно, то увидел совсем вблизи, над краем опрокинутого трамвая, высунувшуюся окровавленную руку, которая словно хотела что-то выловить в воздухе. Тут и потерял сознание Степан, и затем в беспомощности чуть не был придавлен этой окровавленной рукою, которая в постоянстве тягостного кошмара каждый

раз дотягивалась до его горла и смыкала на нём скрюченные пальцы...

Он страдал от удушья и головной боли в строительном техникуме, куда поступил (в Москве) и где не проучился и курса, – больная голова не позволила, врачи предполагали, что от этого перенесённого сотрясения мозга, а на самом деле он просто погибал без влажного дыхания леса. И должен был окончательно погибнуть, к тому дело шло, – годы службы в армии, затем техникум, на сей раз финансовый (и вновь неудача – исключение за драку на вечере), годы работы на "Дорхимзаводе" в аккумуляторном цехе, затем в бригаде плотников – и после всего этого ещё и тысяча тридцать шесть дней войны и плена, – всё это и было уверенной стезёй, последовательными стадиями гибели Степана Тураева без родительского Леса.

А его отец, Николай Николаевич, оказавшись после изгнания со своей усадьбы в уездном Касимове на коротком диване за занавескою в барачном доме среди гвалта полдюжины многодетных семей, вдруг ощутил гибель не в том, что ему угрожала страшная болезнь, палач или разбойник с ножом, а в том, что диван со спинкой, грязный ситцевый полог, помойное ведро и низкий потолок, оклеенный страницами журнала "Нива", обрели большую значительность и реальность, чем сотни вёрст блужданий по лесным дорогам (в любую погоду) и годы уединённых, ревниво бережённых размышлений. Ничего этого уже не было, никаких следов не осталось от вдохновения, экстаза, мучительных сомнений и сладости философского самоотречения – только барачный потолок, засиженный мухами. И в этом резком сужении окружающего материального мира и, главное, в таком качественном его изменении – от вольного, влажного дыхания ночного леса и звёздных вспышек в его ветвях до этих мушиных точек на журнальной бумаге, – в подлости и убогости предметов жизни, от которых зависело теперь само существование его, Николай Николаевич усматривал суть гибели. Она была в том, эта гибель, что ты постепенно становился таким же (ничуть не ценнее... для кого, правда?), как эти гнусные предметы: заскорюзлые портянки, помойное ведро у печки, клоп, раздавленный пальцем прямо на стене.

Но чувство погибельности было связано не только с оподлением бытия до его крайних пределов, за которым начиналось существование без всякой совести. Если говорить об этом чувстве как о предварительном доопытном знании, то необязательно надо было попадать в скотское положение, какое бывает в казарме или концлагере, – нет, даже на блистательном собрании где-нибудь в московском историческом доме, в громадном и ярком зале заседаний охватывала Глеба Тураева отчаянная тоска, которая, знал он, ничем не могла быть снята, искуплена, утешена. Потому что главное, существеннее самого торжественного сборища или самого наигнуснейшего обстоятельства житейского быта оказывалась внезапная духота, безвоздушность, которою бывала охватываема тураевская душа, столь податливая для чувства абсолютного одиночества. Оно, это фамильное и, очевидно, роковое качество самосознания, заставляло каждого из рода Тураевых устремляться из жизни в людном мире к жизни на отшибе, где-нибудь в деревенской глуши или в лесу: Николай, и его старший брат Андрей, и их сестрица Лида тому пример, а также Степан Николаевич, лесник, и его младший сын Глеб, который после пятнадцати лет жизни в Москве бросил математику, семью и заявился непрошеным гостем на старый кордон в Колин Дом, где хозяйничал к тому времени Артюха Власьев, егерь недавно образованного государственного заказника.

Однажды на войне раненый Степан Тураев лежал на опушке нестарого сосняка и ждал санитаров; бой продвинулся дальше, медсестра сделала ему на шее повязку и потом ушла за санитарями, удобно устроив его на сосновых лапах, поспешно нарубленных ею трофейным кинжалом; вставать и двигаться ему было нельзя, потому что сквозная осколочная рана при малейшем движении кроваво пульсировала и ощущалась так, словно продёрнули сквозь шею проволоку и двигали ею туда и сюда в скважине раны. Степан лежал и смотрел на заснеженные деревья, стараясь так же, как и они, не шевельнуть ни одной мышцей своей, не переводить даже взгляда с дерева на дерево. И тут увидел, как из чащобы тесно сдвинутого мелкого сосняка вылез немец, весь обсыпанный снегом, с лицом как замороженное мясо, с висящим на груди автоматом. Обводя вокруг блуждающими голубенькими глазами,

немецкий воин что-то такое бормотал про себя, квохтал, словно курица, не шевеля лопнувшими во многих местах губами. Проходя совсем вблизи лежавшего на спине Степана, немец лишь покосился на его забинтованную шею с оплывшим пятном проступившей сквозь марлю крови, квохнул что-то сухим нечеловеческим голосом и, облизнув тёмным языком болячки на губах, прошествовал мимо, таща на груди бесполезный автомат, вся казённая часть которого была жестоко разворочена – видимо, ударило осколком или разрывной пулей. Но уйти этому несчастному вояке не удалось: на глазах у Степана он превратился в дерево, в корявую серо-зелёную осину, – в ту минуту, когда внезапно донеслись до них голоса приближающихся санитаров. И потом, когда они, уложив его на носилки, тащили мимо этой осины, Степан не выдал немца, он лишь молча простился взглядом с деревом и без особого удивления стал думать о том, как же просто, оказывается, устроено в этом мире: человек, умирая, превращается в дерево.

И стоило ему так подумать, как у его сына Глеба через множество лет продолжилась эта мысль и перешла в новую: дерево после смерти своей становится человеком. Разумеется, превращение это не сиюминутно-механическое, такое, чтобы с гулом хлестнула срубленная лесина оземь и тут же подскочила бы и встала на ноги лохматым мужиком или конопатой бабёнкой. Скорее всего здесь имеет место диалектический переход из одного в другое нематериальных структур, думаю, каждое дерево для того и простаивает терпеливо всю жизнь на одном месте и никого не обижает, чтобы потом, после своей смерти, начать таинственный путь к воплощению в человеческую судьбу.

Так предположил Глеб Тураев в один из дней своей отсидки на кордоне во время весеннего разлива. И своё _главное чувство жизни_ – некое постоянное ощущение удушья (словно воздух, который он вдыхал, недостаточно содержал кислорода) – это своё всегдашнее тягостное ожидание надвигающейся беды он полагал исходящим от тайного понимания Лесом, что очень скоро человек его сведёт и тем самым положит конец своему собственному существованию. Потому что если дерево становится человеком – то кому же в будущем им становиться, если деревьев не будет?

Таким образом, представить абсолютное безлюдье на Земле было нетрудно: это Земля, на которой вместо лесов остались торчать одни чёрные пни-головешки... Но весенний разлив и лес, затопленный разливом, чужды всему огненному! И одинокая огненная точка, однажды замелькавшая над смутно-сиреневыми, размытыми в тумане островками зарослей и кустов, рыжая искорка, словно блуждающая душа умершего – эта огненная танцующая над лоном ледяных вод мошка не могла вызвать хотя бы самых отдалённых напоминаний об огненной смерти Леса. Но цветок на конце масляного факела -трепетный лоскут пламени был самым подлинным кусочком огня, каплей лесной смерти – и всё же в руках Артюхи Власьева, возвращавшегося на моторке в Колин Дом, факел этот горящий означал не угрозу, а смиренный призыв к помощи. Артюха немного выпил, мотор лодочный заглох и не заводился, вёсла по своей беспечности егерь забыл взять с собою – и, оказавшись на медленном течении бесконечно разлившейся реки среди тысяч смутных островков из торчавших над водою куш, кустов и деревьев, Артём Власьев вконец затосковал и, чтобы как-то дать о себе знать такому далёкому и бесконечно дорогому человечеству, он намотал масляных тряпок на монтажку и зажёл дымный оранжевый факел.

Разлив всегда вызывал у Николая Николаевича Тураева чувства глубочайшие и невыразимые, волнение сильное и почти невыносимое, которое охватывало его, когда вкрадчивая вода однажды вдруг окружала дом со всех сторон, превращая поляну Колиного Дома в небольшой лесной островок; и если разлив наводил Николая Тураева на мысли об абсолютной единичности и, значит, безграничной свободе человеческого "я", Глеб Тураев, его внук, видел эту великую свободу в праве человека отринуть целиком беспредельность Вселенной как нечто бесполезное для себя и остаться навсегда верным своему безысходному Я ОДИНОЧЕСТВО.

Степан же Тураев в дни разлива, затоплявшего сизой водою огромные просторы близ Оки, превращая луга и леса в морские просторы, в одну титаническую водную мышцу, –

лесник Степан в эти дни бурлящих потоковоротов и лесных морекружений дремал целыми днями и ночами на тёплой печке, не желая состояние своей души хоть как-то связывать с могущественными замыслами и действиями разлива. Он не желал смешиваться с тем, что было настолько грандиознее и существеннее его малых сил, что об этом и задумываться не стоило. Он и не думал, спал себе на русской печке и смотрел свои сны военных времён. Но однажды (когда после смерти жены жил один на кордоне) проснулся, свесил голову с остывшей печки и увидел в сумеречном свете утра, что изба полна воды, что вода почти подступила к божнице, она тускло блестела под самым его носом, и мусор плавал по ней, и косо торчало из неё горлышко бутылки. Он тогда разобрал потолок и выбрался на чердак, распахнул дверку во фронтоне крыши – и увидел весь свой двор, огород, всю поляну вокруг дома затопленными гладкой неподвижной серой водою, в которой чётко отражались вниз макушками чёрные ели, безлистые серые берёзы и сосны с рыжими чешуйчатыми стволами. И восторг жизни – сила красоты словно пронзила ему грудь, и он впервые в жизни прослезился не от боли, утраты или жалости, а от внезапного понимания красоты как истины. Никогда – ни одного раза в жизни Степан Тураев не задумывался над тем, что такое "БОГ" или "беспредельность" – он мыслил другими словами: болеть, пахать, поехать в Сынтул, достать шифер, нечаянно промочить ноги, стрелять навскидку... убить и помирать. Но вот перед ним плыла стая белых гусей, огибая торчащую из воды лирообразную вершину большой сосны – усталые перелётные птицы с безмолвной кротостью, как-то по-домашнему спокойно выплывали на середину озера-поляны. И вид леса, преображённого водным нашествием, розовое небо, опрокинувшееся на знакомом месте в зеркало разлива, и эти кроткие, усталые гуси – всё предстало перед Степаном, стоящим у распахнутой чердачной двери, в своём как бы вывернутом наизнанку внутреннем значении – божественном и непостижимом!

О разлив весенних талых вод, море в лесу, лес по пояс в воде – таинственный плеск во мгле ночей, звёздные искорки там, где никогда раньше их не бывало – под ногами, глубоко в бездне под лодкою, когда Николай Николаевич Тураев плыл к дому, смятенно размышляя о том, что в эту ночь ему открылось как бы внутреннее пространство сцены, само колдовское чрево божьего театра, наполненное причудливыми громадами невнятных чёрных декораций. Сотни тысяч звёздных лампочек мигали среди них, и разгорался где-то за зыбкой стеною призрачных берёз неимоверно яркий, торжествующий, чистый свет луны, неудержимо восходящей в небе. Но луна той ночью так и не появилась над лесом, освещая водный путь Николая Николаевича – почему-то прошла она за деревьями, поджигая своим огненным нимбом самые верхние крестовинки и метёлки плещущего на воде леса. А прошла луна во всём торжествующем блеске своём перед Глебом Степановичем Тураевым, которому ночь, разлив и лес, опрокинутый в зеркале огромного наводнения, тоже показался театром, сценой, но не с погашенными огнями (нерабочей, затерянной в ночи), а как раз в самом разгаре спектакля – странного, очень странного представления, смысла которого нельзя постичь, потому что он нечеловечески многосложен и высок. И лишь дано тебе увидеть, как светит жёлтая луна над бескрайним морем разлива, как зыбкими чёрными островами стоят лохматые острова кустов и деревьев, как лодку тихо несёт течением куда-то мимо утонувших в бездне звёзд, и на носу лодки стоит егерь Власьев с чадящим факелом в руке, от которого отрываются оранжевые клочья огня и с шипением падают, каплют на забортную гладкую воду.

А в самый первый раз (когда дом был выстроен и хозяин только что вселился в него) половодье застигло Николая Николаевича врасплох, у него даже лодки не оказалось на этот случай, и две недели он был совершенно отрезан от внешнего мира. Правда, на исходе второй недели заехал к нему на плоскодонке брат Андрей Николаевич, заночевал у него, и к этому времени у Николая уже произошло то, что определило всю его дальнейшую жизнь. Разлив заточил в доме, как на необитаемом острове, двоих, мужчину и женщину, и некуда было им деться друг от друга. Разлив пришёл ночью, невидимо и неслышно, и выходила рано утром первую на крыльцо медноволосая Анисья, свежо умытая, со скрипучей на скулах

кожей, поглядела удивлёнными глупыми глазами на плещущую воду, которая подошла к предпоследней ступени высокого белого крыльца, ахнула, втихомолку воскликнула "батюшки" и мигом скрылась в доме. И затем показался оттуда сам барин, вид у него был взволнованный, никак не мог попасть рукою в рукав старенькой бекешы, которую Николай Николаевич обычно носил в холодное время по домашности. Выглянул, шагнул на крыльцо, дверь за собою оставил открытою – и там тотчас показалась грудастая длинносарафанная фигура Анисьи – оба с одинаковыми радостными лицами, выражавшими весёлую увлечённость, смотрели на подступавшую водную стихию, словно она была явлена, чтобы вдоволь их распотешить. И по лицам молодых людей можно было прочесть, что должно произойти – уже происходит.

Вечером, внеся горячий самовар к барину в комнату, Анисья взглянула на него испуганно и взволнованно, широкие белые запястья её были покрыты, словно сыпью, красными пятнышками – наколола, когда драла можжевельник, чтобы подкинуть в самоварную топку для пахучести дыма (как учил её барин), и нежные жирные запястья молодой женщины, выставленные из узких засученных рукавов рубахи, внезапно пробудили в нём чувственную ярь, Николай молча схватил её за эти исколотые запястья, чувствуя всем мужским наитием своим, что _это то самое, да, то самое_, – отчего Анисью словно подбросило ударом электрического тока. Она бы грянула оземь или отпрыгнула бы сразу шагов на двадцать, но, крепко взятая за руки барином, могла только размашисто вильнуть задом в одну сторону и в другую, – и замерла, полусогнувшись, тесно сведя ноги, коленями сжав прихваченный подол старенького сарафана. Она смотрела на мужчину виновато не потому, что видела грех в начавшейся любовной игре, после которой жди только одного, а в том, что _сама желала_, – и в этом-то желании чувствовала свою преступность, то есть греховность и чрезмерность собственных притязаний. (Ибо Деметра, которая просто отдаётся мужчине, исполняя не ею выдуманный закон пресотворения, -это одно, а женщина, испытывающая желание самой пообладать мужчиной, есть грешница и ведьма, которую ненавидели и проклинали все на свете святые и праведники, порою её за любовную вольность эту бросали в прорубь или сжигали на костре.) Да, Анисья упиралась и отбивалась потому, что сама желала, – и когда прямо на пыльном ковре, возле пытящего самовара, острое электрическое желание её разрядилось в мужчину, и он размяк, стал покорен, она заплакала и лишь отвернула голову в сторону, не потрудившись даже поправить бесстыдно задранной одежды. Так, лежа на ковре распакованною до препуха наготы, тихо плача, она слушала, как плещется под полом натекающая извне вода, та самая внешняя вода, которая и подвела их к близости, благословила и устроила брачный союз, чрез который пришла на свет новая людская ветвь – род Тураевых, идущий от дворянина Николая Николаевича и крестьянки Анисьи.

И одна из почек этой ветви, Глеб Тураев, сейчас стоит на крыльце егерской избы и причаливает лодку за мокрую верёвку к столбу, подпирающему навес над входом в избу. Он думает: в голову мне приходят _не мои_ мысли, грудь волнуют полузабытые воспоминания, хотя то, что предстает моему внутреннему взору, и слова, что слышу в тишине своей сосредоточенности, не могут быть связаны с _моим_ жизненным опытом. Подступив к самому крыльцу лесного кордона, вода замерла, как бы в нерешительности и задумчивости, пытаюсь понять, что же она такое и откуда все эти щепки, мелкие веточки, пух и мусор леса, принесённые ею к подножию деревянного крыльца... Ах, разве не забыл таким же образом и я все собственные прежние воплощения? Ведь я же огонь, я же и вода, я лес и прах лесной – всем этим был, а теперь вместе с Артюхой Власьевым вылезаю из лодки и, проходя вслед за егерем мимо колодца с журавлем, кричу ему громко в произвольной радости избавления (могли бы долго носиться по водам, пленённые стихией, на лодке без весел, с заглушим мотором, да помог счастливый случай: прибило нас к кустам, в ветвях которых мотались, зацепившись, пучки соломы, клочья пены, палки и обломки досок; и двумя кусками сырых горбылин мы кое-как догреблись до кордона):

– Артем, не зальёт колодец?

– Зальёт обязательно, – ответил Артюха, не оборачиваясь; зашлёпал через проточину, глубоко вдавшуюся во двор, и, обогнув угол, поднялся на крыльцо, оставляя на серых досках ступеней узорчатые мокрые следы от резиновых сапог.

Он зашёл в избу, а я остался на крыльце и, не чувствуя в себе того же равнодушия и беспечности, что у егеря, стал тревожно оглядываться вокруг. Станный, невиданный доселе пейзаж открывался моему взору. Вся поляна, посреди которой я выстроил свои хоромы, превратилась в живописное серебряное озеро. Но берегов этого озера нельзя было увидеть: вода уходила под тёмные своды окружающего леса; идущая от Колина Дома неширокая дорога сейчас, сверкая меж елей, представляла собою вид живописного канала. Оттуда и выплыла стая белых гусей, которых я показал Анисье, и она, азартно округлив глаза, с хищным видом проследила за ними, а затем и предложила: "Возьми ружьё, Миколай Миколаич, и сшиби их..."

Я смотрел на этот новоявленный лесной канал, по которому Артюха поплывёт на лодке к деревне, поедет один, без меня, потому что в том деле, за которым он и отправится в деревню, я ему не помощник. Дело в том, что уже не существует для Артюхи Власьева ни широчайшего, буйного разлива Оки, ни тяжёлого ночного пути через разыгравшуюся стихию, ни небес, ни хлябей, ни бездны – а если и существует всё это для него, то лишь где-то на периферии сознания. А в упор перед двадцатисемилетним парнем дыбится и в страшной наготе своей белеет распластанное женское тело. И в устремлении к нему не остановит его не только разлив вешних вод, но и сам всемирный потоп.

И я думаю о том, почему, каким образом холодное серое половодье разжигает столь могучую похоть в маленьких человеческих существах. Рыженькая Анисья словно с ума сошла и веселилась так буйно, с топотом бегая по всему дому, что я даже начал беспокоиться, не заболит ли она, не простудится ли, то и дело босиком выскакивая на крыльцо, вплоть до второй нижней ступени окружённой водою. Егерь же Артюха ни одной ночи не мог оставаться дома и, не замечая опасностей и тягот, каждый вечер уплывал на плохонькой моторке за семь километров в деревню – пользуясь образовавшимся водным путём, по которому летом обычно топал пешочком или тряся по корням на велосипеде... Столь же безоглядно-беспечно к разыгравшейся вокруг стихии отнеслась и Анисья, молодая солдатка, недавно нанятая в кухарки к барину Тураеву: отведав его яростной ласки прямо на полу, под которым плескалась вода, бедная бабёнка словно с цепи сорвалась, целовалась и миловалась без устали, без присущей деревенским женщинам стыдливости, шумела, и вопила, и звенела, звенела своим звонким голоском, видать, безмерно довольная тем, что высокая вода затопила всё окрест, перекрыла все дороги, преградила доступ к дому в лесу, где была она заточена вдвоём с барином надолго и надёжно.

Половодье в моей душе вызвало какие-то глубинные небывалые смущения, которые и вынесли на поверхность моего бытия счастье особенного рода. И восприятие действительности настало такое, что нельзя было уже понять, в чём состояло всё прошлое несчастье моей жизни. В этом прошлом ни одна линия, строящая мысленный дом моей судьбы, не казалась прямой и надёжно доведённой до своего логического соединения с другими. Я каждый день, проснувшись, с утра ощущал как бы удушье, как бы некую нехватку в самом процессе дыхания – не хватало чего-то единственно правильного, самого необходимого. И ощущение того, что ежедневная жизнь катится, несётся куда-то без преосуществления самого главного, ради чего я рождён на свет, мучило меня и душило постоянно... Но половодье прочь унесло всю эту гнетущую тоску-вину-хворь душевную, я словно проснулся и узрел подлинную реальность бытия. И она заключалась в том, что я существую не в тех удушливых, скверных облаках и туманах головных измышлений, в которых обретаемся мы от раннего детства до старости, а нахожусь в равном положении с другими существами, предметами и явлениями природы, – в равенстве и сопричастии к деревьям, стоящим по пояс в воде, к соломенной трухе и щепкам, плывущим по течению, в родстве и дружбе с полыхающей над ночным разливом луною... В равенстве и единении с Анисьей, женщиной молодой и прекрасной, дарующей и берущей такую яркую радость

любви чувственной, что оно преобразилось в любовь самую возвышенную, близкую богам, – и Анисья была жрицею Афродиты и Деметры.

Отрезанные от всего остального мира людей, питаясь грубой пищей – салом да хлебом, они прожили две недели так, как надо бы проживать людям всю жизнь. Какое согласие чувств и взаимное понимание во всех самых тонких изворотах желаний! Не было интеллигентного барина, дворянина, и его деревенской кухарки, а были, как говаривал Дж. Боккаччо, славные ступа да пестик да неустанная усердная рука, совершающая эту весьма угодную Богу работёнку – но ведь бывает и тут незадача! Кто бы мог подумать, что крепкий жилистый парень, с виду весьма простоватый, но симпатичный, словно Емеля-дурачок, егерь Артюха Власьев был неспособным и, выходит, напрасно ездил по ночам через хляби развёрстые в деревню к некоей Ларисе. Она приехала откуда-то в совхоз работать портнихой в Доме быта – всё очень просто и обыденно, – однако оказалась настолько странной, что согласна была выйти замуж за лесного жителя, за Артюху Власьева, и жить с ним вдвоём полной отщепенкой на кордоне, без своего Дома быта, клуба и даже без телевизора. И молодой егерь, впервые в жизни обретший сказочную возможность, совершенно потерял голову, и результатом его страшного волнения явилась полная неспособность соединиться в едином восторге ему с Ларисою. А она ждала этого каждую ночь, горячо его поощряла во всём, однако ничего не могла поделать с понижающей вялостью Артюхиной воли. Какая-то очень тонкая, дьявольская стена отделяла бушующее море его страстей от холодной пустоты бессилия, и Артем снова и снова летел на моторке в сторону деревни по чёрному каналу залитой дороги, чтобы проломить проклятую стену, и каждый раз бесславно возвращался под утро на кордон. Для житейского объяснения и оправдания своих отлучек он порой навещался в дом матери и привозил оттуда полмешка картошки, пласт сала, связку луку или чеснока.

Неимоверные душевные муки Артюхи Власьева были скрыты в нём, а вовне проявлялись самые невыразительные признаки: то и дело зевал до потолка, был вялым и неразговорчивым, иногда жаловался, что ломит в паху. И я, мысленно сличая его зверскую неутолённость с розовой, влажной, ликующей насыщенностью Анисьи, в глубоких неконтролируемых изворотах сознания толкал их друг к другу в объятия. Разумеется помочь друг другу они никак не могли, ибо жили в разные времена. Но уж очень жаль было добродушного егеря! О, я отдал бы их во власть друг друга без всяких мелких соображений брэнной морали! Как было бы это замечательно, если посреди бескрайнего разлива под блеском горящей луны в маленьком домике егеря осуществилось бы то могучее желание, что напряжилось и вспыхнуло огненным жаром под его плоским животом, сжалось, словно звезда в печальном пространстве Космоса. Какая мощь творческого рвения пропадала даром в эти странные ночи, наполненные полупрозрачным зеленоватым бредом луны, плеском бескрайнего, как море, разлива! И я, не вынося больше вида столь тяжкого несчастья, решил вмешаться в это дело живых, в эту тщету самовозникающих и уходящих в пустоту страстей, – дать разумный совет Артюхе Власьеву насчёт того, как ему совершить то, что требуется женщине.

Ещё в кадетские годы Николаю Тураеву пришлось испытать боязнь и безволие такого рода, когда приятели затащили его в один из домов на Трубной, и там, увидев вблизи себя, наедине, чудовищное существо с пухлым загривком, отвислыми грудями и мокрым ртом, он испытал гадливость почти на грани потрясения и впал в совершенно, казалось бы, полную несостоятельность, из которой всё же это чудовище вывело прикосновением одного лишь пальца к определённом месту юношеского тела. Так неужели этот опыт, послуживший во благо печали и позора, не мог бы явиться спасительным действием в начинании добром и безгрешном? Но прежде всего нужно было убедиться, что в егере нет непоправимого телесного порока, с тем я и попросил его приспустить штаны и показать артиллерию, с помощью которой он и собирался рушить стену... Пушка была крупного калибра, и боезапасов Артюха к двадцати семи годам своим накопил изрядное количество, так что всё выглядело надёжно, и пришлось только дать ему необходимый совет. Добрый молодец

выслушал его и тут же, не дождавшись вечера, полетел на веслах, даже не соизволив посмотреть, в чём заключалась неисправность двигателя моторной лодки.

И я, таким образом, вдруг на несколько дней остался совершенно один на кордоне, как когда-то оставался на две недели в осаждённом половодьем доме вдвоём с Анисьей, испытал при этом состояние той наивысшей свободы, о которой мечтают все умствующие на этой земле замечательные люди. К концу второй недели подобной жизни и свободы мне стало совершенно ясно, что не эта свобода нужна была мне. Её достаточно содержалось в любой форме человеческого самоотчуждения, будь оно замкнуто в ощущении его смертности или заключено в раскалённую ненависть ко всему людскому миру. Даже просто лечь и умереть означало достижение подобной свободы, понимаемой как освобождение человека от всех и всяческих пут, привязывающих его к глупостям жизни. Не знаю, к каким ещё выводам привела бы обрётённая благодаря разливу внутренняя раскрепощённость, но мне было так радостно, сладко жить – и никогда ещё отчаяние моё не взмётывалось на такую высоту, пытаясь перехлестнуть через стену моей тюрьмы-жизни... И вдруг совершенно неожиданно прибыл, приплыл ко мне на плоскодонке брат Андрей.

Он к тому времени уже был женат, всерьёз занимался хозяйством, земской политикой, выдвинул себя в мировые судьи, но его забаллотировали, и он собирался в скором будущем вновь выставить себя кандидатом куда-то... Андрею невозможно было объяснить ни насчёт бесполезности высшей свободы, ни об отношениях с Анисьей: "свободу" старший брат считал столь же священной и неподвластной сомнениям, как и "прогресс", к тому и другому считал необходимым устремляться всему человечеству и каждому индивиду, так что никаких сомнений у Андрея насчёт этого не имелось. А что касается Анисьи -видел он в наметившемся сожительстве Николая с его кухаркой одно лишь барское сластоблудие и очень стыдился за брата, в первые минуты даже не смотрел на него, отводил в сторону глаза.

Приезд брата был той внезапной радостью, о которой ещё и не предполагаешь за минуту до встречи с нею, – ты живёшь и не знаешь ещё, что однажды, увидев знакомое родное лицо, знакомую улыбку, услышав голос брата, вдруг вскрикнешь и бросишься навстречу ему с такой отчаянной силою радости и ликования, словно он несёт тебе ни много ни мало как весть о твоём помиловании... Андрей подплыл к дому с той его стороны, которая была обращена к реке, привязал лодку к наличнику и влез в дом через подоконник, потому что ворота, залитые на полвысоты свои, были заперты и въехать во двор было невозможно. Когда его кудлатая, без шляпы, очкастая голова с козлиной бородкою появилась в окне, покачиваясь вверх-вниз, я, сидевший в своём кабинете над бумагами, так и подскочил от удивления и радости – вода в тот разлив стояла гораздо выше, она покрывала завалинки амбара и цоколь дома, полностью залила колодец вместе со срубом. (А теперь же она дошла только до крыльца, колодезный сруб виден четырёхугольником верхних колодин, над которым задумчиво склонился "журавль" с помятым цинковым ведром, висящим на конце длинного шеста.)

Когда приехал Андрей, я отослал на кухню Анисью (егерь же сам исчез на три дня, навёрстывая, должно быть, упущенное), и мне с братом никто не мешал разговаривать, предаваться радостям общения на этом чудесном белом свете, посреди бескрайнего весеннего разлива, затопившего леса и доли, в близком присутствии воды, стоящей в погребке под досками пола. Наш разговор, как бы обрамлённый многодневным моим молчанием и странный уже тем, что звучит, хотя его попросту не было *никогда*, – разговор этот наполняет собою всё пространство разлива, которое только доступно моему воображению.

Ты понимаешь ли, говорил я брату, твои усилия на земском поприще, деятельный дворянский либерализм и учительство твоей жены не видны, равно как и мои отшельнические экзерсисы, – совершенно неразличимы на той цветной фотографии, которую заснял с искусственного спутника один мой знакомый космонавт. На этой фотографии гористая земная поверхность выглядит как окаменевшая шкура какого-то доисторического животного, или можно подумать, что это шероховатая поверхность

плоского камня, бурого с синеватыми размывами, кое-где тронутого тёмными извилинами трещин. Эти трещины – реки, а некие расплывчатые кляксы по камню – может, так выглядит материальный след наших страстей и надежд, противоречий и взаимных несовместимостей в убеждениях? О боже, Андрей, – всего лишь голубовато-зеленоватый крап на бугорчатой растресканной шкуре окаменевшего носорога, невнятной формы пятна... Наше мышление, философские сложности, понятие "дэ" и понятие "дао", мир как воля и представление, непротивление злу насилеием, отчуждение гностиков и экзистенциалистов – всего-навсего отсутствие наше в чём бы то ни было, когда бы то ни было и где бы то ни было, Андрюша, – а вместе с тем это поистине сумасшедшее желание быть везде, всюду и всегда!

Брат Андрей, как славно, что ты приплыл ко мне на лодке, появился в день моего рождения с подарком – а ведь я-то сам даже и не вспомнил об этом замечательном дне в году (в котором каждый день замечателен чьим-нибудь днём рождения), – и наконец-то мы всласть поговорим друг с другом, благо, что егерь уехал к своей Ларисе и застрял там, а рыжую Анисью я отослал на кухню. Поговорим по-братски о том, о чём ни с кем другим поговорить невозможно, я буду спрашивать у тебя, а ты можешь не отвечать, тебе-то не обязательно отвечать, ибо не нужна мне твоя ложь, и ты это также знаешь.

Братец, что нам делать, если оказывается, что нас с тобою не существует, несмотря на то, что мы вот сидим с тобою рядышком и можем потрогать друг друга; и в печке полыхают берёзовые дрова, за которыми слазила, рискуя здоровьем, Анисья по ледяной воде к дровяному сараю, принесла несколько охапок из всплывшей к потолку поленицы – так не существует уже ни этих берёзовых дров; ни сараев дровяных, ни самой Анисьи, бредущей через двор по самый пах в воде, держа в одной руке охапку поленьев, другую высоко поднимая подол юбки.

Плещется кругом вода половодья – какого года от р. Христова это половодье, неважно, и неизвестно, для чего происходит эта наша горячая беседа, да и то неизвестно, происходит ли она – потому что на Колином Доме теперь стоит не тот высокий и просторный барский дом, похожий на фенимор-куперовскую фортецию, и не та приземистая изба в три окна, которую срубил на месте отчего дома Степан Тураев, а казённого образца бревенчатый дом, какой можно увидеть в любом совхозе средней руки (углы рублены "в лапу", тесовый цоколь; сени и веранда с вертикальной, "в разбежку", обшивкою; высокое некрашеное крыльцо). Но пройдёт совсем немного времени -лет тридцать, сорок, – и на этом месте будет что-то совсем иное: что? И мой дух, брат Андрей Николаевич, тоскует и томится в духе внука моего Глеба Степановича, который сам тоскует и томится в духе деда своего Николая Николаевича – поговорим, родной, о том, что же страшного в допущении того, что человеческая попытка познания мира и себя – полностью не удалась? Может быть, не единичному человеку будет дана такая возможность, и только тогда самопознание не приведёт к самоуничтожению? Человек, мой брат Андрей Николаевич, есть существо глубоко трагичное и несчастное потому лишь, что всё, что он узнаёт о мире вещей и пространств, оказывается направленным против него самого.

Что твоё земство, брат, что твой мировой суд? И вся логика твоих канцелярских бумаг?.. На самом-то деле мир движется вовсе по иной логике, чем та, которую открыли для себя человеки! Они ослепили себя посредством этой логики, как малые дети ослепляют себя с помощью наточенного карандаша, протыкая себе зрачок его острием. Боже мой, Андрей! Со всей твоей положительностью, старательностью, силой воли и постоянством в убеждениях – о, что бы случилось с тобою, мой любимый братец, если бы при своей жизни ты узнал про Освенцим и Хиросиму?

– Дела земства, – говорил Андрей, с заметной жадностью поглощая чай с черничным вареньем и жуя чёрствыи Анисьины пироги с капустой, – являются практическими делами для претворения моих взглядов в жизнь. А вот что высидишь ты, Николаша, спрятавшись на этом необитаемом острове, я не знаю. – И, широко разинув рот, сунул туда кусок пирога.

– Я тоже не знал, брат, – отвечал Николай, – но вот пришло половодье, я посидел тут один посреди разлива и теперь могу сказать: кое-что я высидел, Андрюша.

– Что же, скажи на милость? – с доброй улыбкой повернулся тот к брату лицом, оторвавшись от кружки с чаем. – Небось опять развивал мир идей по Платону? Или о саморазвивающемся духе по Гегелю размышлял? Или китайщину разводил?

– А стало мне совершенно ясно, Андрюшенька, что каждый из нас всего лишь сосуд, в который вложено много разных глупостей, вот вроде твоего земства, скажем, – ответил младший брат и тут в нетерпении скрытого порыва вскочил с места и стал ходить по комнате; бекешка его слетела с плеч и осталась лежать на кресле.

– Позволь спросить тогда, а что же по-твоему не глупости? – снова уткнувшись носом в кружку с чаем, спокойно молвил Андрей.

– "Не глупостями", как ты выражаешься, являются сами сосуды, то есть мы, – отвечал Николай брату и вдруг поразился ясности и стройности раскрывшейся перед ним картины. – Каждый из нас – это плоть и кровь нашего Отца-леса, того самого Леса, который и сейчас стоит вокруг нас. Он первым из живых поднялся на земле – единым всеземным нашим Лесом. И если мысленно проследить цепь развития – то каждый из нас в прошлом был деревом, и поэтому мы носим в себе его законы и нравственность.

– Какие же это? – спрашивал Андрей, усталыми и несчастными глазами глядя на брата. – Нельзя ли разъяснить поконкретней преамбулу?

– А все те нравственные устремления и понятие справедливости, которые с незапамятных времён уже определены людьми во всех уголках человечества на всех языках – от эскимосского до китайского и английского.

– Они, эти понятия, ты считаешь, своим происхождением обязаны деревьям?

– А кому же? Не зверям же! От зверей мы не могли бы получить в наследство заповедей добра. А вот деревья, Андрюша, изначально были добры и таковы остались. Они были созданы такими, чтобы не могли нападать на другие существа. И вся их жизнь претворяется в огромное количество плодов, которые полезны этим другим существам. Что там жизнь – даже смерть дерева приносит огромную пользу и добро для других тварей. А деревянные дома и строения обладают лучшими качествами и благотворны для тех, кто поселяется в них... Вот они какие, деревья, – и разве не их нравственный закон ты исповедуешь, день и ночь бормоча себе о необходимости общественного служения?

– По-твоему выходит, Николаша, что даже наши гражданственные идеалы исходят от твоих берёзок и сосёнок? – Андрей Николаевич отставил кружку с чаем в сторону и беззвучно рассмеялся. – Полно тебе, Коля, или ты шутить изволишь?

– Берёзки и сосенки, Андрюша, подсказывают не только это, но и многое другое, не менее значительное, чем идеал гражданственности. Например, они определили ту формулу личной свободы, которую мог бы перенять для себя и человек, будь он столь же нравственно совершенным, как дерево.

– Приятно, очень приятно такое слышать; но ещё приятнее было бы, брат, услышать ту самую формулу свободы, которую открыли тебе берёзки и липки.

– Так слушай! Свободу ищет тот, кто её потерял, у которого её отняли, не так ли? Таким образом, подспудная и жестокая тоска по ней является следствием какой-то несправедливости, учинённой по отношению к тому, кто это чувствует... Такова подноготная любви человеком свободы: это желание избавиться от крупнейшей неприятности, связанной с той или иной формой неволи. Ну а что у дерева? Дерево всё приемлет по-другому. Оно никогда не чувствует себя *принужденным*, действующим поневоле. Оно радо, что выросло именно на этом месте и не может предположить лучшей доли, чем та, которая ему выпала – потому что ей изначально не дано возможности передвинуться самостоятельно хотя бы на пядь пространства. Эта фатальная невозможность перемены судьбы, доли, и есть то естественное начало, Андрюша, от которого строится чувство свободы дерева. Оно считает, что свобода – это навечно оставаться на одном месте. Его свобода – в абсолютном согласии со своей долей.

– Парадоксы, Коля! И к тому же не надо никого убеждать, что дерево способно размышлять, подобно человеку.

– Но разве ты не чувствуешь, что всё называемое твоими размышлениями приходит к тебе откуда-то и касается тебя, словно дуновением ветра? Разве тебе не приходило в голову, что всё, что возникает в ней в качестве мысли, уже существовало где-то? Что закон, который открыл Архимед, уже был определён где-то и до открытия Архимеда? Что всё разумное, связанное с человеком и выявляемое им, уже наличествовало само по себе и до постижения человеком?.. И ты не допускаешь возможности разумного начала у дерева – на каком основании, Андрей? Неужели на том, что ты не чувствуешь, не понимаешь, не слышишь языка деревьев, Леса?

– Да, именно на том основании: не слышу, не чувствую и не понимаю того, чего нет и нельзя понимать.

– А если я понимаю, что ты на это скажешь?

– Спрошу, что именно понимаешь?

– Понимаю их неспешную речь. Распознаю их разные характеры. Учусь их философии. Восхищаюсь их бесстрашию, благородству и нравственности, пока ещё недостижимой для человека.

– Эвон куда хватил, брат! Поэтические вольности и фантазии далеко тебя уведут. Вот уже поставил ты дерево над человеком, а завтра животное, зверя, скотину возвысишь над нами.

– Зверя – нет! Андрей, не смешивай одно с другим. Зверь обречён, может быть, вместе с грешным человеком. И сгниёт в смраде. А ты ведь слышал, что, когда умирают святые, они не пахнут. Совсем так же, как и деревья! Деревья и есть святые.

– Выходит, по-твоему, твои святые одни останутся жить, а мы, грешные, вместе со скотом неразумным исчезнем с лица земли?

– Вполне возможно, брат! При том направлении развития, какое выбрало человечество, оно, Андрей, вполне способно уничтожить и себя, и скотов своих, и все свои святые рощи и леса.

– И ты берёшься так вот запросто, одним махом определить суть избранного человечеством пути?

– Да, берусь. Это несложно. Мы выбрали путь зверей, Андрюша. Остальное – только в усложнении наших действий. Наш мир человеческий погряз на обслуживании своего звериного начала. И тут уж всё величие наше оборачивается величием наших грандиозных злодеяний, никак не сравнимых с жестокостью даже самых свирепых зверей. А вся сила и гений разума при таком исходе превращается в силу нашего самоуничтожения и в гений неодолимого зла, мучительства и тоски. Называется всё это прогрессом.

– Очень мрачна твоя картина, брат. Не знаю, о каких великих злодеяниях ты говоришь и что значит твоё пророческое замечание насчёт самоуничтожения... Всё темно в твоей проповеди, нерационально и фантастично до болезненности. Столь смело критикуя общее направление нашего прогресса, что бы ты мог предложить альтернативой, Коляня?

– Я мог бы рекомендовать путь деревьев. Только философия Леса способна помочь человечеству.

– И что же эта философия? В чём она заключается? Неужели в проповеди абсолютной пассивности? Как это ты говорил: полное согласие со своим положением, даже рабским...

– Да! В абсолютной пассивности и полном отказе от действий при необходимости проявить агрессивность. И в огромной самоотдаче внутренней работы, направленной целиком на то, чтобы всю жизненную и творческую энергию отдать во исполнение единого закона Леса.

– Что за единый закон?

– Щедрость! Ты посмотри только, как щедры деревья, как нерасчётливо щедры! Сколько сотен пудов яблок родит за свою жизнь яблоня! А сама-то что весит? А неплодородящие деревья возьми! Сколько мощной древесины собирают они в своих стволах и ветвях! Какая масса самого ценного жизненного материала накапливается их многолетней работой! И всё ведь это не для себя Лес накапливает.

- А для кого, неужели для нас?
- Вот именно для нас!
- Чем же объяснить столь бескорыстную филантропию леса, дорогой Коля?
- А чем можно объяснить старания отца, который накапливает имущество для сына?
- И кто отец, кто сын?
- Лес отец, Андрюша. А мы, Человечество, – его сын.
- Очень поэтично, но и только. Убедительности научной не хватает для твоей натурфилософской поэзии, Коля.

– Тебе обязательно нужна научная выговоренность, сухое Аристотелево построение, софизмы. А без этого нельзя? Если истинная сущность даже сама лезет тебе в глаза? Неужели ты не можешь убедиться без логического подхода, ну просто глядя на то, что происходит вокруг?

– В чём убедиться?

– Да ты только зайдешь в лес и посмотри, как живут деревья, – и сразу поймешь, что надо делать, чтобы и нам добиться социальной гармонии.

– Интересно! Объясни. Вот это уж действительно интересно.

– Опять объяснить! А ты сам посмотри. У дерева – полное согласие с тем, что выпало на его долю. Оно строит себя, свою жизнь полностью в соответствии с теми условиями, которые для неё предназначены. На свободе сосна растёт широкой, могучей. В красном бору – высокой, стройной. В густой чащобе – мелкою, тонкою, жердеватую до старости. Дерево становится таким, какое оно есть, в полном соответствии с внешними обстоятельствами. И оно не терзается завистью или злобой, глядя на соседей. Оно не воевать с ними желает, а соответствовать друг другу. И в этом желании и качестве они все до одного одинаковы и равны. Вот в чём социальная философия Леса. Поэтому Лес всегда полон жизни, могущества, богатства, он всегда счастлив, Андрюша, и ему жить бесконечно. Ведь каждое дерево счастливо, ты можешь такое представить? И хилая ёлочка, и могучий дуб, и карликовая берёзка где-нибудь в северных тундрах. И все они вполне счастливы, хотя нет у них своих князей и правителей. А можешь ли ты сказать, что каждый человек на земле так же счастлив?

– Я думаю, Коля, что привлекательные рассуждения твои порождены не серьёзной работой разума, а праздной игрой ума... – задумчиво потупившись, неохотно выговорил Андрей Николаевич. – Это от одиночества... Ведь ты исключаяешь такую очевидность, как внутривидовая борьба растений.

– Боже мой, Андрей! Неужели нам с тобою так никогда и не понять друг друга? Ты только внимательно присмотришься же к каждому дереву леса – неужели ты не видишь, как оно счастливо?

– Что же, выходит, что все твои деревья, какие есть на свете, совершенно счастливы? – криво усмехнувшись, спросил старший брат, а затем вдруг оцепенело уставился на развёрнутую мехом наружу бекешу, брошенную в кресле, похожую на лохматую собаку.

Я разговаривал с ним, горячился и спорил, осторожно и трезвенько думая о том, где же теперь мой славный егерь, не поглотил ли его разлив вместе с железной лодкой-моторкой и что же мне теперь делать, отделённому от всего мира великим половодьем, заточенному на этом кордоне-острове. Мой спор с братом был для меня привычным, я всегда любил подразнить Андрея, разными парадоксами пытаюсь расшатать его устойчивые умопостроения; в нём и в егере Власьева было одно и то же качество, которого не доставало мне, – то были люди, чья духовная жизнь и внешняя, физическая, совершенно совпадали. Оба они были всегда в делах, а любое дело было для них и выражением их духовности, которой, как мне казалось, всё же у них не доставало для того, чтобы ощутить эту единственную нашу жизнь во всей её глубине и полноте.

Андрей Николаевич, как и все дети Тураевы, вернулся после всех университетов и факультетов на землю отческого имения и, получив при разделе усадьбу и пахотные земли, ретиво принялся за хозяйствование. Но, подобно егерю Артёму Власьеву, ему не хватало в

доме хозяйки, и он принялся искать её с тем же неромантическим деловитым усердием, как и Артём, который, не зная ещё, кого выберет в невесты, уже заранее договорился с матерью, что та выделит для него при женитьбе корову, а себе возьмёт тёлку от неё. Возможно, подобный ретивый подход к женитьбе и не приводит к особенному трепету и благоуханию брачных чувств, но с жёнами и тот и другой особенно не мудрил, удовлетворился первую же попавшей к случаю невестой, даже не спрашивая у себя, красива она или не красива, нравится ему или не нравится. Тураеву Андрею досталась довольно засидевшаяся дочь богатых соседей, помещиков Шубниковых, и она, Тамара Евгеньевна, избрала трудовую жизнь, стала сельской учительницей, после замужества переехала в Тураевку и продолжала учительствовать в местной приходской школе, где и проработала до самой революции. Она была счастлива тем, что муж полностью разделяет её взгляды на жизнь, и хотя бог не дал ей детей, а страсть к мужу так и не пробилась у неё сквозь её целомудренную стыдливость и его суховатую сдержанность, Тамара Евгеньевна считала, что прожила с ним хорошую жизнь. Другое дело у Ларисы, жены егеря Власьева, – она за два года родила ему двоих детей, а потом, год спустя, однажды задержавшись по летнему времени в деревне, вдруг загуляла и запила с известным вдовцом по прозвищу Жупяк и на кордон больше не вернулась. Детей малых вскоре перевезли к ней в деревню, а Артюха остался на кордоне с коровой, овцами и гнедой кобылой Лыской, для которых надо было в одиночестве заготавливать сено. И, расценивая его судьбу по заботам этого тяжкого для Артюхи сенокоса (когда некому было даже поворошить сохнущую траву в рядках), можно сказать, что ошибкой была его женитьба, – но совсем по-другому представляется, если посмотреть на дело, так сказать, с высот тех дней половодья, когда я был заперт на Колином Доме разливом, словно Робинзон на необитаемом острове.

В дни весеннего разлива, оставшись один на том месте, где когда-то стоял барский дом, затем изба лесника, а после – стандартный казённый домик для егеря, Глеб Тураев неожиданно обрёл способность как бы соединиться с сознанием окружающего Леса, и подобное слияние совершенно перестроило его обычное соотношение с миром окружающим и дало ему возможность быть наконец и предкам своим, и потомкам – то есть быть тем единым родовым существом, которое рождается и умирает, рождается и умирает, поступает, говорит, думает как-то по-своему, сообразно веянию времени, но всегда, во всяком воплощении и проявлении своём, испытывает какое-то своё особенное, единственное в своём роде главное чувство жизни.

Ну и коли на самом деле иллюзорно всё то, что наполняет меня, и я, стало быть, не существую, – то Лес-то существует, и деревья на земле высятся! – успокаивал себя Глеб Тураев, желая видеть целым и существующим тысячелетний Лес, даже несмотря на то, что в нём могло бы никогда не появиться его субъективное "я" – и это в противоположность Николаю Тураеву, который порою ясно ощущал своё тайное присутствие во всём, что происходит в Лесу, и потому считал, что Лес этот не мог бы состояться без его присутствия и участия.

Лес раскрывал свою тайну того, что он всюду, в минуты жизни особенные – Николаю Тураеву возле длинной стены Баташовского подворья в Гусе Железном, Степану во время ночной разведки, когда он на плаву, обняв бревно, перебирался через реку, а Глеб Тураев вдруг увидел, что он находится в глухой чащобе, со всех сторон окружённый тесным частоколом деревьев, – стоя посреди пустынной платформы на станции Кунцево в Москве.

Николай Николаевич, живя постоянно в лесу, внешне совершенно переменялся, вряд ли кто-нибудь из прежних сослуживцев и знакомых узнал бы его, как не узнала и Вера Кузьминична Козулина, в девичестве Ходарева, встретившись с ним возле мрачного дворца купцов Баташовых. Он смотрелся совершенно мужиком, был в армяке и безобразно стоптанных сапогах, облысевшую голову его накрывал коричневый засаленный картуз, и на давно не бритом лице Николая Николаевича с окончательно утвердилось то выражение рассеянного равнодушия, с которым он и прожил до конца своих дней и которое передалось его сыну Степану и одному из внуков – Глебу. У последнего это равнодушие задумчивости

носило иронический оттенок, словно Глеб Степанович был глубоко погружён в свои мысли, но то самое, о чём он думал, было не очень серьёзного порядка, хотя и забавляло властителя собственных дум.

Но он всегда помнил, как смотрел, бывало, на него отец, придя из леса или завершая обед, – насмешливыми, равнодушными синими глазами, словно знал и всегда думал о том, что отец и сын – это как небо и земля, как огонь и дым – хоть и вместе вроде бы, а навеки чужды и несовместимы. И существовала, конечно, эта особенность тураевская быть погружённым в собственные мысли, весьма далёкие от насущной сиюминутности и реального момента общения с кем-нибудь, – но у каждого из этих троих уход мысленный, отток души в нереальность был окрашен своим чувством – неповторимым и одиноким навечно. Степан Николаевич, лесник, в прошлом финансовый работник мелкого ранга, большей частью своих уходов от действительности оказывался вновь на той не исчезающей в забвении точке непостижимого бытия, что зовётся человеческой "войной". И, глядя холодноватыми, отсутствующими глазами на сына, он вновь был в ином времени – переправлялся через ночную реку.

Оружие и боевые припасы, вещмешок за спиной, намоченная одежда и залитые водою сапоги были как бы вескими и многочисленными доводами к тому, что широкую и быструю реку вплавь невозможно пересечь, даже одной рукою держась за бревно – ибо никаких сил другой руки, загребавшей воду, чтобы плыть направленно, не хватало на это необходимое продвижение. Его тело, испуганно ощущающее роковой провал водной глубины под собою, сжалось в комочек, как бы постигнув всё своё малое значение в столкновении столь могучих сил: войны и ночи, течения реки и вражды держав, среди тысяч жестоких смертей вокруг и звёздных вспышек в небе, мигающих, словно огоньки далёких выстрелов. Где-то на середине реки, наверное, бревно вывернулось, крутнувшись в воде, и сразу же отскочило недостижимо далеко от него, пропало в темноте, и Степан мгновенно ушёл с головою в воду, стоя, с запрокинутым вверх лицом, – потонул до самого дна и упёрся в него ногами. Но тотчас же осознал, что погрузился в реку не очень глубоко, и, собрав все силы, мощно вспрыгнул назад, вверх, и выпрыгнул из воды по самую грудь, успел хватануть воздуха, и вновь колом ушёл в чёрную невидимую глубину, и опять выпрыгнул в следующее мгновение. Так, высокими отчаянными прыжками, одновременно сносимый быстрым течением, Степан вскоре выбрался на перекат, где воды стало ему по шею. Река сносила его дальше, увлекая своим невидимым ходом, взбулькивая у самого лица плескоструйными мелкими волнами, но следующий миг показал, что дно уходит ниже, и Степан упёрся изо всех сил, противясь течению, остановился и замер на месте, боясь шелохнуться. Он вдыхал всей грудью тёмный ночной воздух, наполненный бегущими ночными тучами и вспыхивающими огоньками звёзд, – стоял и не мог решиться сделать хотя бы шаг в любом направлении окружавшей его тьмы. Но холодная толкающая вода и великая решимость жить понуждали его попытаться всё же идти куда-то, не стоять на месте, пока есть возможность действовать. Однако страх тела был сильнее и разума, и всей его воли – Степан стоял и, стараясь поднять выше подбородок над водою, неустойчиво пошатывался на месте.

И тут он увидел исполинские стволы уходящих вершинами к небу деревьев великого Леса, и одновременно открылось ему, что его маленькая, сейчас близкая к гибели жизнь есть всего лишь частичка и странная особинка жизни этого могущественного, повсюду произрастающего Леса. И стоило ему увидеть это, как исчез страх гибели, и Степан шагнул вперёд, нашаривая под водою дорогу к тому, что в данную минуту было для него спасением какой-то испуганной крошечной жизни, а продолжением бытия одного из деревьев великого Леса. Он и почувствовал себя высоким, как это дерево, и неподвластным воде; шагая в направлении, выбранном нерассудочной волей, он вскоре вышел на мель переката, где воды ему стало по колени. И тут он почувствовал, что в темноте ночи лицо его залито не водою, а тёплыми слезами и весь он дрожит под мокрой своей одеждой, и он подумал, что слёзы и содрогание тела есть то последнее и ничего не значащее, в чём проявляется его человеческая отдельность.

И точно так же подумал отец его Николай Николаевич, стоя в одиночестве у стены Баташовского имения-замка. Содрогания и конвульсии мучительной душевной агонии да безысходные слёзы позора – вот что убедительнее всего определяют сущность человеческой отдельности, думал Николай Николаевич, стоя на дороге под высокой кирпичной стеною там, где кончалась падающая от неё тень. Перед ним тянулась косо уходящая в перспективу плоскость этой беленой стены, и пустынная дорожка, протоптанная в травяном покрове земли, розовато светилась под высоким солнцем. Этой дорогою только что прошла Вера Кузьминичпа, под кисейным зонтиком, свежая и благоухающая, в цветущем торжестве своей женской красоты – и он навстречу ей попался в смазных сапогах, в испятанном дёгтем армяке, с небритым старым лицом и с окровавленными губами... Возможно, Вера Кузьминична гостила у хозяйки имения Баташовой и перед обедом вышла прогуляться вокруг стен усадьбы – она и внимания не обратила на какого-то приземистого смиренного мужика, который остановился, сойдя с дорожки в сторону, и, одной рукою держась за щеку, стащил другою с облысевшей головы картуз. Милостиво улыбнувшись, Вера Кузьминична прошла мимо, двумя пальцами прихватив юбку и чуть ускорив шаг, отчего-то неосознанно волнуясь; и, уже миновав место встречи, она повращала раскрытым зонтиком, положив его тросточку на плечо, как бы этим вращением выражая свою иронию и досаду по поводу собственного нелепого волнения.

Такова была его вторая встреча с возлюбленной женщиной, когда он уже давным-давно представлял её смутной фигурой из какой-то чужой истории, романной героиней из произведения французского сочинителя, имя которого безнадежно стёрлось в памяти... Он выбрался в Гусь Железный, чтобы подлечить зубы, невероятно мучившие его в последнее время, и равнодушно подсчитал, что не покидал леса около шести лет кряду; за это время кончилось столетие старое, началось новое. Он оставил лошадь с бричкой у знакомого лесничего, а сам отправился пешком к жиду-зубодёру; заставил того дёрнуть ему все четыре больших зуба за один приём и с набитым кровавой корпией ртом шёл назад к дому лесничего, когда вдаль увидел женщину с зонтиком... Тут он и почувствовал возникающий ниоткуда, но всё пространство вокруг наполняющий многострунный гул. Женщина приближалась к нему в нарастании этого гула, и Николай Тураев как бы глох и одновременно прозревал – с каждым мгновением сильнее и отчётливее *чувствуя*, что это она, Вера Ходарева, из чудесного затрёпанного романа, который он потерял где-то в меблированных комнатах Москвы... Когда она подошла близко, он, перестав слышать окружающий мир, соступил с дорожки в траву и ничего не мог сказать, исходя кровавой слюною, пропитавшей тампоны во рту; снял фуражку и только поклонился, плохо соображая, оглохнув от невероятно возросшего гула, которым вдруг оказался переполнен мир вокруг. Это возник шум вселенского Леса, который был везде и всюду, Леса, в котором и рождён каждый человек, деревцем которого и является каждая человеческая душа. И она лучше всего, убедительнее всего проявляет себя в минуту мучительной агонии или самых горьких слёз человека. Но звуки, издаваемые человеком, тонут в широком гуле Отца-Леса.

Этот звук, напоминающий шум деятельности огромного города, усиленный во много раз, мог наплывать и на Тураева Глеба, но не извне, по воздуху, а из глубин четвёртого измерения, которое он ощущал как пространство собственного сознания. Там и рос, возвышался этот исполинский лес со столь огромными деревьями, каких не бывает на Земле, – на одной ветке такого дерева уместились бы все жители такого города-гиганта, как Москва, если бы они могли забраться по стволу, подобно муравьям, и разойтись по дорожкам крупных и мелких ветвей. Косо направленные в неисповедимые провалы небесных пространств, стволы деревьев призрачно виднелись Глебу в глубинах яркого дневного и во мраке ночного неба. Он сравнивал этот невероятный Лес с теми земными лесами, которые знал, где бывал, и в сердце его возникала саднящая жалость к карликовому населению берёзовых рощ, сосновых боров, сибирской и уссурийской тайги, где приходилось ему бывать. Реальные наземные леса представлялись ему уменьшенными до крохотности копиями вселенского леса, шумевшего своей кроной в межзвёздных просторах. И Глеб

Тураев полагал, что человечество на Земле выпало именно из того Леса, как птенцы выпадают из гнезда. Также он думал – подобно своему деду, – что писк, издаваемый этими выпавшими птенцами, неслышно тонет в величавом гуле Большого Леса.

Николай Николаевич сгорал от стыда, стоя там, у Баташовского имения под стеною, и вспоминая о том, что всего лишь за минуту до волнующей встречи с Верой Ходаревой (теперь Козулиной) он высморкнулся с помощью пальцев и вытер руку о полу армяка, ибо уже давно утратил привычку пользоваться носовым платком: жизнь в лесу философом да рядом с такой женщиной, как княжовская Анисья, потребовала многих опрощений в житейском обиходе. Итак, он корчился от стыда, мысленно сравнивая себя, провонявшего дёгтем и лошадиным потом, облысевшего, одичавшего, прошлой ночью спавшего в пуховике, обняв толстую Анисью, породившего с нею уже трёх детей -сравнивая с *тою*, расцветшей и выхоленной, с округлой и стройной белой шеей, со свежими молодыми щёками и молодой улыбкой в очах... Корчи и гримасы, исказившие небритое лицо Николая Тураева, рот которого был набит окровавленными комками корпии, в точности отразились на лице его внука, который в поздний час стоял на пустынной платформе станции Кунцево и ждал электричку.

Глеб сгорал от другого стыда, – но обжигающее пламя его вызывало на лице внука такие же судорожные дёргания и корчи, как и у деда. И если дед думал (желая в ожесточённости своей мысли найти облегчение), что его теперешняя агония и трепет муки есть самое истинное проявление и доказательство существования его "я", пресловутого ЭГО, то внук дополнял эту мысль выводом: и чтобы во веки веков не было этой муки, то есть противоестественности и незаконности, во веки веков не должно быть носителя её, до которого никому дела нет, даже автору законности или беззакония миропорядка.

И, стоя тёмной апрельской ночью на платформе (к кому-то ездил в Кунцево зачем-то...), Глеб Тураев внезапно озарился мыслью, мрачной, как отблеск печей ада: да ведь именно в этой идее отрицания себя и заложено зерно самоубийства человека! Нежелание позорных мук, ничем не искупаемых, естественным образом переходит в нежелание бытия, в нежелание души, в нежелание бессмысленно и жестоко поруганного ЭГО, в нежелание сознания и самого понятия справедливости, в отрицание всякой истины, другое название которому пустота и тьма. На Земле с апломбом разглагольствует и самодовольно утверждает здравый смысл и международный оптимизм – но никем не учитываемая сумма душ, не желающих себя, нарастает безудержно и страшно, поэтому цивилизация эта сможет убедить любого стороннего внеземного наблюдателя, что мир человеческий старательно готовится к самоубийству.

Такая мысль не возникала в голове его деда и не могла возникнуть у отца, потому что его дед Николай Тураев, при всём своём критицизме по отношению к западной культуре, не мог даже предположить, что логика её развития и есть логика неукоснительного самоистребления. А Степан Тураев, крадучись выходя из реки, в которой чуть не утонул вместе со своим автоматом ППШ, гранатами и запасными дисками (скоро он, смертельно утомлённый, уснёт в степи и попадёт в плен), был весь устремлён на преодоление сил, что желали истребить его самого, – тут уж было не до изначальной тяги к самоубийству, в чём его сын Глеб подозревал себя в первую очередь, а затем и остальных людей реально существующего человеческого мира.

Ибо чем же, как не инстинктом самоуничтожения, были вызваны те неисчислимы усилия всей популяции человечества на протяжении стольких веков всей истории, – усилия и действия, которые привели эту популяцию к состоянию "предпоследнего мгновения"? И в этом состоянии ему надлежит находиться до тех пор, пока не наступит истинно последнее. Оно, наверное, ни на что не похоже... Или, может быть, всё-таки похоже на банальную тоску отдельного человека перед моментом его окончательного исчезновения из жизни? Если так, то совсем не страшно.

Но всё же есть, наверное, различие. Когда спиливают или подрубают дерево, оно сотрясается мелкой дрожью – не столько от боли и страха, но, главным образом, происходит

дрожь от торопливых усилий дриадской души, стремящейся скорее перевести в корни, под землю, в глубокое укрытие всю свою большую раскидистую сущность. И когда обречённое дерево с тяжким грохотом и треском валится на землю – в миг, когда круглая рана его подножия отделяется от пня и ствол с резким подскоком навсегда исчезает как бы уже в другом пространстве (хотя на самом деле пространство всё то же -это всё равно что человеческий мертвец, зарытый в землю, который находится вроде бы на том же месте, где когда-то гулял живым, до захоронения своего, но, однако, уже как бы вовсе в ином измерении) – в момент разрыва пуповины, соединяющей дерево и землю, происходит рождение нового существа, вначале призрачного, правда, но со временем вполне конкретного.

Вы произошли в мире человеком только потому, что где-то когда-то пало дерево на землю. Вы прямой потомок какого-нибудь жившего дерева, ведь миг его древесной гибели стал мгновением вашего появления на свет, но вы этого не заметили. Вы продолжаете существование родительского дерева, стараясь развивать в своей реальности *его* нравственные законы, идеалы и добродетели, а вам кажется, что они ваши собственные, вами придуманные. И дьявол гордыни подстерегает вас. Но когда, побеждённый им, и вы в свою очередь будете повергнуты на землю, в ваших глазах мелькнет то, что было последним видением дриады, вцепившейся в ветви падающего дерева. Вы увидите далеко внизу под собою маленький жалкий пенёк, крохотный кружок, оставшийся на земле вместо вас – но в светлой круглой ране его, смоченной прозрачным соком, вы угадаете мгновенный взгляд прощания, содержащий в себе великое успокоение и добро.

Но совсем другое рождается в связи с тем большим пожаром, в котором надлежит погибнуть всему лесному племени на Земле. Этого ощущения вы не в силах постичь и потому, пытаясь представить подобное, вы мгновенно утомляетесь и начинаете грубо и дёрганно зевать... Разумеется, речь идёт не бог весть о чём – всего лишь о том, что на одной крошечной планете сгорят, исчезнут зелёные деревья... Ну не все деревья исчезнут в один миг – ещё останутся немногие – раненые, искореженные, обожжённые, заражённые, и они какое-то время будут жить и даже цвести и давать сочные плоды. Но это будут плоды отравленные, обречённые, пропитанные могучим ядом апокалипсиса, тем самым, в котором содержатся особые вещества, способные открыть сознанию путь к постижению того непостижимого, что условно можно назвать покоем родовой смерти – Смертью великого Леса. Постижение его затруднено тем, что требуется гибель и невозвратность действительно всего Рода деревьев, лишь после этого наступит то состояние покоя, которое и нужно постичь любознательному сознанию.

Глеб Тураев расхаживал взад-вперёд по безлюдной платформе, уже совершенно успокоенный, словно и впрямь испробовал могущественного яду; он уже думал о тех, у кого в доме так поздно задержался, о своих друзьях; это была молодая и очень дружная чета, общая цель жизни которой определялась настолько ясно и чётко, что её можно было отлить в металле и носить на груди в виде медали с надписью: "Хочу!" На оборотной стороне могло быть изображение той вещи, которой "хочу": машины, нарядной дачи, дублёнки или фирменного костюма для горнолыжного спорта, книги модного писателя, некоторой завистливой популярности в кругу знакомых... Неужели и в этих людях, супругах Пискуновых, работает всё тот же сокрушительный инстинкт самоуничтожения? Нет, быть этого не может. Они так любят свою жизнь – им хотелось бы её растянуть и напаять на вешки нескольких столетий. Пискуновы так красивы, свежи и напитаны жизненной энергией, что, наслаждаясь разумно и аккуратно только друг другом и никого не подпуская к своему наслаждению, могли бы и впрямь растянуть прекрасное существование на века. Но неужели не срабатывает их инстинкт? Или спирохета самоубийства сидит вовсе не в таких, как супруги Пискуновы? И именно в себе самом надо мне искать единственную причину будущего самоубийства человечества?

Разве до этого дело дойдёт, удивлённо вопрошал Николай Тураев, почти уже дошло, отвечал ему внук, вот к чему привело твоё самоуглублённое определение абсолютного ЭГО.

Но мне хотелось найти если не оправдание, то хотя бы объяснение беспредельным мукам и вдиночеству живущего человека, я ощущал эти муки и это одиночество, значит, я имею право исследовать их! И я пришёл к естественному выводу, что неповторимость и непередаваемость этих мук и есть самое точное доказательство того, что существует некое "я", которое абсолютно в своей странной уникальности, бормотал Николай Николаевич, с потупленной головою стоя у стены Баташовского имения, словно нищий под окнами чужого дома. "Так в чём же проявляется эта уникальная странность, – усмешливо вопрошал Глеб Тураев, медленно расхаживая – и тоже с потупленной головою, также заложив руки за спину, – по кунцевской платформе, – да ещё и абсолютная (что за словесная белиберда: "абсолютная странность"?)"

Абсолютная странность в том, что в каждом нашем варианте выявляются неповторимые соотношения: "я" и Господь Бог – "я" и никакого Господа; "я" и беспредельное мироздание – "я" и никакой беспредельности, а просто тесная кабинка с унитазом и надпись на табличке: Я ОДИНОЧЕСТВО. Но в чём же, в чём неповторимость? – напирал внук. Разве всё это так уж и неповторимо? Никому и ничему ты не нужен со своим ЭГО, вот в чём неповторимость, – был ответ, – то есть сколько существует этих "я", столько раз и не нужен; и каждый раз ненужность эта абсолютная. Вот и выходит странность; для чего же в природе Мироздания, где всё так закономерно и детерминировано, появляется это совершенно ни с чем не соотносимая, ни для чего не нужная величина и сущность, как данное самоощущаемое "я"?

А вот допустим, что ни для чего, – последовал ответ с кунцевской платформы, – допустим даже, что задавать в пустоту вопрос "зачем" вообще нелепо и ненормально (всё равно что орать в пустую бочку: эй ты, отзовись, выходи сюда и т. д.), тогда что? Вешаться? Ни в коем случае! – воскликнул про себя Николай Тураев. Ибо тогда не удастся вполне справиться с той высшей задачей уничтожения в себе этого самоощущения.

Но для чего уничтожать его... – а для того, чтобы возвести сознание своё к высшему состоянию... – но я, "Я" не хочу этого высшего состояния, как не хочу божественного озарения, нирваны не хочу! Постижения "дао" не хочу! Не шизофрению из головы сумасшедшего убрать, а целиком самого беднягу шизофреника вместе с этой головою ликвидировать, – мыслилось на кунцевской платформе.

Но это же преступно – желать подобного... да, преступно в системе гуманистических ценностей, но ведь сказано ещё древними китайцами, что небо и земля не знают человеколюбия. Желанием совершить подобное преступление охвачены потомки тех обаятельных героев, которые шли сквозь века, слыша некий призывный голос, сладчайший и самый родной, великий и надёжный. И вот этот голос смолк. Он бросил нас – Тот, Кто отрёкся от людей в момент, когда уверился, что мы окончательно заблудились. Мало того – автор этого голоса напоследок успел сообщить, что все сладкие интонации надежды и радости были полным обманом – не знал *Он* сам никакой надежды и не изведал таких радостей. Голос веками обманывал таких, как мы с вами. И когда мы теперь очнулись и трезво осмотрелись вокруг, то оказалось, что уже находимся в "предпоследнем мгновении".

Я страдаю – значит, существую, – лихорадочно думалось в Гусе Железном, у длинной кирпичной стены с зубцами, – не желаю ни страдать, ни существовать, холодно отзывалось в Кунцеве, на железнодорожной платформе, и между этими вспышками отчаяния лежало больше полувека истории, за который произошло всё то, что привело к подобной трансформации мысли. Но в промежутке этих мыслей, принадлежавших разным представителям тураевского рода – деду и внуку, – укладывалось соединяющее звено Степановой жизни и существовал его вариант тураевской мысли: жить-то надо; ничего другого нет; главное – жить надо, а там видно будет. И эта разветвлённая, но единая формула выработалась в течение многих лет его жизни: Степан решил, что она невесёлая штука, но жить надо. В войну, пройдя бои, походы, плен, концлагерь, чужбину, рабство, ранения, он и понял, что ничего, кроме жизни, и не надобно бедняге человеку, однако младший сын из этого вывел своё – "не желаю".

Никогда не рассказывал сыну Степан Тураев: он стоит у ямы, держась за приспущенные штаны (у него дизентерия), и смотрит в сторону вахты; у шлагбаума, перед будкой охранников, приплясывает человек в нижнем солдатском белье. Это сумасшедший Пихтин – или придуряется таким, – но всё же "доходит" он по-настоящему. Стоит ноябрь – днём лужи, по ночам лёд, мокрая земля каменеет, а Пихтин босиком, всю одежду свою и обувь променял на жратву; уже давно притёрся к тому, чтобы после раздачи баланды лизать бак. Охрана позволяет ему подобное, потому как забавляется этим, напускает ещё одного доходягу, и они дерутся возле опрокинутого бака как два пса. Победитель, свалив в грязь противника, влезает столовой в этот бак, стоя на четвереньках; а в это время поверженный очухивается и, подкравшись сзади, под хохот охранников впивается окровавленным ртом в задницу тому, кто вылизывает грязную посудину. У Пихтина исподнее его, как и у многих, из белого стало серым, ноги, руки и лицо закоптились и были чёрными, как у негра, и ясно было, что погибнет он очень скоро. Настали холода, а он одеждой и не думал запастись, напоследок отдал и клеенные из автомобильной камеры галоши, обменял на кусок эрзац-хлеба – теперь он стоял перед вахтой и кривлялся, почёсывая в непристойном месте, изображая вшивость особого рода. Перед ним стоял молодой жирный немец, совсем юный, круглощёкий и безусый – из новобранцев, должно быть, – и злобно, растерянно смотрел на доходягу. А тот, с идиотской улыбкой на лице, с прижмуренными глазами, крутился перед солдатом, добываясь невесть чего, – и ватага охранников, высыпав из будки, гоготала, как стая гусей, что-то весело внушая толстому мальчишке-солдату. И тот вдруг яростно искривил лицо, глянул на прыгавшего перед ним пленного с мальчишеской ненавистью и выставил вперёд автомат.

Увидев это и зная, что последует, Степан мигом натягивает штаны и, юркнув в свою яму, тотчас же слышит треск автомата, затем тишину, затем новый взметнувшийся гвалт охранников. В яме вырыта боковая нора, в направлении, противоположном от ограды, чтобы не было похоже на подкоп, в норе этой можно полулежать, – и хотя колени остаются снаружи, заливаемые осенним дождём, голова и туловище находятся под укрытием. Прделана вся работа с помощью кривой суковины, которая стала орудием для рытья, вроде тех копалок, чем пользовались первобытные люди. Вполне по силам было бы вырыть боковую нору поглубже, чтобы целиком спрятаться и даже лежать, но не станет этого делать Степан – он и так не уверен, уж не слишком ли углубил убежище: не покажется ли расчёту немецкого ума и такая нора чрезмерной. Надо, чтобы время от времени патрулирующие внутри лагеря немцы могли видеть в ямах хотя бы ноги военнопленных, не то снова бросят гранату, как было, когда кто-то вырыл слишком глубокую боковую нору и весь, с ногами, запрятался в неё.

Их было трое, патрулирующих, они тогда долго совещались между собой, затем один чернявый ефрейтор достал из подсумка гранату, сорвал кольцо и, прицелившись, точно вбросил её в яму. Все трое отскочили на несколько шагов и оглянулись в ожидании, а один, усатый, пожилой, выпустил висевший на ремне через шею автомат и зажал обеими руками уши. Лагерь военнопленных никак не был оборудован – просто огромный прямоугольник земли окружили высокой оградой из колючей проволоки, к которой подключили ток от ближайшей городской подстанции. Рассчитывался лагерь как временный, накопительный, ввиду последних успешных действий вермахта, чтобы при дальнейшем продвижении армии перегнать к шахтам военнопленную рабочую силу. Однако наступление затормозилось, и в результате к осени лагерь так и остался без барачков. Некоторые из сильных и предусмотрительных пленных обзавелись глиняными норами. Основная масса пленников валялась прямо на земле, под дождём, ползала по всей голой территории лагеря, выковыривая пальцами ростки и корешки давно съеденной травы.

Умирали на всей площади лагеря, но к вечеру всех живых сгоняли с мест, чтобы подбирать трупы и сносить их в одну кучу к северной ограде. Пихтина застрелили после обеда, так что он до самого вечера провалялся на дороге перед вахтой; никому из охраны, видимо, не захотелось возиться с ним, и Степан два раза проходил мимо трупа – когда вели в

составе колонны работать на кочегарке, подгрести шлак, и когда возвращались назад. Пихтин лежал на боку, выбросив вперёд руки, словно протягивая их кому-то, а голову откинув так, что линия лица его как раз приходилась на край дороги. Кто-то, видимо, тяжело наступил на его голову, отчего челюсть Пихтину скособоило и вдавило в грунт... И на эту челюсть исподтишка смотрит проходящий мимо Степан Тураев – смотрит с особенным затаённым вниманием.

Этот внимательный взгляд и ощущал на себе маленький Глеб, ему казалось, что отец почему-то про себя посмеивается над ним, и мальчик с обидой думал: "Большой, взрослый, а притворяется". Когда же он сам стал взрослым и у него появилась дочь и выросла настолько, что могла уже испытующими глазами исподтишка следить за ним, Глеб Степанович стал замечать в себе, что он от детского наблюдения старается скрыться, уйти в мир своего прошлого, но ни за что не обнаруживать его! На досуге он пытался вычислять, сколько же времени-действия (перемен состояния) понадобилось бы на то, чтобы из бездумия огненного кипения материи постепенно образовалась бы та беспредельная мнительность, что делает душу человека столь одинокой во вселенной. И выходило по грубым подсчётам, что никак не меньше девяти миллиардов лет. А для чего понадобилась такая работа, думал он – и не находил ответа.

Но, стоя на кунцевской платформе в ожидании последней электрички и пережив эпизод в лагере для военнопленных, когда был убит и втоптан в землю доходяга Пихтин, а также изойдя мучительной тоской утраты у стены Баташовского имения в Гусе Железном, я вдруг почувствовал (вернее, почувствовало то самое невидимое, но несомненно существующее начало, ощущаемое как пронзительная боль бытия), как-то очень ясно обнаружил в одно особенное мгновение, что я стою, тихо покачиваясь на месте и закрыв глаза, где-то на склоне покатога песчаного бугра, обросшего седыми мхами. И внутри меня, где всё напряжено и плотно составлено, начинается тихий, как бы ещё отдалённо звучащий гул. И я невольно встрепенулся и весь устремился навстречу этому гулу.

Однажды услышав гул Леса, живущего не в быстротекущем времени, а вне его, каждый из нас вдруг обретает особенное свойство: свою жизнь увидит в совершенном отрыве от повседневной суеты. И *нечеловеческая* сущность этой жизни сначала устроит его почти до смертного оцепенения, а затем окрылит чувством бескрайней и головокружительной, как сама бездна, свободы. И стародавнему его духу, вдруг залетевшему в пределы подобной свободы, уже нет надёжного возвращения назад, к милой суете прежнего бытия, и отныне остаётся ему лишь устремляться всё дальше и дальше, подобно световому лучу в мировом пространстве, – чтобы уже никогда не вернуться к исторгшему его светочу.

Но какие удивительные картины открываются взору путешественника, который вышел на дорогу в никуда! Лучи от всех огненных тел Вселенной летят навстречу друг другу – и, преодолевая абсолютную пустоту пространства, сливаются в единую всекосмическую световую сферу. Значит, односторонний уход, безвозвратный бег света от каждой звезды в небе – закон! И нет преодоления тьмою сил, рождающих яркие лучи в мире. Так неужели зря сотворяется светоч человеческий? Значит, можно сказать, что всё это было.

Гостев Сергей Никанорович после завершения учёбы попал сельским учителем в небольшое село Боровского уезда и оттуда написал Лидии Николаевне Тураевой письмо, в котором, как и всегда, прозу перемежал поэзией. Лида после окончания курсов хотела работать в Москве в статистическом бюро, но внезапно умер отец, не оставив завещания, и братья вызвали её в родовое имение, чтобы полюбовно разделить между собою отцовское наследие. После раздела, при котором ей достался красивый берёзово-луговой берег Нармы с большим участком хорошего грибного леса, Лида вдруг решила там строиться, прельстившись видом белоствольной рощи, -и выстроила дом под розовой черепичной крышей, черепицу брала в Касимове у подрядчика Гирея Усманова. Об этом она ранее сообщала в своём письме Гостеву, и тот разразился следующими виршами в ответном письме:

Гирей достал вам черепицы,
Привёз на барже по Оке.
А я посмел к вам обратиться,
Держа перо в своей руке.
О Лида, Лида неземная,
Зачем тебе кирпичный дом?
Ты всё ж немножечко чудная,
Осмелюсь я сказать притом...

"Зачем вам понадобился кирпичный домик в лесном средоточии, Лидия Николаевна, или вам решительно некуда девать своих капиталов?" – вопрошал далее прозой Сергей Никанорович, в будущем матёрый боббль с красным носом, величественный резонёр, смысл существования которого не только был неизвестен кому бы то ни было на свете, но даже ему самому, и скорее всего *этого* вовсе не было – смысла жизни Сергея Никаноровича Гостева, происхождением из мельчайших чиновников, корнями сплетавшихся с крапивою и чертополохом провинциального мещанства.

Претерпев две неудачные женитьбы – на учительнице и на поповне (первая сбежала через год, вторая умерла от инфлюэнцы), Сергей Никанорович много лет писал недружелюбные колючие письма Лидии Тураевой, послания амбициозного характера, продиктованные скорее кипящей мелкой досадой, нежели любовью. Хотя причины для столь многолетней досады не было и не могло быть – к Лиде он всю жизнь испытывал тайное благорасположение, и яд его посланий был направлен скорее противу всего света, которому причиталась, по мысли и чувству Гостева, изрядная таска критикою со стороны, правомочной на то – от Сергея Никаноровича Гостева, стало быть. Он прожил 82 бесполезных года на земле, бесполезных, хотя и учительствовал больше полувека, насаждая в юные умы подрастающих поколений якобы свет знаний, а на самом деле вбивал в их головы дикие плоды своей неосознанной глупости. К старости он стал совершенно несносен – каждого, кто попадался ему, он учил уму-разуму, ставя в пример себя и свою жизнь, и однажды ночью на вокзале был даже бит нетерпеливым и ещё более глупым, чем он, человеком из города Кимры, которому надоело выслушивать чужие поучения, когда самому тоже хочется поучать. Уча других жить, Сергей Никанорович делал это сердито, надуваясь гневной кровью, словно тем уже был виноват поучаемый человек, что посмел родиться на свет и жить много времени, совершенно не зная, где ему набираться истинного ума.

Лидия Николаевна никогда больше не встречалась с Гостевым с того времени, как по окончании курсов уехала из Москвы к себе на родину -однако после её смерти осталась в палисандровой потёртой шкатулке довольно толстая пачка писем, перевязанная какой-то случайной тесёмкой, потерявшей от времени свой первоначальный цвет. То были письма от многолетнего её корреспондента, который ни влюблён в неё не был, ни дружбой трогательной и нежной свою внимательность к ней не мог бы объяснить – а только держалась их переписка около тридцати лет. Последние его письма были помечены годом её кончины, а первые начинались с 1891 года, когда он писал:

Голодных ползают скелеты
По деревенским вымершим дворам.
И я, в уездном городе спасённый,
В казарме голодающих пишу сие посланье к вам.
О, сколь жестока царственная жизнь
По отношению к верноподданным своим.
Какая ожидает их бессмысленная кара!

И как порой приходится несладко им.
А рядом ходят тучные бояра
И руку помощи никак не подадут.

"Да, именно так, уважаемая Лидия Николаевна, и руку помощи никак не подадут, в то время как крестьянские массы мрут непрерывно, в окнах изб торчат безглазые скелеты, на улицу смотря, а из бояр, скажу между прочим, ни один в уезде не умер с голоду". В том году у Лиды родился её первенец, неизвестно от кого, молва приписывала, что от красавца прасола Когина, пригнавшего ей из Касимова породистых голландских коров, привезённых им издалека на барже. И этот прасолов отпрыск, названный Митрофаном Авдеевичем, также прожил за восемьдесят, и характером, свойствами ума, да и внешностью пожалуй, был удивительно похож на сельского учителя Гостева Сергея Никаноровича, которого не только никогда не встречал в своей жизни, но о существовании которого и не подозревал, ибо даже писем из палисандровой шкатулки матери не видел. Эти письма мельком просмотрела дочь Лидии Николаевны, когда в ночь сожжения и разграбления дома Даша унесла шкатулку с собою в избу лесника Власьева, полагая найти в этом старинном ящичке материнские драгоценности. И при свете керосиновой лампы Даша прочитала несколько писем неизвестного ей человека, написанных в своё время её матери, которая теперь лежала, бездвижная и онемевшая, тут же в доме лесника за дощатой перегородкой на соломенном тюфяке. И эти письма, совершенно никчемные и бессмысленные, ничего не открыли уму и сердцу восемнадцатилетней девушки, ровесницы века, в досаде она швырнула всю пачку, не пожелав читать дальше, в горящую печь, где и сгорели в пламени бесславные послания одной одинокой души к другой, свидетельства невнятных устремлений Сергея Никаноровича, который даже не был влюблён в Лиду, -равным образом и она в него тоже.

Однако сын её был вылитый Гостев, но никто в этом никогда не имел возможности убедиться, ибо две эти одинаковые по содержанию и устремлениям жизни никогда не соприкоснулись и не пересеклись и не могли иметь хоть что-либо общего в духе или в материи, если не считать странных писем Гостева Лидии Тураевой, которая читала их, будучи внебрачно беременной будущим Митрофаном. Впрочем, Лидия Николаевна все четыре раза своих беременностей переживала внебрачно и конечно же читывала и в те разы гостевские письма – однако лишь Митрофан Авдеевич вышел похожим на Гостева, а у остальных детей – двух мальчиков, которые умерли ещё маленькими, и младшей дочери Даши, ни одной его чёрточки, конечно, не оказалось. Митрофан же Авдеевич повторил судьбу Сергея Никаноровича вплоть до таких биографических частных, как женитьба два раза – и одна жена сбежала (у Гостева – учительница, с которой он сошёлся гражданским браком ещё в Москве, а у Митрофана – башкирка по имени Жанна), оба после этого женились не любя, с тайным ядом в душе, с обширной программой относительно самого правильного и жестокого устройства новой семейной жизни – и у обоих покаянные жёны взяли да и померли внезапно. В дальнейшем оба довольствовались временными сожительницами, Гостев находил их в среде боровских мещанок и огородниц, а Митрофан в разных местах строящейся социалистической Москвы и неукоснительно возил каждую на юг, где недорого снимал у местных жителей комнату и выжимал из очередной любовницы всё, на что она была способна.

Единственно, в чём была разница у этих близнецов жизнями, – это противоположное отношение к своим именам и фамилиям. Гостев весьма гордился их звучанием и, казалось ему, особенным тайным значением, а Митрофан всегда стыдился старорежимного имени и боялся своей дворянской фамилии – она была у него материнская. У второго эти сложности закончились тем, что он юридически поменял всё полностью: фамилию, имя и отчество – в один прекрасный день он стал Никифором Степановичем Барсуковым – непонятно для всех, почему именно таковым... Итак, оба остались совершенно одинокими к старости, детей у них не было, женщин не осталось, один доживал в маленьком кособоком домике на окраине

Боровска, недалеко от кладбища, другой – в двухкомнатной квартирке на улице Щепкина в Москве. Сергей Никанорович умер в сорок первом году, не пережив нашествия фашистов, умер в своём доме от дряхлости, голода и холода, а Митрофан (Никифор Тураев-Барсуков) умер, сидя под елью в лесу, недалеко от Колиного Дома в 1979 году, приняв милосерднейшую и прекрасную кончину в родном краю, куда он каждое лето приезжал на отдых последние одиннадцать лет своей жизни.

После смерти Митрофана-Никифора осталась кооперативная квартирка, набитая антикварной мебелью и – главной причудой покойного хозяина – японскими вазами, очень редкими и дорогими, количеством тридцать две штуки. Все эти вазы и антиквариат унаследовала единственная его родственница, дочь Дарьи Трушкиной (в девичестве Тураевой) – Мария Яковлевна Трушкина, "на четверть армянка", как любила она аттестовать себя. Её отец был наполовину армянин (мать его из нахичеванских армянок), человек положительный, кадровый военный, а дочь Мария пошла по кривой дорожке, семнадцати лет убежала с артистом цирка, через три дня вернулась домой, была бита разбушевавшимся полуармянским отцом, а затем отправлена в Ростов-на-Дону к родственникам отца, откуда Маша уже окончательно сбежала на великие стройки Сибири, где проработала много лет, три раза выходила замуж, постарела, осела в рабочем посёлке Степанково, там и – сорокапятилетней женщиной, безмужней, одинокой – вдруг унаследовала от неизвестного московского дядьки целое состояние, поехала в столицу и всеми правдами-неправдами постаралась в ней остаться. Для неё настала совершенно новая жизнь – но как бы вовсе и не новая, а просто давно позабытая, оставленная в запределье времени, а теперь возвращённая ей. Таково она почувствовала себя в многомиллионной толпе Москвы – точно так же, как и её бабка Lidия Николаевна, когда впервые проехала по своим унаследованным лесным угольям и вдруг ясно поняла, что она дома, в родовом гнезде. И этот дом строил не её отец Николай Илларионович Тураев, не дед её Илларион Кузьмич, не прадед Козьма Петрович Тураев Азовский, екатерининский офицер – дом родимый, отроческий, сладкий и бесценный выстроен был руками Отца-леса, и под сенью зелёной крыши дома сего человеческая душа, безвестная и маленькая, обрела вдруг удивительный и странный покой.

Словно в том смысл и предназначенность явленной на свет любой человеческой души – чтобы обрести это грандиозно-спокойное чувство _сени отеческой_, а людское множество вокруг себя воспринимать как родное, неисчислимое, кровное братство. Но Мария Яковлевна Трушкина не распознала природы, голоса и мощи Леса в головокружительной московской толпе – их одинаковую стихийность и отсутствие общей цели (несмотря на то, что существование-то было общим, тесным, совокупным, лесным). Она быстро вошла во вкус московской жизни 2-й половины XX века, как быстро освоился со своим новым положением и Степан Тураев, который в тесноте вонючей, шаркающей ногами по шоссе колонны пленных вдруг ощутил угрюмую мрачность заболоченного вдоль реки Ушор чернолесья, комариного царства, непроходимых болотных джунглей с трясиными, над которыми женственно, прельстительно клонятся отягощенные гроздьями созревших ягод кусты красной калины. И это мгновенное воспоминание о калиновом лесном углу, где неуютно, опасно и ходить трудно и утомительно, но где всё пространство до предела жизненаполненно и в этом смысле всё здраво и закономерно – даже существование каждой болотной травинки, из которой потом образуется торф, – прмелькнувшее воспоминание открыло пленённому фашистами Степану Тураеву, что происходит с ним и другими несчастливцами вокруг него. А происходит, быть может, и нечто тяжкое, безрадостное, как пьянка леших с ведьмами на трясине, – но опять-таки вполне закономерное для жизни человеческой, которая есть продолжение жизни древесной.

Город – это Лес, и концлагерь – тоже Лес, и фашизм, и капитализм, и социализм – это кипение лесных снов, называемых историей человеческой. Когда-нибудь сны эти прекратятся – и проснётся Отец-лес, чтобы познать явь подлинного космического бытия. Эта явь конечно же не касается нас, ибо мы всего лишь частички сновидений Отца-леса, а нам кажется, что людское бытие есть в мире всех явлений единственно неоспоримая реальность.

Заблуждение, быстро поправляемое тем самым фокусом, который мы назвали временем.

Мы нигде – то есть всегда там, где есть. Сергей Никанорович Гостев считал, что наука когда-нибудь сможет выпаривать время из воздуха и собирать в виде порошка: примешь такого порошка дозу – проживёшь, соответственно, добавочно к предназначенному тебе веку. Гостев в науку верил, как его странный двойник Митрофан-Никифор в трёхпроцентную облигацию (а насчёт японских ваз надоумил его некто Бурский, коллекционер, у которого на квартире Никифор производил ремонт: хозяин кутал свои вазы в специальные чехлы, сшитые из меховой дублёнки, и на удивлённые расспросы прораба объяснял, какая им цена и почему она только возрастает со временем, а не падает). Лидия же Николаевна Тураева внимала в письмах Гостева его соображениям насчёт порошков времени и уважительно думала: всё-таки какой он умный, Сергей-то Никанорович; вот бы прислал мне такого порошка с чайную упаковку...

Прошло, проходит, пройдёт много времени (которого нет, которого нет -так что же такое проходит, господа?) – но не из этих ли неслыханных устремлений человеческих, соединённых в общем вместилище воздушных пространств Земли, созданся столь могучий голос – гул вселенского Леса? Когда в восемнадцатом году Лидии Николаевне работники её, Ротанков Гришка и Замилов Левонтий, сообщили возле коровника, что ночью придут мужики и сожгут усадьбу, она молча выслушала, повернулась и пошла прочь от мужиков, но не дошла до дома, свалилась у крыльца – в то мгновение, когда она пошатнулась, остановившись, на неё обрушился гул неслыханный, со всеми звуками нашего мира несоизмеримый. И в оставшееся время её жизни (два дня) то и дело, когда она приходила в себя, бессмертный шум звучал неумолчно, и умирала-то она, словно переходя из этого гула в тишину, словно заходя от ровного берега всё глубже в гладкую воду любимого озера. Это было Гавринское озеро, поразительное среди окружающих болотистых, низких, тёмных озёр мещерского края.

К границам её угодий подступали общинные земли двух деревень, и за одной из них, Гаврином, и лежало это озеро, в котором Лида угадала свою судьбу. Однажды летом, как бы впервые увидев ярко-синий круглый окоём воды во впадине зелёных берегов, она замерла, прижав руки к груди, и долго не могла прийти в себя от непонятого, сильного волнения. Затем она взяла какую-то палку в руку, словно посох, да и отправилась пешком вокруг озера, рассматривая его с разных точек зрения. Синее овальное зеркало, слегка вдавленное в зелёную оправу берега, на котором, чуть отступая от края воды, росли высокие сосны и стояли игрушечные рубленые бани; в это зеркало смотрится небо с белыми облаками, замершими на тысячу лет; два села издали, с противоположных берегов, ревниво переглядываются меж собой: у кого дома лучше, у кого бани поигрушечней; село Воскресение похвается перед купеческим кирпичным Гаврином своею пригожей бело-серой церковью.

Лидия Николаевна обошла улицы обоих сёл и, вернувшись к исходной своей точке, где в тени сосен ждал её тарантас с кучером Левонтием, велела ему доставать корзину с домашней провизией. И этой минутой вышел из распахнутых дверей кирпичного лабаза скототорговец Авдей Когин, озабоченно щурясь под ярким солнечным светом, вглядываясь в небесное видение, красавицу помещицу, и глазам своим кошачьим, сладким, нагловатым не веря. Увидев его, в свою очередь, она тоже озабоченно нахмурилась и сощурилась: точно так же замерло в ней и потом запротестовало гордое сердце под натиском внезапной любви, как было это у её любимого брата Николая семь лет тому назад. Ибо в душевных свойствах представителей этого рода было такое общее качество: влюбиться внезапно, мгновенно и на всю оставшуюся жизнь.

Итак, судьба Лиды была сходна с судьбою Гавринского озера – не раз думала об этом она в свои одинокие ночи и дни, говорила об этом кое-кому, но никто не понимал её. При чём тут озеро – недоуменно уставлялись на неё чужие глаза и тут же с неловким чувством отводились в сторону. А при том, – говорила, размышляла Лида, – что озеро здесь чужое, такое же чужое, как я... И не произносила она вслух, да и не думала она в ясных словесных

образах, о том, что озеро – глубокое, чистое, с песчаным дном, необыкновенно красивое – совершенно не такое, как глухие озёра вокруг, подпитываемые болотами. Чистое Гавринское было иного происхождения, чуждой, нездешней природы и необычной для местных водоёмов глубины: до двадцати саженой. И знала, насколько она отлична и далека свойствами своей души от всех людей округи – душа её родилась совсем не здесь, а может быть, в Древней Греции.

Четырёх мужчин она знала за свою жизнь, от всех родила по ребёнку, но любила всё же одного, того первого, который встретился ей на берегу родственного озера. Чернявый, с кольцевидными крупными кудрями, с поджатыми, как бы подрезанными, хищными ноздрями, – прасол и был похож на древнего грека, такого, каким нарисовал его некий мастер на глиняной посудине: хищным, дерзким, развесёлым, горбоносим. Этот грек шёл однажды с вёслами на плече по берегу моря – и вдруг на отмели увидел круглого блестящего дельфина, подумал было, что выкинула волна любимца моряков, и, подойдя, хотел стащить зверя обратно в глубину; но обнаружил, что, закатив глаза, бедняга дельфин уже испускает дух. Помощь друга пришла слишком поздно; или – не нужна никому такая помощь, потому что подверженному гибели, страстно желающему вкусить смерти, как доброго старого вина, -любому из нас помочь нельзя, не нужно, некому...

Прасол Авдей Фролыч Когин в тот ярый мужеский год свой обеспечил двух разных женщин по ребёнку, кроме того обрюхатил и свою жену Степаниду, Стёпку-грачиху, как он её звал. И родили женщины невольных друг за дружкой: Стёпка-грачиха первая, затем помещица Тураева, а после них одна крестьянская дочь по прозвищу Курица, овечья пастушка, которую Авдей Когин случайно увидел спящею под скирдою соломы недалеко от проезжей дороги. На её несчастье, ветер задрал у неё, у сонной, юбку выше полных коленей, а Авдей Фролыч это узрел со своего высокого шарабана. Остановив лошадь, внимательно оглянулся во все стороны – дорога повсюду была пустынна; схватить Курицу за крепкие лодыжки разбросанных по соломе ног и волоком оттащить на другую сторону скирды было делом шести секунд. На дальнейшее скототорговцу не понадобилось времени больше, чем мерину, донимаемому слепнями, стронуться с места и дойти до леса, который начинался в полуверсте. Застёгивая штаны на ходу и чертыхаясь сквозь зубы, Авдей Фролыч побежал догонять лошадь; а за скирдой, трясая головою и вытягивая из растрёпанной головы соломинки, сидела на земле Курица, ещё не совсем проснувшаяся, и она потом родила дочь, которая выросла безотцовщиной и погибла страшной смертью – была вместе с конокрадом Шишкиным убита мужиками из Мотяшова, которые ранее скупали у лихого человека угнанных им лошадей.

Дочь Курицы Марфушка давно была близкой подругой Шишкина и вместе с ним пришла в тот роковой день за расчётом – и вот конокрада, позвав в баню, ударили тяжёлым концом безмена по голове, сразу же проломили в его черепе широкую дыру, а Марфушке пришлось умирать долго и мучительно – её рубили топором, кололи длинным мясницким ножом, а она всё ещё была жива, в памяти и, хватаясь за нож, умоляла знакомых ей мужиков за-ради бога её не убивать и клялась, что никогда их не выдаст, если останется жива. Но Марфушку всё-таки добились и вместе с конокрадом унесли на лесную поляну, там их усадили напротив друг друга – её и Шишкина – и каждому в руку вложили разобранные веером карты. Шишкин так и застыл с картами в руках, задубел на морозе, а Марфушка свалилась вперёд, лицом в снег, и потом, когда её дёрнули назад, выпрямляя, у трупа напрочь оторвался нос, вмёрзший в обледеневшую землю. Фамилия её матери были Райкова (про отцовство Когина поговаривали, но не особенно всерьёз – Курица была гулёна известная), по-человечески звали её Дуней.

У помещицы, кроме Авдеева сына, родились неизвестно от кого ещё двое мальчиков (которые умерли) и дочь Даша, и от жены-грачихи Когинной родилась дочь, обе они оказались гораздо счастливее бедняги Марфушки. Ногинская дочь Галина и помещичья Даша были похожи как близнецы, обе чернявые и аппетитные, весёлые и подвижные, полногрудые; они и учились – правда, в разное время – в одном техникуме связи, после

окончания которого Даша уехала в Ростов-на-Дону и там вышла замуж на офицера, а Галина устроилась в Касимове на телефонной станции, да так и проработала на этой станции всю жизнь до пенсии.

И к этому времени совершенно неожиданно пришло на её имя письма от Дарьи Мефодьевны Трушкиной, которую два дня не могла вспомнить Галина Авдеевна и еле вспомнила. Но того предположить она не могла бы, что они, оказывается, имеют общего брата Митрофана (ныне Никифора Барсукова), – об этом сообщала в письме из хутора Весёлого сама же и удивлённая Дарья Мефодьевна Трушкина, урождённая Тураева. Ей же сообщил об этом Савелий Власьев, отец Артюхи Власьева, он-то и рассказал Трушкиной, что в старой палисандровой шкатулке много лет пролежала некая записка, – и в конце концов выяснилось, что в ней было признание Тураевой Лидии (кому?!) в том, от каких людей были рождены её оставшиеся в живых дети – сын Митрофан и дочь Дарья.

Об этом узнал Савелий ещё до войны, а лет через двадцать встретился с Дарьей Мефодьевной на юге в Ростове, где отдыхал во время отпуска, и сообщил ей тайну записки, а она написала об этом в Касимов – почти наобум. И вот письмо дошло, весть о необычном странном родстве через общего брата поразила Галину Авдеевну Купряшину настолько же, насколько и Дарью Мефодьевну, и обе женщины через переписку сошлись на том, чтобы всем троим непременно встретиться когда-нибудь. А в это время один из сыновей Галины Авдеевны, её любимец Слава, безвестный поэт, написал следующие стихи:

Когда сливают молодость с молодостью, получается крепкий раствор, в котором вырастает кристалл

Будущего, – и он-то как раз был первым гонцом от матери к новоявленной родне в Ростов-на-Дону, там и познакомился, во время недельного пребывания, с дочерью Савелия Власьева, которая тоже приехала к гостеприимной Дарье Мефодьевне на южное житьё. И, оказавшись земляками, Слава и Наташа Власьева, студентка, быстро сблизилась и обрели в чужом краю то наивысшее, что только и доступно людям на земле, выращивали усердно кристалл Будущего, и они могли иметь это почти каждое утро, когда тётя Даша уходила на работу. А всего лишь им стоило – или ей, или ему, но чаще всего ему – перейти с постели на постель, и обоим было это желанно, беспамятно и бесконечно, насыщение никогда не приходило, конца как бы не было: только перерывы бывали в познании истины. И одно утро за другим у них затягивалось до обеда, а однажды и до вечера затянулось любовное утро, Дарья Мефодьевна застала их спящими на одной кровати. И получилось что-то вроде скандала, потому что Наташа была девицей незамужней, а Вячеслав-то оказался женат, и ему крепко досталось от тёти Даши, и стыдно было Наталье, которая осталась доживать южные деньки в доме Трушкиной, а молодой человек был удалён, и он поселился неподалёку на Темерничке, так что встречи между новыми любовниками продолжались.

Одним из последствий этих ростовских встреч стал прыжок в воду с понтонного моста глухой осенней ночью – в пальто и тёплом платке прыгнула в Оку Аня Купряшина, жена Вячеслава, и ей в темноте, когда стало нечем дышать, пришлось всей грудью вдохнуть воду, и на миг показалось, что она может дышать водою, а потом тугая струя выплеснулась наружу из её горла, смешалась с внешнею, и она почувствовала, что превратилась в воду, в безмолвную воду, вне которой очень и очень далеко пронёсся невнятный долгий гул, отозвался эхом в подводном царстве, а затем всё стихло. И то самое, что мыслилось как отдельное, принадлежащее только лишь к рыжеватой, легко краснеющей, со светлыми загнутыми ресницами молодой женщине, Ане Купряшиной, сразу перестало быть самостоятельным, потеряло всякое имя и название, вмиг преобразилось, начало существовать бесчувственно и текуче, холодно, безлико, как и уволаскивающая труп вся октябрьская серая вода огромной реки.

Гул жизни нёс в себе, летя по Вселенной, и все шорохи, всплески и удары извиистой реки, а равно и отзвучавшие под водою Анины всхлипы, и тот последний разговор, который прозвучал для неё, прежде чем её человеческая душа вновь превратилась в текучую воду.

Поначалу эта душа каким-то непостижимым образом увидела: близко, внизу, струится река на мелководье, и там, где длинные подводные травы, отросшие за лето, полощутся течением, отброшенные в одну сторону, как грива скачущей лошади, – над этой тёмно-серой травой проплыла она, Аня, и подводные струи переворачивали вольно раскинувшееся тело то вверх белым лицом, то вниз.

Затем, навсегда расставшись с унесённым рекою телом, душа распознала встречу с кем-то бесконечно добрым и всеутешительным, который и повёл следующий разговор.

"Тебе чего-нибудь жалко?"

"Нет", – был спокойный ответ Аниной души.

"Ты помнишь об обидах?"

"Не помню".

"Тогда прощай. Ты свободна".

"Погоди. Ты мне должен сказать – кто ты?"

"Я твой отец".

"А почему я не знаю тебя?"

"Потому что ты со мною ещё не встречалась".

II

К встрече с Отцом-лесом судьба подвела Глеба Тураева в зрелую пору его жизни, когда она потеряла для него всякий смысл и попросту стала невыносимой из-за того, что он, Глеб Степанович Тураев, послужил своим математическим творчеством созиданию совершенно нового способа человеческого истребления. Таковой был вызван к жизни в ответ на адское изобретение врагов, воспользовавшихся как тайными каналами уничтожения генетическими цепочками внутри расового существования тех или иных народов. Под руководством одного выдающегося отечественного учёного Глеб Тураев принял участие в разработке более неотразимого и всеохватного принципа. Однако противная сторона сделала следующий гигантский шаг, применив метод с использованием поля трансперсональной психики и выбором каналов поражения – например, по таким универсальнейшим чувствам, как половое притяжение между мужчиной и женщиной. И в принципе, наметив некий регион, можно было разрушить изнутри всё его население за время жизни одного лишь поколения. Тогда отряд учёных, где состоял и Глеб Тураев, возглавил незаурядный ум, гений своего рода, и он сумел найти контрмеру, обещающую значительное преимущество над оружием противника. Но не успел гениальный учёный со своей группой вывести работу на убедительные уровни, как враги с помощью того же трансперсонального психополя решили искать более скорый путь – посредством внедрения неодолимого желания самоуничтожения в психосознание индивидумов. Это действовало бы намного скорее и разительнее.

Глеб знал уже о самых свежих усилиях враждебной науки и, стало быть, о возможной бессмысленности той работы, которую был занят последние годы, – как вдруг произошло нечто чрезвычайно нехорошее, что внезапно перечеркнуло собою все ясные для него доводы в пользу своей науки, своего участия в борьбе миров, своего выбора хомо сапиенс в службе прогрессу. В один из декабрьских вечеров, когда за окнами уже давно царил глухая мгла, вдруг позвонили в дверь и вошли в квартиру два румяных милиционера в намокших от тающего снега шинелях. Они попросили разрешения открыть окно в большой комнате и посмотреть вниз. Удивлённый Глеб вместе с ними выглянул из окна. Разжиженный свет каких-то далёких фонарей позволял разглядеть, что внизу, на уровне второго этажа, где был устроен козырёк над входом в дом, лежит на белом снегу женщина в полосатой тельняшке, с голыми полными ногами, в маленьких красных трусиках. Милиционер немногословно поведал Глебу, что неизвестная женщина покончила с собой: вначале бросилась с пятого этажа, но упала на козырёк подъезда и осталась жива, даже сознания не потеряла; тогда

выбралась она, разбив руками стекло, на лестничную площадку второго этажа и, оставляя на полу кровавые пятна, села в лифт и поднялась на одиннадцатый. Там, открыв окно на лестничной площадке, снова бросилась вниз и опять упала на бетонный козырёк. Тело женщины пролежало ещё много времени – пока прибыли криминалисты и шли опросы свидетелей, соседей по квартирам.

Глебу этого времени хватило на то, чтобы беспощадно разрушить в себе всё то, что прежде он считал своей личной историей. Смертельный ожог сердца испытал он именно в ту декабрьскую ночь и уже никогда не мог больше вернуться к тому, чем жил раньше. Полное осознание всей своей жизни как жизни образованного чудовища убило в нём прежнего человека. Того самого, который существовал не без чувства собственного достоинства вплоть до этого декабрьского тёмного вечера. Продолжал же дальше существовать некий дух, навсегда отрешённый от прошлого Глеба Степановича Тураева – как бы отсечённый от этого прошлого свистящим ударом острого, как лезвие сабли, разящего мгновения. И теперь не имело никакого значения, что стало вместо прежнего Глеба Тураева, есть ли у него жена и дети, причислен ли к какой-нибудь государственной службе, будет ли завтра есть хлеб с маслом. Больше не нужно было даже с присущим моменту прискорбием поинтересоваться, в какой час ночи увезли мёртвую женщину в матросской тельняшке, с красивыми полными ногами. Тот беспощадный свет, в котором увидел Глеб Степанович человеческую жизнь, мгновенно съел все цвета его прежних чувств, и отныне в душе его как бы настало царство бесцветных призрачных альбиносов, существующих разобщённо и не помнящих родства. Но странную свободу обретаем мы после того, как умрём для всех прошлых своих дней и чувств.

В своё время ту же свободу обрёл его дед Николай Тураев. Он затаскивал на тарантас чудовищную Царь-бабу, Ольёну Дмитриевну, которая была в беспамятстве. Прошло семьдесят лет с того дня – и вот на месте, где покоилась нога бабы в огромном, как лубяной кузов, растрёпанном лапте, вырос ладный гриб с коричневой шляпкой. Нет, это не нога в лапте, превратившаяся в гриб, – это сам по себе молоденький белый гриб, и той ноги Ольёны Дмитриевны за семьдесят лет уже не стало на земле, а могучая молчаливая тоска бабы развеялась во влажном воздухе леса и ушла в болотные огни... Занималась она извозом, в ту осень подрядилась доставлять к заводу уголь из леса, где в духовых кучах жгли древесный уголь закопчённые, лохматые черти, мужики из ближних деревень. В средние годы свои была Ольёна ростом более двух метров, имела славную кличку, народное имечко Царь-бабы, и во всей округе не нашёлся бы мужик такой же силы и роста, как она. А супруг ей достался маленький и тщедушный, как мышонок.

Царь-баба валялась на сером, в зелёных пятнах придорожном мху, разбросав взлохмаченные лапти и выставив распирающую армяк холмистую грудь к небу. Глаза Ольёны Дмитриевны были закрыты, руки ровнёнько сложены на животе, лошадь ушла недалеко – шагах в тридцати забрела в теснину соснячка, там и застряла, – видимо, лошадка польстилась на свежую траву, заманчиво зеленевшую на небольшой лесной поляночке. Николай Николаевич завернул свою лошадь, подогнал телегу к лежавшей в беспамятстве Царь-бабе и попытался, хлопая по щекам, привести её в чувство, но всё оказалось безуспешным. Тогда и пришлось ему одному затаскивать на тележную кузовину Царь-бабу, а это было всё равно что затаскивать лошадь или быка, и поначалу у него ничего не получилось. Однако вскоре он придумал: в своей телеге он вёз ящик гвоздей, ими и сбил рамы из нарубленных слег и соорудил вокруг лежащей Царь-бабы что-то вроде станка дляковки лошадей. Затем просунул под лежащую Ольёну Дмитриевну несколько штук ровных крепких жердин – на ровном расстоянии под членами распростёртого тела великанши, и начал подъём.

Но как только завершил он этот нелёгкий труд и стал водружать её свесившуюся огромную мясистую руку к ней на грудь, мимолётно дивясь белизне и красоте этой руки, как баба глубоко вздохнула и открыла глаза. Были они голубые, подернутые розовой слезой, смотрели куда-то поверх него в небо, и он в досаде, что напрасно потратил столь много

хороших гвоздей на сооружение подъёмного станка, не очень-то добросердечно молвил ей: "Ты чего это, Алёна, на дороге валяешься? Что случилось, голубушка?" – "Ох, барин Миколай Миколаич, это я, должно быть, оммороком упала", – ответила жалобным голосом Царь-баба, привставая в телеге и свешивая с боковины кузова огромнейшие ноги в разбитых лаптях. "А обморок по какой причине?" – продолжил он допытываться, дивясь её неожиданному ответу: уж кто-кто, а Царь-баба меньше всего походила на слабонервную барышню, которая то и дело падает в обморок.

Про эту Олёну было известно, что раз, ночуя где-то во время многодневного извоза, она проснулась оттого, что неизвестные ей пьяные мужики пытались узнать по ней, не "двухсбруйная" ли она, для чего прокрались в темноте к её лавке, двое взялись за её ноги, а третий, дыша ей в лицо кислой брагой, навалился и, вытянувшись на ней, прихватил её запястья. Олёна правой ногою двинула одного в живот, и тот, отлетев по воздуху к стене и ударившись об неё, мешком сполз на пол, а по другому мужику она не попала, увернулся он от её левой пятки и кошкою промелькнул к выходу. Ну а с тем, кто сам влез в её объятия, Царь-баба распорядилась в полную меру своей разыгравшей ярости. Она сначала с размаху потыкала его головою об лавку, на которой спала, а затем выбросила на снег сквозь двойные оконные рамы.

"Увидала я, Миколай Миколаич, летящего змея с огненным хвостом, взяла да и обмерла со страху-ти, – отвечала Олёна Дмитриевна. – Летит он как раз над Княжовой дорогой, низенько так, над самыми деревьями, склонил головушку-то и вниз поглядывает... Я давай кнутом лошадь охаживать, а она у меня никогда не бегит, только шагом ходит, а тут я её в смерть колотю, она ж только хвостом крутит и пердит, бедная. Зачал тут змей заворачивать, смотрю на него, а он на меня смотрит, приметил сверху, значит. Тут уж, Миколай Миколаич, я в крик зашла и дале ничё не помню..."

А была у России уже второй год война с Германией, и на своём западе Германия также воевала с соседями, и людей людьми было уничтожено великое множество, и я выпустил Змея-Горыныча полетать над землёю. Когда множится людской приплод, то уменьшается число деревьев земного леса, и наоборот, – когда вымирает людское число, племя за племенем, зелёный народ мой разрастается и медленной поступью выходит на заброшенные поля. Не мне выбирать меж ними, отдавая предпочтение кому-то одному, ведь равны предо мною все мои дети, будь они хвойными, узорчатолиственными, пальмовидными или чёрными, жёлтыми, зелёными, математиками, туркменами или сюрреалистами.

Мне будет больно, разумеется, если одно поглотится другим – сомкнётся зелёная масса над сушею всех материков или человежье племя, не сумев обуздать своей алчности, порубит все вольные леса на земле. Вот же ведь беда какая у моих детей – необузданность главного чувства жизни! Зелёные кроткие философы, стоящие на одном месте, готовы размножаться до беспредельности! Одно какое-нибудь дерево тополя способно осеменить все свободные пустоши континента – а ведь их не так уж много, свободных пространств Деметры. Земля имеет определённую массу и, значит, ограниченное количество тех веществ, которые люди полагают необходимым и полезным для себя. Всех полезных веществ, значит, ограниченное количество – это с одной стороны, а с другой – беспредельность желания иметь, добыть, завладеть, которую можно математически обозначить только знаком?. Под натиском этого желания выстроилась вся недлинная, но вполне железная цепь человеческой истории. Начало этой цепи ржавеет в кровавых болотах архаических империй, конец оплавлен в огне неслыханных дотопе на земле температур, восходящих к температурам квазаров – Прометеев огонь оказался столь же испепеляющим, как и Зевесовы молнии!

И вот что представляется интересным в смысле полной безнадёжности: сказать им, добывающим полезное, что много добывать оно нехорошо, бессмысленно и преступно, так ведь как воззрятся на тебя! Формула цивилизации, избранной ими и подчинившей всех на Земле, выглядит кратко: ДОБЫТЬ БОЛЬШЕ. Каждый лист моих деревьев трепещет от страха, слыша этот торжествующий вопль приверженцев увеличения множества, не осознающих реальное значение своих побуждений. Алчность, возведённая до ранга

священности, непрерывное терзание внутренностей планеты, перемежающая лихорадка с золотом – всё это делает племя людей столь некрасивым, что я боюсь, как бы эта некрасивость и впрямь не убила его.

Но когда заклубится во мне безмерная горьковатая печаль, и покажется мне путь моих детей безнадежным, и высшая воля, данная им небом, направленною к полному беззаконию, и нет больше сил для обуздания их кровожадности, и смерть они сделали своей союзницей, пустили её орудовать, плясать промеж себя – словно взбесившуюся, взмывшую, как летающая тарелка, более никем не управляемую всемирную Циркулярку, с визгом влекомую энергией зла сквозь миллиардные толпы людские, сумасшедшую кромсательницу жизни, -и уже с помощью этой смерти дружные мёртвые успешно побивают своих мёртвых, и любовь бессмысленна, потому что она порождает уныние и отчаяние, а не самозабвенную радость – когда мне горько и гаснет моё творческое чувство, столь похожее на восходящее солнце, когда больше нет во мне любви к своим детям, а вскипает в душе одна сухая досада и ненависть к ним – тогда и выпускаю я полетать своего Змея-Горыныча.

Содержу его в каком-нибудь потухшем вулканчике, кормлю каменными глыбами с железистым содержанием, кидаю их ему в кратер. И когда он разворчится, жадно накидываясь на еду, хлеща себя по бокам пламенным хвостом, и пойдёт из вулкана грохотание и лёгкий дымок, я усаживаюсь где-нибудь на соседней вершине и спокойно жду, пока зверь утихомирится, нажрётся и вновь уляжется спать. Тогда вновь закрываю жерло вулкана пробкою из цельной гранитной скалы и уйду по своим делам. Зверина может подолгу сидеть на железнорудном корме, но время от времени и ему нужна более нежная пища, и тогда я, пользуясь тем, что где-нибудь опять началась большая война, подгоняю Змея-Горыныча к границам театра военных действий, где он начинает вольно пастись, подбирая с земли искореженную технику.

Начиная с тех времён, когда появились кольчуги, латы и тяжёлые воины, с головы до ног закованные в сталь, зверю на воинских пастбищах стало много пищи; а с эпохи механизированного ведения войн разного металла столько собирается на местах битв, что мой ненасытный зверюга стал то и дело обжираться и, вновь запертый в старый вулкан, бился там и ревел и фекалил жидкой лавой. В результате чего участились случаи извержения давно потухших вулканов, особенно в последнее столетие – это случалось на Камчатке, на Гималаях, в Андах, – в укромных, отдалённых от людских скоплений местах, куда я старался загнать своего необузданного Змея.

В случае с двухметровой (а точнее – рост её составлял 2 м 16 см) знаменитой Царь-бабой Змей-Горыныч не то чтобы излишне залютовал или созорничал – нет, того не водилось за зверем в последнее время. Империалистическая война доставляла ему вдоволь корма, и он летал-то лениво, тяжело, словно перегруженный дирижабль, ползущий почти над самой землёй, – на этот раз дракон только что после очередной отсидки в кратере Авачинской сопки на Камчатке (помните извержение 16 июля 1916 года?)* летел в сторону театра военных действий и по пути увидел на лесной дороге ничтожную капельку металла – рессорное и шинное железо, что везла Олёна из Гуся Железного на Воскресенскую ярмарку по лесной дороге, перевозила очередную кладь от завода к купчишке Сапунову, – и ни ящиков с железом, ни самого железа, ни рессор не стало – лишь обугленные дощечки остались да разбитый вдребезги задок телеги. Всё сожрало зверило, слизнуло на лету за один лишь выброс своего длинного огнемётного языка.

* Очевидно, здесь ошибка. В означенное время никакого извержения Авачи не происходило.

И вот, пригорюнившись, сморщив лоб, кручинясь обыкновенно, по-бабьи, эта

великанша ехала на моей телеге, сидя спиной спина ко мне (её лошадь была привязана к задку моего воза), и несчастным гугнивым голосом тянула:

– И ведь железа тперича ня вернуть, Миколай Миколаич, где там. Утянули. Уволок кой-то, а Царь-баба отвечай карманом. А много ли у ней в кармане-ти? Полушка полушку в гости зовёт, давай, мол, поженимся, копейка будет...

– А скажи-ка мне, Алёна, каким образом ты замуж выходила? – принялся я расспрашивать, отчего-то настроившись на игривый лад. – Слышал я, что мужик твой намного меньше тебя был.

– И-и, барин Миколай Миколаич, это я в Дулёве такая выросла, а ведь замуж я выходила ма-аленька! – запела великанша, поскрёбывая ногтем в сухих волосах, темневших из-под платка над широким, в розовых вмятинах, распаренным лбом. – Отдали меня замуж совсем-совсем молоденьку, увёз муж в Дулёво, и там через год, считай, зачала я расти, барин. Сначала рубахи на плечах тесны стали, потом руки из рукавов повылазили, все зипуны не застегались на мне, и ходила я – держа руки враскоряк. Мужа-ти едва напополам не переросла! Ужо он распинался, барин, матерился и дрался, потому как через меня стыдобушка ему была, смеялись над ним: мол, Евсеюшко, кажи нам, как ты в пупок жану целуешь... Хорошо, скоро германская началась, погнали его на войну, невольных там и убило, сердешного, а я уж вернулась в отцов дом да на родную деревню.

Между её деревней Митином и селом Мотяшовом версты две, и прямая, как палочка, дорога пролегла через выгон по свежей коротенькой траве. И если Царь-баба отправилась из Митино в село, то её видать уже на самом выходе мотяшовской дороги. Словно Гулливер по стране лилипутов, одиноко шагает она по зелёному долу, по розовой дорожке, и всяк её видит из Мотяшова, останавливает взор на ней, привычно думая: "А вот и Царь-баба идёт. К племяннице, должно". У племянницы Акульки муж был горбоносый, белобрысым, нос на горбе своём лупился и краснел посреди конопатого лица, словно зреющая слива, – этот плохо кончивший озорник отбился от дома, бросил жену и сошёл с нечистой семейкой, которую знали как воровскую с давних пор, не раз бивали мать и дочь, Груньку и Отандру, из коих и состояла семейка. А оставленная мужем племянница Царь-бабы вернулась в родительский дом ухаживать за своим расслабленным братом, возить его в деревянной коляске, держать над лоханью. Отандра (или по-христиански Пелагея) была ещё молода, с вертлявым станом, круглыми щёками и длинным тонким носом, которым она живо водила туда и сюда, – а глаза в это время, хитрющие и недоверчивые, тоже бегали по сторонам – сюда и туда. А накрыли с ворованными холстами в Княжах любезника Отандры, принёс Гришка ночью домой к матери несколько штук холстин, завязанных в старый платок, – так в этом же платке, закинув узел через плечо, и потащил он ворованное добро обратно в Мотяшово, где и было оно взято из одного дома, хозяева которого отлучились в Гусь Железный.

Вели Гришку под конвоем по широкой, красивейшей лесной дороге, было их трое, конвоиров, и только один с оружием, со старой берданкой, и этот вооружённый был Григорию дядей по матери. Неоднократно по дороге он принимался уговаривать племянника: "Беги, Гришка, а я стрелю и промахнусь, а энтих уговорю, не догонят тебя". На что Григорий, охваченный гибельным легкомыслием, лишь посмеивался, воротя горбатый нос, и отвечал беспечно: "Ничаво! Строго не накажут. Там же дядька Сёмка будет, дядька Игнат, кум Агапён. Родни нашей там полно, дядька Кузя, не дадут в обиду" "А я тебе говорю: бяги, – настаивал дядька Кузя. – Родня родней, а ведь убьют как собаку, явись тока туда". И ещё в деревне Немятове уговаривал, когда присели отдохнуть на лавочке перед Верочкиным домом, и вековуха Верочка вынесла на всех кувшин холодного кваса, сладковатого и терпкого, того мучнистого привкуса, каким обладает только хлеб человеческий. И этот квас, его вкус – было тем последним прекрасным впечатлением жизни, которое пришлось испытать беспечному вору.

Через некоторое время, уже в другой деревне, его привязали за локти к телеге и били по голове железным шкворнем, били не для того, чтобы выпытать какую-нибудь воровскую

тайну, а уж просто так, чтобы потомить и наказать дополнительно к смерти ужасом и мукой пытки – бил, зверски распалась, став неузнаваемым, волосатый чёрный кум Агапён.

Шёл двадцатый год нового столетия, деревьев в лесу стало намного больше, людей на земле значительно меньше, а в том краю России, где однажды знаменитая Царь-баба видела летящего над лесом Змея-Горыныча, почти не было в это время никакой власти. Царь был скинут, Советы ещё не вполне укоренились, и сама собою учредилась народная самоуправа, которая очень быстро перешла к самым разным видам самосуда. Гришку-вора бил его кум Агапён, а двух женщин, которых тоже приговорили к казни, терзали толпою, били ногами, поставив их на колени, и Пелагее переломили ключицу, она придерживала её и, фыркая разбитым носом, поматывала раскосмаченной головой. Её мать, Грунька, нестерпимо визжавшая во весь голос, перед расстрелом, однако, тоже замолчала, как и дочь, как и Гришка, притащенный волоком и поставленный на колени лицом к яме. Мать и дочь вцепились друг в дружку, тесно сблизив головы, когда человек пять самосудных карателей, выстроившись неровной линией, торопливо вскинули разномастное оружие, прицеливаясь. После недружного залпа все трое свалились в яму.

Принялись быстро в несколько лопат закидывать землёю яму, и ещё не совсем мёртвый Гришка увидел из-за плеча упавшей на него женщины следующее: ему показалось, что между его глазами и небом поставлено не очень-то прозрачное старое стекло с радужными разводьями, на это стекло кто-то наляпывает крупными кляксами алую кровь, которая почему-то никак не стекает по стеклу. За кровавыми розетками видно в небе большое странное существо с длинной змеиной шеей и собачьим туловищем, на котором имеются большие кожаные крылья, чем зверь могуче, плавно месит воздух.

Впоследствии, возродившись не очень крупным свиловатым дубком, душа Гришкина всё человеческое прошлое забыла, и в шелесте дубовой листвы не было никаких отзвуков былых страстей и следов неисповедимых мучений, – но об одном разлапистый нескладный дубок не мог забыть всю свою жизнь. Так и стояла и нескончаемо длилась пред внутренним взором дерева та последняя картина неба, которая промелькнула в смертный миг человека перед заливаемыми кровью глазами. И, встрепенувшись как-нибудь среди глубокой, тишей ночи, дуб принимался уже в тысячу первый раз рассказывать своим соседям про летящего по небу дракона, и взволнованное бормотание его будило сонные деревья окрест. И они, недовольно бунтуя против него, начинали угрожающе раскачиваться и роптать листвою. Но, невзирая на мирское недовольство, корявый дубок весь вскипал новым трепетом восторга и тщетно пытался передать раздражённым соседям своё волнующее бессмертное впечатление.

Первая мировая война и вслед за тем разбушевавшаяся по стране революция и несколько лет безвременья, когда никакой власти, посчитай, не было в лесной округе, вскрыли неслыханные дотоле свойства и бездны человеческой души. Мой лесной народ, молчаливо наблюдавший за событиями, происходившими в домах и на полях своих младших братьев, дивился той величайшей решительности, с которою человек мог пойти на жестокость. Умножая её на силу изобретённых ими приборов и машин, люди, в пределах земных, стали недостижимы в искусстве насильственного умерщвления друг друга. И в глубине лесных теснин неумолчный шёл ропот: обсуждалось деревьями, существами, неспособными самим пролить кровь, бывало ли хоть когда-либо на Земле, чтобы жил человек, неспособный к убиению ближнего? Устанавливали, добираясь до затаённой памяти каждой сосенки, дубка, осины или даже можжевельного кустика, помнит ли кто по родству своему хотя бы одного из своих представителей в людском племени, чтобы тот не мог или не хотел бы убить кого-нибудь из себе подобных.

И вспомнила одна ель возле Охримова болота, что она родом от того выворотня, в ямине которого жил отшельник, всю жизнь произносивший про себя одну и ту же коротенькую молитву: "Господи, Иисусе Христе, прости меня и помилуй, убийцу грешного", – и никто, кроме деревьев, не слышал этой молитвы, ибо лесной монах с людьми не общался и по данному в молодости обету не отверзал уст для разговора. Ель сообщила, что, пожалуй,

этот человек был готов к тому, чтобы не посягнуть на жизнь своего ближнего. Но ей возразили папоротники, помнившие на своих узорчатых листьях, тех, что истлели сотни лет назад, несколько капель густой разбойничьей крови.

Тогда-то, во времена оны, богобоязненный инок Ефреми́й шёл много дней в глубину Мещеры, чтобы в нехоженных дебрях среди болот уединиться от мирской молвы и устроить пустынное житьё – с благословения своего наставника, преподобного отца Корнилия. И на берегу лесной речонки, недалеко от деревеньки Ушор повстречался ему лохматый разбойник Пахом Куря, одичавший и злой, как медведь-шатун. Уже много дней подряд Куря не видел человеческой пищи. Сверкнув чёрными и сырыми, как мокрые уголья, глубокими глазами, разбойник с невнятным урчанием двинулся навстречу оробевшему монашку, по пути давя размочаленными лаптями грибы, густо растущие на лесной дороге. Монах же совершенно остолбенел от полонившего душу его ужаса, наблюдая за небывало откровенной мерзостью в выражении человеческого лица, которое, заросшее чёрной шерстью бороды и волос, радостно светилось в предвкушении близкого удовольствия.

– Нябось, цёра**, – почти ласково прогудел разбойник, останавливаясь перед иноком, и из чёрной руки Пахома выпала и закачалась на сыромятном ремне тяжёлая железная гирька. – Нябось. Брось пешу-то, – мотнув косматой бородою, указал он на страннический посох в руке Ефрема.

**** Цёра – парень (эръзя-мокшанское).**

Иноку надо было немедля что-то сделать или сказать могучее правое слово, способное пресечь дикую волю привычного душегуба... Монах часто слышал по пути разговоры о том, что вблизи Касимовской купеческой дороги пошаливают лихие лесовики, но он упорно шёл вперёд, помня о своём грядущем подвиге, о защите Господней, молитвенной, и о благословении старца Корнилия, разрешившего наконец-то, после упорных просьб Ефрема, отшельническое житьё своему послушнику...

Было какое-то глубокое сомнение в наставнике относительно своего ученика – почему Корнилий и столь неохотно выслушивал на протяжении многих лет пылкие речи инок о его желании самого тяжкого и строгого подвига во имя Господне. И в минуту смертного страха вспомнил Ефрем недовольную морщину на высоком затылке лбу дорогого ему старца. "Брат Ефреми́й, – в последний раз говорил он, провожая ученика, – словно бы не своей волею отпускаю тебя; но сия воля, которую чую душой, сильнее моей воли и слабого ума моего. Иди... Но помни всегда, что, даже питаясь кореньями и акридами, ходя босиком по камням и снегам, не угодишь ты Господу нашему, коли не одолеешь в душе своей лукавства и гордыни. Уже семь лет, как ты пришёл в мою пустынь из Кириллова Белозёрского, и скажу не погреша, что изо всех братии, кто являлся спасаться со мною, ты усерднее прочих в молитвах и радив во трудах тяжких. Братия, знай, уже давно роптать зачала, мол, Ефреми́й бесу гордыни предался и хочет всех превзойти в подвиге пустынном. Я же всех увещевал, пенял, что они сами предалися соблазну и слово их есть завиство да мелкая суета сует. Нам ли завидовать друг другу, братия? Чего же ради мы удалились от мира, от князей, бояр да татар да среди блат и мхов диких себя похоронили? Словно светильник, отгороженный рукою от ветра окаянного, должны мы беречь в наших душах Христово пламя. Коли в миру людском царят алчба да злоба, а князи казнят боле, чем даже ордынцы, бояре за-ради прокорма своего грабят малых смердов, словно тати лихие, – то пушай мы унесём, каждый с собою, хоть малый светильник Господень в глухомать лесную, и там сбережётся дух наш в молитвах и кротком житии, в смирении великом.

И скажи мне, брат Ефремий, чего ради ты рвёшься в отход? Али братии ропчущих простить не желаешь? Али сам завидуешь славе подвижников, молчунов на древожитии? Только ведь, Ефремий, знать бы ты должен: кто торопится, тот, значит, не готов. Святость истинная приходит нехотя, незвано, когда и думать не думаешь об этом, приняв все муки на путях страстоприимных. А ты, младе, рвёшься к святости, аки медведь к овсу, и торопливо хочешь воздвигнуть свою пустынку. Ох, не знаю, лъзя ли... Иди, коли решил. Держать тебя неволею подле себя не могу по совести; иди. Но помни, Ефремий: истинно силён в вере лишь тот, кто смерти аки комара не боится и в тугу смертную молится не за себя, а за-ради грешных мира сего. Иди и не думай о себе, тогда и спасёшься. – Слабой рукою пустынный дряхлый подтолкнул в спину ученика, и тот с ликующими глазами направился вперёд. Но вдруг приостановился он, и, потупившись, постоял на месте, и робко обернулся – и вдруг бегом возвратился назад и с рыданиями припал к ногам учителя...

Инок Ефрем мгновенно всё это вновь пережил, глядя то на кистень в руке разбойника, то в лицо ему, – и в глазах Кури, с болотными чёрными зрачками, плясала безумная радость мучителя, получившего лёгкий доступ к жертве. Постигнув звериную ясность намерений косматого мужика, всё существо монаха воспротивилось близкому насилию, а тело его само по себе, быстрее сознания, решилось на действие: стремительно повернулось на одной ноге и, оставив душу цепенеть под взглядом разбойника, оно испуганным зайцем кинулись прочь, виляя меж кустами. Душа-то нескоро сообразила, что действовать надобно именно так – набирать быстротою бега пространство меж собой и опасностью, а уж ноги монаха с неистовой силой месили мшистую землю и саженьями отбрасывали её назад. Длинный посох в руке мешал, цепляясь за ветки, и Ефрем отбросил его на бегу; не смея оглянуться назад, инок чувствовал, однако, до последней пяди всё то расстояние меж собою и преследователем, которое вначале быстро увеличивалось, затем какое-то время оставалось неизменным, а после стало неотвратимо сокращаться. И, со стоном вбирая сквозь набухшее горло воздух в грудь, беглец оглянулся и совсем недалече увидел преследователя, который нёсся следом, словно вепрь, легко перепрыгивая через лохматые круглые кочки. Об одну из них сам монах-то споткнулся и кувыркнулся на землю, вытянув вперед руки, – и успел ещё привскочить на колени да с невероятным проворством пробежать вперёд на четвереньках, беспамятно вскрикивая: "Господи! Господи! Господи!" Тут его и настиг Куря – подняв ногу, с разбега ткнул в крестец монаху лыковой подошвой лаптя. Ефрем далее покатился по серому мху, глубоко погружая скрюченные пальцы в его влажный ворс и выдирая моховые кочки вместе с чёрной землёю на корнях. Этими клочьями мха инок и стал бросать в лицо подступавшему к нему разбойнику.

– Изыди! Изыди, душегуб! – торопливо выкрикивал монах дрожащим, жалобным голосом. – Не тронь божьего странника, тебе грех великий будет!

– Нябось, – уговаривал его Пахом Куря, шумно, радостно дыша сквозь широкие дырки ноздрей, и взмахивал железным окованчиком на ремне.

– Нету деньги! Ничего нету... Не губи душу зря, дядя. Прочь! Сгинь! С нами крестная сила, – лепетал инок, стоя на коленях перед разбойником и продолжая бросать в него ошметки мха с землёю.

– Ну! Цяво каваргасишь***, цёра, – увещевал Куря, внимательно кружась вокруг поверженного наземь. – Вот уж озорник, прям бяда, – бормотал косматый мужик, выбирая удобное мгновение для нанесения удара.

*** Каваргасить – безобразничать (местн., куршанское).

И тут Ефрем вспомнил прощальное наставление старца – молиться в час смертной туги за всех грешных и заблудших. Мгновенно он сложил руки на груди и закрыл глаза, готовясь

приступить к молитве. Тем временем Пахом спокойно примерился и, раскрутив кистень, свистящим косым ударом поверг монаха наземь. Железный окованчик угодил тому не в голову, не в висок, как метил напавший, а по мягкой части шеи, белевшей меж воротом вретича и подрезанными волосами инока. Он лёг на мох и ещё вздрагивал, дёргая на сторону головою, когда косматый чернобородый увалень уже обшаривал его, нагнувшись, переворачивая тело, будто медведь валежину. Грабитель сорвал с него оловянный крестик, сунул себе за пазуху, потом, оставив тело, обратился к дорожной суме инока, ловкими пальцами развязал вервьи и, потянув за торчавшее из котомки топориче, вынул железный топор, осмотрел его и бережно, как уже своё имущество, положил боком на землю. Затем поднёс разверстую суму к лицу и стал заглядывать в её пустое вместилище, мирно сопя и внимательно хмуря брови.

В это время очнувшийся монах приподнялся и, держась за шею одной рукою, другою взял топор. Несильно взмахнув им, монах вонзил остро наточенное лезвие в согнутую спину разбойника. Тот крикнул, выпрямился и, не сумев подняться на ноги, повалился с корточек долой и лёг рядом с иноком. Они возлежали на серебристом мху, кое-где пробитом кругами и узорами зелёного, – словно на пышном ковре два уснувших королевича. И были разбросаны по нарядному ковру малиновые кубки – стояли во мху развёрнутые грибы-сыроежки. А вокруг высился, застыв в безмолвии, частый молодой сосняк с красновато-бурой тесниной стволья, будто напирали со всех сторон, окружив поляну, солдаты иных времён в мундирах с золотым шитьём, с зелёными знаменами, за которыми не видно было неба. Ни лучика солнца не пробивалось сверху сквозь плотную хвою – оно бушевало где-то высоко над прохладными пещерами леса: головы воинства древесного были на жару, а ноги в прохладе.

Я никогда не мог ощутить, где кончаются пределы моего времени и начинается другое – без меня и вне меня, я всегда был и пребуду вечно в своём чувстве времени, и меня не трогает зрелище чьей-нибудь смерти – она не убедительна для моего сознания. Ибо умирающие деревья – это всего лишь частичное отмирание: выпадение волоса, отскок чешуйки от ствола, летящий с вершины дерева лист, – необходимое для лесного обновления действие. А то нескончаемое, к чему приобщена душа моя, не знает смерти и никогда не узнает её. То, что умрёт вместе с моим телом, достойно погибели. Но если я внутри Бога, а не вне Его, то я всё равно бессмертен – так же как и любой умерший на моих глазах и смешавшийся с землёю лесной гигант. Поэтому лес, представший как сомкнутый вокруг поляны тесный строй солдат в мундирах с золотым шитьём, протянувший прохладные зелёные пещеры, наполненные погребным духом грибов, – Лес это я. Я, неуловимый для чьей-нибудь одной любви, я, любящий все времена и эпохи земные, – могу спокойно смотреть на то, как лежат рядом на полянке два человека, попытавшиеся убить один другого, и кровь льётся от кого-то из них на примятый его спиною узорчатый лист папортника.

Я, многократно горевший и возрождавшийся зелёный зверь на сотни вёрст вдоль и поперёк, сплетённый под землёю общими корнями, не знающими вымирания, испятнанный по зелёно-бурой шкуре своей чёрными пятнами торфяников, словно безобразными следами чьих-то укусов, – я приютил, не дал пропасть одной человеческой душе, подвёл её к вывороченной громадной ели, что валялась на земле, задрав плоское коренье своё в виде вздыбленной земляной стены... Возле болота, где семьсот лет спустя начнут добывать торф, поселился инок Ефрем, устроив небольшую келью: привалив жерди к вывороченной корнями земляной лепёхе, сверху обложив шалаш корьем. Рядышком с кельей, под той же стенкой выворотня, Ефрем поселил в могилу убитого им разбойника Пахома Курина. Инок поставил над ним берёзовый крест, смастерив его с помощью того же топора, которым он и зарубил Курю.

Я уж не могу сосчитать, сколько снегов падало на этот крест, сколько осенних ветров хлестало по его перекладам длинными струями мокрого ветра, сколько паводков подмывало лесную могилу, пока крест не стал тёмным, как чёрнёное серебро, и не покосился вниз на одну сторону, словно в изнеможении пытаюсь опереться о землю своей длинной

перекладиной... Потомками Курина были Сысой, Хлудя и Мишага, от Хлуди пошли: Артемий, Савл, Кондрат, Липонтий, от последнего Силантий, от него Аркашка, от Аркашки Сергей, затем Кипреян, отец Агапён, который бил железным шкворнем Гришку-вора.

Крестьянский народ, просочившийся вслед за отшельником в эти леса и с помощью огня выпаливший пространные пашни, назвал болото у выворотня Охремовой пустынью. Первые пахари, поселившиеся верстах в трёх от кельи, ещё лет двадцать видали в лесу старца, который был почти наг, бос, но не выходил к людям и на слова их, обращённые к нему, ничего не отвечал. Остановив для себя время, он прожил жизнь, твердя над могилою разбойника одну и ту же коротенькую молитву. Была ли какая радость ему в этой жизни? Воссияло ли когда-нибудь перед ним зарево Славы Господней? Или всё долгое время, за которое крохотная сосенка вымахала в двадцатиаршинную детину, и ёлка, выросшая от шишечки той самой палой ели, что дала приют отшельнику, сама тоже упала от тяжести своих густых лап, не удержавшись на зыбкой почве, – всё это время человек был совершенно одинок, безумен и несчастен хуже всякого животного? Я ничего не могу сказать, потому что забыл -выпало у меня из памяти, не то проспал я десяток-другой лет густым лесным сном, когда, проснувшись, не понимают, как это умудрился на месте ржавого болота выбежать на простор беленький тонкоствольный березник?

Но к концу жизни отшельника уединение его было нарушено: появился в скиту и рядом с лачугою Ефремовой построил добротную землянку румяный инок Никиток, убежавший из Сийского монастыря. Он стал считать себя послушником старца и его учеником; но, верный обету молчания, пустынный не сказал деловитому юноше до самого часа своей смерти ни слова, угрюмо косился на него и поскорее отворачивался при встрече. И лишь на смертном одре, когда Никиток вошёл в келью и поставил за головою старца свечу, тот, открыв глаза, заговорил просевшим замогильным голосом:

– Что, али плох я совсем? – и покосился на шаткое вытянутое пламя свечи.

– Должно, отойдёшь сегодня, – обрадованно ответил Никиток и повалился на колени у кучи хвороста, на которой лежал старец. – Благослови меня, отче.

– Бог благословит. Ужели сдохну наконец, – хрипло молвил старый отшельник и шумно перемог удушье. – Он... Вот он, – ясным голосом проговорил затем.

– Кто? – удивлённо округлил рот Никиток.

– Куря.

– Какой куря, дедушка? Где ему быть-то? – испугавшись чего-то, спрашивал молоденький инок.

– Да вот же он лежит, али не видишь, дурей, – говорил, задыхаясь и подкатывая глаза, старик и томился, видимо, сильно. – Ишшо лапоточки мокрые...

Сырые, разбитые лапти, сбоку одного торчит из дырки грязный конец онуча; на коленях лежащего белеют заплаты, поновее серых портков; борода лохматая задрана к вершинам деревьев; сквозь оскаленные зубы Пахома вырываются тихие стоны... Инок Ефрем сидел рядом с ним, одной рукою зажимая размозженное железкою место на своей шее, а в другой всё ещё сжимая топор, оружие, единственно с которым и направился в дремучие леса Мещеры, чтобы устроить там уединённую пустынку... Но дьявол оказался проворнее – настиг его в пути и в роковой миг сунул в руку топор – тот самый, который впоследствии столь много посёк дерева, что стал куцым в лезвии и, перейдя после Ефрема к его преемнику Никите, был забыт однажды им на берегу речки Ушор.

– А-а... Хлебца бы мне, – вдруг сквозь стоны пробормотал раненый-умирающий и громко заскрежетал зубами.

– Живой? – встрепенулся монах и, отбросив топор, на коленях подполз к лежащему. – Брат, не помирай! Ради Бога живи, не помирай, – лепетал Ефрем, криво держа голову, отчаянными глазами уставясь в лицо раскинувшемуся навзничь разбойнику.

– Ня муташишь****... Дай-ко, пожалуй, хлеба... – тихо попросил тот.

**** Муташить – шуметь, устраивать беспорядок (куршанское).

– Щас! Я щас аржаного... Подали в окошко хрестьяне в деревеньке Кальное, – торопливо бормотал монах и копался слепыми пальцами в котомке. – Щас, брат, хлебушка тебе достану.

– Уж цего-то хлебца захотелось пожевать... перед смертушкой, -открывая глаза, слабым голосом произнёс Пахом. – Бяда.

– Нет уж, брат, не помирай, – испуганно возражал ему инок. – На, поешь хлебца и восстани, аки муромский Илия с печи.

Отломив горбушку от тёмной краюхи, монах бережно сунул хлеб в раскрывшуюся скважину чужого рта. Пахом долго держал корку во рту, затем выплюнул хлеб на грудь.

– Коравый больно, – с немалым усилием произнёс он. – Ня примаёт душа.

– Погоди, окаянный! Вор! Тать ночью! Живи вопреки смерти, проклятый мещерянин! – запричитал монах, дёргая на одну сторону головою.

– Уми... уми-раю, цёра... Помяни, божий целовек, в молитвах Курю... Пахома Курина. Ня бось, что руку помарал об меня... Сам я резал, губил... никого не жалел... Кровушки невинной сколь пролито, бяда. Бог не примаёт таперя. Вон, гля, – у ворота бесы купыряются, словно шошкуюта***** малые, друг дружке говном морды мажут... А-а... ах! – только и ахнул разбойник, вздрогнул напоследок, посучил ногами, затем вздохнул глубоко, опал и плоско вытянулся на земле.

***** Шошкуюта – местное, куршанское, обозначает дети.

И было странно и страшно видеть иноку, что только что дышавшее тело больше не дышит и не корчится при этом в муках удушья. Ефрем сидел возле трупа на мягком мху, нахохлившись, как больной грач, и с нежностью смотрел на быстро меняющееся обросшее шерстью лицо разбойника; заметил крохотную слезинку, прилипшую к подглазию усопшего, хотел вытереть её пальцем, да отвлёкся на то, как заметались вокруг тени и как, перешагнув через его ноги, отрок Никита двинулся к выходу – закрывать распахнувшуюся от ветра тяжёлую дверь, обитую из вытесанных плах.

Но не ветер это ворвался в хижину отшельника, а вошла Ефремова смерть, и была она не в белой хламиде, с железной косою, а в голубом джинсовом костюме, с грибной корзиною в руке. И повела смерть такой разговор:

– Уже неделю меня мучает бессонница, я не сплю по ночам, а днём хожу по лесу, и мозг мой производит самые странные фантазии, и вижу я удивительные вещи – вот тебя, например, в час твоей кончины, инок Ефрем, или Охрем, как говорят местные крестьяне, и я есть твоя смерть. Ты ярко видишься мне в пределах трёх измерений, но тебя нет, потому что есть я. И это моё грубое пространственно-временное существование делает тебя призрачным, я и есть смерть твоя, делающая тебя призраком, ибо далёкий мой потомок, что явится и ко мне, сделает меня таким же призраком – в соотношении со своей грубой реальностью. Отшельник! Я пришёл к тебе из будущего в минуту для тебя самую страстную, пришёл возвестить, что Бог простит твоё прегрешение убийства ближнего своего, что будешь ты свят в народной молве, как хотелось тебе от молодых дней, и твоим именем назовут пустынный деревянный монастырёк, построенный расторопным Никитком – отцом Пафнутием в сане. А впоследствии, когда Лес переменит много поколений своих жителей, когда уж и следов монастыря не останется на обомшелой земле, жители этих мест будут называть большое торфяное болото твоим именем -Охремово болото.

Мы оставили где-то далеко внизу и в стороне промелькнувшего инока Никитка, будущего отца Пафнутия, основателя монастыря, и побрели вперёд лесной дорожкой. Я вёл за собой долговязую робкую тень только что умершего пустычника и, порой оглядываясь на него, ободряюще и призывно взмахивал рукою, а сам крепко недоумевал про себя: куда это веду его? Почему вдруг взял на себя роль вожатого, если и сам никогда не знал и не знаю, куда ведут умерших после смерти? Может, поэтому и отправился в путь – встречать и сопровождать Ефремову тень, чтобы узреть истинный конец бытия, как путешественники, идущие вниз по реке, увидят в конце впадение её в океан.

Приблизившись ко мне на близкое расстояние, Ефрем (старец? юноша? Никак не разобрать. Облик его уже *неземной*, то есть такой, что не отражает никакого возраста, подобно тому, как вид облаков или бег реки ничего, ничего не говорит о времени!), или Охрем по-крестьянски, несмело молвил:

– В словах твоих я чувую милосердие, и тоё не может быть от воли бесовской. Поведай мне, чудное видение, не ангел ли ты божий явиша предо мною с небес?

– Да, я для тебя ангел, посланец из будущего. И я хочу сказать тебе, чтобы ты не отчаивался больше из-за этого убийства, которое совершил ты невольно, скорее в конвульсии безмерного ужаса, нежели по воле сознания. Ты прощён даже не за то тяжкое бремя покаяния, которое наложил на себя и пронёс через всю жизнь. Просто в сравнении с тем, что сделали другие, в последующие времена, твой проступок перед богом твоим выглядит почти что невинным.

Ефрем! Я знаю и могу привести столько свидетельств чудовищных проявлений людского зла и позора! Но знания мои – как затхлая вода в колодце, застойная и отравная, не утолит она ничьей жажды. *"Не пейте моей воды"* – нужно написать на таком колодце или лучше всего – завалить, засыпать его холодной, мудрой, всепрощающей глиной! Горестный, бессмысленный родник ночной тоски и тягучей бессонницы.

– Не-ет, ты не ангел! – грозя длинным пальцем, говорит Ефремова тень. – Ты есть моего предсмертного сна утомлённое видение.

– Что ж, Ефрем, ты тоже моего предсмертного сна утомлённое видение. Мы с тобою, выходит, в равной степени не причастны к миру громкой человеческой молвы, к тем живым человекам, которые сейчас так истово – так неистово творят свою трагическую историю.

И куда же я веду тебя? Коли я всё же не ангел? К богу твоему я не знаю дороги, и, наверное, никогда не буду знать, и по-прежнему я остаюсь с уверенностью в полной безысходности плена жизни, и в смерти не вижу никакого избавления. По-прежнему смерть для меня – Гора гниения, соштабелёванная из неисчислимого количества фрагментов тел человеческих, отторгнутых конечностей, сочленений и поруганных органов размножения, и всех этих кошмарных форм внутренностей, выдавленных наружу из лопнувших животов, и блеск сукровичной жижи, зловещей и смертоносной, как мёртвая вода. Поведу ли тебя мимо этой горы – и прямо сквозь неё по ненадёжному, оползающему пластами распада, смрадному тоннелю, на бегу отбрасывая ударами локтей и коленей падающие с потолка пещеры куски осклизлого мяса. О тошнота! Ты благословеннейшее и приятнейшее чувство в сравнении с тем омерзением, которое познаёт суть человеческая на близких подступах к смерти. И несчастный человек, проживший на земле в наиболее отвратительных условиях, познавший наибольшие мучения и самое тяжкое гноище, – тот и в смертной страде испытает наивысшее омерзение, переплывёт на пути своём не одно фекальное озеро. Так по каким же путям высшей справедливости и всеблаготворности разрешённости поведу я тебя, новопреставленный раб божий? Лучше всего было бы, чтобы тебя никогда не было, а меня и подавно – не встречать, не провожать. Но нас никогда и не было и не будет, и ничего нет вместо произнесённых слов, да и слова-то, собственно, никто не произносил, время, которое превращается в ничто, не было отпущено нам. Потому что мы с тобою, отшельник Ефрем, пригрезились на рассвете влажному Отцу-лесу, когда он, сгоняя взмахом руки липкий туман с лица, уже собирался пробудиться.

И вот он проснулся, и открыл глаза, и увидел над собою обклеенный страницами

"Нивы" потолок, весь в пятнышках мушиных испражнений, и ему пятьдесят восемь лет, и всё уже окончательно потеряно. Жена-кухарка Анисья народила ему пятерых детей, все они выросли и разлетелись кто куда, остался с родителями только младшенький Степан, и живут они теперь в обшарпанной барачной комнате с печкою, а служит он в районной ветеринарной лечебнице и проснулся для того, чтобы встать, умыться, позавтракать и идти на эту службу. Всё вроде бы так и было на самом деле – вот и Анисья, сверкая белым телом на том месте, где в домашней блузке, у подмышки, была прореха, суетится возле стола, поднимая и опуская на какую-то гладильную тряпку тяжёлый утюг, наполненный раскалёнными углями. Вот и угли пахнут угарно, возбуждающе, и блестит сморщенный лобик у Анисьи от пота, и сын Степан, сидевший за столом (кусочек его ноги в серых шароварах из "чёртовой кожи"), виднеется сквозь входной проём перегородки – вроде бы жизнь это, и он, Николай Тураев, сейчас встанет и пойдёт на работу в ветеринарную лечебницу.

Но так ли это, размышляет Николай Николаевич, поднимаясь с постели, имеется ли на самом деле это самое – жизнь? Николай Тураев хотел решить загадку бытия в единственном своём числе, точнее же – он хотел понять ясным разумом, в чем высшее предназначение его единичной жизни, а никакого предназначения не оказалось и не могло быть, потому что ОН был всего лишь деревцем в ЛЕСУ, а какой смысл может быть в жизни дерева, которое срублено, или сгорело, или засохло и рухнуло на землю лет двести назад?

Но сегодня за утренним чаем он почувствовал всей глубиной души, что есть некий точный смысл его единичного существования, и оно совершенно уверенно противостоит всему мирозданию и вневременному бытию Леса. Он, человек, есть творец особого мира. Мир внешний, разумеется, существует и без него. Но это *никакой* мир. Сущую и я несомненный. И каков я, таков и мир, через меня воспринятый и познанный. И так как я исчезну, то и миру особенному исчезнуть – тому самому, который я сейчас знаю, вижу, ношу в себе. Таким образом, я живу в обречённом мире, как и сам я обречён, из этого положения нет никакого выхода. Осознание "Я" ведёт лишь к нулевому результату существования. Уничтожение нуля есть обретение бесконечного -вечнозелёных сеней Отца-леса, райских куш, Елисейских полей.

Он шёл по высокой набережной вдоль Оки и ни о чём в особенности не старался думать, думалось незаметно, само собою по накатанному кругу привычных размышлений, уже давно перешедших из словесного ряда в состояние устойчивого чувства жизни, своего рода привычную боль бытия. Разминулся с длинной угольной фурой, груженной сажеными мешками, уложенными вдоль кузова надёжно и умело, запряженной в пару крутогрудых тёмно-гнедых битюгов; хотел переходить улицу, чтобы направиться к проулку, ведущему некруто вверх, к другой улице, как встретился с нею, со старухой Козулиной, в девичестве Ходаревой.

Девять лет прожил Николай Николаевич в Касимове после того, как сожгли его дом в лесу. Одним из первых местных дворян он пошёл на службу новой власти, стал выбраковщиком мобилизованных для армии ремонтных лошадей, и уже привычной была для бывшего барина жизнь мелкого уездного совслужащего, и он был привычен для жителей нескольких улиц, по которым только и ходил в городе, – и никогда, ни разу не встречал её, да и не предполагал подобной встречи. Уверен был Тураев, что где-то далеко по заграницам разъезжает богатая и красивая купчиха, – а она, оказывается, все эти годы жила на том же краю города, быстро превращалась из гордой женщины в оборванную старуху и ни разу не встретила ему. Перед самой революцией Вера Кузьминична добилась развода с мужем, и он положил ей приличное содержание, полагая за собою вину в том, что сошёлся с другой женщиной (в надежде на то, что она родит ему наследника – жена не могла рожать), но произошла революция, купец исчез, и получившая свободу Вера Кузьминична вдруг оказалась совершенно безо всяких средств. По гордости своей она ушла из дома мужа только с тем, с чем пришла когда-то, и поселилась у одной знакомой, пожилой огородницы Шуры; но через два года она из квартирантки стала работницей, батрачкой за харчи и угол, и была

из просторной горницы выселена в тёмную пристройку с железной буржуйкой на зиму. Николай Николаевич пошёл навстречу ей и, остановившись, ещё издали поклонился, почему-то заговорив по-французски:

– Осмелюсь, мадам, напомнить вам, что мы когда-то были знакомы.

Вера Кузьминична, по осеннему времени замотанная в большой грубый платок, в сапогах с калошами, без перчаток на красных, покрытых трещинами руках, удивлённо взглянула на него. Усмехаясь тому, что в пыльном проулке, заросшем бурьяном, прозвучала столь благозвучная фраза на хорошем французском, Козулина ответила, приостановившись напротив чудака:

– Что это вы, батюшка мой, язык-то вспомнили? Сейчас уж не говорят на нём и приличные люди. Хотя приличных-то людей не осталось вовсе.

– Вера Кузьминична, извините, не знаю сам, как это выскочило, – начал смущённо оправдываться Тураев.

– И всё же благодарю, что напомнили мне о лучших днях, – продолжала далее старуха на бойком французском, вмиг зарумянев. – Назовитесь, кто вы? Я что-то вас не припомню, сударь.

– Мадам, я тот человек, который многие годы молился одному звуку вашего имени, – отвечал Николай Николаевич, сняв картуз и потупив лысую голову. – Я любил вас всю жизнь и теперь совершенно счастлив, что наконец-то смог это высказать вам.

Старуха Козулина заплакала, вытирая обильные слёзы рукавом облезлой плюшевой душегрейки, обноски Шуриного (которая в молодости слыла щеголихою).

– Что это вы такое говорите, безумный вы человек, и зачем это вы мне говорите? Я прошу вас оставить ваши неуместные пьяные шутки, – попыталась разгневаться Вера Кузьминична.

– Не пьян я вовсе, – говорил Тураев, улыбаясь. – Можно сказать, Вера Кузьминична, я сегодня освободился от несчастья всей моей жизни. Давно надо было всё это мне сказать вам, да случая не было. И так-то прошло эвон сколько времени. Вся молодость наша, Вера Кузьминична! Вся жизнь.

– А, так я узнала вас! Вспомнила! Как молния сверкнуло в голове! Вы Лидочки Тураевой брат, офицер. Зовут вас, кажется, Николаем... Николай Николаевич! – восклицала звонко Козулина, глядя на лысого старика слезящимися глазами.

– Спасибо, что вспомнили!

– Так почему же вы не объявлялись, коли так любили?

– Потому что, Вера Кузьминична, судьба была мне никогда не знать в жизни счастья.

– Бедняжка Лидия умерла, я слыхала, – перешла вновь на французский Козулина. – Всем нам, сударь, была судьба не знать счастья... А где сейчас ваш брат? Андрей Николаевич? – уже по-русски произнесла она окончание своего вопроса.

– Он сейчас в Москве, шьёт сапоги в обувной артели. В восемнадцатом и его, и Лиду, и меня – всех ведь мужички сожгли. Лида умерла от удара, брат перебрался в Москву, опростился в пролетарии, а я предпочёл остаться в Касимове. Тут и живу уже многие годы и никуда не собирался переезжать, хотя брат и зовёт в Москву.

– Ах, я бы туда поехала... Что же вас так держит в Касимове? – спрашивала старуха по-французски, произнося соответственно и название города: "Касимо?фф".

– Здесь я искал ваши следы... А в Гусе Железном была у меня с вами вторая в жизни встреча.

– Ах, вы опять о том... – старуха Козулина слабо махнула красной измозоленной рукою. – Вторая встреча? А когда же это было? Я не помню.

– У стены Баташовского подворья. О, много лет назад. Вы, были с розовым зонтиком.

– Этот зонтик, представьте себе, сохранился у меня! Я как-нибудь при случае покажу его... В моей жизни, знаете ли, произошли все катастрофы, какие только мыслимы в этом мире, и я теперь почти нищая, совсем одна, и мною помыкает грубая старуха, грозит выгнать вон, и я этого боюсь больше всего.

– В наше время всё то, что произошло с вами, со мной и с другими многими, вовсе не удивительно, Вера Кузьминична. Очевидно, Богу угодно, чтобы все люди до одного прошли через испытания, оказались несчастны. Кто был никем, тот станет всем. Кто был всем, станет, стало быть, никем.

И они, словно давние знакомые-приятели, поговорили о разных делах, совсем дальних и ближайших, связанных с новыми временами.

– Зинаида Баташова, восьмидесяти двух лет, – была расстреляна, расстреляна! Вы только подумайте, старуху!

– Милая Вера Кузьминична! – И далее Тураев опять перешёл на беглый французский: – Мир этот живёт не по законам Леса, а по законам Зверя. Свои взаимные проблемы предпочитаем мы решать с помощью быстрого кровопролития. Мы не умеем, сударыня, делить мирно жизненное пространство, как это делают деревья, вот в чём дело.

– Ах, ничего-то я в этом не смыслю, Николай Николаевич! Только одно я вам скажу – ни к какому кровопролитию лично я не имела никакого приближения. Я даже курицу зарезать не могу. За что Шура, моя хозяйка, смеётся надо мною и, когда бывает пьяна, даже щиплет и царапает меня, иногда и побьёт. Я ушла от большого богатства, а теперь выращиваю на огороде капусту, огурцы и помидоры, живу в каморке – вот теперь всё моё пространство... Однако я задержалась, мне идти пора! Надеюсь, мы встретимся с вами, о чём-нибудь ещё поговорим.

– Вера Кузьминична! – вдруг воскликнул он, выпрямившись, вскинув голову.

– Ай? – с оживлённой улыбкой на сморщенном лице быстро ответила Козулина, знакомо склонив голову к плечу и глядя снизу вверх на Николая Николаевича своими старыми раскисшими глазами.

– Вера Кузьминична, это очень смешно, что я вам скажу. Но выслушайте и не отвергайте... Я волнуюсь... Но это будет очень и очень правильно.

– Так что же, что, Николай Николаевич?

– Вера Кузьминична, поедemте вместе со мною в Москву. К моему брату. Он звал...

– Зачем это, Николай Николаевич?

– Предлагаю нам отныне быть вместе.

– Но я, батюшка мой, не знаю даже, что есть в вашей жизни, чего нет... И зачем это я с вами поеду, куда?

– Хуже не будет, Вера Кузьминична... Что у меня есть? Ничего нет. Ничего не было, кроме вас.

– Перестаньте сходить с ума, мы с вами не в романе, Николай Николаевич, – вновь заплакала старуха Козулина. – Когда вы полагаете ехать?

– Завтра, – со спокойною, тихой улыбкою проговорил Тураев. – Завтра вечерним пароходом. Приходите прямо на пристань.

– Ах, не знаю... Что-то я ничего не пойму. Прощайте, сударь.

– До завтра, Вера Кузьминична. Буду ждать. Не обманите же моих надежд, Вера Кузьминична. Я ведь вас всю жизнь прождал.

Таким образом внезапно свершилась та перемена в жизни, которую Николай Тураев давно желал и ждал. Но доселе, что бы ни происходило с ним или вокруг него, он спокойно отрешал это от себя, как нечто его не касающееся и никакой перемены не содержащее – но до последней встречи с постаревшей и впавшей в ничтожество возлюбленной его молодости. Эта неожиданная встреча открыла ему, что он давно свободен от всех долгов своей жизни, – да и никогда никому ничего не бывал должен, рабских уз никто на него не накладывал, и лишь по какому-то величайшему недоразумению он прожил долгие годы в добровольном рабстве. Свободной была его странная, необъяснимая любовь к этой женщине.

И он, одинокий мыслитель, вдоволь предающийся высокой философии, всегда был лишь сосудом самой вольной на свете любви. Ибо ничему она не подчинилась – как бывает подчинена обыкновенная человеческая любовь: здравому смыслу, долгу, семейному праву, времени, старости и усыпительному забвению. Сохранив же в себе любовь к этой женщине,

он был свободен от всех остальных привязанностей, потому что они для него, оказывается, совершенно ничего не значили. Так проявилось, убедительно и жестоко, что мы, его дети, чужды для него и безразличны, как луне старая паутина в углу сарая. Я смотрел на эту луну сквозь пыльное стекло крошечного, об одно стёклышко, оконца, и мне было очень грустно, что это общее для всех нас, детей, родившихся от отца-барина, чувство небратства и безразличия друг к другу обязано происхождением своим прекрасному чувству нашего отца, любившего всю жизнь какую-то другую женщину, а не нашу мать.

Я вспоминал, глядя на луну, повисшую над ночными полями южной Саксонии, как отец, в чёрном старом пальто, в чёрном картузе, налегке шёл по пристани, а я уныло волочил ноги, плёлся и сам ещё не понимал, насколько печально то, что переживаю в душе своей, не мог знать, как всю жизнь от этой минуты и далее будет пронзать меня что-то вроде мучительного стыда за одно только то, что я увидел несколько минут спустя. Подошла к нему какая-то старуха в драной соломенной шляпе, совсем неподходящей для осенней сырой погоды, в каком-то крестьянском зипуне, с заплатой под мышкой – и они взялись за руки. Не оглядываясь на меня, отец шёл со своей спутницей и, подойдя к сходням, помог ей взобраться по ступеням на пароход и сам следом вскарабкался – исчез на судне, так и не оглянувшись на меня. А ведь знал, что я слежу за ним – мы весь путь от дома до пристани прошли рядом, я почему-то решил проводить его на пароход.

И вот много лет спустя, находясь в плену, мучаясь от холода и голода, ночью я смотрю на луну из окошка сарая, где находится моя рабская постель из куска брезента, брошенного на солому... Смотрю на луну и опять замираю от давнего стыда, ибо прямо перед лунным могучим диском идёт во всём чёрном отец и ведёт за руку высокую оборванную старуху, которая удивительно похожа на престарелую фрау Ленц, свекровь моей непосредственной госпожи Марианны Ленц, владелицы ещё четырёх, кроме меня, военнопленных рабов и двух надомных рабынь из Украины. Я каждый раз вздрагиваю, когда вижу на просторном помещицьем дворе старуху Ленц, которая гуляет в сопровождении одной из пленниц, полусидя в особом станке на колёсиках, – она может и самостоятельно передвигаться, когда захочет, став на ноги, держась за поручни и толкая коляску перед собою.

Моя обязанность – вывозить на тачке навоз из коровника, поэтому я благоухаю говном высокопородных немецких коров, и меня определили жить в отдельной каморке, выгороженной в скотном сарае. Зато я могу по ночам вволю любоваться луною, отцом на мостках пристани, сосною – лирою на краю Колиного Дома и прочими картинами из своей прошлой жизни. Я люблю эти затаённые ночные мгновения высшего одиночества, когда вдруг оказываюсь каким-то весёлым, удивительным всечеловеком, а не скотником-военнопленным у помещицы Марианны Ленц. В одно из этих ночных мгновений произошло незаметное преображение Степана Тураева в Глеба Тураева – отца в сына, который родится уже много лет спустя после войны, и Глеб Тураев не мог в своей единственной дочери узреть начал духовного родства, так же как и Степан Тураев, его отец, не мог в нём и в других своих детях ощутить близость большую, нежели пространственную, что устанавливается между отцовским древом и тесно стоящим вокруг подростом. Чувство непостижимой и страшной одинокости среди всех отдельных существ и элементов мира было стержнем тураевской духовности – и вместе с этим осознанием себя как неотъемлемой части зелёного Леса.

Итак, Степан смотрел на луну сквозь пыльное германское стекло, тосковал об отце, навеки утерянном, а Глеб шёл по лесной дороге, ведя за собою душу умершего пустычника Ефрема, – люто тоскуя по любви своего десятилетнего ребёнка, которого он совершенно оттолкнул от себя холодной строгостью. Тень Ефрема, следовавшая за ним, всё невнятнее вырисовывалась в полумгле лесной, а на солнечных переходах и совершенно исчезла, уничтожаясь в зелёном пламени вспыхивающей листвы. Степан поднимался из соломы и, откинув в сторону брезент, вылезал из каморки, чтобы постоять в темноте двора возле навозной кучи, – в них, отце и сыне, жгуче нарастала боль, и эта возникшая боль сына, брошенного отцом, и боль отца, бросившего своего ребёнка на произвол судьбы, настигла

Степана и Глеба Тураевых внезапно в самые разные мгновения их бытия, – и всему виною было то, что когда-то Николай Тураев взял женою женщину как кусок природы, обычную дочь Деметры, а не как недостающую часть своей духовной сущности.

Однажды Николай Николаевич размышлял, сидя на пороге своей токарной мастерской, об объективизме древней китайской философии, о лукавом равновесии "дао", скрывающем в себе нежелание китайцев менять свои привычки, – вдруг из-за угла сарая появилась Анисья, держа двумя пальцами за хвостик дохлую мышшь. Неизвестно, откуда она её вынула – не об этом подумал он в следующую минуту, а поразился тому, что жена выбросила мышшь в бурьян и, покосившись в его сторону, совершенно спокойно, с безразличным видом задрала юбку и, сверкнув дебелим задом, пристроилась облегчиться. И это, в общем-то, неувидительное домашнее действие жены поразило Николая Николаевича не столь натурализмом своего проявления, как ясным осознанием того, что они навсегда и безнадежно далёкие, чужие друг другу люди. А соединила их слепая и яростная природа, коей безразлично всё, что относится к области взаимных гармонических чувств людей. И он с затравленной горечью посмотрел на рыжую макушку Анисьи, торчащую из бурьяна, и этот взгляд его повторился в глазах его сына Степана в ту минуту, когда он из пленного сарая высмотрел сквозь окошечко луну в небе, вспоминая при этом, как отец поднялся с высокой старухой на пароход, так и не оглянувшись на замершего посреди пристани сына. А затем и Глеб Тураев, вспоминая непростительные свои выходки и тяжкие промахи во взаимоотношениях с дочерью, сложной и беспощадной особою десяти лет, опять остановился посреди лесной дороги и медленно огляделся вокруг, излучая взглядом ту загнанную тоску-кручинушку бытия, то всежигающее сожаление по невозможным утратам, которое Глеб называл ожогом сердца.

Да, снова ожгло болью в самой срединной глубине его души, пальнуло нестерпимым, быстрым пламенем – вот и заозирался Глеб, думая удивлённо: почему так больно мне даже в лесу, на этой красивой одичавшей дороге? Фрау Ленц утром и вечером выстраивала своих шестерых рабов на поверку и, в штанах галифе, в сапогах, с алой помадой на губах, с английским стеклом в руке, прохаживаясь туда и сюда перед недлинным строем, делала одно и то же внушение дважды в день... А Степан и в эти минуты затаённой ненависти и животного вожделения к широкой заднице и стройным ногам фрау не переставал терзаться детской тоскою по исчезнувшему навеки отцу, и сын его Глеб, забыв о душе новопреставленного семь веков назад старца Ефремия, которого уже 2 часа вёл за собой по извилистым лесным дорогам, Глеб корчился от чувства утраты, которую теперь только в полной мере осознал за все время, что прошло после его ухода из семьи. Николай Николаевич постарался сделать для себя утешительный вывод: жена есть кусок природы, представительница жизнеспособной Деметры, это так. От неё исходят для меня и смерть и плотоядное безмыслие, это так; я же со своим постоянным мыслительным занятием и поисками цели для своего единичного существования есть явление противоестественное, а потому жена правее меня.

Фрау Марианна Ленц педантично повторяла на утреннем разводе и на вечерней поверке, расхаживая перед шеренгой своих восточных рабов: "У меня на ферме вам тяжело, но в концлагере вам будет гораздо хуже. Я не охраняю вас, но если кто-нибудь вздумает бежать, пусть сначала хорошенько подумает. В случае побега я потерплю убытки, это да, но тот, кто совершит побег, будет пойман и отправлен в концлагерь. Скрыться никому не удастся – не забывайте, что вы находитесь в Германии, народ которой победил Европу. Скоро весь мир будет нашим, и тогда вас, как самых первых наших рабов, ожидает большое счастье. Лучшие "ост", наверное, станут вольноотпущенниками и даже смогут завести семьи". Слушая её, Степан Тураев вдруг трезвел от ненависти и готов был убить себя за похабное воображение, в котором он только что соединял себя с немецкой барыней. И причину глубокого неблагополучия своего существования его сын, Глеб Степанович, понимал теперь так: если я не тружусь для достижения царства божия на земле или каждую минуту своего существования не верю в торжество коммунизма -словом, если не могу

естественно и всецело принадлежать сознанием своим какой-нибудь надличной цели, то мне остаётся постепенно сходиться с ума – Я ОДИНОЧЕСТВО, – или служить своим вождениям. И зад у фрау Ленц так и ходил ходуном, сыто и нагло подбрасывая под серым сукном галифе свои надменные полудоли.

Лесная дорога, по которой вожатый препровождал душу умершего старца Ефрема, шла от болота до широкой раскатанной дороги, ведущей к деревне Княжи, но это в двадцатом веке; а семью столетиями ранее там стоял сплошной красный бор, и по вытоптанной меж высокими соснами тропе военный отряд татар гнал пленных русичей, мужчин, и женщин и детей, человек двести, связанных гуськом в длинные цепочки. Степан Тураев бежал с Ленц-фермы, невзирая на предупреждения фрау, и, пробираясь только по ночам в ящиках под вагонами, в пустых товарных платформах, через сорок суток оказался в Словакии – там его и поймали жандармы, окружив в винограднике. Среди пленников, которых гнали татары, был пращур Степана Тураева, зверолов, лесной бродяга, умевший отменно притворяться мёртвым и в этом искусстве постигнувший все тонкости, учась у хитрых лисиц и барсуков. Степан подобного искусства не постигал, но и в нём – поколений через двадцать – сказалась нарабатанная привычка: когда четверо полевых жандармов взяли в приклады то, что досталось им после двух здоровенных овчарок, Степан сознания ещё не потерял. Но после одного сильного удара по голове он дёрнулся, прогнулся весь и упал на землю таким образом, что все мучители его и собаки-людогрызы также без всякого сомнения поверили, что он мёртв, и враз успокоились. Степан наблюдал за ними, глядя через запрокинутую голову немигающими, остановившимися глазами, – вот то же самое умел делать и пращур Степанов несколько сот лет до него. К начальнику отряда, громадному сотнику с кошачьими чёрными усами, подъехал на вороной лошади воин помоложе, скуластый, узкоглазый, с широкими плечами и тонким станом, перетянутым ремненным кушаком. Этот сообщил старшему, что мешки на обозных телегах пустеют, зерно кончается и скоро варить для пленных будет нечего. Надо всех их перебить – тут же, вслед за сообщением, подал мысль скуластый. Но начальник отряда, покачав головою, отверг его предложение.

А Степана, принятого за беглеца из местного концлагеря, решено было отвезти туда для опознания и составления бумаги, подтверждающей хорошую функциональность военной жандармерии. Его повезли в коляске мотоцикла, высадив на дорогу инструктора с собакой, которому, к его большому неудовольствию, надлежало пройти пешком четыре километра... Этот вожатый служебной овчарки, сухопарый человек с костлявой нижней челюстью, выпирающей намного дальше верхней, подумал с обидою на старшего патрульного: "Труп для него важнее живого человека, повёз дохлятину, хотя могла бы за ним приехать лагерная охрана, у которой есть на то специальные машины. – И далее собаковод в одиночестве кипел нарастающим негодованием. – И ведь не Ганса посадил, а меня, а ведь именно мой чёрный Люкантропус первым настиг этого беглеца, выдрал ему грудную мышцу, мой пёс, а не Гансов жёлтый Шнапс: и вообще – я ведь говорил, что не надо убивать варвара до смерти, оставить лучше в живых, чтобы мог он сам двигаться по дороге, бежать трусцой перед мотоциклом – тогда и не пришлось бы никого высаживать. Но разве меня послушались? Кто я для него? Никто, никто и ещё раз никто". Так думал разобиженный стражник, жандарм в серой форме, и подобным образом думают все стражники и жандармы, какие есть на свете. И пока в двадцатом веке искусанного собаками и перемолотого прикладами пленника везли на мотоцикле к концлагерю, в другом веке другой стражник также в мыслях своих злобил на начальство. "Вот он какой, жадный и жирный, как сурок, прихвостень ханский: получит за каждого раба по десятку баранов, а за красивую бабу и все двадцать штук. А нам что? Затягивать пояса от голода, кормить ветками лошадей, когда застигнет в пути зима? Рабы для него дороже воинов".

Увы, мысли и желания стражников придумал не я, а сам кривобокий и, стало быть, криводушный и кривопоносный сатана, и мысли эти общеизвестны и именно таковы, какими я изложил их – профессия чёрта, стражника, жандарма от начала веков и до скончания их настолько задервенела в своих устоях, что суть их свободно выражается двумя-тремя

простейшими фразами на любом языке. Жрать, бить, догнать, стрелять – основные глаголы их профессии. Начальник отряда, с кошачьими усами, с невероятным по охвату брюхом, распорядился так: перебить только взрослых мужчин, а молодых женщин и детей кормить дальше, пока хватит зерна, но урезать паёк настолько, чтобы каждый пленный мог съесть только то, что ухватит из котла одной лишь – правой или левой по выбору – рукою. Волю свою жирный объявил скуластому, с тонким станом, а тот лишь крикнул, подивившись хитроумию караванбаши, и, повернув лошадь, поскакал вдоль обоза.

Когда Степан Тураев ожил на глазах у беседующих меж собою жандармов и лагерных охранников, все они враз оживлённо загалдели, словно те фарисеи и книжки, что увидели воскрешение Лазаря: никакого удовольствия это им не доставило, однако возвращение трупа вновь к состоянию одушевлённого человека потрясло самые глубины фарисейской души, какую бы чёрствой она ни была. Но никогда Степан не мог забыть того, как эти люди, только что стоявшие в удивлении, столпившись вокруг него, вдруг принялись все вместе бить его – и по тем же суставам и ранам, на которых уже засохла кровь, и по тем ссадинам и опухольям, которые покрывали всё его несчастное тело уже не отдельными островами – громадным материком пламенной боли. И опять сработал в Степане Тураеве навык пращур – и снова профессиональные убийцы поверили, что он умер под их ударами, точно так же, как и татары, налетевшие с двух сторон на связанных гуськом пленников и с коней посёкшие мужчин кривыми мечами, не заметили среди упавших одного живого и нераненого, которого наряду с прочими убитыми отвязали и бросили на тропе; а колонну погнали дальше, сократив её длину почти на половину. Соскакивая с лошадей, то один, то другой всадник вытирал окровавленный клинок меча о серый мох на земле, об одежду убитых, а один ражий, раскосый, с громадными вразлёт бровями схватил девку в связке и, хрипло хохоча, стал вытирать меч её пушистой длинной косою – под нечеловеческий визг обезумевшей пленницы.

Окровавленный караван прошёл далее того места, что впоследствии будет названо Утиным болотом, а на тропе, где остались лежать посечённые трупы, появились псы-людоеды. Они не были специально приучены к человеческой крови – стали питаться человечиной одичав, упорно следуя за колонной, где находились их хозяева, многие из которых были охотниками-звероловами, как и Степанов пращур. Тут и произошла внезапная встреча хозяина с его озверевшей собакой, Басеем, лохматым, с медвежьими ушами, огромным волкодавом. Он, рыча и скалясь, далеко отогнал других псов стаи и начал осторожно слизывать кровь с шеи одного зарубленного, как рядом вдруг привскочил с земли его хозяин: "Басейко-о!" – вполголоса протяжно позвал он. И зверь мгновенно был преодолен в псе любовью к хозяину – Басей лёг, прижав подбородок к земле меж раздвинутых лап, и столь печально посмотрел в глаза человеку! Но большой хвост зверового пса так и метался из стороны в сторону, шевеля траву. Прислушавшись к удалённому шуму, охотник беззвучно перебежал с дороги в чащобу леса, и пёс Басей, вскочив с земли, могучими бросками кинулся следом.

Тут и раздался невероятный по ярости и силе рёв, словно исходя не из живой глотки, а от свистка гигантского паровоза. Собаки-людоеды все враз вздыбили загривки и, поджав хвосты, кинулись в кусты. И вот с треском раздвинулся сосняк, множество деревьев с грохотом повалилось в разные стороны – на лесную дорогу вылез, пламенно пыхтя, громадный ящер со змеиной головой и с собачьим туловищем Цербера, сравнить которое по величине мне не с чем – нет подобного же размера живого существа на Земле. Он когда-то вылутился из гнойного яйца, которое образовалось при ужасе и боли убиваемых людей, и теперь маялся во власти постоянного жестокого голода – есть он мог только что-нибудь железное, а металлом то время ещё было небогато, и приходилось Змею питаться бурой железноносной болотной рудой, благо её было много в сырых трясилах касимовской Мещеры. Летать ещё он не мог, не отросли крылья – беспомощно шевелились перепончатые отростки на его боках, словно растопыренные утиные лапки размером, однако, с крыло "боинга" каждая, и пищал Змей-Горыныч ещё совсем по-младенчески. Это впоследствии,

вскормленный железом и сталью больших войн, он начнёт рычать и пукать с такой силой, что будут возникать внезапные землетрясения на разных точках земного шара.

Я привёл душу пустытника Ефрема к тому месту, что будет впоследствии названо Выгорами, и мы вынуждены были остановиться, потому что перед нами слева направо с грохотом двигалась высокая серая стена, одетая в круглые бляхи металлических чешуй, наползающих друг на дружку, как тракторные гусеницы.

– Что это? – с ужасом вскричал Ефрем, едва видимый в сиянии полуденного лесного отсвета: где-то над вершинами деревьев бушевало яркое солнце.

– Дракон, – ответил я. – Это всё ещё тянется его хвост.

– Куда ты ведёшь меня, брат? – трепетно вопрошала душа того, кто умер примерно в последней четверти тринадцатого века.

– Туда, куда должна попасть душа каждого умершего человека, – ответил я.

– А куда она должна попасть, брат?

– В будущее, – сказал я. – В своё человеческое будущее.

– А что такое будущее?

– Это наше воскресение. Сначала мы умрём от ненависти, которая исходит от нас. А потом мы воскреснем от любви, которая не сможет умереть вместе с нами.

– От какой же любви?

– От любви одного человека к другому...

В октябре двадцать седьмого года двое прибыли в Москву, и вместе им было почти сто двадцать лет, – Николаю Тураеву и Вере Козулиной. Андрей Тураев, брат Николая Николаевича, работал в московской артели сапожников, а его Тамара Евгеньевна, бывшая сельская учительница, теперь в цехе некой фабрички чертила линии на шкаликах термометров. Таким образом, эти русские дворяне, обуреваемые идеей служения народу, обрели наконец равенство и единство с трудящимся классом – и лет им вместе тоже было около ста двадцати. Когда к этой одинокой паре стариков приехала другая, Андрей Николаевич испытал минуту такой едкой горечи, что лучше бы умер тут же на месте, хотя никто ничего и не заметил вокруг. Вид обросшего недельной щетиной старика-брата и его оборванной спутницы в шляпе из чёрной соломки напомнил Андрею Тураеву, что жизнь прошла и обманула в чём-то самом главном. Он-то думал, что таких, как он, на свете много – приверженцев идеи народного блага, а оказалось, что он один, не считая его жены, которая была скорее небольшою, самой унылой частью его существа, нежели самостоятельным убеждением и мировоззрением. Никто не хотел служить народу – и сам народ не хотел служить себе самому, хотя и совершил революцию и прогнал царя и буржуев. Каждый человек по-старому лишь страстно хотел служить самому себе.

Но, глядя на своего опустившегося братца, он всё же утешился тем, что в сущности Николая угадал человека идеи, а не наживы, хотя младший брат придерживался всю жизнь совсем других взглядов, не таких, как у всех, и не таких даже, как у графа Толстого, но с примесью замудренной китайщины, индуизма и с крапинками идей Платона, Спинозы и Шопенгауэра.

Старик Андрей Николаевич беззвучно заплакал, обняв брата, а старик Николай Николаевич круто отвернул голову и замер, как столб, и в крошечной комнатке на Цветном бульваре, где жила чета Тураевых, настала минутная скорбная тишина. А у дверей стояла с узелком в руке старуха Козулина и молча переглядывалась с маленькой, горбоносой и седой, как белая мышь, старухой Тамарой Евгеньевной, которую Вера Кузьминична видела впервые.

Об этой минуте скорби двух постаревших братьев я могу сказать ещё следующее: там, где никогда ничто не начинается и не кончается, плавает горького вкуса облачко – и это облачко есть дух моего одиночества. Дух этот возрождается в миллиардах моих деревьев и людей в виде свирепого чувства тяготы жизни, муки существования, – и это по его вине проросла в человечестве вся его невероятная жестокость.

Когда в Лесу ещё не было ни одного бегающего, ползающего или порхающего

существа, когда только ветер пролетал сквозь его ветви и их шевеление было единственным одухотворённым движением безголосого мира, – когда я был один, совершенно один на земле и в неисчислимом сонме моих стволов и гордых вершин, обвитых зелёными гирляндами и венками чистой зелени, обитала единая и единственная душа – моя, – покою моему не было границ и ничто не нарушало царствующей в моих пределах гармонии. Но я был один и мне стало скучно – скука и породила моё невообразимое преступление. Прежде чем катастрофа разразилась, я долго пребывал в странном, невнятном брожении своих чувств, изглубинных, настойчивых, невыносимых – которые в далеко отстоящем будущем я словесно определяю как жажду смерти.

Моё вечное бытие обеспечено как развитием новых форм, так и возвращением в старые, уже осуществлённые. Я могу существовать, стало быть, во времени, двигаясь к будущему или же к прошедшему – как захочу. Даже при гибели всех деревьев на земле я не перестану быть в мире – уйду в прежнее существование в виде додревесных форм зелени, мхов, могучих трав, оплетающих землю жадными объятиями титанических корней и стелющихся по долам и горам широких, как озёра, гигантских листьев. А исчезни и вся зелень земная – я уйду в существование студенистой слизи, сонно шевелящейся среди звонких воздушных пузырьков на поверхности Единого океана планеты. Если бы вся жизнь исчезла, как и появилась (столь малая величина среди вселенской нежизни, что жизнь и должна бы исчезнуть, как всё слишком малое и потому случайное, для больших задач творца миров непригодное), – что ж, я вновь перешёл бы в состояние жидкого камня, летучего огня. Я буду всегда существовать, как и существую, – но почему же мне так странно представляется, что не буду?

Андрей Николаевич пригласил всех присесть за стол и вдруг замолчал, уставившись на какой-то сучок в некрашеной столешнице, – он на одну минуту, впервые в жизни, задумался о полной бессмысленности своего существования: "Так где же это я пахал унаследованную землю, выбирался в земстве, изменял жене и тачал яловые сапоги – неужели нигде?" Горьким смрадом обволакивала его незнакомая тоска. Но отпущенная ему единственная за всю жизнь минута прозрения истаяла, и Андрей Николаевич встряхнул головой, как внезапно проснувшаяся старая лошадь.

– Ты, я вижу, не один, Коля, – молвил он, запоздало полукланяясь спутнице младшего брата: – Здравствуйте... Как ехали?

– До Нижнего пароходом, а там и поездом, – тоже быстро успокаиваясь, по-стариковски скребя пальцами бороду и косоротясь, отвечал Николай Николаевич. – Неужели её не признал? – спрашивал он далее, и его косоротное дёрганье, оказывается, было своего рода незнакомой для старшего брата, новой улыбкой Николая Николаевича. – Вера Кузьминична Ходарева когда-то... – как бы нехотя завершил он из кривых уст.

– Не может того быть! – оживляясь, воскликнул старик Андрей Николаевич. – Неужели Вера?.. Вера Кузьминична? Голубушка, вы ли? Какая неожиданная встреча! – говорил банальные, обкатанные веками слова старший брат, как и всегда... – Подумать только, сколько лет прошло, сколько зим... – и так далее, и тому подобное, как и всегда. – Но почему вы вместе-то оказались? И почему ты один, без семьи?

– Она вот, Андрей, теперь и есть моя семья, – указывая на Козулину не до конца выпрямленным указательным пальцем, ответил Николай Тураев. – Мне наконец-то удалось сделать то, чего я желал сделать всю свою жизнь.

И тут выступила вперёд Тамара Евгеньевна: ха-ха-ха! ха-ха-ха! -закатывалась она обидным, по её расчётам, а на деле просто скрипучим старушечьим смехом.

– Это что же значит, Николай? – восклицала она. – Значит ли это, что ты покинул свою семью, разошёлся с Анисьей и переженился на этой особе?

– Именно это и значит, – ответил ей Николай Николаевич. – Хотя и не переженился, как ты выразилась. Не успел, извини.

– Людей смешить на старости лет? Женихом побыть захотелось? А не будет ли стыдно перед собственными детьми? – допытывалась Тамара Евгеньевна.

– Тamarочка! Тamarочка! Прекрати, пожалуйста, свою патетику! – начал удерживать жену Андрей Николаевич, которому тоже не очень понравился шаг младшего брата, но который никогда не мог удержаться, чтобы не выступить против жены в минуты проявления ненавистного ему жёниного пафоса. – Не надо судить других да не судимы будем!

– Вы совершенно правы, Тамара Евгеньевна, и ваша ирония представляется мне вполне уместной, – опять криворотом и сухо улыбнулся деверь седенькой, горбоносой невестке. – Но пройдёт всего лет двести – и что останется от вашей правоты и вашей могучей иронии, Тamarочка?

И тут он повернулся и прямо посмотрел мне в глаза: его внук Глеб ещё был молод, служил в армии, в конвойных войсках, в этот день был наряжен в караул на жилую зону, назначен в суточное дежурство помощником контролёра на вахте.

– Да, все во всём правы, а я кругом неправ и выгляжу смешным, это так, – говорил его дед, сверкая тёмными глазами, – но позволю вам напомнить, что я ещё жив и поэтому могу распорядиться, к счастью, собою, своей жизнью так, как мне заблагорассудится, – говорил он и хмурил такие же тёмные, густые брови, как у внука, который, глядя мне в самые глаза, в лихорадочном напряжении думал: _"Что же делать, что я могу сделать?"_ Только что стучался в дверь вахты заключённый, просил запереть его до утра в штрафной изолятор, потому что боялся, что его в эту ночь изнасилуют. Заключённого со смехом отогнал от двери вахты надзиратель Носков...

– Разумеется, Николай, ты волен поступать, как тебе заблагорассудится, – согласилась с деверем Тамара Евгеньевна, – всяк по-своему с ума сходит. Но мы-то при чём? Зачем ты к нам привёл свою новую знакомую, полюбовницу или как там её можно величать? У нас ведь всего одна комната.

– Повидать брата и уйти, – спокойно отвечал Николай Николаевич. – Более ничего, Тамара Евгеньевна. Десять лет, я, чай, не видались.

– Тamarочка, как ты можешь! – замахал натруженными сапожничьими руками Андрей Николаевич. – Куда им деваться в Москве? На улицу?

– А хоть бы и на улицу! – жёстко порешила худенькая, седенькая старушка. – Полюбовников у себя не принимаю.

– Прощай, брат. Вот и повидались через десять лет, – с усмешливой миной на бледном, заросшем лице проговорил Николай Тураев, поднявшись из-за стола. – А мы и впрямь пойдём, Андрюша. Я не хотел бы никому объяснять своего решения... Потому ещё раз – прощай. – И он, всё так же пристально глядя в мою сторону, направился к выходу, за ним поднялась и пошла к двери Козулина, во всё это время не проронившая ни слова.

Николай Тураев в эту минуту думал точно такими же словами, что и его внук, который родится в будущем от его сына Степана: _"Что делать... что я могу сделать"_. Только чувства, сопровождавшие эту одинаково выраженную мысль, были совершенно разные.

Николай Тураев не представлял, что ему надлежит сделать при том, как складывались обстоятельства, казавшиеся ему его реальной жизнью: надвинулась старость, настало новое время, пришедшее вслед за революцией (в индийских учениях называемое *манвантарой*, то есть новоявленной эпохой, что продлится до следующего мирового катаклизма), смысл существования той одной штуки жизни, что была брошена ему, постепенно исчерпался, и жить далее предстояло, выходит, без всякого смысла. Но не это пугало -оставленный ощущать существование, без энергии на то, чтобы приспособиться и жить в новой манвантаре, безвредный и ненужный для возводимого нового строя – старик, встретивший старуху, которую он полюбил в своей молодости, Николай Николаевич вдруг осознал, что неожиданно достиг невероятной свободы выброшенного на свалку истории существа.

Да! Достиг независимости человека, к которому не имеют притязаний никакие самовластные собственники человеческих душ: цари, государства, богачи, партии и правительства, семейные деспоты, деньги, собственность и необоримые телесные страсти. Выйдя с ведомою им за руку Козулиной на сырой московский переулок, он подумал, а что он может сделать для того, чтобы обрести приют и покой вместе с женщиной, которую он

сдёрнул с места и привёз в Москву, – и ничего не придумал, кроме того как повести её ночевать на Курский вокзал.

И по пути к вокзалу он вдруг и почувствовал дотоле небывалую, сладостную жуть от ощущения обретенной безбрежной свободы. Это был миг разрыва последней связи с тем миром людей, который ему больше был не нужен. Мрачная, неизмеримо скорбная радость опалила его старую душу, и он сказал Вере Кузьминичне:

– Впрочем, если не хотите на Курский, то воля ваша – идите куда хотите.

– Да куда же это я пойду? – испуганно отвечала Козулина. – Мне некуда пойти, вы это прекрасно знаете. И я поехала с вами не потому, что головы у меня нет, не как обманутая гимназистка поехала. – Голосом она окрепла и обрела былое, далёкое девичье воодушевление. – Я поехала, Николай Николаевич, чтобы всегда рядом с вами быть и всё вместе с вами разделить.

– Делайте, как вам будет угодно, – спокойно согласился он. – Но только с этой минуты забудьте, как меня зовут, кто я, кем был. Вам сейчас ничего не видно, и никому ничего не видно, но именно сейчас, сию минуту, произошло в моей душе то самое, после чего уже совершенно неважно, кем я был. Нет у меня теперь ни имени, ни звания; не гражданин я, не дворянин, не христианин, не молодой, не старый. И то жалкое отребье, во что превратилось моё тело, имеет со мною очень малую связь, а в дальнейшем будет эта связь становиться всё меньше. Я теперь свободен от всего. И от вас тоже свободен.

– Николай Николаевич, миленький...

– Не называйте меня больше так, – властно, почти грубо произнёс Николай Тураев; но несколько смягчился и разрешил: – Если хотите непременно общаться со мной, называйте меня "человек". И вовсе не с большой буквы. Я теперь Никто. – Он смотрел при этом не на неё, а снова на меня: и в этой возможности видеть меня, как я его, и проявлялась та перемена в нём, которую он никак не называл, не обозначал для себя, но которой с великим философическим восторгом подчинился.

Итак, бессловесно и через один лишь обмен взглядами мы обрели друг друга и стали едины. Я тоже Никто – и мне столь же одиноко, как и в далёком прошлом – когда я был камнем, горячей плазмой, летящим в пространстве лучом. И когда мне предстоит снова стать горячей плазмой, камнем, лучом – смысл моих превращений всё равно для меня же самого остаётся неясным, туманно-грустным и тревожным. О если бы и на самом деле смерть – и полное прекращение моего одиночества! О если бы печатью своею она утвердила на моём негнущемся трупe: "Изменению не подлежит!"

Николай Тураев, повелевший старухе Козулиной называть его просто "человек", шагал вверх по Большому Сухаревскому переулку, заложив руки за спину и низко опустив голову. За ним шла, спотыкаясь на булыжнике, Вера Кузьминична, у неё было испуганное лицо, она мне внушает великую жалость, потому что положение у неё отчаянное, она доверилась внезапному призыву и порыву сердца почти незнакомого ей человека, а он вдруг вероломно отрёкся от неё. И то смущение, страх и унижительная скованность, в которых пребывает её душа, являются не просто ещё одними бросовыми и никакого значения не имеющими для человечества уязвлениями души, страданиями ещё одной оборванной старухи – сколько их на свете! – но они, эти старухины тревоги и отчаяние, являют в конкретном действии грозную математическую формулу той энергии, которая может погубить человеческий род на Земле. Этот великий род погибнет, уничтожив сам себя вопреки божественным законам жизненности, прекрасной причинности, если будет нанесено слишком много наглых и безответных обид людям людьми.

Я видел, как внезапно раскрывается перед человеком дверца одиночной камеры, в которой ему надлежит пребывать вплоть до последней минуты жизни. В эту камеру человек попадает, чтобы назад больше не выйти, – страдание и гниль, злоба и невыносимая боль, страх и безобразная лютость, боль и гниль, безобразие и зловоние, необходимость жрать других – и прочее, не менее прелестное, связанное с жизнью, становится известным будущему узнику камеры предварительного заключения, вернее, штрафного изолятора, куда

смущённый Высший Законодатель запикивает ослепшего-прозревшего бунтовщика.

Я видел внутренности и клоаки того безрадостного и убогого сооружения, что называлось баракком жилой зоны, запёртую на висячий замок входную дверь – вид у неё такой, словно это дверь склада или другого нежилого помещения, где люди бывают нечасто, где тишина амбарная, замогильная, шмыгают крысы. Но сразу же за дверью – крошечные сени с двумя вместительными бадьями-парашиами, куда звучно шлёпается дерьмо, исторгаясь из скрюченных на краях бочек двух бедолаг, третий в нетерпении топчется рядом, держа обеими руками приутоленные к действию, расстёгнутые штаны. Далее парашной опять-таки закуток, откуда вверх к казарменному помещению поднимаются две-три до ямок выщербленные ногами деревянные ступени, по сторонам которых, в неуютных карманах тамбура, стоят издёрганные топчанные койки. На них лежат, выставив к проходу скорченные спины, парии лагерного общества: ассенизатор Коврижкин и грязный, хуже Коврижкина пахнущий человек с женской кличкой Люська. Этим двух барачный класс узников не допустил до своего уровня, считая их погаными: Коврижкина потому, что он возил дерьмо, а здорового и придурочного парня Люську за его принадлежность к разряду неприкасаемых, тех самых, у которых пробиты дырки в кружках, мисках и ложках. И если Люська хотел, допустим, попить воды из бочки, то он подходил к общественному сосуду и, стоя в двух шагах от него, ждал, когда кто-нибудь подойдёт, попьёт сам и после соизволит перелить из своей кружки в дырявую, при этом стараясь ни в коем случае не коснуться её своей посудой и для того подымая кружку как можно выше над Люськиной. А тот (Люська) с тупым, смиренным видом покорной скотины тщится уловить вихляющую струю, падающую из кружки благодетеля, которою тот ещё и поваживал в воздухе, как бы непроизвольно содрогаясь от омерзения. В итоге благотворительной акции в дырявую кружку попадало несколько ложек воды, которую лагерный педераст Люська с нескрываемой жадностью выпивал, громко присасывая воздух губищами, а затем снова замирал у бочки, ожидая подхода следующего благодетеля.

Из тамбура был вход в огромную вонючую казарму, двери куда не закрывались – по приказу начальства обе створки были пришиты гвоздями к полу в широко развёрстом состоянии – обе обшарпанные, некрашенные, с измызганными филёнками половины. Нары шли двумя рядами, впритык к стене одним концом, в два этажа; между нарами проход шириною в один шаг, с вытертыми до желобов досками пола; нары о два места, между ними также проходы; темнота, вонь, курение в темноте; хрипы и стоны спящих, тихая хипишня и тасовня неспящих, в темноте запёртого барака творящих ужасные и скверные бесчинства.

Чу! Кого-то стащили с нары, поволокли – пискнул только и захныкал, но, видимо, живо дали чем-то увесистым по тылке – крякнул и замолк, позволяя тащить себя безо всякого сопротивления. У выхода тасовня увеличилась, запыхтела множеством нетерпеливых дыхалок, зашлёпала босыми ногами, и "шныри", спавшие возле самых дверей, живо отвернулись на нарах, укрылись с головою телогрейками: ничего не видим, ничего не знаем. Надо было через потайную потолочную дыру, устроенную над входом и умело замаскированную днём, взобраться на чердак, для чего воспользоваться казённым табуретом с продолговатой дыркой посреди дощатого сиденья (дырка для удобного хватания табуретки рукою). Затем путь вёл через верхнюю нару, где жавшийся к краю нары несчастный шнырь изо всех сил притворялся, что он спит и ничего такого не замечает, хотя чьи-то холодные, с налипшим к подошве сором, босые ноги сутолошно тыкались в лицо ему, наступали с размаху на руки, с хрустом давили подушку, набитую соломой. А раз какая-то шкурная сволочь торопливой пяткой вонзилась в самую серединку живота, и шнырь со стоном подскочил на своём беспокойном ложе, на мгновенье взъярился и укусил чужую ногу, за что был невидимым альпинистом смазан по зубам какой-то твёрдой вещью.

Но вначале нужно было втащить на чердак жертву, полуголушённую и вялую, повисшую на руках у тех, кто его волок для своего потребления, – он же сам не хотел, не мог вспрыгнуть на верхние нары и оттуда, выпрямляясь кособоко (оторванная потолочина, вынутая из гвоздевых гнёзд, открывала дыру чуть в стороне над нарами), прошмыгнуть

белкою на чердак. Пришлось его вязать под мышками верёвкой и с полу поднимать, тащить по воздуху вверх, а он ещё застрял в дыре, попал запрокинутым лицом за край её, и двое дюжих спортсменов, дружно выбиравших верёвку с грузом, снова и снова дёргали, а он никак не мог, раскачиваемый на стропе, с беспомощно откинутою назад головою, попасть туда, куда было нужно, и лишь бесполезно тыкался лицом в доску, постепенно размозжив нос, скулы и лоб. Наконец он попал головою в дыру, и его вдёрнули на чердак, но он был плох, самостоятельно не стоял, и его кое-как пристроили, перекинув через балку. И сразу же тасовня сбилась в один комок, задышала и зашмыгала носами близко, голова к голове, и в полной темноте пошёл тихий разговор такими словами: "Ну, кто первый?" – "Братцы, дайте я! Я первый". – "Ну ты, волчара, всюду первый. Шустряк". – "Ладно, зайчик. Пускай начинает. Давай, зайка!" – "Кабы вазелинчику, братцы!" – "Да ты гад! Тебе, гаду, свой вазелин пора иметь". – "Тиша! Чегой-то шнырь шваброй стучит". – "Атас, коблы!" – "Тиша!" Но тревога вскоре улеглась и тасующиеся продолжили своё дело, поочередно оглашая чердачную тьму тяжёлым сопением, обдавая резким запахом пота окружающее пространство, в котором они всё равно невдолгих умрут, как умирает и всякая тварь на земле.

Бывает, вздохну глубоко воздухом самых мощных лесов Рио-Негру, близ экватора, да задумаюсь ещё на вздохе об одном шведском короле Карле, который был когда-то незаметным, но достойным эвкалиптом у подножия горы Хангома в южной Персии, а потом, когда появились на свете люди и королевства, воплотился в этого несчастного человека, короля Карла, с его тайной нерешительностью перед женщинами. Успею подумать ещё о том, что личный слуга короля Урс Бергстрём хранил тайну о болезни монарха до конца своих дней, но в последний час, когда атомы его мозга повздорили меж собой, как это бывает обыкновенно в пору кончины человека, и собирались разлететься кто куда – одни в Гондурас, в каплю воды весёлой реки Патука, которая станет каплей спермы никарагуанца Ливно с берегов Коко, от которого родится сын Рибана, а родит его Гомея Ирьюнасие, сын же Рибаны от мулатки Сары Лампедузо станет преуспевающим бродягой-мачетеро, работающим в своё удовольствие наёмником на плантациях сахарного тростника и в банановых компаниях Гватемалы, – это он однажды мимоходом срубил шишковатый нарост на придорожном дереве, а на получившемся гладком стёсе какой-то грамотей впоследствии написал по-испански с ошибками грязное ругательство синим карандашом... Другие атомы рвались прочь от земли, но снова без единогласия: одни стремились к центру Галактики, иные желали отправиться на поиски кометы Галлея; когда наступил этот час разногласий атомов, из коих состоял мозг Урса Бергстрёма, он хитровато-расслабленно улыбнулся, чуть сдвинув глубокие складки по бокам узкого рта, и произнёс затухающим, но ясным голосом: "Задвигал-то бабам я, а он не мог, куда ему было, бедняге". И это, к ужасу родных, были последними его словами...

Вздыхнул на этом – и выдохнул где-то в Уссурийской тайге, летом, когда нижний ярус чудовищно тесного смешанного леса мохнато кипит и метелицей кружит от удушливого звона комарья, мошки и гнуса, и обнаружу себя браконьером Удодолевым, который обвязал всю голову себе бабьим платком, оставив торчать длинный бледный нос, и в намотке оставил узкие щёлки для глаз, идёт, прижимая к боку ложе мелкокалиберной винтовки, висящей на ремне через плечо, – то самое оружие, из которого он захочет впоследствии подстрелить сидящую на верхушке фонарного столба ворону, целясь из окна своей квартиры на третьем этаже, подзадориваемый пьяными гостями, а также возгласами радости и страха, испускаемыми столь же пьяными их жёнами – это было в городе Хабаровске, в микрорайоне домов-коробок из бетонных блоков, и в створе выстрела недалеко был дом, который, однако, выпал из внимания всех, кто находился в комнате Удодолева, и для него этот дом-коробка, бездарный близнец тому, в котором он жил, оказался также вне сознания, словно скрывшись от него за густым туманом надвигающейся беды. Удодолев выстрелил, в ворону не попал, вспорхнула она и удалилась, тяжело взмахивая крыльями и подтягивая к животу лапки, – а попал Удодолев пулькою в белое пышное плечо женщины, стоявшей на балконе

дома-близнеца, на четвёртом этаже (выстрел, таким образом, оказался с небольшим превышением), и Удодолева осудили за ранение человека, за стрельбу в городе и, главное, за хранение недозволенного нарезного оружия без разрешающих бумаг. Дурашливый и суетливый, Удодолев очень скоро приспособился к лагерной житухе, но стал рискованно играть в карты – и однажды в запале особо нездорового азарта играл на "интерес" и неожиданно проиграл не только честь, достоинство и мужество своё, но и саму жизнь. Его нашли на чердаке, окровавленного, с развороченной прямой кишкой, с содранной кожей лба, со сломанным носом, он был перевешен через бревно, руки и ноги его свисали на одном уровне по разные стороны балки. На его великое счастье, принимал бесчестие и умирал он, уже находясь в бессознательном состоянии, то есть полностью отсутствовал в той эпохе и в том историческом месте, где совершилось это ночное деяние.

Уснувший в караульном помещении, на верхних нарах, рядовой Глеб Тураев не знал, что он живёт и будет до конца своего жить в мире обречённом, потому что в нём есть страдание и смерть. Но понимание того, что такой мир есть уродливое произведение Вселенной, – несправедливость по отношению к разумным бактериям одной маленькой планеты была столь вопиющей, что человек и во сне переживал шестое чувство отчаяния особого рода. Ему виделось в сонных картинах, что он с каким-то случайным спутником по имени Борис, чернявым человеком с залысинами и аккуратно подстриженной бородкой, идёт по маленьким белым островкам, перескакивая с одного на другой. И вдруг выясняется, что островки эти – туши убитых животных, раздутые до огромных размеров. А кругом один лишь тёмный вселенский океан воды. Глеб и Борис знают, что они одни остались от всего мира существовавших раньше людей – остальные совсем недавно погибли во всеземной термоядерной войне. На Борисе курточка, короткие брючонки – всё случайное, впопыхах кое-как надетое, он без обуви, в носках, носки сползли до самых пяток, вот-вот соскочат, – и Глеб хотел ему указать на это, но потом раздумал. Ничто теперь не имело значения, тем более эти мокрые, отвратительные носки на ногах Бориса – его деловитая, волевая суета и эти его промытые залысины, над которыми аккуратнейшим образом были зачёсаны волосы, его залезанная бородка и чёрные, внимательные глаза – так не вязалось всё это с чувством неразрешимого и необозримого отчаяния, которое испытывал прыгавший рядом с Борисом Глеб.

Ему подобный сон не раз ещё привидится в будущем, когда он, уже семейный человек, отец прелестнейшего создания, цветущей, как розанчик, милой дочери, – о, тогда он испытает чувство утраты и отчаяния гораздо более страшное и беспредельное, потому что оно будет связано с тем необоснованным, ничем в гармонических построениях Высшего Устроителя не обеспеченным, никаким видом мировой энергии не снабжённым, ужасным в своём одиночестве – желанием отца защитить своё маленькое дитя. А пока, не имея ещё дочери, прыгая с островка на островок рядом с Борисом, Глеб подумал, что не может иметь за собою правоты то начало, существующее где-то за звёздами, – которое сочинило весь этот ужас человеческий. И, тяжело обмякнув на дощатой наре, спящий Глеб Тураев пришёл к выводу: или должна быть уничтожена постыдная ошибка, уродливая клоака гнусностей, или скорее преображена явь человеческая в царство высшего разума и бессмертной гармонии. И сознание Глеба, взятого в армию со второго курса университета, студента физико-математического факультета, вмиг осветилось молодой и свежей надеждой на Преображение.

Проснувшись, все эти видения и высокие надежды Глеб мгновенно забыл, а была перед ним обшарпанная караулка с тусклой лампочкой накаливания под потолком, начальник караула сержант Хергеледжи, веснушчатый тихий молдаванин, надзиратель Носков, коротышка с огромной, как у великана, головой и генеральским басом, с генеральской же выправкой, и грудь колесом – дурак набитый и самоуверенный, словно беспородный деревенский кобель. Между сержантом и надзирателем шли переговоры о том, как действовать по поводу чрезвычайного происшествия в жилой зоне – убийства с изнасилованием заключённого Удодолева прошедшей ночью. Решили немедленно доложить

лагерному и охранному начальству, но о том, что вечером перед поверкой нынешний мертвец прибежал в караулку за помощью, промолчать и о том предупредить всех солдат в карауле. Носков говорил это решительно, могучим басом, как генерал, а серые глаза его странным образом светились при этом воодушевлением, энергией и умом. Он единственный из всех был виноват в том, что ночью заключённый погиб, – был Носковым отправлен, под глумливый смех его, внутрь барака, заперт там вместе со всеми; причём Удодолев до последней минуты стоял с умоляющим видом возле выхода и до последнего мгновения с надеждою смотрел в глаза надзирателю – когда тот, держа в руке громадный висячий замок, на прощание кинул усмешливый взгляд в сторону переминавшегося с ноги на ногу возле параш Удодолева... Виноват в допущении чрезвычайного происшествия был один Носков, но скрыть вину он решительно потребовал от всех, кто был в карауле, – и все, во главе с начальником караула сержантом Хергеледжи, надёжно скрыли его подлость. А Носков ещё много лет носил свой генеральский корпус на коротеньких ножках, величественным басом произносил что-нибудь очень глупое, служил злу и скверне, вилял хвостом перед начальством и обижал заключённых, а бедняга Удодолев был закопан в землю, сгнил там, и никто не понёс ответственности ни за гибель его, ни за то, что он появился на свет и прожил такую бестолковую и некрасивую жизнь.

Глеб Тураев сдавленно позевал, поднялся с нар и, взяв из железного сейфа пистолет, отправился на проходную сменять контролёра: скоро будет развод на работы. Партию заключённых погонят, отсчитываемую по пятёркам, из зоны на плац, там будут снова выстраиваться колонны по пяти, и опять считать – на этот раз конвой, который повезёт их на машинах по пыльным дорогам к месту работы... Утро свежее, холодное, пора предзимняя, стоят удивительно ясные осенние погоды с лёгким морозцем, со звоном льдинок на замерзших придорожных лужицах. И эта бодрая чистота розового утра, вкуснейший воздух мирных полей, затопивший валами своими все лагерные закоулки и проходы, на минуту даже заглушивший могучую вонь отхожего места и выгребной ямы там, в дальнем углу зоны, куда после открытия барачков тёмными толпами повалили воспитуемые преступники.

Деловито возжигали крошечные костерки на засортирном пустырьке владельцы ценного имущества – чая, и на двух кирпичиках, в почерневшей консервной баночке каждый счастливцев варил для собственного употребления густой, как дёготь, "чифир". Мне вовсе не доставляет удовольствия созерцать этих несчастных, варящих и затем пьющих своё вожелённое горькое пойло, не глядя друг на друга, я хотел бы пробудить свою память на чём-нибудь другом, нежели утро нового дня возле лагерного сортира, у выгребного рундука с прыгающими в нём крысами, рядом с которыми копошатся в тухлой массе отбросов две какие-то серые фигуры в телогрейках, в косо напыленных шапках – как два гигантских насекомых неизвестного вида. Я предпочёл бы никогда не знать подобного, уродливого и ошибочного в моих творческих содеяниях, тем более что я уже давно всё подобное предал уничтожению и только в моей болезненной памяти существует сие, – и не подводил бы я эту бедную память к краю вонючей сортирной ямы – зачем? зачем? – но именно в это утро отформовалась в мысль и слово та решимость Глеба Тураева, которая стала основой его преобразования.

Он, участвуя в то утро в мучительных действиях людей для осуществления мучительных и мучительских предписаний относительно того, как организованнее и результативнее одним мучить других – и это для достижения существующей якобы разумной цели для всех, – в то утро Глеб вдруг ясно осознал, что сия благая и прекрасная цель отсутствует.

Если разумное начало, такое могущественное в творчестве, столь бесцеремонно обходится с людьми и обрекает их на уничтожающий позор, то оно теряет на нас всякие права. Творца прекрасного мира несчастная тварь этого мира может потребовать оставить её в покое. И безнравственно было бы Ему не отпустить того, кто просит не мучить его душу, столь идентичную душе самого творца. Решение существовать _в разводе_ со мной – вот что меня поразило! Когда Иисус в Гефсиманском саду представил себе всю меру человеческого

позора, ожидающего его, то он не мог уже отказаться пройти через него. И солдат Глеб Тураев почувствовал, что для него нет иного пути, как только пройти через последний хрип агонии – и к чему прийти?

А до этого хрипа промелькнёт что-то такое яркое и пёстрое и настолько мгновенное, что даже и не успеешь разобрать – что? И только издирающие страдания дадут какое-то ощущение пространности переживаемой яви. Но что бы там ни было – лишь позор существования и последняя грязь смерти обеспечивали возможность прихода той свободы, которая обещана моему творению. В этом мы уравниваемся. Я ОДИНОЧЕСТВО – вот название той автономной области, куда может уйти претерпевшая всё, что ей положено было претерпеть, душа человека из мира, сотворённого мною.

Итак, его решение жить, существовать без благоговейного учёта Отца своего, жить и существовать в сосредоточенности своего непреходящего страдания, воспринимая саму эту незаконность мучений за единственный закон своего существования, – это суровое решение одного из деревьев моего Леса стало для меня весьма поучительным фактом. Я вдруг увидел, что выход из того некрасивого положения, в котором я пребывал, всё же имеется, и он подсказан был мне Глебом Тураевым – выход в том, чтобы мне стать своим творением. То есть – это всё равно что Богу стать человеком; Отцу-лесу стать деревом; Пигмалиону стать своей статуей. То есть я умалялся в миллиарды раз, почти уничтожался в этой малости – но именно она, она, эта малость, давала спасительный выход для моей холодной, бесконечной скуки высшего совершенства. Я мог, как и все мои творения, умереть.

Но, будучи таким, какой я есть, присутствуя во всех мгновениях того, что существует и чего нет, я не мог обрести подлинного конца, перестать существовать не мнимо, исчезнуть в веществе окончательно и разлететься во всех направлениях мирового пространства. Для этого мне надо было стать одним из людей, выбрать кого-нибудь конкретно. Однако выступило тут одно непредвиденное обстоятельство – оказывается, чтобы мне превратиться в конкретного человека, требовалось и его согласие поменяться со мною ролями – то есть обретение мною конечности и смертности должно было быть обеспечено взятием им на себя бесконечного существования и достижения неопределённой, неизмеримой и великой кармы телесности.

Но Глеб Тураев не хотел ничего знать о блаженной вечности и существовании без начала и конца. В обязанности лагерного контролёра входило вместе с дежурным надзирателем и начальниками конвоев считать снаряжённых к работам заключённых, выпуская их по пятёркам из ворот вахты на широкий плац, где конвойные с автоматами на груди уже заняли свои надлежащие места по периметру охранных зон. "Первая... вторая... десятая... двадцать седьмая!" – считал надзиратель Носков в крик, и с каждым счётом пятеро передних в колонне поспешно и дружно, стараясь держать равнение, выступали вперёд, проходили под задраным шлагбаумом и с видимым удовольствием выбирались из территории жилой зоны на вольное заворотнее пространство.

Бледные и сероватые после проведённой в душных бараках ночи, лица заключённых были напряжёнными, некоторые были воодушевлены тем весельем, которое не для себя, а напоказ и ищет внимания окружающей толпы, как бы желая в её пробуждённом внимании найти то необходимое тепло душ, без которого холодно и гадко всякому человеку в толкучке других людей. Так, один из них, длинный, усатый, с плоским животом, со вздёрнутыми плечами, побежал в пятёрке какой-то дурашливой побегой, не сгибая ног в коленях, широко, хером, расставив эти ноги и загребая ботинками пыль, – за это был несильно бит кулаком по спине считающим надзирателем, которому недосуг было выговаривать или окрикивать – язык был занят произнесением счёта. Другой предстал перед взором всех (когда предыдущая пятёрка прошмыгнула под шлагбаумом) в шутовском наряде, сшитом из двух половин старых ватных штанов разного цвета: чёрных и зелёных, – с явной целью посмеять народ, а не потому, что иного выхода не было. Но этому веселящемуся повезло меньше – надзиратель притормозил счёт, записал число на бумажке, а затем, ни слова не говоря, схватил этого, в шутовском наряде, за шиворот одной рукою и пониже другою,

выдернул из строя и с силою отшвырнул назад в зону. Глеб Тураев видел, каким стал испуганным вид у недавнего весельчака, и подумал: достанется ему, бедняге, этот Носков посадит шута горохового в штрафной изолятор.

И чтобы отвлечься от созерцания человеческого ничтожества, вдруг получившего чудовищную власть над другими людьми, Глеб Тураев перестал вести про себя дублирующий счёт арестантов и, ощутив в сердце ожог мгновенной невыносимой тоски, внезапно обрёл чудесное свойство. Он захотел, глядя на шумное построение заключённых перед лагерем, уйти лет на двести от своего времени, от исторической эпохи, в которой научились так действительно покорять людей, что от них ничего не оставалось, кроме социальной оболочки. Их непременно собирали в огромные колонны, набивали в концентрационные лагеря, выстраивали в бесконечные очереди – за хлебом, на зрелище, в газовую камеру, к мавзолеям великих вождей. И захотелось уйти в то время, в котором его, Глеба Тураева, уже не будет, – но именно оттуда, с той несуществующей для него точки времени, взглянуть на себя самого, теперешнего, существующего в безысходной тоске. И он мгновенно это желаемое чудо получил: узрел уродливость такого развития вселенской материи, которое привело к тому, что земная поверхность покрылась, как мокрыми лишаями, вонючими заплатками концентрационных лагерей. И себя самого приметил – в самой серёдке одной из выстраиваемых для организованного мучения массы людей – бледным от бессонницы и утомления духа невзрачным солдатом, с пистолетом на боку, в незастёгнутой шинели.

Я отвёл глаза от него и увидел: безмолвно застывшие, с тупыми безмысленными лицами, накоротко стриженные, с полосатыми бескозырками, зажатые в левых руках, узники стояли ровными рядами, сбитые принуждением в геометрически правильные прямоугольники, столь излюбленные в XX веке государственной мыслью. Одна из неделимых частичек этой прямоугольной толпы, Степан Тураев столь же лихорадочно, как и каждый лагерник в шеренгах, в эти минуты старался обрести состояние полного освобождения от всякой мысли, ибо по широким проходам меж полосатых шеренг шагал, заложив руки за спину, плотный небольшой офицер в высокой прогнутой фуражке, с угрюмыми мешками под тёмными спокойными глазами, внимательно вглядывался в застывшие, как алебастровые маски, серые лица обезжиренных людей... И если при напряжённом наблюдении своём замечал он в ком-нибудь малейший след мысли или хотя бы отсвет любого узнаваемого чувства, то тут же снимал со спины свою пустую, вялую руку и взмахивал ею, как тряпкою, указывая на опознанного. А на одном уровне с ним, но сзади осматриваемой им шеренги, двигалась бригада из трёх человек с ручным каром – впереди умертвитель с железной "кочергой", а чуть позади него двое, тянувшие телегу за дужку. При движении руки, указывающей на вычеркнутого из жизни, палач одновременно с этим резко и точно бил сверху и пробивал заострённым рогом пожарного багра стриженую голову узника. Когда тот падал, умертвитель поспешно вытягивал его из шеренги на проход, освобождал своё орудие из продырявленной головы и трусцою нагонял ушедшее вперёд начальство. Иногда в поспешности служитель излишне резко рвал железным когтём багра, и тогда выламывался кусок черепа, из дыры текли мозги и подбиравшие на кар грузчики вполголоса чертыхались и костерили палача за его небрежную работу.

Степан Тураев добился состояния полного скотства в сознании своём и потому взгляд офицера быстро и равнодушно скользнул по его лицу и перешёл к следующему заключённому в строю. И тот был избличён в утаении какого-то живого чувства в глазах и тут же поражён железным зубом багра в макушку, так что кровь, тёплая, импульсивная, забрызгала щёку рядом стоящего Степана Тураева. Он это ощущение брызнувших на него тёплых капель другого человека пронёс через всю свою жизнь как некое содрогание своего внутреннего существа, не видимого никому, так и скончавшегося в своих безысходных страданиях, никогда никем не угаданных.

В книги людей история записывалась лжецами, а въявь вершилась она теми мучениями души и тела, через которые прошли мириады миллиардов исчезнувших деревьев моего Леса.

Если в историю людей вошли одни их страдания и с помощью счёта можно точно определить, сколько человек было насильственно умерщвлено в войнах или при утверждениях новой власти, – то сообщения обо всём этом явятся в сухих фактах, лишённых живой крови и подкреплённых лишь бессмысленной цифирью. А подлинная суть их Истории была в том, что в мгновение превращения деревьев в мыслящих людей и те и другие – перерождаясь и рождаясь – испытывали естественные муки и неотвратимые страдания в продолжении каких-нибудь пятисот-шестисот тысячелетий. В дальнейшем позорные муки рождения забываются, и мой зелёный Лес, взошедший на новую высоту могущества, существует наравне с теми своими просветлёнными братьями, которые давно стали уже взрослыми, давно бестелесными, безмятежно лучистыми – и давно с любовным терпением поджидали нового брата, кружась в хороводе ими образованной Галактики, – ждали, когда же он наконец пройдёт через краткие, но, увы, мучительные стадии своего саморождения.

Но я человек, меня зовут Глебом Тураевым, и я не знаю, настанет ли то ожидаемое мною Будущее, и я не хочу уступать ту оболочку, ту вонючую шкуру, в которой обитаю, кому бы то ни было, хотя бы самому Господу Богу, приди он ко мне в дом, как хаживал в наивные библейские времена к своим избранным евреям, и попроси подобного обмена для каких-то своих непостижимых целей. Я не уступлю своей шкуры, потому что я слишком погряз в человеческом. Разумеется, я умру когда-нибудь, и произойдёт это, как и всегда, довольно-таки мерзко, и изопью я горькую чашу до самого дна, – но ведь существует только тот, которому суждено исчезнуть! Вот именно! Всякая человеческая жизнь, появлявшаяся на земле, была прекрасна, и все гнусные преступления, совершённые людьми, тоже были прекрасны, потому что только люди одни во Вселенной и совершали преступления, – и эти преступления были актами проявления их жизни.

Но какая игра, какое великолепное развлечение – создать племена и народы, заставить их построить Вавилонскую башню, одним ударом небесного огня разрушить её – постичь среди благоденствия Вселенной нелепый образ проклятия и гибели, пройти через немислимые страдания, которые пройдут бесследно, и обрести конечное понятие Преступления Человеческого.

Когда Глеб Тураев уходил от семьи и когда его дед Николай Николаевич вёл свою спутницу Веру Кузьминичну к Курскому вокзалу в Москве, – обоих Тураевых захватило бесчеловечное чувство полного отчуждения ко всему тому, что было раньше их жизнью, семьёй, судьбой, любовью и надеждой. Никакой связи не могло быть между тем, что Глеб любил в своей жене, и тем, что он однажды бессонной ночью за пять минут вычислил на клочке случайно подвернувшейся бумаги. Но именно после этого появилось в нём необратимое равнодушие к нежному, тёплому естеству его жены Ирины, которая из этой нежности и теплоты произвела на свет их общего ребёнка. А Николай Николаевич Тураев, его дед, мгновенно забыл огромное волнение своей тайной любви, пронесённое через всю жизнь, когда вдруг полыхнула по всему небосводу его духовного мира зарница мысли, столь похожая на отсвет вселенской катастрофы. В свойствах их крови, в родовых атомах тураевской породы содержалась эта способность к внезапной катастрофе всего жизненного их существа из-за такой нематериальной и случайной вещи, как возникающая в голове мысль.

И ничего не подозревавшие дотолё, ничего не понимающие, теряли этих мужчин навсегда любящие их женщины: верная жена Ирина, верная жена Анисья и бедняга Козулина, под старость лет вдруг поверившая в прекрасную, романтическую любовь рыцаря к избранной даме сердца. Ирина же Тураева ничем не могла объяснить внезапно наступившего охлаждения к ней мужа, недоумевала, как и Вера Кузьминична Козулина, по поводу той нарастающей враждебности мужчины по отношению к ней, слабой женщине, – ибо они обе верно угадали, что родившееся отчуждение является в первую очередь выражением полового отчуждения. Сверкнувшая мгновенная мысль, разрушившая всё прежнее существо Николая Тураева, могла быть выражена двумя словами: Я ОДИНОЧЕСТВО. И пока он поднимался по Большому Сухаревскому к Сретенке, произошло никому не видимое полное преображение того внутреннего существа, которое дотолё

ощущалось им как сидящий в его теле некий реальный житель земного мира, одухотворённый субъект под именем Николай Николаевич Тураев.

И вот он исчез – по Сретенке шло совсем иное существо, хотя и с той же щетинистой полуседой бородою, в чёрном пальто, с женщиною на прицепе – как и прежний Н. Н. Тураев. Вера Кузьминична не узнает до своей смерти в длинном коридоре Боткинской больницы, что подходила к Сретенке уже вовсе не за тем человеком, который преданно и безнадёжно любил её всю свою жизнь. Как и Тураева Ирина, провожая мужа в то утро, когда он объявил, что уходит от неё навсегда, не догадывалась, что плачет, обхватив плечи его, вовсе не на груди того человека, который мог столько лет трогать, будить, вызывать к высшей радости бытия её недоверчивое, малоподвижное женское начало, почти чудом преодолевать ту невероятную тяжесть естественного поступка, необходимых телодвижений и судорожно замерших поз, которые требует земная любовь. Да, руки, плечи были те же самые, но Глеб-уходящий в глазах своих таил что-то такое незнакомое и настолько странное для Ирины, что она вдруг окончательно поняла: напрасны в этом мире все её мольбы и слёзы. Он умер, мелькнуло в её голове, он скоро умрёт, подумала Вера Кузьминична, глядя в сутулую спину идущему впереди Николаю Николаевичу.

С этими двумя мужчинами, дедом и его внуком, произошло то, что однажды содеялось со Степаном Тураевым, средним звеном между ними, в длинной цепи тураевского рода отмеченного странным качеством: смутно ощущать вокруг, а потом и находить в себе самом признаки начинающейся вселенской катастрофы. Степан возвращался в колонне пленных с городских работ в лагерь и видел, поднимая глаза от грязной земли, широкую спину в армейской телогрейке; спина принадлежала какому-то ещё сильному, беспокойному и что-то напряжённо замышлявшему существу; жить она ещё очень хотела, эта спина, не стать колодой тухлого мяса, каковое превращение было очень даже простым и многочисленным вокруг. Степан закрывал глаза от утомления и от нежелания видеть отчаянную суету движений этой впереди мелькающей спины; закрыв глаза, он то вспоминал своего отца, всегда далёкого и невнятного, как синеющий за широкими полями лес, то видел толпящиеся на серой моховой поляне коричневые трухлявые грибы. Но вдруг открыл глаза и вместо червивых грибов увидел грязь на дороге, задранный полосатый шлагбаум, сбоку дороги труп человека в нижнем белье – тело скорчилось, а голова была откинута назад, и линия лица его приходилась вровень с краем дороги, и по ней мелькали ноги в самой разной обуви, а некоторые и без обуви, с зябко поджатыми чёрными пальцами, – и большая нога того солдата, чью спину видел перед собою Степан Тураев, вдруг сутолочно и грубо ступила на вжатое в грязевую кашу лицо мертвеца и вдавила его нос глубоко в землю. Степан же ступил шире левой ногою и перешагнул через голову трупа, который был ещё недавно придурковатым пленным, опустившимся доходягой, существом хуже чем животное, каковым сделали его обстоятельства плена, вдруг сразу и беспощадно загнавшие массу людей в состояние близкое к смерти.

Когда колонну распустили, перед тем продержав на плацу около часа, Степан Тураев опять прошёл к вахте и украдкой посмотрел на труп Пихтина, словно гонимый к нему какою-то силой. Мертвецов повидал он уже предостаточно, и все они были совершенно чуждого и отрешённого вида, как бы вмиг становились существами иного мира, в котором имеют главное значение не жизнь и движение, а полное равнодушие и абсолютная неподвижность. Но вид Пихтина открывал Степану какое-то совершенно новое значение и смерти, и того, кого она настигла. Забравшись в свою земляную нору, которую никто не попытался занять в его отсутствие, Степан Тураев подтянул колени к груди и сжался в комок.

Он теперь до конца понял то, что сообщил ему своим видом мёртвый Пихтин. А открыл он Тураеву, что перед подступающей смертью человек вдруг получает право полностью перестать им быть и перейти в новую сущность – в суть нелюдей. В отрезке жизни между началом агонии и той точкой, когда душа внезапно постигает преображение смерти, человек становится нечеловечески свободен. Ни богу не принадлежит, ни сатане.

Может быть, он в этом состоянии наиболее качествен как именно свободный дух. Это понимание пришло к Степану не мыслительно в мозг его, а во всё существо в виде нового чувства жизни. Оно раньше диктовало ему держаться ближе людей, желать себе счастья среди них и в делах, обязательно связанных с ними. А в предсмертии главное чувство жизни могло быть выражено только двумя словами: я одиночество, и в этом чувстве уже не оставалось ничего из прежнего, человеческого. Последнее становилось в нём настолько малым, что исчезало -и новое существо, чуждое каждому человеку и всему человечеству, какое-то время мелькало на глазах у тех, кто наблюдал его в период предсмертного безвременья: всё ещё по-старому дышащего, уже находящегося без памяти.

Итак, преобразование человека вблизи его гибели и сопутствующее этому автоматическое отрешение от всей прежней судьбины может быть заметным для посторонних глаз. Но тот, кто увидит это, уже сам находится недалеко от собственного преобразования. И дело не в годах или днях, оставшихся ему до смерти, а в ней самой, которая открылась ему во всей своей вселенской непристойности, и отныне, как влажная тёмная картина блудного греха, будет стоять в его глазах ярче всего остального, возникающего в памяти.

Степан в своей норе, вырытой посреди концлагерного пустыря, лежал скорчась и перенимал науку мёртвого Пихтина, а Глеб подошёл – сделал четыре шага от дверей караульного помещения до его угла, – вплотную приблизился к своему знанию. Это произошло у него на последнем году солдатской службы, в вечернее время ранней весны. За углом будки, где караульные воины многих призывов, будучи в наряде, обычно справляли малую нужду, Глеб увидел сидящего на земле солдата Хандошкина и в первый миг удивился тому, что тот расположился в таком грязном, неудобном месте; но тут же и что-то необычайно страшное, непонятное задело сердце его, оттуда тревожной волной ударило вверх и сжало ему горло. Словно физическую дурноту, сопровождаемую этим болезненным спазмом горла, ощутил Глеб Тураев подступившую беду. Хандошкин обернул голову на звук чужих шагов, но он сидел спиной к углу будки, и потому стриженная его голова не повернулась в хомуте шинельного ворота настолько, чтобы увидеть подходившего сзади Глеба Тураева. Так и не попытавшись узнать, кто ему чуть не помешал в его деле, Хандошкин нажал на спуск, и короткая, оглушительная очередь прогремела. Солдат дёрнулся и медленно завалился на бок, клонившаяся к плечу голова его упёрлась в стену караульной будки, и тело упокоилось. Сзади Глеба Тураева хлопнула дверь, и на выстрелы резвыми прыжками вынесся сержант Белюх – в одном мундире, без шапки. Он столкнул с пути Тураева и, подбежав к Хандошкину, как бы заботливо пригнулся к нему, затем наложил руку на его плечо. Тело солдата легко запрокинулось, автомат упал рядом на землю. Грудь Хандошкина клокотала кровавыми дырами, рот широко раскрывался в предсмертной зевоте, глаза курносого солдата смотрели прямо в глаза Глебу Тураеву – не моргая, сосредоточенно, спокойно.

Сержант Белюх стал на одно колено и, близко нагнувшись к самому лицу умирающего, покраснев от натуги, начал кричать с насмешкой и ненавистью:

– Эй ты! Дурак! Дурак ты, слышишь? Свинья! Подыхай, не жалко тебя. Подыхай!

Вослед отходящему сержант спешил выкрикнуть слова от всего сердца -выражающие возмущение, злорадство и одновременно некоторую сердечную задетость тем, что салага-первогодок Хандошкин, такое маленькое и ничтожное существо, осмелился не приказы командиров выполнять и не прислуживать старшим, а совершить что-то вроде самой дерзкой самоволки. Было в этом аккуратном, миниатюрном сержанте начало искони военное, то есть в сыне мелких обывателей мелкого города проявлялись те твёрдые качества, что необходимы для такой сложной общественной работы, как война, надзор, полицейская служба. И, глядя на него, Глеб Тураев испытывал двойное чувство: с одной стороны, хотелось этого сержанта схватить и бить, а с другой – было нехорошо и гадко, что человек становится таким.

Подобное чувство испытывал его отец Степан в том немецком концлагере, куда он

попал после его поимки в Словакии, когда на его глазах потный от усердия и страха палач-полицай по кличке Буркатый своим железным крюком пробивал черепа у замерших в полосатом строю узников, сжимающих в левых руках такие же полосатые, как и костюмы, матерчатые береты. Буркатым прозвали палача лагерники из русских, которых было больше всего в этом маленьком секретном концлагере, созданном сугубо для научных целей. Пропасть жизненных представлений и убеждений разделяла двух людей, в разное время существовавших: Буркатого и Белюха, – но оба они были несомненно из одной породы послушных команде служак, из усердных исполнителей чужой воли, называемой приказом.

Тело маленького Хандошкина вдруг забило на земле, изо рта, вяло зевавшего, вываливались виноградные гроздья кровавых пузырей, а Белюх, вдоволь накричавшись, выпрямился, сплюнул в сторону и направился к вахте звонить. Проходя мимо Глеба Тураева, он вновь повторил, кипя возмущением и безвыходной злостью: "Свиння он", – и скрипнул зубами.

Всё в человеке связано с подземным огнём, в котором было расплавлено и размешано в плазменном вихрении – все горькие поражения и все великолепные надежды. Дьявол уже был там, в первозданном огне. Подземная лава, звёздный пламень, тот ещё, неостывший, – в этом огне содержится самый лучший ответ на все наши натурфилософские вопросы. Так думал Николай Тураев, бродя в толпе по Курскому вокзалу. Он размышлял о честной безответности Бога на человеческий вопрос "зачем" – и вдруг обнаружил связь между вселенским огнём и нелепостью своего существования.

Глеб Тураев эту связь тоже увидел: угасающий после вспышки ненависти дым имел серный запах ада. И он понял, что убивший себя Хандошкин, со странным выражением тупоумия пускающий себе на грудь розовые пузыри, тоже имеет самую прямую связь с тем началом, которое люди определили как волю сатаны, властителя подземного царства. В своём мире человеки гораздо ближе к сатане, чем к Богу, и реальность самых гнусных неотвратимых страданий, ожидающих каждого живущего человека, и сам абсолютный реализм позорной смерти – являются тому спокойным гарантом, полагал Николай Николаевич, передвигаясь по залу Курского вокзала в поисках свободного места на лавках. Если каждый из нас состоит из каких-то неделимых кирпичиков материи – и звезда, и подземная магма, и Хандошкин, и я, то пусть оставит меня в покое то никому не видимое страдание, которое делает меня таким одиноким, – полагал внук Николая Николаевича. Хандошкин уже умер – где, какой путь сейчас проходит душа Хандошкина, проявившаяся через его мелкую жизнь? Или путь её весь здесь, у меня под ногами, на этом зассанном солдатами клочке земли? Бога мы подразумеваем, на него уповаем, ему молимся – а сатана берёт наше нежное тело своими железными руками и выпихивает живую душу в пустыню, откуда нет возврата. По-разному может выглядеть она, эта пустыня. То как бред – какие-то соляные копи, то как многолюдный Курский вокзал, где надо тебе устроиться на ночлег.

Бог указывает людям цель существования как очень долгий путь к добру и совершенству, а сатана попросту берёт и насылает дизентерию на ослабевшего от голода и холода человека. И Степан Тураев весь сосредоточился на ощущениях того, как хлещет кровавая жижа из него – невозможным было устеречь мгновение внезапного выброса поносного дерьма. Вся нора, которую выкопал Степан Тураев, была залита следами поноса, но более всего страдал он от приступов болезни во время пеших переходов в колонне, когда гнали её в город на работу или оттуда в лагерь. В этом случае Степан на ходу истекал жижей, которая, собственно, уже и не была дерьмом, не им пахла, да и не из чего было образоваться в желудке дерьму – он уже много дней не ел эрзац-хлеба, похожего на выпечку из коровьего навоза и земли, выдаваемого раз в день кусочком со спичечный коробок величиною, не пил мутную серую баланду с привкусом керосина и столярного клея. Но, свободный от всей этой дряни, желудок тем не менее вырабатывал дрянь ещё худшую, вытягивая из усохшего тела какие-то его подспудные миазмы. И, шагая в хлюпающих сырых штанах, стараясь сдерживать стон, плывя по волнам дурноты, Степан ещё не знал, что настанет иное время и он будет идти сквозь лесную темень, во время ночной охоты, чем-то

очень напоминающей эту зыбкую пустоту дизентерийного жара – _но как бы шагать в обратном направлении_ колонне погибающих пленных. Размытый до костей горячими струями болезни, пленный Степан шёл, словно бы всё ближе подбираясь к тому месту в мире, где останется он совершенно одинок. Во мгле же ночной охоты, много лет спустя, он, наоборот, словно шёл от затерянного в темноте безвестного места, где лишь барабанило его одинокое сердце, к какому-то широчайшему ристалищу с бесчисленным множеством зверья, по которому они носились, убегая, догоняя, задевая боками друг друга, – маленькие, как поросята, и огромные, как слоны, сопящие, пышущие жаром ноздрей, иногда мимоходом сбивавшие его с ног, – но невидимые в чернущей темноте леса.

Возродясь под моей сенью, дух человека, погибавший когда-то от необъяснимых несчастий его существования, постепенно наполнялся сиянием зелени, просвечиваемой насквозь упругими лучами солнца. Никнувший к самой земле, задыхаясь в вони собственных испражнений, он вдруг оказался способным воспрянуть к далёкой синеве, видневшейся над деревьями, и совершить сонный полёт на ватных облаках – кто не летал по синему небу, развываясь на белых кипах небесной ваты! Степан Тураев оказался способным к подобным полётам и после того, что испытал в тот день, когда на его глазах лагерный полицай затоптал ногами заключённого, который, страдая тою же дизентерией, решил не марать штанов и, спустив их до колен, присел в строю посреди колонны. Пленные стояли перед опущенным шлагбаумом длинной толпой безмолвных людей в грязных изодранных одеждах. Присмотревшись меж неподвижными пленными скорченную фигуру дизентерийщика, конвойный, человек коренастый, с короткой шеей и большой головой, на которой едва держалась пилотка, передал автомат соконвойнику и забежал в строй. Схватив нарушителя порядка за шиворот, он выволок его из колонны, таща по земле, словно мешок картошки, от натуги скособочившись и махая по воздуху свободной рукою. Тот, которого он волок, обеими руками придерживал штаны и, когда на обочине дороги был брошен на землю, попытался лёжа натянуть их, для чего выгнулся животом вверх, желая протащить край штанов под ягодицами. Сморщенный и свёрнутый кукишем пенис пленного жалко вздрогнул в тёмных куцах волос, и по этому выпяченному месту солдат с размаху, высоко подняв ногу, нанёс первый удар подбитым железной подковкою каблуком. Выкатив глаза и широко раскрыв рот, поверженный вмиг задохнулся и, не издав ни звука, скорчился, подтянув к животу колени, потом свалился на бок. Тут в полное своё усердие и заработал конвойный, одновременно придерживая на голове спадавшую пилотку, -сокрушал каблуком рёбра лежащего человека, желая сломать и вдавить их внутрь, стараясь при этом не нанести зря ни одного удара. Но кости когда-то сильного и, очевидно, ещё молодого человека оказались более упругими, чем предполагал стражник, его решительный азарт был несколько сбит тем, что рёбра пружинили после нанесения самого полновесного удара, и это сердило его. Однако вскоре весь воздух вышел из груди убиваемого, грудная клетка его опала, и раздался столь необходимый конвоиру хруст ломаемых костей. С удовлетворённым видом, согнувшись, он уверенно довершил задуманное, несколько последних тычков кованым сапогом нанёс по уже мёртвому телу и затем, не оглядываясь на него, направился к стоящему шагах в двадцати товарищу за своим автоматом.

Николай Тураев в одну минуту утратился как самостоятельная духовная единица, словно бы мгновенно погиб, потому что его сын Степан видел рядом с собою на обочине грязной дороги растоптанного человека со страшно искажённым лицом; а сын Степана, Глеб, из-за этого же потерял всякое желание жить и пришёл к тому состоянию, которое можно выразить лишь двумя словами: Я ОДИНОЧЕСТВО. Николаю Николаевичу переход в это состояние, равносильное смерти, дался столь легко, скоро и внезапно потому лишь, что во весь остаток текущего века всеми неисчислимыми реальностями человеческих событий и поступков, исторических шагов племён и народов доказывался вселенский дебилизм ненависти, противоестественный в системе гармонических закономерностей космоса. И это доказательство, явленное Степану Тураеву в годы войны и плена, – в виде математических формул, представших перед его сыном Глебом, уничтожили в них желание работать и жить

для будущего человечества. Беспощадный нравственный урок, могущий быть сравнённым с отречением падшего ангела, – это гибельное низвержение в темницу духа, случившееся с младшими Тураевыми, во мгновение ока увлекло за собою и старшего, Николая Николаевича. словно три альпиниста, бывшие в одной связке на разной высоте, сорвались со скалы, когда среднего постигла беда и он первым всей тяжестью своей рухнул вниз, увлекая за собою остальных. Весной сорок пятого, за два месяца до победы, Степан был отпущен с войны не столько смертельно больным, сколько уже мёртвым. Освобождённого из последнего концлагеря – а был Степан Тураев и в Польше, и в Словакии, и в лагере пленных лесорубов в Финляндии, – его отпустили без дознаний и следствия, чтобы он спокойно умер на свободе. Исходящего кровью из горла, бесчувственного к боли, в отческий Лес привела его неизвестная сила.

Глебу Тураеву предстояло ещё прожить много лет после рокового дня самоубийства Хандошкина, вспоминая почему-то чаще всего тот незавершённый поворот головы солдата на звук чужих шагов, вслед за чем и раздался треск автоматной очереди – предстояло Глебу закончить службу в армии, вернуться в университет и закончить его, после чего ещё много лет работать, принимая участие в разработках новейшего вида Оружия, величайшего по масштабности убойного эффекта, – предстояло испытать и те пятнадцать лет семейной жизни, которые столь внезапно закончились полной катастрофой... Всё это ему ещё предстояло... а пока что он замер над телом Хандошкина и, глядя на него, вспоминал всего лишь вчерашний вечер, когда, выстроенные во дворе для получения инструктажа, они стояли рядом в недлинной шеренге, ожидая выхода начальства, и Глеб, от которого Хандошкин был слева, обнял его за плечо, встряхнул дружески и спросил: "Что за положение, Хандоша?" На что тот бойко ответил своим мальчишеским сипловатым голосом: "Положение как в Конго, земля!" Это было – без особенного смысла заданным вопросом и столь же бездумным стилизованным ответом – попросту выходом молодых чувств в слова, отвлечением в минуту томительного ожидания постановки боевой задачи караулу старшиною роты. И вдруг на утро следующего дня Хандошкин, сменившись с поста, не пошёл в караульное помещение, а удалился за угол и там, присев на землю, пустил очередь себе в грудь... Глеб не пытался даже задавать себе вопроса, почему произошло это. Ведь никто не мог бы объяснить, по какой причине маленький солдатик столь непримиримо отверг жизнь наутро, если накануне вечером он её, по всей видимости, ещё любил. Вселенная хотела бы уничтожить себя. Вселенную измучило одиночество. Чтобы его избыть, необходимо самоуничтожение.

Это мог сделать Хандошкин; это может сделать и человечество. Но как это могу сделать я? Пусть в миллиардах галактик распылится моя тоска, но моё постоянное мучение не исчезнет – Я ОДИНОЧЕСТВО. Всё, что человек чувствует перед бездонной тьмой космического пространства, чувствую и я. Всё, что надлежит испытать человеку от позорного рождения до позорной смерти его, испытаю и я. Христос тоже испытал. Его страдания были ужасны, но не больше тех, которые обычно испытывает всякий человек на земле. Не больше, значит, и моих страданий. Но я бы хотел знать – зачем они?

Неужели дрожь мучений, их безобразные корчи, отвратительная гримаса боли, грубая картина агонии, когда у повешенного от нарастающего удушья вылезают наружу глаза, вываливается язык до плеча, набухает пенис, кал выбрасывается из заднего прохода – неужели всем этим я столь щедро одарил людей? Я создал рабов смерти? Ведь если страдание нераздельно от них, то оно безмерно властвует над ними. А тот из них, кто может по своей воле силою подвергать другого страданиям, обретает скверную, но самую верную власть. Угрозой нанести страдание и неодолимым страхом перед ним держится эта власть... Если я освободил свои деревья от страдания, то зачем я наделил им людей?

Я создал человека со способностью страдать, значит, я его навсегда сделал несвободным. Человек страдает, значит, он способен ко злу. Зло человеческое не надо ни отрицать, ни оправдывать. Оно существует в людях как безошибочный инстинкт, увлекающий их в сторону гибели. Жестокость есть выработка зла – глубинная память о нём,

ставшая качеством природы. Нанося другим страдания, жестокий реализует своё подспудное знание того, что и над ним некогда будет произведено подобное. Убивая другого, убийца совершает обряд рабского преклонения и любви к своему хозяину, которого признаёт абсолютным Хозяином. Палачи людей, будучи сами людьми, всегда совершают одну и ту же работу, притом чужую. Рабская душа в угоду хозяину тщится совершить это сама, но ничего другого не может, как только разными способами увеличивать ближнему страдания. Взять смерть другого человека человек не может – это делает смерть... Но, совершая акт убийства, он признаётся в окончательной подчинённости и верном служении сатане, признаёт и закрепляет навеки свою несвободу.

Итак, тот, кто никогда не будет свободен от страдания, никогда и не достигнет совершенства. Не стремясь же к нему, путник на Земле теряет свой путь – утрата цели пресекает всякое устремление. Что делать, что делать... Николай Тураев, теперь называющий себя Никто, разыскал местечко под лестничным маршем, в самом низу того угла, который образовался между лестницей, идущей вверх, и каменным полом вокзала. Под косым гнётом плиты местечко оказалось столь мало, что там и сидеть было нельзя, только лежать, и господин Никто втиснулся туда, как в нору, ногами вперёд, слегка подпихивая коленями безвестного своего соседа, который до прихода господина Никто был крайним в ряду почивающих на полу под лестничным маршем и, полагая, что уже никто не польстится на угловое пространство, закиданное семечной шелухой и окурками, уже считал своё положение завидным, так как мог откинуть руку или согнуть ноги в коленях. Но вот небольшое разочарование – сморщенный субъект с лицом одичавшего карлика столь неприязненно зыркнул на новоявленного соседа красными выпученными глазами, что мог бы оглушить подобным взглядом, как дышлом конь, но ничего подобного не случилось. Небритый Никто улёгся, подложив в локте согнутую руку под голову, и быстро затих. И как-то очень незаметно рядом с его головою оказалась некая старуха в шляпе из чёрной соломки – уселась прямо на проходе, сбоку лестницы, и такими выразительными глазами уставилась на чернобородую голову господина Никто, что его сморщенный сосед мигом сообразил: старуха имеет какое-то близкое отношение к пришельцу, возможно даже и супружеское. Это открытие почему-то утихомирило недовольное сердце человечка с карличьей физиономией, он шумно выдул воздух сквозь вытянутые толстенькие губы и, отвернувшись, закрыл глаза, пытаясь уснуть, а может быть, пытаясь вспомнить, кто он, когда родился на свет, где, зачем прожил сорок семь лет на свете, каким ребёнком был, кто любил его больше – отец или добрая, любезная матушка.

Но, ничего этого не вспомнив, увидел сей наполовину высохший можжевельник нечто другое: могучее целостное пространство воды, блистающей под солнцем и вобравшей в себя всю голубизну неба – и с такой жадной силою, что вода цветом стала гораздо насыщеннее воздуха – плита лазуритовая океанская, намного тяжелее синью, чем сапфир неба. И я мгновенно различаю эти два качества синевы – нижней и верхней, и с чувством неистового ликования лечу в пространстве меж ними, наполненном щекочущими световыми вспышками, я лечу, лечу в метелице ослепительных светокрылов, яркоплексов, бликороев. Лечу и вижу летящих со мною рядом крылатых длинных рыбок с круглыми вытарашенными глазами, которыми взирают они на меня в весёлом изумлении, так же как и я на них. Они дивятся, каким образом среди них, выпрыгнувших из воды, убегая от преследующей стаи тунцов, оказался вдруг и я со своим странным, ещё не успевшим определиться, таким огромным телом, проношусь над морской водою, словно сгустившаяся тень от громадной тучи, – нет, не просто очень большой тучи, а, пожалуй, целого синемраморного облачного континента, повисшего над самой серединой Тихого океана. Летучие рыбы недоумевали по тому поводу, что я, движущийся вровень с ними на той же скорости, что и они, мог внезапно вытягиваться, уходя головою и хвостом за видимые горизонты, а в следующее мгновение с невероятной быстротою сжаться в небольшой толстенький шар. Но на излёте своего воздушного путешествия те из летучих рыбок, что следили за мною, успели заметить, что я всё же смог превратиться в одну из них – и вместе с ними шлёпнулся, плеснув, в

сверкающую воду и скрылся в глубине океана.

Но я не исчез бесследно – остался пятнышком зрительной памяти на сетчатке глаз Митрохи Лобзова, голубых и невинных глаз восемнадцатилетнего плотника из мещерской деревни, который вместе с артелью под началом Евпалова Никодима, родного дядьки Гурьяна Ротастого, плыл на пароходе вот уж пятнадцатые сутки к заморской стране Филиппины. Ему и предстало, Митрофану Лобзову: одна из диковинных рыбок, летящих по воздуху рядом с пароходом, вдруг вытянулась, ушла головою и хвостом за противоположные края небесного окоёма, затем мгновенно сократилась в сияющую точку. Как и летающие рыбы, Митроха был охвачен великим удивлением, но не могло оно пробиться сквозь накопленное двухнедельное тошнѣхонькое его безразличие ко всему на свете.

Жил на Филиппинах русский человек, Поликей Жуков, попавший туда по торговым делам да и осевший там на всю жизнь, – и разбогател он, и захотелось ему в ностальгическом порыве из купленных сосновых брёвен устроить на своём филиппинском ранчо русское имение с большим рубленным домом, амбарами и баней, и выписал он для исполнения такого замысла артель плотников из своего рязанского края. И счастье негоцианта осуществилось, выстроили ему земляки хоромины белые под пальмами, и он долго не давал расчёта артельщикам, насильно удерживал их у себя, чтобы необузданно гулевать-пировать, окрутил каждого плотника самой изнеженной заботой и лаской комнатных девушек, повелел им вместо воды подавать чистого рома... Но, поблаженствовав недельку, взмолились мастера хозяину, чтобы отпустил их домой, поспеть бы через месячишко к сенокосу, и бригадир, с широкой седой бородою, Евпалов Никодим, повалился в ноги дебелому, с рыжими баками, совсем не русского облика негоцианту: мол, отпусти хоть бы и без заработанного, Поликей Софроньч, отвали только на дорогу и отпусти, хозяин, на что тот лишь сердито сплюнул и удалился, а через час слуга пришёл звать закручинившихся артельщиков в контору за расчётом.

И с тем отбыли, рассказывал потом взрослым внукам своим Никодим, бегом побегли в порт, только и успели топоры похватать из-под кроватей да сунуть за пояса, а все подарки, что понадарил нам хозяин, оставили блядям шёлковым, маслом намазанным. Рязанские мужики, ошарашенные невиданным распутством под южными небесами, с великим облегчением восприняли свой поспешный исход как благоспасительную милость господню, так и говорили друг перед другом, крестясь: "Бог спас". И только молоденький Митрофан Лобзов кручинился, уронив голову на грудь, и на все увещания и брань старших никак не отвечал, потому что был согласен умереть, но ещё хотя бы раз оказаться под москитным пологом вдвоём с упитанной, тугой, гладкой девочкой, которая на лицо казалась сущим ребёнком, поэтому не поймёшь даже, красивая или нет, однако губы розовые были на этом детском лице как жгучие пиявки – сочные, подвижные, бесконечно властные. И Митрофан, впоследствии женившись на красивой здоровенной Наде Евпаловой, племяннице Никодима, дочери Гурьяна, прожил с нею тридцать лет, народил семерых детей, умер благополучно дома, как раз перед Отечественной войной, умер лёжа под образами и был снаряжен на тот свет, в гроб, под землю, руками любящей жены – но и в гробу, и под землёю на кладбище, в сосновом лесу, в окружении всех своих родственников, земляков, детей и внуков – и опять-таки возлежа на вечном покое рядом с благоверной Надей своей – не переставал вспоминать и тайно лелеять бывшее истаявшее сладострастие в неумирающей памяти своей Митрофан Устинович Лобзов.

Однажды, ещё при жизни, он пошёл на Петров день просто так в лес, без особенной цели, перед женою сказавшись, что посмотрит делянку берёзовых дров – и шёл, шёл по заросшей лесной тропе, а потом, почувствовав, что кругом дремота и теснота лесная восстала достаточная, сел, словно упал, прямо посреди тропы и обеими руками обнял и прижал к лицу какой-то хиленький ствол. Грешное желание – восцениваемое им как грешное, преступное, страшное желание, – преследующее христианскую, крестьянскую его душу всю жизнь тайным ползучим аспидом, проникающим всюду за ним, в самые интимные затаёнки его дней на земле, и жалящее в самую нежную и беззащитную сердцевину его

мужского естества остреньким загнутым зубом ядовитого нерусского наслаждения, из-за чего он никогда не мог быть счастлив со своей Надей, сколь ни старался, – обо всём этом невозможном и невнятном поведал нестарый ещё женатый мужик чахлому деревцу, выросшему прямо посреди заглохшей лесной дорожки. И этим деревцом оказался жилистый и крепкий, несмотря на хилое обличие, эфиросный можжевельник, душевная исповедь мужика через его учащённое дыхание изошла в воздух мира и смешалась с бодрим ароматом деревца, кору которого пообтёр-таки мозолистой твёрдой ладонью Митрофан Устинович Лобзов, зажав в руке случайно подвернувшийся ствол и в порыве душевной муки судорожно выкручивая его из земли. Но можжевельное дерево ему выдрать не удалось, а аромат нетравяной, нелесной, аптечный запах содранной можжевельной коры вдруг проник словно бы в самое сердце мужика и успокоил его, и он мгновенно забыл, о чём скорбел столь мучительно и сильно минутою назад, выпрямился и, продолжая сидеть посреди дороги, рассеянно оглянулся вокруг, прихлопнул комара сбоку на шее.

Он вздохнул и затем, поднявшись на ноги, отправился в сторону Охремова болота смотреть там берёзовый подрост, годится ли уже на дрова, а спавший на полу под лестницею вестибюля Курского вокзала сморщенный можжевельный человечек заворочался во сне и, повернувшись на правый бок, успокоился было, по-домашнему водрузив на шею соседу свою руку, которую тот сразу же сбросил с себя и, в свою очередь сердито ворохнувшись, повернулся спиною к непрошеному обнимальщику. Вера Кузьминична, сидевшая рядом, возвышаясь над своим спутником, видела как посягновение на него, так и отражение сего Николаем Николаевичем. И ни ей, ни тем более обоим лежащим перед нею бродягам было невдомёк, что напрасно они столь чуждаются друг друга, ибо происхождением они все от единого Леса и, шествуя ли по томительным дорогам земли или переплывая моря сновидений, они все трое черпали жизненные грёзы из одного общего источника.

Когда я, летя рядом с крылатыми рыбками, вытянулся вперёд и обогнул длинным телом своим чуть ли не половину Земли, затем мгновенно сократился, вернувшись в прежнее своё положение, и, миг побыв летающей рыбкою, стал стремительно уменьшаться далее и превратился в светящуюся точку, которую вскоре упустили из виду рядом порхающие длинные, как ножи, внимательные рыбы, – образовался в результате подобного сверхстремительного пространственного движения мой внутренний резерв времени, независимый от времени земного, связанного всё новыми и новыми путями наворачиваемых по орбите витков никому-никому-никому не известных и ничего-ничего-ничего не значащих годов-годов-годов... Моё внутреннее время таково, что за одну пульсацию гигантского растяжения и затем мгновенного сокращения моего существа в невидимую глазу точку я получаю возможность выбора прожить любое из прожитых деревьями моего Леса мгновений, постигнуть любое блаженство -войти в него, вкусить от него и, подобно осе-точильнице, вылететь из тронутого тела и унести в неведомые для меня дали.

В концлагере, куда доставили пойманного после побега Степана Тураева, проводил свои научные опыты родной брат коменданта, химик Ф. Бёмер; он изобрёл умертвляющий газ, намного превышающий по мощности обычный "Циклон" и сводивший агонию испытуемого материала до нескольких долей секунд. Газ столь энергично воздействовал на организм подопытных, что тела их мгновенно охватывали чудовищные корчи, за которыми исчезало всякое ощущение боли, и, таким образом, умерщвляемый практически избавлялся от психических страданий, каковые обычно сопровождают процесс насильственного прекращения жизни. Ф. Бёмер доказал уже на тысяче испытуемых преимущество своего газа, производство которого, вернее производство порошкообразного вещества, заключающего в себе газ, обходилось бы для промышленности вдвое дешевле, чем "Циклон Б". Но Ф. Бёмеру не везло, и его старший брат Б. Бёмер, циничный и грубый солдафон, откровенно издевался над своим братиком-химиком, называя его изобретение рвотным порошком, и никак не давал положительного заключения на произведённые испытания "Орхидеи", как поэтично назвал своё творение Ф. Бёмер.

Старший Бёмер, практик геноцида, не признавал "Орхидеи" главным образом за то, что

газ вызывал у материала такие сильные рвотные спазмы, что происходил саморазрыв тканей в дыхательных путях лёгких, и трупы все оказывались до безобразия измазаны кровавой блевотиной. К тому же, чтобы привести порошок в действие, надлежало полить его водой, что требовало дополнительных перестроек в существующей технологической цепи, то есть надо было что-то придумывать, чтобы вода, подаваемая в душевые, каким-то образом попала на химикат.

Ф. Бёмер предписывал раздавать входящим в камеру подопытным номерам бумажные пакетики в руки, под видом мыльного дисперсита, на что Б. Бёмер изрёк: "Всякие психологические уловки я дерьмом считаю, Ф.! В нашем деле нужны только механические действия, прямо ведущие к цели. И лучше всего подходит железный крючок!" Он имел в виду простейший инструмент: отпиленный кусок пожарного багра, которым его любимый палач пользовался для пробивания черепов у лагерников, омертвело застывших в шеренгах на широком утоптанном плацу.

Я вошёл, зацепившись о высокий металлический порог большим пальцем правой ноги, которая была у меня не совсем послушной. Опухшее ниже колена берцо было гораздо толще, чем иссохшие, будто жерди, и словно удлинившиеся бёдерные части мои, где раньше, при жизни, красовались здоровые мускулистые ляжки, поросшие чёрными шерстистыми кущами волос – они одни и остались, длинные звериные полосы на костлявых, без мяса, обессиленных ногах. Вокруг меня стояли, тесно притиснутые костями к костям, удивительно похожие друг на друга, гладко обритые человеческие существа, с такими же глубокими провалами меж рёбер, как и у меня. Глаза у всех были одинаковыми, они не видели того, что было вокруг, вблизи, рядом, не видали других глаз, в которых также застыло глубокое внимание к сути того, что происходит. Каждая пара этих широко раскрытых, неподвижно замерших глаз жила самостоятельной жизнью последнего сверхнапряжения уже бесполезной человеческой души. Она у всех, обритых и заголённых для умерщвления, перешла в глаза, светилась в зрачках. Но это было полное бессилие огня, горевших в виду друг друга, – глаза гениев, охваченных вдохновением, были так же обречены на позорнейшую безответность Бога, как и сверкавшие чёрным огнём огромные глаза непросвещённого цыгана, который последним из нас вошёл в камеру – сейчас, только сейчас мне стало ясно, как и всем, сжатым стенами газовой камеры в плотный тюк скелетов, что всё уже выяснилось – вот сейчас, сей миг. И осталась та же изначальная тоска и правда: Я ОДИНОЧЕСТВО, – и больше нет ничего другого.

Внезапно сверху из дренированных труб полилась вода, холодная и неузнаваемая, словно иное – неизвестное – вещество, мучительным холодом стегнуло по оголённой коже бритого черепа, потекли язвящие струи вниз по коже, обегая костяные выступы и омывая глубокие впадины на телах полутрупов – в пахах струйки сливались в один утяжелённый поток, и вода неуклюжей водяной вервью шлёпалась меж расставленными ногами, тонкой плёнкой растекалась по цементному полу и уходила в дырчатые железные стоки. Погас электрический свет. Вода лилась ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы задействовала "Орхидея", и с трупов, находящихся в вертикальном положении из-за тесноты, была бы смыта кровавая рвотина.

После отключения воды заработала с гулом и воем сильная вентиляция, чтобы удалить ядовитый воздух из камеры, и вымытым холодной водою мокрым номерам стало бы нестерпимо холодно, не будь они столь тесно прижаты друг к другу. Когда вентиляционные гулы замолкли, постепенно удалившись по каналам труб и унеся с собою потоки резиною пахнущего воздуха, настало время тишины неопределимой длительности. Насвежо омытые, обритые, прижатые друг к другу скелеты тихо зашевелились, переминаясь с ноги на ногу, и я в темноте, сдавленный со всех сторон липкой массой мокрых тел, услышал, как зашелестели осторожные вздохи, дрожащие, затаённые, и странно мне было слышать эти звуки живых – ещё содержащих те чувства, которым научился человек за тысячелетия от духа Божия и которые сей миг в полной темноте газовой камеры были отвратительны и жалки своей абсолютной несостоятельностью.

Я понимал, как и каждый скелет, вздыхающий вокруг меня, что мы оставили свои бумажные пакетики с "мыльным порошком" на железном пороге и тем самым не дали задушить себя. Необъяснимым образом стало известно кому-то из нашей партии смертников, каково подлинное содержимое в пакетах из рыхлой бумаги, розданных каждому, и при входе несколько номеров, выстроившись в ряд перед дверью, молча забирали их из рук загоняемых в камеру, и каждый из них мгновенно всё понимал и так же молча отдавал пакетик. Лишь последний загнанный в камеру цыган попытался не отдать, спрятав его за спину. Но когда захлопнулась дверь и снаружи повернулся штурвальчик запора, десяток тощих рук взметнулись к цыгану, как разящие змеи, вцепились скрюченными пальцами в плечи, в горло, в лицо и руки – и почти мгновенно цыган был умертвлён, затем его заломили надвое, и его телом накрыли сверху пакеты с порошком, сложенные на пороге камеры.

В таком виде и узрели братья Бёмеры, Ф. и Б., незадачливый результат первой массовой акции по использованию нового газа: ровно настланные на металлическом пороге пакеты были накрыты сверху изломанным пополам трупом, который собою защищал порошок от случайного попадания водяных капель. Комендант и его брат-учёный стояли во главе небольшой свиты, состоявшей из вооружённых солдат охраны, двух офицеров из штаба химических войск, женщины-врача из научного института насильственного умерщвления, коллеги Ф. Бёмера. Женщина была ещё не стара, ей нравились грубые мужчины, такие, как этот комендант лагеря с перебитым носом; но когда приоткрыли стальную дверь и сразу же наружи вывалилась тощая, волосатая жердь ноги и перед всеми предстал лежащим на пороге в неестественной позе голый мертвец с застывшим выражением последнего ужаса на лице, она всё же смутилась и, потупившись, отвела взгляд в сторону.

Братья Бёмеры, оба толстенькие, лысоватые, стояли рядом и одинаково краснели – наливаясь румянцем с подглазья, затем краснея небольшими пятнами на щёках, а далее переходя в багровую красноту по шее и далее вниз – за ворот рубахи. Ф. краснел, чуть не плача от злой обиды, за то, что судьба опять наслала пакость и неудачу; Б. краснел от стыда за брата и от ярости, что снова тот совершил глупость исключительно по своему противному упрямству и, главное, других заставил поверить в эту глупость. Стоя перед распахнутой дверью газовой камеры, откуда валил тёплый пар с противным запахом мытых куриных тушек, братья начали злобно препираться, как бывало между ними всю жизнь.

– Тебе не газ изобретать, Ф., а трусики шить! – рявкнул, не сдерживаясь больше, старший брат на младшего. – Раздал бы трусики этим треклятым номерам, они живо бы натянули на свои костлявые задницы.

Солдатня загоготала, а дама из института умерщвления прищурилась и с одобрением кивнула коменданту, офицеры-химики переглянулись меж собой. Ф. Бёмер вмиг сорвался на жалкий повизг истерики, чего и добивался (знал он с самого начала) его братец Б. Добившись же этого, он всегда с видом большого довольства слушает крики братовы и улыбается...

– Чудовище ты! Пузан! – кричал Ф. на коменданта лагеря. – Как смеешь! Я офицер! При чём тут газ? Я же предупреждал, настаивал: обливание должно быть тотальным! Струи воды должны идти со всех сторон! Где, где боковые струи, где встречные нижние струи, где? Ты преднамеренно мне всё испортил!

– Вот где, – указуя мужественной рукою себе в пах, ответил комендант, – тут тебе и боковые и встречные.

Солдаты, химики и учёная дама загоготали пуще прежнего.

– Пузан, наглая морда. Двоечник. Ты мне всегда завидовал, – пищал Ф., стоя рядом с братом и, повернув голову, заглядывая ему в лицо. – Из зависти хочешь испортить хорошее дело.

– Сам пузатый, – выставив свой перебитый нос прямо против носа брата Ф., отвечал комендант. – А дело твоё вшивое, скажу прямо, несмотря на то, что ты мой брат. И газ твой вшивый, и внезапность твоя вшивая, потому что вот – сам можешь убедиться, – что из этого получается.

И комендант ткнул пальцем перед собою, в раскрытую дверь газовой камеры, где под жёлтыми лучами лампового света, падавшими из "предбанника", видны были стоящие первыми у входа белой кожей обтянутые бритоголовые скелеты, у которых неподвижные глаза смотрели в упор на столпившихся за дверью солдат и на комиссию с выражением абсолютной *нежизни* чувств. Скелеты хранили в своих глазах значительность того, что они уже повидали и узнали в черноте камеры. Эта значительность молчаливых скелетов, выглядывавших из дверей душилки, невольно угнетала мелких чиновных людей, что столпились перед дверью, и тогда комендант выкрикнул, напрягая голос и понапрасну сжимая кулаки:

– Я знал, что так будет! Я предупреждал! Никакой внезапности не нужно – это пустые выдумки! – обернулся он к брату. – Они сдохнут и без всякой твоей внезапности. Для чего она им?

– Убыстрение процесса при внезапности акции совершенно убирает период психологической густоты, я ведь тебе объяснял! – скороговоркою выкрикнул Ф., обращаясь, впрочем, в большей мере не к брату, а к двум химическим офицерам и даме-коллеге. – Вот оно, это густое состояние психики, о котором я говорю, полюбуйте, – и учёный так же, как и комендант, ткнул пальцем перед собою, указывая в раскрытую дверь камеры.

Там на пороге камеры лежал задавленный, прикрывая своим телом уложенные стопками пакеты из желтоватой рыхлой бумаги: лежал спиной на пакетах, сломанный напополам в крестце, загнутый таким образом, что ноги, обращённые пятками вверх, раскинулись в обратном направлении телу.

– Вот этого не будет, этой стадии предсмертного мрака у подвергаемых акции, – продолжал пояснение Ф. Бёмер.

– Ну и что, что не будет? А если и будет? Какого чёрта тут строить им куры, если ясно одно – надо выполнять плановое задание. Лагерь не резиновый, в нём предписано быть определённому количеству номеров. Куда излишки девать? – горячился комендант.

– Господа, я обращаюсь к вам, потому что господин комендант, мой брат, не способен понимать некоторых важных тонкостей философии, – встал перед комиссией, широко расставив ноги, Ф. Бёмер. – Он не понимает, что густота психики, образующаяся в предсмертную минуту у нескольких сотен или тысяч человек разом, может в некотором роде подорвать нашу идеологию, а также содействовать исчезновению религиозного экстаза, что скорее на руку врагам, нежели фюреру.

– Каким образом... на идеологию... на религию? – ленивым голосом спросил один из химиков, высокий, стройный и красивый, в очках, в высоких сапогах, начищенных до лакового блеска.

– Тяжёлый психический сгусток, порождаемый предсмертным состоянием, обретает, очевидно, некую субстанциональность, господа, отчего и воздух в тех местах, где совершаются массовые акции, пропитывается особым запахом – вот как и сейчас, – пахнет, господа, чем-то вроде мытых куриных тушек.

– Брехня! – взорвался возмущением комендант. – Да от них воняет обыкновенным дерьмом и их собственным мокрым мясом, а не твоими вшивыми курами, Ф.!

– Господа, слушайте дальше... – не обращая внимания на брата, продолжал Ф. – Тяжёлый сгусток психики, выработавшись в те секунды, когда всё становится ясным и, кроме смерти, никакой другой истины перед человеком не оказывается (он, то есть номер, заключённый, человек – как угодно называйте его, – вдруг убеждается, что он совершенно, абсолютно, беспредельно одинок), – тогда он способен прийти к состоянию самому опасному, господа. Он почувствует, что никакого Бога нет, что всякая идеология – это пустое место, и, самое главное, почувствует такую враждебность к жизни и тягу к смерти, что миг станет внесоциальным существом, в котором образуется тот самый сгусток отрицательной психической энергии. Она, господа, распространяется в виде особого запаха или характерного акустического явления – пощёлкивания и гудения в воздухе или невидимой энергии, затемняющей в глазах воспринимаемые световые волны...

– Господа, здесь не место для выслушивания подобных лекций, – перебил брата комендант лагеря. – Идите в канцелярию, там и беседуйте, я же буду вынужден вас на время оставить.

– Почему вы хотите лишить нас своего общества? – с самыми доброжелательными чувствами молвила дама из института насильственного умерщвления, которой лагерный комендант нравился всё больше.

– Потому что про эти идеи я слышал уж сто раз от своего дорогого братика, – ответил Б. Бёмер, окидывая более внимательным взглядом, чем дотоле, подтянутую высокую даму с хорошими ножками, но с плосковатой грудью. – К тому же ведь надо как-то распорядиться относительно этого испорченного материала, – и он с ироническим видом, несколько театрально, повёл рукою в сторону раскрытой двери газовой камеры, где по-прежнему непристойно валялся на пороге сломленный пополам бывший цыган и за ним в обрамлении дверной коробки виднелись, словно в тёмной картине, ребристые, со впалыми животами, сцепившие на пахах руки, номера с неподвижными глазами, в которых переливался, мерцал сгусток отрицательной психической энергии.

– Наверное, – предположила учёная женщина, с улыбкой полной капитуляции глядя на коменданта, – всю партию надо вывести из камеры и повторить акцию заново, учитывая выявленные недостатки.

– Ха! Ха-ха! – воскликнул Б. Бёмер. – Попробуй выдернуть хоть кого-нибудь из этой мешанины. Они же все прилипли друг к другу, мадам.

– Прилипли?

– Вот именно. А вы не знали об этом их свойстве? Когда их выгоняешь толпой на поле или на край рва или когда... Закрывать! – вдруг спохватился и скомандовал комендант.

Двое солдат бросились к двери, третий с багром наперевес подскочил к ним и сноровисто поддел свисающую с порога тонкую, как палка, волосатую ногу трупа, забросил её назад – и дверь захлопнулась, штурвал запора на ней был повернут вправо до отказа.

– Когда загоняешь их в газовую камеру, они все начинают прилипать друг к другу и так остаются, как слипшиеся дохлые мухи, – объяснял далее комендант. – Трудно бывает камерной службе потом отделять их, чтобы переправить в крематорий, мадам. И может быть, мой учёный братец кое и в чём прав, когда толкует, словно сумасшедший, об этом самом сгустке психоэнергии... Действительно, было бы неплохо, чтобы они не знали, что их загазуют, а если бы и узнали, то за достаточно короткое время до начала газации. Наверное, тогда бы они не так сильно прилипали друг к другу.

– Благодарю тебя хотя бы за такое скромное признание моих трудов, – наконец улыбнувшись, поклонился Ф. коменданту, и все вокруг увидели, до чего же к они похожи: круглыми головами, короткими могучими ляжками, одинаковыми улыбками – у обоих с ямкою на правой щеке. – Хотя моя теория сгустка психоэнергии стоит, наверное, большего, чем просто твоя похвала. Исключить его возникновение – вот моя цель, и "Орхидея" поможет достигнуть её! Надо продолжать опыты, брат.

– Ладно, в другой раз, пузан, – с грубоватой солдатской ласкою молвил комендант. – А теперь что-то нужно делать с этими. Так я останусь, а вы идите! – И когда комиссия во главе с незадачливым Ф. Бёмером удалась, вновь приказал солдатам: – Открыть!

Стальная дверь была открыта, цыгана баграми выдернули из смертной его рамы, затем по приказу коменданта были вытащены из камеры четыре ближайšie ко входу номера, одним из них был Степан Тураев. Действительно, страже с большим трудом приходилось отдирать их от общей слипшейся массы смертников, и непросто было также и заставить этих четверых действовать – снимать с вешалок свою лагерную одежду, вновь надевать её, оттаскивать и класть на тележку сложенный пополам, уже не разгибающийся труп цыгана, собирать с порога камеры пакеты с порошком и, держа их перед грудью, нести осторожно под команды конвойного солдата: "Влево. Вправо. Прямо". Все смертники были ещё во власти великого безразличия.

Когда четверо унесли мертвеца и собранные с порога камеры пакеты с порошком и

дверь снова захлопнулась – вдруг зажгли свет. Неизвестно для чего – может быть, всё-таки отменят сегодня?.. Но нет же. Мы все знали, что такого не должно быть – разумеется, нам удалось воспользоваться нерасчётливостью учёных и, не дав порошку соприкоснуться с водою, сорвать газацию. Но наше сопротивление на этом могло закончиться, если вслед за этой неудачей последует решение закидать, как обычно, через отверстия в потолке кристаллическим веществом, содержащим старый испытанный газ. Потому что мы знали: раз нас выбрали, помыли и напихали в камеру в столь беспощадной тесноте – другого исхода не будет. Ведь многие из тех, что стояли теперь в слипшейся толпе, служили сами у газовых камер, теперь настал их черёд – так что мы все всё знали.

Когда зажётся свет, вначале я ничего не мог различить, кроме студенистого серого потока, струившегося перед глазами. А вскоре серое струение поуспокоилось, пошло пятнами – и стало булыжинами обритых затылков: мы все стояли, оказывается, лицом в одну сторону – на выход, и я видел одни затылки с глубокими ямками на шее, под черепом, и с оттопыренными в стороны ушами. Смотреть было не на что, и я начал готовиться. Мне было известно, что газ, которым обычно пользуются здесь, обладает запахом ночной фиалки, и я стоял, стиснутый со всех сторон лихорадочно горящими телами, и, глубоко вздыхая, ждал первого появления этого запаха. Несмотря на то, что полторы сотни замерших в таком же ожидании, что и я, молчащих существ были тесно сжаты в одно костлявое тело, я не ощущал ни единой другой души возле себя – точно так же (как мгновенно прозрел я) никто из этих людей не мог воспринимать ничего другого, кроме своего абсолютного одиночества. Нас уже давно раздели, обрили, спрессовали в одну массу, обмыли холодной водой – и вот теперь обдали густым, удушливым запахом фиалок.

Да, пришёл запах ночных фиалок, и я в темноте сделал то же, что и каждый вокруг меня, – откинул назад голову и широко раскрыл рот. Теснота не давала никому упасть, и мы все, судорожно зевая и испуская хриплые стоны, умирали стоя, и скрюченные судорогой руки наши и ноги сплетались, как в земле растущие травяные корни. Время для нас исчезло, и осталось только одно: Я ОДИНОЧЕСТВО – и должен был появиться над нашими запрокинутыми головами летучий отряд ангелов или им подобных существ, чтобы подхватить нас и унести в другой мир, где небо светится, словно раскалённое стекло, протекает, сверкая, сквозь густую листву тополя – контражур, – и под деревом, единственным на берегу крошечного пруда, столь же яро-стеклянно полыхает отражённое в воде небо, и оглашённо орут утки, кружа по воде, и с крикливой запальчивостью вторит им россыпь мелких воробьёв с дерева. Да, жарко, да, шумно от птиц! Но тихо от безлюдья деревни, через которую идёт дорога на кордон к Колину Дому; ещё не высохла в длинной тени тополя утренняя роса, время ещё и не полдень, но становится уже нестерпимо душно.

Это я иду. Господь мой, через деревню, закинув на плечо ремень берестяного лукошка с грибами, и время близится к полудню, и на ходу, минуя прудок, я утираю рукавом куртки вспотевшее лицо, и предаюсь бесплодному размышлению о том, что, должно быть, мысль человеческая есть проявление особой болезни материи, что-то вроде её горячечных кошмаров, и мысль погубит человека, излихорадив его изнутри, и ничего, кроме странных видеохимер, она ему не откроет. Особенно долго и мучительно она будет изводить его идеей Бога, то ввергая в восторженную деятельность по устройению всяческих систем и машин уловления Его (как алхимики в поисках философского камня), возводя догмы, храмы, церковные каноны, то нигилистически отвергая, атеистически низвергая или погружаясь в сектантское мракобесие. Это я иду, и во мне болеет материя, и несомненно она выздоровеет, когда я сдохну, чтобы не мыслить, думаю я. И не появилось ведь никакой спасительной эскадрильи ангелов над нашими запрокинутыми головами, о Боже, – лишь густой аромат фиалок.

А сегодня утром я вышел из кордона часа в четыре. Свет ещё чуть брезжил на той стороне, где наметился во мгле восток дня, и лишь высоко над горизонтом, там, где кудрявились серым руном небольшие клочковатые облака, тёплые густо-розовые лучи ещё запредельного солнца окрасили облачные волны снизу. Не счастье было этих поднебесных

волн, океан надвигающегося на землю света был, наверное, велик и прекрасен, но я шёл, спотыкаясь, в предрассветной полумгле, и мне было не холодно, не одиноко и не страшно -а просто невысказанно осознавать себя зачем-то живым, куда-то идущим и для чего-то принадлежащим к роду человеческому. И прошагав в яром тумане душевной горечи какие-то массивы глухого, заросшего черничником леса, два раза обойдя неизвестное мне болото, я вдруг спохватился, что давно блуждаю по незнакомому лесу, бесцельно прохожу таинственные пространства невидимого мира, и цель моего продвижения по нему отсутствует. Но тут я услышал пронзительные переливчатые звуки, внезапно наполнившие пустоты лесной тишины, признал в них журавлиный крик и, напрямик проследовав к нему, вскоре вышел из полумрака леса на край залитого зелёным солнцем широкого поля. Два журавля снялись и полетели прочь, по широкой дуге огибая видневшуюся вдали деревню. Их было два – летящих в небе, плавно загребая воздух крыльями, вытянув длинные шеи, откинув назад прямые ноги, – их было два, как напоминание мне, что одиночество моё безжизненно и печально, как и загадочные дни и ночи того Бога, которого я когда-то создал по образу своему и подобию – для утешения и самоуспокоения этого одиночества.

III

Ехала Царь-баба на первом возу, вслед за нею правила пёстрым меринком её постоянная товарка по извозу, кареглазая молодка Марина; когда дорога шла в гору или сваливалась в грязную низину, извозчицы соскакивали с телег и ходили своими двоими. И тогда Марина смотрела как зачарованная на передвигавшиеся Царь-бабовы лапти, как они неспешно перелётывают с места на место по жидкой грязи, чап да чап, в то же время как шаги самой Марины нашлёпывали втрое быстрее: чап-чап-чап! чап-чап-чап! Молча идут бабы, грустно и терпеливо перемогают длинную дорогу, долгий дневной перегон от дома до постоянного двора, а там ночёвка – и на другое утро ещё полдня пути.

Конец двадцатых годов, лето. Скоро, совсем скоро в округу придёт пора, когда начнётся невиданное – будут разводиться крестьянина с Деметрой. Она, бедная, навсегда лишится того, кто в интимности глубокой страсти вторгался в её лоно, беспокоил и, в сущности, терзал и разрушал его своим вторжением, но и не могла она в ответ на это не затяжелеть благостным зачатием. И Бог был зерном, бросаемым рукою бородатого сеятеля в рыхленую землю, и Бог в зерне умирал, чтобы явить себя в ростке. Вернее – Он исчезал в растении, как исчезает человек, затворившийся в доме, и этих домов, зелёных, гибких, наполненных благоуханием соков, в великом множестве появлялось на полях Деметры. И она была как носительница неисчислимых городов, а лохматый мужик, стало быть, являлся строителем божьего града. Священный брак их, как и любой брачный союз, требовал целомудрия, искренности и глубокой интимности чувств, которая возникает только между двумя любящими и не допускает вмешательства кого бы то ни было ещё. Но готовилось чрезвычайной важности государственное решение, по которому крестьянство обобществлялось и его единобрачие с Деметрой, таким образом, отменялось.

Я ведь сам нахожусь с нею в браке, Деметра многолика – она и одна-единственная Мать-земля, и в то же время её столько же, вернее – их, Деметр, столько же, сколько найдётся на этом земном шаре работающих женихов, готовых вторгнуться в земное земляное отзывчивое лоно. Она никому не может отказать, даже нелюбимому, чьи руки грубы и оскорбительны, – у неё тот, кто посеет, всегда пожнёт; и всё же, несмотря на такое любвеобилие, она, как и всякая женщина, неукоснительно требует лишь одного: чтобы её искренне желали, ревниво любили. Для крестьянина "моя земля" – это что "моя жена", в этом нравственная крепость его, он её и балует, и целует, а может и в небрежении держать впроголодь – но никогда он не изменит ей в душе, не предаст глумлению, не покинет ради другой, пусть даже заморской красавицы. И филиппинский негодник, родом из мещерских

крестьян, что выстроил себе русские хоромы на своём пальмовом ранчо, умирал в великой тоске, медленно сходя с ума от ностальгии по клочку заболоченной серой земельки на краю берёзового леса. И в миг последний, свертхтяжкий, он призвал к себе то, что в нём могло преодолевать любые пространства, и видеть, и слышать, и внимать, и *это* пришло – упругой стеною гнущихся под ветром берёзовых вершин, ропотом ветра в тяжёлых шелках листвы, – и *оно*, глянув весело на высокую, уже мутно-зелёную наливную рожь в поле, рассмеялось пронзительно и ширококрылым чибисом взмыло над землёй: чьи вы? чьи вы?

Но вот Марина, бредущая с вожжами в руках по залитой немилостивой дороге, потупленным взором уставясь на огромные, как лыковые кузова, лапти Царь-бабы, на перелёты-перескоки этих лаптей через бурые жидкие глины, Марина, следуя за своим пёстрым меринком Хомкой, вслушивается в отчётливые крики чибисов и думает с детства привычным образом: "Пивики кричат, пивики деток потеряли; детки по траве разбежались". И невдомёк ей, что это не пивик жалобно молит о милосердии, а душа умирающего филиппинского дядюшки её в последний миг облетает родной край – того самого дядюшки, который уехал в заморские страны ещё до её появления на свет, передав свою землицу младшему брату, отцу Марины...

Неизвестно ей и то, сколько раз ещё по этой же дороге проедет она и пройдёт по воле доброго или злого случая. Вот с больной рукою на перевязи, сгорбившись, еле тащится она по обочине, ей уже тридцать пять лет, дома брошены двое малых детей – дождутся ли они мамки, вернётся ли родимая назад? Пивики кричат, жалуются... А вот и зажила свищеватая рана на руке, которая осталась, правда, кривою – уже ею не поправить на голове платка и волос не причесать, – едет Марина в кузове грузовика, сидя на доске-скамье в обнимку с Михаилом, соседом, а по другую его сторону сидит в обнимку же с ним жена Михайлова, Надёжка – едут, трясутся на ухабах и поют-заливаются на всю округу про то, как конь гулял на воде... Да, да, поют песню, кричат чибисы, мелькают громадные лапти Царь-бабы над жидкой хлябью растасканной дождями земляной дороги. То, что умирающий филиппинский богач в последнее мгновение вернул своё сердце клочку тощей серой земли, и то, как Марина несла свою горячую стонущую руку на платке, прижатою к груди, имело общим началом жалобный крик чибиса, перелетевший через океан в угасающее сознание русского филиппинца и невероятно жгучей печалью плеснувшей на сердце Марины: пивик деток кличет, они дома остались, ждут её, а муж-то не вернулся с большака, остался там в чужой деревне с другой женщиной. Птица с длинным хохолком на голове летала над лугом, человек умирал, тяжко хрипя и клокоча горлом, Царь-баба неспешно переставляла свои громадные лапти, и Марине, ещё молодой девке, хотелось крикнуть: "Тётка Олénка! Давай шаволи ногами-ти! А-то я, глядя на тебя, чуть не усну, ей-богу!" И вправду, медленные движения громадной Царь-бабы завораживают: глядишь на неё – и вроде бы тебя в сон клонит, руки-ноги твои тоже замедляются и ты спотыкаешься на ровном месте.

Невдомёк было Марине, сказавшей тогда Царь-бабе: "Ни за что, тётка Олénка, ня выду за постылова-нямилова", – что выйдет замуж именно за немилого и, подобно Деметре, покорно и грустно претерпит чуждые касания неродных рук, распластается телом пред началом далёким, как облако, дальше облака – лишь два раза за совместную жизнь Марина не сдержит сердца и с силою оттолкнёт мужа, на что тот обидится да так и не сможет забыть той обиды. Деметре же подобного нетерпения проявлять не приходилось никогда – ведь покорно зачинать в себе новую жизнь от брошенного семени гораздо для неё важнее, чем выбор по любви и предпочтению души. В этом безразличии, от кого зачать, и в великом внимании к самому зачатию и состояло учение Деметры для всех на земле, кто относился к плодоносящему женскому началу. И Марина это учение постигла, как и могучая Царь-баба, как и всякая женщина на Руси, выходявшая замуж не по любви, а по необходимости. Олёна Дмитриевна сказала ей на привале, когда лошадь не смогла выдернуть телегу из топкой низины и Царь-баба плечом выпихнула оттуда груженный воз вместе с лошадкою одним могучим толчком, а после, на взгорке, телеги затормозили, а лошадям дали отдохнуть: "А где милова найдёшь, девка, а кто его нам даст, Господи ж ты мой, спаси и помилуй. Мил уехал

на войну, в Порт-Артуре отписался, я письмо то берягу, коб со смертью не спознался, так-то в песне поётся, Маринка". – "Нет, нет, тётка Олénка, сказано как отрезано".

Но что бы ни было ею сказано, а пришлось идти за того, кого выбрали старшие, а мил дружок вечером на улице расшумелся и, пьяный, у колодца рвал у себя на груди рубаху, а парни подошли и крепко ухватили его за руки. С того дня в ней поселился мудрёный червячок, породитель всех её страшных бед, который ползал ио нежным, беззащитным кровам её внутренней жизни и пожирал всё самое благоуханное и то затаённое, нежное, как роза, насквозь просвечиваемая солнцем, яркое и чудесное, что пришло к ней в пору девичества.

Исполнив закон Деметры (по-русски зовётся Мать сыра земля), женщина не обеспечила себя защитой от червя живогрызущего. А могучей защитой от него является радость женская и то чувство счастья, которое наполняет всё её существо после горячего ливня и падения в бездну, яростного телесного борения с фавном нападающим, превесело толкающим и с воплем проникающим. Если этой радости нет в жизни, то женщина на земле быстро чахнет в угнетении злостной червоточины и вскоре оказывается с какой-нибудь зловещей болезнью в теле. У Марины червяк её впился в кости руки, которые начали заживо гнить, из свища незаживающей ранки на локте потекла зловонная сукровица – к тому времени баба уже имела двоих детей, а мужик, наскучившись возле потухшей, чахлой, нечистой жены, поехал работать на большак и там нашёл здоровую, весьма пригодную для себя другую дочь Деметры, с которой и остался, бросив своих детей с несчастной их матерью.

Но до этого было ещё не скоро, ещё далеко, и бойкая кареглазая девка Марина допытывалась у великанши Царь-бабы, любила ли та кого-нибудь в жизни, кроме своего покойного мужа, на что услышала в ответ: "Такого, девка, не ведаю, не знаю. Да и когда любить, коли замуж выдали в шашнадцать, а в осьмнадцать расти зачала, зипуны на мне ажник затрещали. Мужа напополам, почай, переросла, пупок мой впору целовать стало, куда ему любить орясину такую. Уже начал он сердчать, бить меня: разбежится, подпрыгнет и кулачком-то хватанет по виску. Я его и допрежь терпеть не могла: козлом он вонял и зубы гнилые, а тут уж, девка, край могилы меня загнал, совсем замучал. Не начнись вскоре ерьманская, заклевал бы он меня до смерти – и то головушка моя клонила всё ниже и ниже, как у курицы белой, кою клюёт курица чёрная".

Итак, в покорстве Деметры и её равнодушии к добру или злу содержится то самое тёмное начало, "курица чёрная", что и подводит женскую суть к одной из самых больших бед жизни – к душающей тоске немилостивого созидания, к творчеству без радости, к плодоношению наспех, к ослаблению устоявшихся родовых черт в приплоде, а у самой роженицы – к ощущению в душе той вселенской пустоты, которою и занято почти всё пространство космоса. Эта пустота затягивает в себя все жизненные желания несчастной послушницы Деметры, и подступает к душе ничем не приостановимая тяга к самоистреблению, подобная сладострастию. Не миновать бы Марине этакого искушения, да помог страшный чудесный случай.

Сидела она однажды в тёмном углу сеней на мешке с отрубями, сидела в полном одиночестве, в еле зримой полумгле, но всё равно, чтобы не видеть ничегошеньки сидела, стянув платок ниже глаз и скорчившись, тоскливо убаюкивая ноющую руку. Что-то нарастало, путаное и холодное в сумеречных мыслях, – что-то похожее на громадные паучьи ножки, но гораздо страшнее и гаже их, шевелилось в её душе. И вдруг с треском открылась сенная дверь, просунулась внутрь косматая голова чужого старика. Он швырнул ей под ноги кусок несмотанной верёвки и гаркнул во всю здоровенную глотку: "Чаво? Повеситься хочешь? На, вешайся!" С тем и вновь захлопнул дверь, исчез навсегда. Но его появление так сильно напугало Марину, что она и думать больше не могла о том, чтобы сделать над собою чего-нибудь, и верёвку ту бесовскую, с того света ей присланную, она изрубила топором на мелкие кусочки и зарыла подальше от деревни, словно убитую змею.

Но к этому жизнь ещё подведёт, а теперь Марина сидит на корявой лесине рядом с

Царь-бабой, прижавшись головою к её плечу, и уверяет великаншу:

– Ня выду за постылова, за нямилова...

– А где милова найдёшь, девка, а кто его нам даст? – отвечает Олёна Дмитриевна, которая уже грузна не по-молодому, с сединою на висках, с глубокими морщинами на лбу.

– А любила ли ты, тётка Олёна, кого-либо, не мужика своего? – спрашивала неугомонная Марина.

– Такого, девка, не ведаю, не знаю, – с достоинством в голосе, в глазах, во всей осанке отвечала самая могучая из дочерей Деметры. – Блядством николи не занималась.

Солнышко означилось меж лохматыми серыми тучами, на минуту осветило прокисшую от дождей землю, погрело двух баб, одну громадную как гора, другую рядом с нею маленькую словно мышь, они покивали сами себе, поклевали носами, погружаясь в дремоту, – и тяжело зеленела вокруг них полевая земля, покрытая мокрой рожью, и дремала Деметра, судьбою своею похожая на любую из этих русских баб, чья доля любви была скудна, а труд земной, жизнетворящий, огромен и тяжок. И не знала ещё Мать сыра земля, что суженого её, пахаря, хотят государственным решением отнять от неё – об этом и заговорили две женщины, очнувшись от внезапной дремоты:

– Слышала ль, нет, тётка Олёна, скоро землю у христьян всю заберут и она уже будет не чейная-нибудь, а общая, – скороговоркою сообщила Марина.

– Как общая? – не понимала Царь-баба. – Земля не бывает общая, она всегда-нибудь чейная.

– А вот станет общая, Олёна Дмитриевна,

– Не может тоё быть, потому как мужик на чужой земле работать не будет.

– Так земля колехтивная, тётка Олёна! Нетральная землица станет.

– Таково не бывает, девка. Земля догляд любит, что твоя скотина. А за нутральную землю мужик труда не положит, он свою землицу любит, а не нутральную.

– На общей земле поля будут больши-ие, трактора зачнут бегать, пахать и сеять, машины такие на колёсах.

– Не будет общей земли, омман это, Маринка. Коли земля не твоя или не моя, значит, она ничья. А на ничейной земле, как у ничейной бабы, ничего путного не родится, одне только ублюдки непутёвы.

– Работа тоже общая будет, – не сдавалась Марина, – и делёжка весёлая, поровну всем.

– Как поровну? – заволновалась Царь-баба. – Общая работа, пёс с ней, пусть будя. А ты отдай мне моё наработанное! А то как же? Я стану ломить, как лошадь, а ты, пигалица, как котеток, а нам с тобой на делёж поровну?

– Поровну, поровну, тётка Олёнка, на весах с гирьками по одинаковому куску отмерять...

– Эх, опять омман будет! – всплеснув белыми, как новые деревянные лопаты, огромными руками, воскликнула Царь-баба. – Посмотреть бы я хотела на тои кусочки. Допрежь чем эти кусочки нарежут, всяк уворует целый кусище. Потому как не моё, не моими руками наработанное, в амбары-сундуки сложенное.

– А скоро, тётка Олёнка, слышь, ничего "моего" не будет, всё будет "наше", – просвещала Марина пожилую великаншу. – Твоя жана – моя жана, твой муж – мой муж, а спать будем под одним ба-альшим одеялом.

– Сляпой сказал: посмотрим, – улыгнувшись, отвечала Царь-баба, смахивая с лица и засовывая пальцем под платок выбившуюся прядь волос.

Эту улыбку покойной Олёны Дмитриевны вспоминала Марина в сентябре сорок восьмого года, когда шла с больной рукою, прижатой к груди, в сторону большака, и пролысая до розовой глины дорожка вывела сквозь душный сосняк на край убранного картофельного поля. А там и деревня завиднелась: ряды прясел, острые верха серых крыш, маленький сруб отдельно стоящей бани. И какая-то повязанная по самые глаза в белую сарпиночную тряпья баба согребала в кучи отброшенную на межу картофельную ботву. Когда Марина поравнялась с бабой, та, светло, внимательно взглянув в глаза путнице, улыгнулась

– и Марина тоже улыбнулась в ответ, как улыбалась когда-то Олене Дмитриевне, глядя в её добрые малоподвижные очи. Решив немного отдохнуть, Марина опустила на край межи, привычными движениями бережно пристраивая больную руку на коленях. К тому времени баба, увязав веревкой ворох сухой ботвы, присела, взгромоздила поноску на спину и потащила через пыльное поле, низко пригибаясь к земле.

Марина смотрела ей вслед, подумала, далеко же бедной тащить свою ношу, и вдруг закрыла глаза и увидела меня, и сразу же в сонном сознании своём признала в моем облике несомненные черты своего Господа, которому молилась каждый день. Мы встретились с нею в лесу, оба были с корзинами, старушка беспокойно заозиралась в мою сторону и, повернувшись, быстрехонько двинулась прочь от меня, так что я вынужден был крикнуть ей: "Стой, бабуля, куда же ты убегаешь? Не бойся, не съем тебя". – "Ня боюсь я, – последовал ответ, – никуда ня убегаю". – "А чего же рванула галопом в сторону?" – "Ничаво ня рванула, а так, коб не помешать вам, подумала". Когда я подошёл и мы стояли напротив, я заметил, что волнение старушкино ещё не улеглось. "А я вас во сне видала, – вдруг сообщила она и улыбнулась мне, как будто подала общечеловеческий знак дружелюбия и мира. – В сентябре сорок восьмого года, считай, тридцать лет с хвостиком прошло с тех пор". – "Как же так?.." – "А вот так. Уснула на меже, и сон приснился. Я тогда ещё во сне приняла вас за Спасителя". – "Меня? За Спасителя? Как же это может быть, бабуля?" – "Я и то подумала тогда: с чего он некрасивый такой-то, носатенький. Но говорю ему с низким поклоном, стою на кукурузках: за что наказание моё, Господи? Болела тогда я, рукою болела, косточка гнить зачала в руке-ти. А он мне в ответ: мол, не наказана ты, Марина, а испорчена. И порцию ту наслади на тебя за хорошим столом, тебе и твоему милу дружку. ("А и вправду, – говорила она мне впоследствии, – ведь была у меня нечаянная встреча в одном доме за столом с человеком, который любил меня в парнях. Я тогда замуж за другого пошла, так он хотел топиться в колодце, рубаху рвал на груди... И поди ж ты – он тоже, слышала я, болел костью и уже помер к тому времени, когда сон снился".) Так доколе же испытание моё продлится, Господи, спрашиваю, сколь же мучиться мне предстоит? А он в ответ: всю жизнь, Марина. (И точно сказал – всю жизнь свою мучаюсь и страдаю!) Встань, говорит, с кукурузек и ступай вперёд, тебе скажут, как руку вылечить". – "И сказали?" – "Сказали. Ты слушай. Будто иду я далее, а там зелёный-зелёный лужок, а посреди лужка сруб стоит, ни окон, ни дверей. Внизу, под нижним венцом, вроде продуха оставлены. Голоса из сруба слышны, мужики разговаривают, наши. Я, зная, нагибаюсь вниз и кричу им: эй, мол, чего вы туда забрались. А в ответ мужики сначала попримолкли, а потом говорят промеж себя: это святая пришла. Да какая ещё вам святая, кричу, дядя Алдаким (узнала его голос-ти, помер он годом раньше), это же я, Маринка Жукова, али ты меня не признал? Помолчали они, а потом говорят: всё равно, мол, святая. Тут и проснулась".

Она сидела на меже, как и прежде, загробные мужики из сруба озадачили её, назвав святою, а меня, увиденного в облике Спасителя, ей предстояло вновь встретить спустя тридцать лет. И всё ещё шла к деревне баба с большим ворохом картофельной ботвы на спине – не успела даже добраться до края поля. Занудливо, как напоминание о смерти, тянула боль в руке, но какая-то надежда появилась в оробелой душе Марины. Идущая с ношею баба выбралась-таки наконец к зелёному прогону на задах деревни, остановилась вдруг и, полуобернувшись, замахала из-под спуда рукою: мол, следуй за мной. Марина послушно встала и пошла, я родился в тот же день и час, вернее, тот человек родился, которого она, уже старушкою, встретила в грибном лесу тридцать лет спустя. Спасителю вольно принимать любой облик, если ему захочется явиться на глаза какому-нибудь человеку, – я родился в сентябре сорок восьмого года, вернее, родился Тураев Глеб Степанович, и это произошло в той же больнице, куда сейчас направлялась Марина: когда она войдёт в бревенчатое здание в сосновом лесу, где располагалась сельская больница, то первым делом услышит мой новоявленный, требовательный, отчаянный крик.

А в сентябре 78-го года Глеб приезжал к живому ещё отцу на Колин Дом в лес, это оказалось их последним совместным бытием. Тогда он вышел в отпуск, но это был не отпуск

скорее, а тайная творческая командировка, ибо он тогда делал работу для секретного предприятия, но вдохновение вдруг покинуло, его математический ум забуксовал, и в отчаянии он попросил у начальства отпуск и разрешение работать в лесной избушке отца, – отпуск ему дали, а что-либо писать вне стен учреждения категорически запретили. И в те дни, выполняя строжайшее государственное предписание, он страдал от жестокого умственного безделья, целыми днями бродил по лесам, а вечерами начал читать книгу Нового завета, которую нашёл под застрехою в дубовом сарае – забытую там Николаем Николаевичем книгу в старинном синем коленкоровом переплёте с золотым тиснением.

Тогда и открылся для него Он, точнее – чуть приоткрылся, а ещё точнее – просто однажды явил Себя, и это было не умозраительное, не умственное, как он раньше предполагал, а чувство – простое, подлинное и сильное.

Однажды вечером, отложив Книгу на лавку, он сидел у печки и смотрел на остывающее в ковше только что вскипячённое молоко – высыхающая плёночка на его белой поверхности морщилась прямыми складочками, косыми лучиками, и молоко как бы мерцало в полумгле вечерней избы. Охваченный внезапным сильнейшим волнением, он замер – и вдруг почувствовал Его. Новое ощущение прекрасного было совсем не таким, как вся эта душная, разглагольствующая суетливо нелепая гнетущая тяжесть разговорной религии. Нет. Новое ощущение, обладая радостной природой, было в то же время таким же подавляющим, как предчувствие смерти, и столь же грозным, как оно. Но совершенно убедительными во сравнении чувств оказывались абсолютно превышающая энергия и значимость нового чувства над всем остальным, что испытывал он в своей жизни. Этот внезапный ввод души в иное бытие был почти невыносимым, Глеб закричал бы, но за дощатой перегородкой спал отец, улёгшийся по-крестьянски рано, и тогда он схватил с плиты ковш за горячую ручку и плеснул вскипяченное молоко – всё одним махом себе на грудь. И не обжётся молоком, – оно шелковистой прохладой скользнуло вниз по обнажённому горлу, по взмокшей рубахе.

В тот день, когда ему встретилась в лесу Марина, он шёл по высокому сосняку, где могучие деревья с красноватыми стволами медленно обступали его толпою молчаливых великанов, шагал с той радостью неспешной ходьбы по утреннему лесу, которая была ему особенно дорога и в былых городских воспоминаниях, и теперь, въявь. Его дед Николай Николаевич в молодые годы также любил ранние прогулки по лесу, и в том было недолгое счастье его – когда дом его находился в самом живом, нетронутом, дремучем средоточии лесных духов и сил. Марине же утренний выход в лес на малиновой зорьке также был дорог – как причащение к тому в жизни, что являлось никому не ведомым, совершаемым наедине, чистым и светлым счастьем её человеческого существования.

В это утро, подходя к Колину Дому, старенькая Марина вспоминала далёкую, в её детстве происшедшую встречу с молодым барином на лесной дорожке: шёл тот и постукивал точёной палочкой по голенищу блестящего сапога. Марина загляделась на золотую цепочку от часов, выпущенную из нагрудного кармана барского сюртука, это внезапное сверканье золота в глухом лесу, на шестом часу утра, поразило особенным, сильным впечатлением её душу, и память через шестьдесят лет мгновенно воскресила яркую вспышку в полумраке леса, где, в сущности, ещё царил ночная сыроватая мгла. Шедший навстречу девочке Николай Николаевич подумал: ранняя пташка, какое прелестное дитя, и до чего же прекрасен вид юных девушек, когда с грибной корзиною через руку идут они под высокими этими деревьями.

То же самое подумал и его внук, Глеб, встретив старушку в лесу близ Колина Дома: вид женщины в светлом платочке, с корзиною в руке идущей по лесу, под высокими деревьями, почему-то всегда прекрасен. Марине же, тринадцатилетней девочке, сказавшей робко, потупляя голову: "Здравствуй, барин Миколоай Миколоаич", – и Марине-старушке, встретившей не узнанного ею внука того барина, было страшновато в столь безлюдную рань, в час беззащитной обнажённости своих самых сокровенных чувств, вдруг столкнувшись в лесной чаще с задумчивым, чем-то воодушевлённым, непонятым человеком. Марина-девочка забеспокоилась, что зашла, должно быть, в какие-то барские заповедные

места, раз здесь он гуляет с тросточкой, при часах на пузе, а Марина-старушка подумала: где-то я видела этого человека? когда? и почему душеньке моей так хорошо было когда-то встретить его и почему даже и нонче боюсь его глаз, боюсь смотреть прямо ему в глаза? Застучало, застучало сердчишко у девочки, старушка же остановилась, вдруг вся вспыхнув, чувствуя, как закололо в корнях волос: Марина отчётливо вспомнила свой сон тридцатилетней давности.

Идёт она будто по коридору единственной на округу бревенчатой больницы, полы все перекошенные, половицы вытерты ногами больных, стоит нехороший запах по всем углам и палатам этой народной больницы: не то переводины в подполье гниют, не то дух убогости и бедняцких болезней имеет столь омерзительный запах; идёт, чикиляет она по неровным половицам – и вдруг навстречу этот человек, который встретится ей в лесу лет тридцать спустя, – идёт и строго глядит на неё внимательными маленькими глазами, а волосы у него тёмные. Необыкновенное чувство доверия и нежного притяжения души испытала она, и, став посреди коридора на колени, она в ноги поклонилась ему.

А он, глядя на неё, живую и старую, дивился совпадению этой встречи с тем необыкновенным в своей жизни и великим откровением, которое пришло к нему минутой раньше. Он в какое-то совсем незаметное и непринуждённое мгновение лесного утра вдруг постиг, что справедливость, доброта, милосердие, светлая надежда и высочайшая радость жизни – всё это и есть Спаситель, но всё это есть и космический Закон, пронизывающий страшные пустоты Вселенной. Эти качества, носимые людьми, совершенно независимы от их несчастий и злодеяний, потому что не являются производными их организмов, а несут в себе огонь и дух неба. Для того чтобы Глебу Тураеву постичь это и ощутить живую, но невидимую субстанцию вселенской доброты, ему, как и всякому человеку на Земле, необходимо было получить представление о каком-то мирообъемлющем Отце, в сердце которого и происходит связь между видимым и невидимым. Глеб Тураев внезапно обрёл возможность общения с таким Отцом, и это было столь же ясным и конкретным, как прогулка по утреннему лесу.

Удивительно, что Глеб Тураев пришёл к этому через книжное чтение Нового завета и в минуту, когда встретился в лесу с Мариной, думал обо мне как о возможном брате Сына Человеческого. Марине же в облике заурядного человека представился Он времён её самых тоскливых тягот. Он, единственно утешительный – любимей отца с матерью, которые вымерли от возраста и болезней – по слабости человеческой, – а Ему не грозила эта усыпляющая и всепоглощающая слабость. Из всех увиденных ею человеческих лиц, отражающих чувства, лишь эти два лица, деда и внука Тураевых, омытые влагой лесной утренней тишины, светились незаурядной силой и вдохновением, остальные лица людские были скучны ей пересказом общих чувств, мелких по глубине. И для неё Господь представлялся прежде всего человеком с необыкновенным выражением лица, она никогда за свою жизнь не читала Евангелия, но, не вгрызаясь в словесную ткань учения, именно такие из деревьев моего Леса, как Марина, держали его чистый плод в в своих простёртых руках. Марина брела вслед за несущей ворох сухой ботвы на спине незнакомой бабой из придорожной деревни – их вдоль большака было десятки, одна возле другой, смыкаясь почти впритык, – баба добралась к своему двору, свалила ношу в большую кучу уже набранной картофельной ботвы, вытянула из вороха верёвку и, сматывая её на ходу, живо направилась встречь Марине. Подбежав впопыхах, незнакомая баба без обиняков указала на больную руку Марины пальцем и молвила: "Хошь, научу, как руку вылечить?" – "И-и, каких только докторов не было, ня вылечили", – привычно заныла Марина. "А ты докторов побоку, ты меня послушай, – морща в улыбке сухие щёки, улыбалась баба. – Я давно про тебя прослышана, про твою бяду, даже на Илью хотела сходить к тебе в Нямятово, да вот поросёнок заболел, пришлось забить его на мясной налог -сорок пять кил мяса нынче сдать нужно было". – "А по мою душу тридцать кил. И фунт шерсти. И полсотни яиц. Ишшо картошечки сто девяносто восемь кил. Где ж я всё это возьму, Господи, с больной-то рукою? Поросёнка давно не держу, овец свела, одни куры, восемь штук осталось..." – "Видать,

милая, тебя Господь сам ко мне прислал, а то ведь хотела к тебе идтить на Илью... Бабка наша, мачка старая, так-то вот лечила. Ну, так слушай. Соберёшь на дороге сухого конского навозу. Нарубишь, напаришь-ти его в чугушке. Как вынешь из печки – тут и накладай горячий навоз на гноище и закутай платком..." И, слушая скоропалительный говор незнакомой бабы, Марина вдруг радостно, ясно почувствовала, что вот оно и пришло, избавление, как Он и объявил только что во сне, когда она спала птичьим сном, сидя на жаркой меже.

Николай Тураев к Богу шёл, как бы философски усмехаясь про себя, но был один случай, когда совершенно утратил эту усмешку. Было ему сорок два года, он уже облысел, троих детей народила ему Анисья, и настала полная для него ясность, что ничего не вышло из его жизни – ничего даже приблизительного к тому, что мечталось, предощушалось в годы молодости. Человек, оказывается, ничего не мог сам – словно муха в патоке, он увязал в обстоятельствах своего исторического времени, а в какое время ему родиться, на то воля Божия. И Николай Тураев начал сознательный бунт против Бога – то есть он обвинил Его в ложности тех идеалов, которые насылает в души несчастных доверчивых людей, и решил в своём индивидуальном случае отвергнуть эти идеалы. Он решил забыть всё, что было наработано умом за многие годы учёбы и самозабвенного чтения, забыть и никогда не вспоминать всех философов, китайский язык, картины любимого когда-то А. Иванова, музыку Баха. Он перестал пользоваться одеколоном, выбросил в болото английский стек и, ранее ежедневно требовавший от Анисьи чистых носовых платков, враз перестал ими пользоваться – к величайшему удовлетворению своей жены-кухарки. Он решил и от неё освободиться, оставить её жить и хозяйничать на своей усадьбе, а самому, вырубив можжевелевую палку, навсегда уйти из дома, бросить свою предыдущую, такую глупую, жизнь и, как это сделал китайский мудрец Лао-цзы, навсегда уйти в неизвестность. Но в тот день, когда Николай Тураев решил тайком покинуть дом, вдруг заболели рожей Анисья и старший сын Никита, и хозяину пришлось, поставив в угол паломнический посох, запрягать гнедога и ехать в Гусь Железный за доктором.

А когда жена и мальчик стали выздоравливать, свалился с той же болезнью и сам Николай Николаевич – выкарабкиваясь из бреда и жара к действительности, сознание его впервые с удивлением стало замечать, что между химерической кошмарностью удивительных видений и многообразием не менее удивительных картин земли нет, в сущности, никакой разницы. И, слабый после болезни, устающий даже долго сидеть, он в те дни окончательно капитулировал перед понятием "Бог" и решил никогда, ни за что, ни в коем случае не пытаться идти в эту сторону – он утратил для себя это слово.

Персонификация и уподобление себе, желание видеть Его обязательно в человеческом образе – вот что лежит в основе этого главного заблуждения мыслящего человека, считал Николай Николаевич, но ведь именно в ощущении близости Его, в конкретном присутствии рядом некоего живого начала, явно схожего с человеческим, хотя и в несравнимо более высокой концентрации этого духовного, прекрасного (то есть истинного), – в этом и заключается для меня Его сущность, думал внук Николая Тураева Глеб Тураев.

Марина же, увидевшая во сне своего Господа и внявшая его указаниям, и не помышляла отвергать или признавать Бога – она залепила гноящуюся руку напаренным горячим навозом и сверху обмотала старой материнской шалью. И как только сделала это, сразу же почувствовала большое облегчение, мгновенно перестало саднить и стрелять в руке, боль как будто стала меньше, и вскоре возле ранки, у незаживающего свища на локте, начало чесаться, сперва слегка, с приятной щекоткою, а спустя ночь уже невыносимо мучительно. Марина сняла повязку – и вместе с последним слоем платка сама по себе и безболезненно прорвалась разрыхлевшая кожа, и хлынула наружу гнойно-кровяная юшка с чёрными кусочками отпавших костей. Марина, прислонясь головою к печи, едва устояла в наплыве дурноты. С этого дня началось её полное выздоровление, рука осталась, пусть и кривая, негнущаяся, как крючок, но зато рука, а не культя (хорошо, что она упорно не слушалась врачей, не дала её отрезать) – и с этой рукою Марине вышло прожить до

семидесяти восьми лет.

Николай Тураев, выздоравливая, лежал в одиночестве на кровати, перемогал слабость в теле, закрыв глаза, стараясь не утруждать члены свои ни единым движением, – и в одно из мгновений ясно увидел, каким образом он умрёт. В минуту умирания будет ему тяжело и одиноко, как и Спасителю на кресте, но умрёт он под стеною старого дома, скорчившись на земле... Цоколь этого дома был до красного кирпича очищен от штукатурки и уже частью облицован прямоугольными бледно-голубыми плитками. Никого не оказалось возле него, когда он упал, все остались, провалились, истаяли в далёком прошлом, в том числе и маленький незначительный "Бог". И то, что открылось его внуку Глебу Тураеву в минуту, когда вскипело молоко, – такое в час его смерти ничуть ему не пригодилось: "БОГ" так нужен был им обоим, но Его, к сожалению, не было рядом в минуту их смерти.

Странному же фантому земной жизни, умещающемуся на кончике блестящей иглы, понадобился столь же странный демиург, который орудовал этой иглой, пришивая пуговицу на свою охотничью куртку. Демиург закончил работу, подёргал пришитую накрепко пуговицу, надел куртку и, стоя посреди избы, посмотрел всепроникающим внимательным взором на лежащего под ободранной до кирпичной кладки стеною Николая Тураева, затем перевёл взгляд на Марину, сидящую на мху под берёзой, в излюбленном ею лесном уголке возле Грядского болота, улыбнулся ей и направился к выходу из дома, раздумывая о том, что Марине теперь становится всё тяжелее ходить в лес, все дорожки которого измерены её ногами за многие годы неожиданно долгой для неё жизни. И он знал, о чём она мечтает: как-нибудь умереть, сидя под деревом в родном лесу.

В том человеке, которого он заключал в себя на миг и в душе которого проявил свою волю и силу, однажды зародилась удивительная для него и, очевидно, совершенно безумная мысль. Что он и есть сотворитель Вселенной, созидатель всех космических звёзд и автор цветущей земной розы. И Иисус из Назарета – тоже он, и каждый из апостолов, написавших апологию Христа – тоже; то есть что он сам и есть единственный герой и автор Книги Земной Жизни. Слияние его, единичного, человеческого начала с началом всесозидающим произошло незаметно, внезапно, – и на краткий миг в нём человек умирающий смог стать человеком вечным. Об этом случае я и веду рассказ, хочу в словесных соединениях, ходах и переливах фраз дать ощущение той свободы, которую однажды ощутил кто-то один из неисчислимого сонма живших и умерших, живущих и умрущих представителей моего Леса. Я люблю свои деревья, я не могу не любить то, что создавал так долго и тщательно. Ведь в каждом из них, в самом маленьком или самом большом, однолетнем или тысячеклетном, живёт, действует, таится и проявляется суть моего замысла. И это происходит уже без меня, без моего вмешательства: картины, написанные живописцем, стихи, сочинённые поэтом, живут своей таинственной и чудесной жизнью: иногда они намного ярче и богаче жизни самого творца. Боги, которых познали и любят мои деревья, стали дороги и мне, их упования и мольбы трогают меня до глубины души, хотя я и понимаю, что, в сущности, эти надежды и моления обращены только ко мне, их подлинному Отцу. Старая брезентовая охотничья куртка, облегающая мои плечи, укрывает человеческое тело обычных размеров, в нём бьётся гулкое сердце и томятся энергии и силы отчаянного поиска какого-то чудесного выхода и освобождения из плена жизни. И хотя всё это вдохновенье обречено, просуществовав неуловимый миг, на полное исчезновение, и с уходом в небытие этого тела творческая надежда моя должна будет перекинуться на другое брэнное существо земного мира, я проявляюсь, я творю щедро и нерасчётливо, делясь с каждой каплей человеческого мозга своей вечной неутолённостью.

Конечно, в ясную ночь я смотрю на звёздное небо. И думаю (помыслом всех деревьев моего Леса, которые тоже затаились в тишине и не мигая смотрят на огненные точки небесных светил, на туманное клубление Млечного Пути) – я думаю о том, почему мне, размножившемуся в таком неисчислимом количестве по милым горам и долам моей милой небольшой планеты, предстоит испытать столь бесславный финал? Каким же образом так случилось, что не помог мне даже Бог Марины, как Он помог в случае с её больной рукою,

не помог и той женщине в полосатой матросской тельняшке и маленьких красных трусиках – и мы оба оказались перед необходимостью лишь одним способом освободиться от невыносимых страданий, причины которых грандиозны, суровы и таят в себе пустоту и холод межзвёздных пространств? Её, этой пустоты, настолько больше, чем меня, дерева, единственного в своём одиночестве, что я как бы и не существую, или, если и осмелился существовать, тут же должен исчезнуть по строгому закону математики: слишком малое в силу того, что оно такое, должно исчезнуть.

Церковное христианство удивительным образом примиряет бедные деревья моего Леса с их долей узников огромного концентрационного лагеря. Оно предлагает обратить свою любовь на того, кто окажется вблизи тебя, на тех двух-трёх ближних, которые прижаты к тебе, как в газовой камере или как в том бревенчатом сарае, – потным измученным телом к потному измученному телу. Вдруг ворота сарая со стуком и скрипом раскрываются – и за ними на свету жаркого, щедрого июльского солнца стоят в запотевших пыльных гимнастёрках десятка два пленных – ещё одна партия, выловленная на истоптанных танками степных полях. И этих измученных, с потухшими земляными лицами ближних, которых надо возлюбить, как самих себя, затискивают, подбивая прикладами, вколачивают пинками в бревенчатый сарай-амбар, который и так уже переполнен и потрескивает от внутреннего распора дышащей человеческой массы. Кишкой вываливает из распахнутых ворот полукруг отчаянно жмущихся назад людей, этому полукругу, похоже, никак не втянуться внутрь амбара, но вот закрывают ворота – и под крики, ругань и хохот пленивших, под стоны и жалобные вопли пленённых эти последние всё же исчезают в сарае, сжатые напором толкаемых снаружи ворот. Заложив железный запор и ещё приперев растопыренные створки бревенчатыми столбушками, стража с автоматами, свисающими с шеи на грудь, дружной толпой направилась отдыхать к дому, стоящему под тенистыми тополями.

И вдруг запылило в конце улицы, и другая стража подогнала к сараю ещё одну партию пленных – вернее, пленниц, ибо вели под конвоем попавших в окружение санитарок и сестриц медсанбата. В гимнастёрках без ремней, многие босиком, коротко стриженные и длинноволосые, растрёпанные, запыленные женщины были так же измучены и подавлены пленом, как и мужчины. Одна была ранена в челюсть, и её, обмотанную кровавыми бинтами, две подруги несли на полевых носилках. Подошли к амбару – и под оживлённые крики предыдущей стражи новый конвой открыл ворота. Невероятно, но в сарай стали затискивать – и затиснули-таки – всех пригнанных пленных женщин, и даже раненую, заставив её подняться с носилок, едва перебирающую ногами, уронившую на грудь забинтованную голову, тоже вдавили вместе с остальными в эту стонущую живую стену и вновь с весёлыми проклятиями сомкнули створки ворот и подперли столбушками.

Степан Тураев попал в сарай с предпоследней партией, и он оказался вблизи женщин, которые в жаркой полутьме, едва дыша под напором жёстких, потных, стиснувших со всех сторон мужских тел, принялись всхлипывать и плакать. Конвой не давал им в пути возможности побыть скрытно от мужских глаз, и пленные женщины терпели вплоть до этой минуты. Теперь они уже не в силах были сдерживаться – и, рыдая или тихо заливаясь слезами, пленницы справляли то естественное, что стало страданием и невероятной душевной мукой. Степан слышал вблизи всхлипывания совсем юного голоса, дрожащее дыхание, сдавленные стоны, исходящие, казалось, не из человеческой груди, – таковы были звуки, производимые женщиной, когда она уже поняла, что погибнет, погибла уже... Подобные же звуки Степан Тураев услышал из темноты колодца, куда бросилась его дочь Ксения – этот никому вниманию не предназначенный плач гибели, клекот отчаяния и одиночества Деметры не оговорён, не учтён в мире величайших учений, определённых как божественные. В Апокалипсисе ничего не сказано о таком конце света, как нежелание Деметры жить.

Судьбы моих деревьев связаны одной общей нитью судьбы Леса. Николай Николаевич Тураев считал, что человек ничего не может вне вседовлеющих уз исторического времени, что волей своею разум, даже всеобщий, не в силах повернуть колесницу истории в ту или

иную сторону или приостановить ход детерминированных событий. Дочь той девушки-санитарки, которая плакала в темноте и которая прошла плен, концлагерь, рабство, чужбину и всё-таки выжила, вернулась на родину и, выйдя замуж по любви, народила троих детей, – дочь участницы Великой Отечественной войны, единственная из её детей, унаследовала от матери то безысходное устремление души, которым была охвачена молодая санитарка в минуту невыносимого срама, страдания и ужаса. Ей хотелось смерти, она бы с великим облегчением убила себя, если могла бы хоть свободно шевельнуть рукою – нет ничего страшнее для всего моего Леса, нежели это великое по силе, исполненное мрачной страсти желание самоистребления Деметры.

Я всего лишь мыслящий атом, я столь мал, что почти и не существую, – и всё, что создано вокруг, скорее не создано, а осознано мной. Это мне казалось, что мною создан мир, потому что я, не существуя в материи, вижу её вокруг себя и в то же время никого другого не знаю, кроме себя самого, кто бы мог сотворить это. Свойственная мне самая большая моя страсть – желание небытия, жажда вкусить смерти – присуща и всему, что я вижу вокруг себя. Все эти тела и системы, едва родившись, развиваются и движутся только в одну сторону – к распадению, энтропии, к полной аннигиляции. И только Деметра, казалось мне, только Мать сыра земля, на которой стоит Лес, только она одна, вопреки пессимизму Вселенной, утверждает оптимизм безудержного плодородия. Да, мне казалось, что Деметра, женщина, Ева – ребро, вынутое из моего сонного тела, – есть самое удачное, совершенное и стойкое произведение Отца.

Надо будет мне заменить скоропортящиеся зубы на другие, вечные, по-другому устроить сердце, быстро дряхлеющее от денежных забот и тревог, перестроить лёгкие и желудок, столь доступные для злоядного рака. Всё это можно сделать, жизнь совершенствуется с течением разумного времени, и будут, будут неподвижные деревья путешествовать по миру, как некогда богатые пожилые американки, да не куда-нибудь в Лапландию или в Самарканд, а на другие планеты. И люди научатся существовать наконец без зубной боли и тревоги за завтрашний день, свободно, без громоздких ракетных кораблей перемещаясь по космосу, питаюсь не хлебом и мясом, а чистейшими лучами многочисленных солнц Вселенной. Научатся они дышать водою, метаном, плавать в серной кислоте, заходить в огонь и выходить из него без всякого ущерба для себя. Всё это будет для них, для их процветания и блага – если только они получат эту свою будущую жизнь от Деметры.

Всего лишь крошечное мгновенье (пусть будет так), малюсенькое мгновенье, которое я уделил на весь этот человеческий разговор, вызвано к бытию словесному, логическому тем, что мне сейчас совершенно неизвестно, не захватит ли всецело Деметру это роковое желание не жить. Оно приходит к ней и овладевает ею лишь по одной причине – если нет Любви, если исчезает Любовь. Деметра венчает красотой и счастьем всякого, кто её любит... Это может быть одной из простых историй, – но ведь все они, соединяясь в одну печальную историю гибели женщины, отвергнутой в любви, потрясают душу Вселенной своей убийственной простотой.

Царь-баба и Марина, следующие с грузом древесного угля на возах по раскисшим дорогам летней ненастной порою, как раз проезжали мимо одного местечка, называемого Гудом. Скоро двенадцать семейств вселятся сюда, на бывшее барское подворье, а через год-другой выстроят из лесного новья хорошие избы, общую баню, различные полезные для хозяйств строения и, получая от счастливого супружества с землёю превосходные урожаи хлеба и льна, вскоре смогут даже купить трактор "фордзон" – на удивление всей округи... Но уже через пяток лет новые хозяева земли приуныли, потому что постепенно выяснилось: хотя по новому положению земля навечно принадлежит им, но она им не принадлежит. "Новый путь", как называлось это первое в округе семейно-крестьянское предприятие, добровольно, но насильственно присоединили к спешно образованному, как и всюду по стране, огромному колхозу, который начался с развала. И вместо дружной работы на обновлённых чёткой идеей полях, крестьянские семьи стали уезжать в чужие края, расползаться во все стороны, как вши из рубища нищего. Весной тридцать первого года

крестьяне не вышли пахать – лоно Демотры осталось нетронутым, в мае приехали городские начальники крестьян и заставили их пахать, председатель же хозяйства был увезён под стражей.

Тридцать третий год был голодным, сорок третий военным, сорок седьмой – снова голодным, а ещё через десять лет уже не было на Гуду людей. "Новый путь", так весело и дружно начатый в двадцать седьмом году, к пятидесяти седьмому году уже закончил своё существование: деревушка почти исчезла, люди уехали, избы были проданы и свезены, на месте поселения крестьян осталось всего два дома. И жила в это время в одном из них девушка-фельдшерица, дочь первого председателя "Нового пути", а второй дом стоял безлюдным, с выбитыми окнами.

Царь-баба и Марина, проезжая в 27-м году мимо пустующей барской усадьбы в Гуде, обе перекрестились, глядя на его мрачные, потемневшие от дождя крыши, над которыми не шевелился дым и лишь толклись чёрные галки – ещё не было на Гуду людей из "Нового пути", ещё не зачата там и не рождена девочка, которая вырастет и станет фельдшерицей.

Над жидкой дорожкой, растекшейся меж лесных зелёных толп рекой серого киселя, залетали, завспархивали какие-то малоразличимые птички. В их зыбком полёте, столь чуждом по своей лёгкости смутам и тяжбам человеческих душ, крылось что-то очень страшное. Ведь кроме людей у Бога достаточно тварей и птиц, светящихся силуэтов в небе, тёмных теней на песках пустынь, а человеки... Каждый из них в своё время, пока существовал, являлся лишь будущим призраком. И в тот дождливый день, выйдя из леса на край поля, по которому проходила заглушающая дорога, я встретил призрачный обоз о двух телегах, грустный обоз, в котором лошади-призраки везли на телегах-призраках сажённые мешки с призраком-углём, – в призрачном двадцать седьмом году, когда крестьяне сами решили образовать свою артель под названием "Новый путь". И рядом с телегами шагали, подчмокивая губами и подёргивая вожжи, две призрачные женщины, одна огромного роста, настоящая великанша, – груженная телега была ей по пояс, – другая маленькая, подтянутая, в ловко облегающем зипуне и новых лаптях.

Я же, в старой отцовской брезентовой куртке, с корзиною на ремне через плечо вышел из леса на поле и зашагал по слякотной дороге, разминувшись с понурыми возницами. И сам я был призрачнее всех этих призраков, воплотившись в человека, которого и на свете не было; я шёл по скользкой дороге мимо берёзовой километровой аллеи, образовавшейся на месте бывшей подъездной дороги к Гуде, и ещё издали увидел её, фельдшерицу в светлом плаще, в надвинутом синем берете, наискось перечёркивающим лоб. Дорога была совершенно пустынной, возы скрылись за полем в лесу, мы сближались с каждым шагом друг к другу – и наша встреча стала уже неотвратимой – где-то в призрачных семидесяти годах. Иду навстречу девушке-фельдшерице и торопливо додумываю свои думы.

С тех пор как человек узнал о смерти, он всё время стремится к ней, и это вовсе не значит, что ему самому хочется умереть, – бывает, для него и достаточно того, чтобы умертвили другого. Лес, мой затейливый зелёный Лес, выращенный по деревцу, по кустику, затаил это желание зла себе подобному в неподвижности своего существования – я заключил всю энергию самоистребления деревьев в эту неподвижность, как в ядро атома его энергию. Но вот, вырвавшись из статичной формы, энергия саморазрушения начала бушевать в Лесах человечества – вся его история наполнена страстью самоистребления. Нападение одних людей на других, родов на роды, племён на племена, убийство путника, соседей, малые и великие войны, рассмотренные с позиций Единого Человечества, есть не что иное, как его многочисленные, растянутые в тысячелетиях попытки суицида. И тот из людей, кто первым объявил священную заповедь "не убий", сделал, в сущности, и самую первую попытку шагнуть в сторону от предопределившегося пути, который выявился, прост и ясен: самоубийство Человечества.

Подобно тому, как дерево шумит, когда его ещё и на свете нет, многие слова, произнесённые внуками, были когда-то повторены предками – мне всегда не по себе от повторения, всё в новых и новых вариантах, человеческих судеб, одних и тех же

несбыточных надежд и желаний. Деревьям моего Леса свойственно шуметь одинаковым образом – на лёгком ли ветру, трепеща одними листьями и мягко покачивая концами самых тонких ветвей, или на сильном ветру, торопливо, испуганно пригибая вершину и уже не журча, как ручей, а издавая гул водопада. А под ударами внезапной бури деревья Леса, даже самые могучие, как бы теряют голову от страха и шумят, словно стадо буйволов, ревут, словно волны морские, осатаневшие под бичующими ударами ветра. Но все эти живые звуки, бесчисленно повторяясь и чередуясь, уже давно обрели стройный порядок в прозрачной полифонии веков, и музыка сфер, одухотворяющая струны и звучные скважины флейт в моём Лесу, давно заучена мною наизусть. В любое мгновение, прислушавшись к тишине или звучанию Леса, я могу продолжить, напевая про себя, текущую в богоданное время мелодию тонкого безмолвия или тревожного упования.

Таковы и людские страсти – все они уже давно закомпонованы в одном общем опусе на тему человеческой тщеты, и я прослушиваю его фрагменты весьма редко, ибо действует на меня эта музыка чрезмерно волнующе. Но вот одна его часть привлекает меня чаще других, она до глубоких недр будоражит душу мою и остаётся для меня всё такой же мрачной тайной, как и при первом соприкосновении. Вот плачет младенец – смолк; но вот плач продолжился – и резко усилившись в своей горестно-требовательной интонации; и снова краткая пауза: словно прислушивается, не близится ли избавление; и вот накатывает вопль отчаяния такой высоты и силы, что выдержать это уже нет возможности – надо немедленно что-то делать, хотя бы подойти и взять ребёнка на руки. И он вскоре начинает постепенно возвращаться из какого-то не доступного никому, кроме него, клокочущего огненными недрами, неистового мира, быстро остывая, сразу снижая крик, затем долго плача на одной ноте и, подобно молодой планете, постепенно покрываясь каменистой коркой сплошных всхлипываний; но вот всхлипывания совсем стихли – и очень быстро окуталась молодая планета воздушной средой, которая засветилась под лучами солнца голубым нимбом; а вот и пали на землю первые потоки ливня, родилась зелень – и сверкнула на лице планеты первая улыбка жизни. Слава богу, из предмета космической катастрофы ребёнок снова стал обычным ребёнком...

Но, повторив весь путь эволюции от огненной стихии до лучезарной человеческой улыбки – что же он запомнил из этого пути, что стало для него особенно дорого? Неужели затаилась в процессе этого развития какая-то роковая, никем не замеченная ошибка? Желание уничтожить другого человека, то есть, в конечном итоге, себя, желание Деметры не жить – неужели где-то на дистанции долгого развития род людской всё-таки ждёт последняя быстрая катастрофа? Мой Лес человеческий, выбежавший из Леса древесного на широкие равнины, пока ещё шумит на планете, он жив и процветает, но что будет с ним лет через двести?.. Отцу-лесу, видимо, нечем поделиться с детьми, кроме своего великого одиночества.

Идущая навстречу девушка одета в светло-серый плащ; узкое бледное лицо, под косо надвинутым беретом светятся глаза – издали внимательно глядят на меня; это произошло среди привольных лугов в окрестностях бывшего посёлка Гуд; она дочь председателя колхоза "Новый путь", того самого, который перестал существовать после того, как его присоединили к огромному нищему хозяйству по соседству; она долго где-то училась, жила в городах и вновь появилась в деревне уже к тому времени, когда от неё, собственно, осталось всего две избы и множество ям, заросших свирепо крапивой – на месте стоявших здесь дворов.

До ближайшего села было километра три, амбулатория находилась именно там, и её могли разместить поближе к работе, благо была она бессемейной и любая одинокая старуха взяла бы её к себе на постой. Но она захотела жить в родительском доме – сами родители с сыновьями жили уже далеко отсюда – и каждое утро в любую погоду она одиноко проходила этот путь: сначала по берёзовой километровой аллее, заросшей высокой травой; затем краем поля по просёлочной дороге. Вечером она возвращалась назад той же дорогой, оставив позади многолюдную деревню с её озабоченными жителями, с вечерним стадом,

возвращавшимся с выпасов, с гулом и гомоном неспящего народа, с тёплыми летними ночами, когда по влажным от росы просторам далеко разносились резкие звуки гармонии и призывно звучали женскими голосами распеваемые песни. Она никогда не оставалась в деревне на весёлых сборищах молодёжи, среди грудастых, щекастых своих сверстниц и жизнерадостных деревенских женихов. Они также не тянулись к ней, не зазывали её, и часто бывало, что, проходя краем поля в своём белом халате, видимая издали, она лишь прибавляла шагу и быстренько скрывалась в берёзовой аллее, если вдруг из ближнего проулка вываливала пёстрая толпа разнаряженной молодёжи с гармонистом во главе – направлявшаяся в соседнюю деревню компания, чтобы потанцевать там кадрили, поводить хороводы, пошуметь, побегать и, может быть, слегка подраться.

Лишь скрытая от чужих глаз за рядами неровных берёз, стоявших вдоль канав, девушка успокаивалась, замедляла шаги и, заложив руки за спину, шла по узкой тропинке, задевая коленями шаткие метёлки зреющих трав. Белый халат её, попадая в полосы вечернего солнца, пробившегося сквозь деревья, вспыхивал невероятно ярким розовым светом, и загустевшая лесная мгла между деревьями, за окраиной брошенной деревушки, казалась в эти мгновения особенно угрюмой и неприступной.

Она подходила к своему бревенчатому дому, молчаливому и насупленному, как огромный больной леший, из тайной щели сбоку крыльца доставала ключ и отпирала дверь. Стоя на высоком крыльце, она оборачивалась и пристально оглядывала всю широкую поляну с дубами, во что превратилась её родная деревня. Здесь когда-то шумела и плескалась чистая и прекрасная жизнь осуществлённой мечты, и девочка была рождена в ту счастливую пору, когда от лугов и полей, от утренних дубрав и берёзовых рощ как бы веял на крестьянскую душу ветерок золотого века. Земля была хоть и общая на дюжину семейств, но своя, и её было достаточно, чтобы не только удовлетворить безжалостную похоть голода, а и напитаться радостным трудом любви, когда самая тяжкая крестьянская работа, сопряжённая со страстью и мощью туков Деметры, вдруг из потной заботы превращается в жадное счастье тела и духа. Даже сенокос и жатва вручную на больших полосах, каких не видели раньше бедняки, были для них не в тягость – и молотьба ручными молотилками и цепями, околот льна деревянными вальками. Все эти работы начинались дружно и завершались быстро, потому что было счастье от любви, которое преображает самую суть жизни и даже поворачивает ход её совсем в иную сторону, чем дотоле.

Я взирал на эту новую жизнь "Нового пути", укрывшись в тени шумящей листвы дуба, испытывая подлинную радость за столь сказочное преображение крестьянской жизни: ни барина над мужиком, ни надсмотрщиков его, ни начальников, – паши и сей, наполняй мешки на току хлебом, льносеменем, овсом, грузи на телегу и вези домой... Но счастье такое продолжалось у них всего два года – и тут объявились начальники, и вместо прежних мироедов выскочили другие, на совслужбе накачивавшие себе круглые ряшки и розовые заливки... Когда "Новый путь" насильно присоединили к насильно образованному, но внутри себя не существующему огромному коллективному хозяйству, когда через некоторое время стали забирать у крестьян всё то, что щедро рождала им Деметра, и когда распорядиться тем, как и что сеять и сколько пахать, и учить, как любить труд на исторически новых полях, стали удивительно знакомые по старорежимным физиономиям сытые и уверенные городские начальники, то поняли крестьяне, что "Новый путь", показавшись лишь на куцый миг, приказал долго жить. Потому что кому-то из моих больших начальствующих деревьев, тех, из которых шьют государственные корабли, стало ясно, что счастливый вольный человек, не обездоленный, вполне обеспеченный, гордый собою, не захочет, пожалуй, почти весь свой труд отдавать задаром ради чётких идей и тех законных привилегий, которые должны иметь знатоки и ревнители новой эпохи. И надо было сделать так, чтобы крестьяне были приучены работать много, а получать мало – одни палочки в табеле учёта трудодней, палочки без нуля. И мужикам стало ясно, так же как и раскидистым дубам, растущим на лужайках деревни, чем это всё грозит, что получится из всей этой чёткой исторической затеи лет этак через двадцать, – и крестьяне стали уезжать из Гуда,

распродав свои дома. Кто-то из них стал железнодорожником на полустанке в Сибири, кто-то московским или рязанским обывателем, уповающим впредь не на тучную мощь плодородной Деметры, а на месячную зарплату от какой-нибудь жилищной конторы, начальником коей является некий Сидор Пидоров, позапрошлогодний мухомор с хитренькими глазками, бледной физиономией и двумя кустиками волос вместо бровей – фантом, которого не существует на свете, управляет делами да покрикивает на тебя...

Итак, к пятидесятым годам от посёлка Гуд, где был колхоз "Новый путь", осталось всего два дома, в одном только что скрылась вернувшаяся с работы фельдшерица, в другом коллективно поселились деревенские домовые. Повыбив все стёкла, они каждую ночь забавлялись тем, что высовывали из окон головы и, глядя вверх, дразнили сонных галок, устроивших в печной трубе гнездо из веточек, травинок и пуха, – ругали, передразнивали птиц, стучали по ржавым печным вьюшкам пятками, и галки в ответ только слабо попискивали. Я смотрел из своих чёрных глубин на эти угрюмые два дома, и мне до пронзительной боли жаль было наблюдать столь явную картину беды и несчастья. Бывший председатель "Нового пути" к тому времени уже успел отсидеть в тюрьме (неизвестно, сколько бы лет он томился в лагере, если бы не попросился на войну и не отвоевал всю её до конца). Он ночами часто выходил под дубы и в тишине, нарушаемой лишь отдалённым смехом деревенской молодёжи да брёхом какой-нибудь занудливой собачонки, ходил кругами и думал, делился мыслями со мной, не зная, что мне открывает то затаённое, ужасное, истинное, которым не мог поделиться ни с кем, – всё то, что постепенно открывалось ему во всей своей жестокой неотвержимости. Нельзя, нельзя было жить и работать на земле без любви, без той любви, с которой он прожил всю свою бедняцкую молодость, которую пронёс через все войны, по которой, он видел, протомился весь свой век безземельный его отец-пильщик. Нельзя было без любви, но чтобы любить, надо было землёю владеть, чтобы она была твоей безраздельно, как жена, богом данная, а иначе ничего не получится. Это понимал он, это понимали и другие мужики, – но принцип новой идеи был в том, чтобы им не владеть землёю, а с горячностью народной признательности называть её своею на вечные времена. Вовсе и не любить её (понятие это не было учтено в русле новых идей) – а просто нещадно её пахать и пахать с помощью могучих тракторов, пахать и засеивать и получать с неё всё большие урожаи. Проповедуя новое и призывая к ней, председатель вдруг почувствовал, что ведёт людей, доверившихся ему, вовсе не в ту сторону, где сверкнула заря и должен быть восход солнца, а вовсе в другую, где впереди ждёт какая-то огромная, сухая, немилая зона неразберихи, лжи и долгой душевной боли. И виною было не обманувшая заря и не та причина, что этой зари на небосклоне не было и нет, а в том вина, что кто-то сознательно вредил, и этот вредивший был очень силен и коварен. Оставалось только подчиниться всему, чтобы жить дальше, и постепенно привыкать к новой истине, что ложь есть правда, а *правильность* выше подлинной правды, потому что плетью обуха не перешибёшь.

Наступило время, протяжённостью в несколько десятков лет, в течение которого люди будут переучиваться жить, возлагая свои надежды не на то, что родит земля, жена, ухоженная скотина, плодовый сад, река или море, а на то, что прикажет или пообещает какой-нибудь новый сверхначальник. И в голове сидящего под дубом председателя, то и дело подносящего ко рту красную точку папиросного огонька, я читал две постоянные мучительные мысли, непосредственно связанные между собою и вытекающие одна из другой: "Что же теперь будет?.. А ничего хорошего не будет". И долго мне пришлось постигать, в безмолвии его раздумия, почему он полагает так, а не иначе. Сверхначальник пообещает и, может быть, даст каменную крупу, которую можно, разумеется, варить, но нельзя сварить и съесть, а в ответ потребует от людей, чтобы они полюбили его одного, забыв всё то, что любили раньше до его воцарения. Будет устроен один большой лагерь во времени, свирепо охраняемый стражниками по всему его периметру, отделяющему замкнутую эпоху режима от всей прошлой и будущей истории человечества. И начнёт народ любить этого начальника единой общегосударственной любовью, и привыкнут к своему

лагерному положению в истории, даже полюбят его, будут гордиться им, и мозги их станут питаться только правильным харчем внутреннего изготовления, отстраняясь по мере своего самоутверждения от всей общечеловеческой мыслительности. И каким бы ни был по внешности очередной сверхправитель, бритый, лысый, как колено, или с пышной шевелюрой, при усах или чудовищных бровях, – каменные изваяния и живописные портреты его наполнят всю державу, и станет его облик чем-то вроде эталона мужской красоты.

Много раз приходил председатель ночами под дубы, сживал там и покуривал, пророчески глядя сквозь пролёты ветвей на посторонние звёзды в далёком от людских забот небе, в ночном небе, не имеющем никакого отношения к тому, что председателя скоро всё же "возьмут", осудят круглым счётом на десяток лет, а потом будет война, фронт, тайная надежда, что его не убьют, и это при отчаянном желании, чтобы его убили: медведь раненый выбежал однажды из лесу на дорогу и напрямик кинулся на охотников, в нижней челюсти его сидела свинцовая пуля, давно мучила его, и зверь хотел только одного – чтобы его поскорее убили; и в него стали стрелять, и он был рад, что зашлёпали по телу горячие пули, но вместе с этим и невольно испугался зверь, повернулся и кинулся обратно в лес. Химера страха, сидевшая в нём, вмиг выросла и стала сильнее его, это она могучими скачками неслась к тёмному ельнику, она, вопреки его желанию погибнуть и больше не мучиться, гнала потное голодное тело его, залитое кровью, прочь от вожаемой цели. И в миг, когда потерявший все жизненные силы мохнатый зверь слетел с ног долой и покатился по земле, химера страха стремительно соскочила с него и низко полетела между деревьями, огибая стволы своим длинным гибким телом.

Пройдя через лагеря Колымы, штрафные батальоны, протащив войну на себе как тяжкий, приросший к горбу груз, председатель вернулся домой живым и снова работал председателем в голодных послевоенных колхозах, и химера страха уже вполне уверенно жила в нём, и она была того качества и свойства, какая нужна для установления полного равновесия между властью и народным покорством. Мечтатель стал лицемерным маленьким начальником, гибкая змеевидная химера заставила его желать сытой жизни и цепляться за неё любой ценою, и эта новая ехидна существования не имела никакого продолжения от прежней мечты. Дни жизни навсегда испуганного человека, больше не верящего в возможности собственного труда, подвига и разума, были зыбкими и торопливыми, как заячий сон под кустиком, и председатель стал пить, как и весь подведомственный ему колхозный народ, привыкший к водке как к воде.

Он пил эту водку, которой теперь было вдоволь, пил и как-то существовал, не пытаясь даже вспоминать те идеи, которыми он когда-то зажгёт заскорузлые сердца двадцати знакомых мужиков, и по-прежнему шумела листва на дубах, когда он приходил посидеть на широких пнях, оставшихся от деревьев, срубленных после того, как не стало посёлка на Гуду.

И как-то солнечной снежной ещё весной в благостную, мягкую оттепель, когда радовалась душа каждого дерева, каждого кабана в лесу или вороны на крыше, умиляясь белизне и чистоте снежного покрова, омытого розовым сиянием низкого солнца, председатель вновь пришёл туда, оставив глубокие следы в осевших сугробах, посидел, затем снял с себя тяжёлое драповое пальто с пролысым каракулевым воротником, сложил вдвое и бросил на пень, оглянулся вокруг на сияющие меж оставшимися деревьями снежные просторы, с улыбкою умиления крякнул и вынул из кармана широких штанов галифе пистолет. Он решил застрелиться, потому что произошёл суший пустячок – у него пропала гербовая печать, кто-то взял или он где-то сам обронил, но из-за этого пустячка снова могли его отдать под суд, а ему этого уже смертельно не хотелось, легче было умереть, чем снова пройти через всё то, что однажды он уже прошёл.

И химера страха на этот раз отступила, ушла в кусты, она серого цвета, тело у неё длинное, полужмеиное-полусобачье, она летает на перепончатых крыльях, как и огромный Змей-Горыныч. Она родилась в том же мире отчаяния, боли, гноя и человеческого позора, что и великий Змей, но серое яйцо химеры образовалось всё же из субстанции другого вида.

Когда была объявлена эра высшей справедливости и всеми, кто чувствовал её в душе, эта справедливость была защищена от врагов и укреплена в своих устоях, началось деловитое уничтожение её защитников по немыслимой логике. Мелкие серые бесы с оружием в руке начали забирать, преимущественно ночами, возмущённых до глубины души, но ещё не верящих в очевидность происходящего адептов новой справедливости, готовых тут же, пока мелкие чины ведут их, слегка подталкивая в спину дулами пистолетов, громко выкрикнуть самые очевидные лозунги нового миропорядка. Но служители били их по головам чем попало, а спустя некоторое время одних расстреливали, а других увозили в отдалённые места в специальных вагонах. Тогда и начала появляться серая скорлупа драконьих яиц в самых разных, неожиданных местах: в вонючих тюремных парашах, на дне стаканов хрустальных люстр в городских квартирах, за пишущей машинкой секретарши в приёмной директора мебельной фабрики, в портфеле директора этой фабрики, на божнице в крестьянской избе... А страх председателя был вот какой: потерялась государственная гербовая печать, но может, она и не терялась, а была передана в руки врагов народа; если и не передавал врагам, а просто утерял, то и здесь не меняется положение: утерянное могли найти враги народа; если же никто на свете и не найдёт утерянной печати, то доказать, что она утеряна, никак невозможно, так же как и доказать, что ею сейчас не пользуются для совершения преступных действий враги народа.

Страх этот был затылочный, в тыльной стороне сознания присутствующий. Председатель вложил дуло пистолета в рот и ощутил резкий, несъедобный вкус смазочного масла, подумал, что хорошо – нет мороза, не то язык так и прилип бы к калёному металлу – дёрнуло бы кожу с кровью. Он вырастил четверых детей, воевал, строил "Новый путь" и не достроил, а теперь устал от всей нечистоты жизненного пространства, на котором существовал, – как в том лагерном дворе, между бараками, где стоял одинокий тополёк с чумазым на уровне человеческого роста, захватанным ладонями стволом. Вокруг деревца земля была утрамбована до каменной плотности ногами тысяч людей, вынужденных ходить по одному и тому же месту в зоне дозволенности, окружённой забором с колючей проволокой, натянутой в виде козырька...

Я смотрел на него сквозь голубоватую прохладу надснежного воздуха, понимая, что если он не остановлен даже химерою страха, то удержать его в жизни ничем нельзя. Ему хотелось смерти, которая так долго охотилась за ним, что уже стала привычной: ему больше не хотелось жизни, в которой из-за потери точёной деревяшки с наклеенной на неё круглой резинкою вновь могут начаться чудовищные мучения души и тела, выдержать которые ему уже не под силу. Чтобы не промахнуться, председатель стал устраиваться на широком пне поустойчивее, чуть пересел в сторону и попал задом на раскрытую полу сброшенного пальто – и ощутил напрягшейся мышцею некую твёрдую кругляшку. Выдернув изо рта пистолет, он привскочил и ладонью свободной руки прихлопнул полу своей старенькой зимней одежды: прохудившийся внутренний карман обронил геральдический символ власти в более просторный мешок, под подкладку. Он вынул через дырочку заветную печать назад, сдул с неё налипшие крошки, положил пистолет на пень и принялся тщательно увязывать найденную государственную вещицу в носовой платок и прятать в нагрудный карман гимнастёрки. Ему было скучно это делать и даже как будто перед кем-то неловко: ощущение близкого, очень близкого дыхания смерти было чуть головокружительно, тошноватенько, но гораздо значительно всего того, что изо дня в день ожидало в дальнейшем председателя. Он глубоко вздохнул, как старый лось после краткого отдыха, не давшего чувства свежести и притока сил, натянул тяжёлое драповое пальто на сутулые плечи и вновь зашагал назад по старым следам через осевшие сугробы.

Он избежал грешной смерти посредством самоистребления, зато через много лет его старшая дочь, фельдшерница, однажды в летний золотистый вечер легла в траву под боком огромной поваленной лесины на краю укромной поляны, рядом положила баульчик с красным крестом, в котором носила свои сестринско-милосердные принадлежности, и по этой сумке её и нашли уже поздней осенью, а сама она вся поросла травой, и уже с трудом

можно было различить очертания человеческого тела в сомкнувшейся над ним путанице травяной дернины. И непостижимая печаль, странность была в том, что, лежа под густым плетением трав, прижавшись плечом к громадному стволу палого дерева, она сжимала в истаявшей руке шприц, в котором ещё оставалось немного прозрачной жидкости. Братья приезжали из армии в отпуск, чтобы искать исчезнувшую сестру, то один, то другой не раз проходили совсем близко от неё, громко выкрикивая её имя, но сестра не отозвалась, она в безмолвии проросла травами, и время покинуло её. Ей было весело с этими братьями, когда они были маленькими, светловолосыми, ходить в лес за земляникой, купаться на реке. Она, как старшая, по очереди присматривала за ними, налаживала каждому первые в его жизни удочки. Но лёгкий укол иглой увёл её от всего, что стало для неё невыносимым, – девушка в светло-сером плаще, в синем берете, косо надвинутом на одну бровь, встретила мне в тот день и час, когда я, проходя с берестяным лукошком по местам её одиноких прогулок, думал о странных способах жизни прекращать самое себя, о Деметре, не желающей жить, о крестьянах, навсегда разлученных с землёю.

Что бы вы мне посоветовали, обратился я к ней, когда мы встретились (я, повернув назад, пошёл рядом с нею), – что бы вы мне посоветовали, если я тоже выбрал самоубийство как выход из безвыходного состояния? Не совершать этого, вот бы что я вам посоветовала, ответила она, – потому что никакого избавления нет, ни даже облегчения до самых последних мгновений. Но ведь яд или пуля, петля или вода в конечном итоге всё-таки сделают своё дело, возразил я, и окончательное избавление, выходит, всё же доступно человеку, на что последовало усмешливое отрицание, неторопливое покачивание головою: нет, нет. Если бы не было у человека его прошлого, тысячелетнего прошлого, то самоубийством можно было бы поставить окончательную точку, произнесла она с важностью – и улыбнулась, широко раздвинув довольно большой, сочный рот. У каждого живого существа, где бы оно ни находилось во Вселенной, имеется прошлое, но, к сожалению, мертвецу и это "прошлое" целиком неведомо и не принадлежит. Отчего же, вскричал я, и что это вы путаете, девушка? У каждого живого существа во Вселенной имеется прошлое, но стоит, значит, ему перестать быть живым – этого прошлого уже нет? Вот я, спокойно произнесла она в ответ на мою запальчивость, я жила, я любила, вернее, хотела, пыталась любить, встретила человека, которого могла бы любить, но было у меня, оказывается, какое-то неумолимое прошлое, в котором таились причины того, что любить-то я как раз и не могла. Вернее, могла бы, наверное, но это стало бы для меня актом унижительного позора, а у того, кто захотел меня, вместо любви появилось бы великое отвращение ко мне. Видите, что вышло? Небольшой, пуляковий изъян физиологии – и такая бездна отчаяния для человеческого сердца.

Какая страшная мука – жить в мире, где все любят, а самому не иметь возможности любить. Вот я и кольнула себя спиртовым раствором одной гадости, которою травят бытовых грызунов – и что же? Ах, если бы возможно было убрать минуты ожидания смерти. Но их нельзя убрать – умноженные на квадрат скорости нарастания смертной тоски, все былые страдания, налетев чёрным роем, рвут сдерживающие оболочки и обрушиваются на погибающую душу поистине адской стаей.

Кто бы вы ни были, вызвавший меня из небытия и заставивший заговорить, – не делайте того, что сделала я. Мне, когда я легла в траву под стволом упавшего дерева, стала ясною моя страшная ошибка, а когда яд начал действовать, душа вдруг так сильно, так просто захотела жить, но этого уже было нельзя. Ей можно было устремляться лишь в обратную сторону от жизни, и душа двинулась туда, но вдруг яд взбурлил чудовищные ледяные волны в крови, ими всё было захлестнуто, и то, что казалось душой, раскололось на мелкие части и каждая сама по себе канула в бездну. Знайте же, что самоубийство не поможет вам ни в чём, потому что в нём таится самый подлый по отношению к человеку дьявольский обман: когда ты плавным нажимом на поршень шприца впрыснешь в тело яд и потом выдернешь из ранки иглу, вдруг и станет яснее всех величайших прозрений и озарений, что ты, оказывается, не умереть хотел, а жить. И то, как тебе хотелось _не жить_,

оказывалось на самом деле тем, как тебе хотелось жить. Самоубийством тоже правит Бог, и Он милосерден, давая вечный покой самоубийце, принимая его тело назад в землю, но и сатана, царь вселенской пустоты, берёт здесь свою дань, получая на вечное пользование те мгновения, что наступают для его жертвы сразу же после принятия яда, после прыжка с подоконника небоскрёба, после нажатия на спусковой крючок пистолета, дуло которого глубоко забрано в рот.

– Но, милая девушка, странно слышать подобные слова от призрака, от тени, если тот, от которого зависело твоё появление среди этих лугов и берёзовых рощ, предпочёл именно подобный уход твой из жизни.

– Моё появление среди лугов и рощ... Вы прекрасно знаете, что я, девушка в светлом плаще и синем берете, появилась лишь в вашем уродливом, отвратительном безумстве. Вы для чего вызвали меня из небытия? Не для того ли, чтобы я уговаривала вас не поддаваться наваждению и воздержаться от самоубийства? Вот я и уговариваю: не делайте этого.

– Ну, хорошо... Хорошо... Пусть будет так. Но разве то, что я собираюсь сделать, не является ли тем самым, что собирается сделать над собою всё земное человечество?

– Отвечаю вашими же глубоко затаёнными, государственно засекреченными, убивающими вас мыслями. Вы подозреваете в себе симптомы той болезни, которую, очевидно, сумели всё же наслать враги вашего общества на вас. И теперь, используя единое психополе вашего народа, они заразят всех вас неодолимой тягой к самоистреблению.

Не является ли безумием, возведённым в степень безумия, сама мысль о том, что вы упорно движетесь к своему самоубийству не потому, что вам уже незачем и нечем жить, а якобы в результате поражающего действия на ваше сознание оружия ваших врагов? Ваша попытка сбежать от надёжных государственных и семейных узилищ в лес закончилась тем, что вы сейчас беседуете со мной, фельдшерницей, когда-то давно покончившей с собою в заброшенном лесном посёлке.

Я одета в светлый серый плащ, на голове моей косо надетая синяя беретка, лицо моё бледное, выразительно скуластое, словно у молодой лесной индейки. Глубоко сидящие во впалинах глаза мои пронзительно синие, рот большеват, не улыбочив, сочен – но меня уже нет. Я выдала вам ваши же затаённые мысли, с улыбкою высказала то, что вы никогда не должны были бы произнести вслух, храня государственную тайну, – меня нет, вместо меня стоит, шумит на лёгком ветру придорожная тонкая липа. И взор человека, отуманенный невнятными, тревожными видениями, без внимания скользнул по тёмному стволу и негустой, уже местами пожелтевшей листве.

Липа... дерево печали, да какое же это дерево, когда вовсе и не дерево качается у дороги, а какая-то смутная тень корчится в тумане, и дороги-то никакой нет передо мною, а белая, невразумительная глубина громаднейшей тучи – я медленно лечу, влекомый ветром вместе с нею, и через какие пространства, на какой высоте от земли проходит мой неспешный полёт, мне неизвестно. Равно неизвестным остаётся и то, кто же, собственно, я, упокоившийся в прохладном, влажном чреве облака. Не заботясь более, чтобы определять свою сущность и назвать её, я мысленно благословляю все возможные небесные пути-дороги той доброй тучи, которая чревата мною, и уютно складываю на груди прозрачные лапки – их много, оказывается, у меня. Я сворачиваюсь в замечательный по самоощущению пушистый клубочек и ничего не желаю знать – какая-то там девушка в сером плаще... новый способ массового уничтожения людей... Я Гусеница Облачного Кокона, и мне нет дела до земных тревог и забот, я ничего не знаю о них, и все мои тайные надежды связаны только лишь с тем, куда летит облако – в каком мире изольёт оно меня из своего сытого молочного чрева.

И вот Гусеница Облачного Кокона встрепенулась, что-то почуввав, но, не успев сосредоточиться в своём внимании, она уже вылетела в разверзшийся перед нею синий простор – и уже была не пушистой мягкой гусеницей, а хрустальной каплей дождинки, летящей в поднебесье. Однако недолго ей пришлось кружиться в хороводе себе подобных дождинок по ветренному простору воздушных пустырей – капля летящей воды превратилась в святающееся пространство яркого солнечного дня на побережий Охотского моря, и кто-то

созерцал морскую даль с высокой сопки, и в синей, словно бы размытой у горизонта, глубине моря висел тёмной соринкой плывущий кораблик.

Ему было девятнадцать лет, созерцающему море, и он хотел бы сейчас сказать всему миру, что когда-нибудь станет на его вершине, и все люди увидят, как замечательно и прекрасно то, что лежит сейчас в левом нагрудном кармане его солдатской гимнастёрки. А там лежала записная книжка со стихами, автором которых был этот солдат-юноша. Резким ветром с моря выдуло слезинку, и он утёр пальцем уголок левого глаза, Купряшин была его фамилия, он служил в армии в погранвойсках, и этот день, когда он был в дозоре и видел пароходик, висевший в голубом воздухе на дальнем краю неба, совершенно им забудется, но сам светозарный день, одаривший мириады жизней своей энергией, запечатлится на календаре вечности в виде извилистой голубой линии.

Загадкой этой линии – значением и зашифрованным смыслом его символа будет постоянно занят ум горбатого старичка, читателя иератических знаков в нерукотворных небесных книгах – всю жизнь смотрел на сочетания звёзд и планет как на особенного рода священные письма, смыслом своим обращённые к разумным землянам, дни которых под голубым небом, развёрнутые на экране времени, для инопланетного созерцателя веков предстанут в виде извилистой светящейся линии сапфирного цвета.

Но разгадать огненный смысл далёких звёздных надписей за срок ничтожной человеческой жизни было невозможно, и человек, ставший горбатым от постоянного сидения перед домашним телескопом, начал понимать к концу своей жизни, что даже смысл одной голубой строки в космической книге бытия скорее всего ускользнёт от него. И этот старик в замшевой кепке, с огромным портфелем, едва не волочившимся по земле, переживал миг острейшей душевной боли, когда встретился мне у остановки троллейбуса. Метнув на меня сильный, но мгновенно ускользнувший в сторону взгляд неистовых глаз, тоскующих не о человеческих скорбях, старец прошел мимо и навсегда исчез вместе с замшевой кепкою и огромным потёртым портфелем, исчез, чтобы оказаться мною самим, летящим дождевой жемчужиной по поднебесью, водяной каплей, в которой был заключён один из неизвестных голубых дней земного мира, где поэт-солдат сочинил новые стихи, с помощью которых он надеялся взлететь к вершине мира.

Уткнувшись в передний свой горб подбородком, исследователь иератических небесных знаков скорбно потупился, сидя у телескопа на чердаке, ибо ему стало неимоверно печально, что столько образов промелькнёт в недлинной строке земной истории на одной лишь страничке галактики, и среди всего этого небесного хоровода затеряется образ человечества, выбежавшего из отчего Леса на поля своих бесплодных цивилизаций. Да, боль в моих обоих горбах, переднем и заднем, была невыносимой, и чудовищные, навязчивые видения, сопутствующие этим мучительным страданиям, совершенно поработили мой дух.

Горбатый старик звездочёт и нежный гимназист с бледным лицом, тоненький и вялый, как пророст картофельный в тёмном погребе, где не бывает солнца, – гимназист и студент политехнического, впервые посетивший дом свиданий с продажными девками на Трубной улице, инженер мукомольной промышленности, от которого сбежала красивая жена к своему любовнику, аккордеонисту из санатория для работников Наркомпроса, домашний астроном и чердачный мыслитель, устроивший под железной крышей многоэтажного московского дома любительскую обсерваторию и после бегства жены проводивший там большую часть своих одиноких ночей, – я стал горбатым в сорок лет, и те наросты, что вспухли спереди и сзади моего искривлённого тела, вместили в себя всю боль неудач моей жизни. Я осознал через эти вздувшиеся опухоли моего уродства всю беспощадность, верное, всё железное безразличие Того-Кто-Даёт-Разум, потому что это и на самом деле так: разум нам кто-то даёт. Мы получаем его из какого-то невидимого хранилища или склада, и пусть кладовщик обладает какими угодно замечательными качествами, но в одном он ничем не отличается от обычного чистопородного кладовщика моих времён, прозаического существа с бумажками накладных в руках. Он даёт разум человеку, не глядя ему в лицо, точно так же как и кладовщик, отпускающий товар по накладной, смотрит в бумажку, вытаращив глаза,

шевелит ртом, что-то бормоча про себя, а на тебя и не смотрит, потому что ты для него ничто по сравнению с товаром, обозначенным в документе. Он циник, считающий товар безмерно выше получателя.

А я бы на его месте не давал разум тому, кто уродует свою руку, запуская её в жерло вулкана, чтобы вынуть оттуда некий светящийся шар – не надо было давать прометеев огонь в такие руки, которые слабы, сгорят сами и уронят ком священного огня. Когда мой Лес сгорит от этого огня, кому же следующему циничный Кладовщик отмерит своего божественного товару? Если МЫ и Я утратим обличья прекрасного Леса и божественного Человека, то какой же вид примет то самое в нас, что не сгорит и не подвергнется смерти? Была игрушка замечательной, и упоительная игра длилась немало времени – но стоило ли Тому-Кто-Даёт-Высокий-Разум относиться со столь железным безразличием к участникам этой славной игры?

На его месте я не открыл бы мысли тому из моего Леса, который использует возможности вдохновенного мышления на потребу своим мелким и низменным желаниям. И ещё я не дал бы разума тем несчастным из моих деревьев, которые с упорством, достойным лучшего применения, начинают докапываться до причин, почему жизнь бессмысленна и зачем смерть обязательна, тем, которые волокут свою душу на помойку тоскливейших проблем, называемых вечными, и сами постепенно превращаются в выброшенную сволочь, во что-то немисливо несчастное и безнадежное, вроде тех всегда мокрых, мёрзнувших крыс, которые плавают в сточных водах городских клоак в глубоком бетонированном подземелье. Да, не нужно было давать разум таким, как я, не приемлющим холодную гармонию небес – не потому, что не видят её, а потому лишь, что от всей души проклинают её.

Выпадение своё из общей системы вселенских закономерностей Николай Николаевич Тураев воспринял как рождение – смерть – свободу, переход в такое качество бытия, которое было равносильно небытию и при котором исчезало всё человеческое – событийное. А Глеб Тураев то же самое определил как вхождение в заключительное состояние духа, каковой через всё своё развитие подошёл к моменту истребления самого себя – и я не могу определить, кто из них более прав. Потому что, воплощаясь в деда, я вкушаю густую полынную горечь ничем не разбавленного абсолютного одиночества, и это хорошо содействует росту и укреплению во мне зыбкого, как миражи пустынь, мечтательного равнодушия к реальному злу человечества. Переходя же в духовность внука, я весь напрягаюсь во внимании, озлобляюсь и настораживаюсь, чтобы не упустить тот самый последний и самый важный для всего моего существования миг, когда я смогу прекратить эту безмерно длинную цепь гнетущих часов жизни одним ударом, в который вложу чувство великой правоты, истинности, торжествующей победы. Моя погибель на земле, где я появился и возрос по воле Того-Кто-Даёт-Жизнь, может быть достойно отмечена тем мечтательным равнодушием, что познал я через Николая Николаевича, который в одну секунду выпал из всеобщих условностей человеческого мира и с тех пор стал мечтать не о том, что будет или может быть, а о том, чего никогда не будет. Моё полное исчезновение может сопровождаться и тем головокружительным ощущением нового пути, который откроется сразу же вслед за неощутимым нажатием пальца на спусковой крючок автомата, или после того, как этот же палец прикоснётся к кнопке пускового устройства межконтинентальной ракеты. Кинувшись ночью в колодец или в холодную осеннюю реку, бросившись вниз с подоконника одиннадцатого этажа, впрыснув сквозь пустотелую иглу шприца смертельного яду в руку, я, может быть, сумею преосуществить в действие и в поступок своё страстное желание не жить. Но мне, как и Степану Тураеву, только что вытянувшему из колодца свою дочь Ксению, непонятно, что же будет дальше – вслед за этим беспощадным действием и непостижимым поступком любимого дитяти.

Степан сидел возле колодца и гладил во тьме свою собаку, лохматого нестриженого фокстерьера, который жался к коленям хозяина, а горбатый старик, который не был горбат к тому времени и вовсе ещё не был стариком, прилаживался к окуляру своего самодельного телескопа, готовясь всю остальную жизнь посвятить наблюдению за космическими телами в

считаю, что предаю её. Хорошо понимаю: когда свинцовой картечью снесёт мне половину черепа, я не испытаю никакого удовлетворения, потому что в каждом осколке кости, в каждой капле разлетающейся по воздуху жижи моей будет содержаться всё та же моя неизбывная горечь: Я ОДИНОЧЕСТВО. И всё же я доведу до конца то, что собираюсь сделать, потому что ничего другого для меня не остаётся. По-другому не выйдет, ибо всё кругом, на что ни брошу взгляд, – на каждом шагу всё, что встречается мне, подтверждает правоту моей простой догадки.

Когда я шёл из деревни на кордон, тракторист пахал поле, выворачивая лемехами мощных плугов толстые пласты земли – и он, в серой телогрейке, краснолицый и сосредоточенный, приуготовливал погибель этой серозёмной почвы, истощённой Деметры Нечерноземья. Потому что со всей мощью механизированного оратая совершал всё же работу могильщика, старательно погребал под слоем вывернутого наверх мёртвого песка тоненький слой жизненного гумуса. Я прошёл мимо – не мне было учить тракториста пахать. Дорога далее шла через лес, мимо огромной вырубki – и там выглядело так, словно на этом месте взорвали небольшой мощности атомную бомбу: вся земля была содрана, корявые пни со спутанным корневищем вздыблены, полуповаленные чернотвольные ели косо торчали оборванными вершинами к небу. Тяжёлыми колёсами лесовозов были выбиты такие страшные колдобины и рвы, что живая дорога, по которой когда-то Николай Николаевич ездил от лесной усадьбы к деревне, была изнасилована, обезображена и убита. Всё в мире подвергалось желанию уцелеть и защитить своё странное появление из небытия – вся печаль мира была в этом.

Глеб Тураев прибыл в последний раз на лесной кордон к концу лета, – и вот он у раздвоенной сосны опустился на колени, поставил перед собою наклонно, прикладом в землю, егерское ружьё, упёрся подбородком в двудырчатое дуло и, протянув вперёд руку, хотел нажать на спусковой крючок. Но это оказалось не очень-то удобно, приходилось сильно тянуться, нарушался надёжный прямолинейный упор ствола в шею, под челюстью. Тогда он отломил от сухой сосновой ветки, валявшейся рядом, рогатую палочку и ею ровно и легко упёрся на изогнутый крючок спуска – и тут увидел своего отца, который появился возле раздвоенной сосны, отец был без своей неизменной тёмной кепки, в старом пиджаке, продранном на локтях, с нашитыми вкосяк разными пуговицами, и седая голова его, коротко стриженная, беспокойно вскидывалась на вытянутой жилистой шее – он осматривал вокруг поляну, край леса и приближался быстро к сыну, ещё не видя его.

Степан подошёл почти вплотную к раздвоенной сосне и только тогда заметил сидящего под нею Глеба, который читал книгу, сын поднял голову на звук отцовых шагов и – сначала рассеянно, потом всё с большим нарастающим вниманием – глядел на приблизившегося старика. Как изменился он, ходит -горбится, и эта совсем белая голова, – неужто всё ту же церковную книжечку читает, которую в сарае нашёл, подумали одноминутно отец с сыном. Степан остановился и пасмурно, спокойно глядя на сына, молвил нечто совершенно обыденное, что никак не соответствовало тому тревожному виду, с каким он только что поспешно шёл через поляну: мол, каша готова, почему сын есть не идёт, давно пора обедать. Глеб только что вчитывался в главу о Преображении и думал о том, что, пожалуй, без Преображения невозможно было последующее развитие христианства. В деревне был, передали письмо от Ксении, сообщил сыну старик, а вот Антон уже год как не напишет, равнодушным голосом посетовал он.

Да, если бы не это предстание в небесной славе в глазах учеников и чудесное преобразование утлого человеческого существа в ярчайшее световое тело, в космическое явление высшего разряда, вряд ли слабые души апостолов выдержали впоследствии обыкновенное человеческое поражение и позорный конец своего Учителя на деревянном кресте. Ксения пишет, продолжал между тем старик, что в конце августа сможет приехать, заодно поможет убрать картошку, так что в июле я с тобою не поеду, да и что мне делать в городе летом... Повидался с тобой, и будет с меня. Отец... Воспоминание о Славе Отца помогло ученикам его преодолеть самый убийственный факт жалкой смерти Того, кто

обещал им царство божие ещё при их жизни – и с того времени прошло почти две тысячи лет.

Какие-то невнятные тени промелькнули под сенью высоких сосен, стоящих по дальнему краю поляны, старик и его сын безмолвно обернулись в ту сторону и вгляделись – тени прошли неровным строем и вскоре растаяли в синеватом воздухе лесной полумглы. То были пленённые татарским воинством русские люди, мужчины, женщины и дети.

Среди ведомой в единой связи предлинной – о две сотни человек – живой людской цепи шли два предка Тураевых, тоже отец и сын. Через некоторое время, пройдя часть дневного перехода, колонна будет посечена почти наполовину своего состава, и отец в суматохе бросится на землю, притворится мёртвым, и сына уведут дальше, а к лежащим на лесной дороге окровавленным трупам выйдут псы-людоеды. Одна из одичавших собак, тёмно-рыжая, лохматая, громадная, как медведь, подойдёт близко к мнимому мертвецу. Но пока этого ещё не случилось, и псы бесшумно крадутся вослед печальному каравану, вынюхивая на тропе следы своих уводимых в плен хозяев, а измученный отрок, чьи руки стянуты за спиною, с тоской глядит на лохматый затылок своего родителя и, не вынося больше муки, ломким голосом взывает: "Тятя!" Отец не приостанавливается и не отвечает, его шея также захвачена грубым вервием и притянута, как и у каждого в цепи, к связанным рукам впереди идущего. "Тятя, родименький, больно", – плачет на ходу, спотыкаясь и дёргая верёвку, соединяющую его и длиннородого старика сзади, которой от рывка за шею только кряхтит терпеливо и шёпотом стенает: "Господи! Спаси и помилуй христиан! Чего ж ты не заступисе..." И хотя отец не отвечает мальчику, сын видит по тому, как клонится знакомая голова родителя и напрягается его шея, что тот всё слышит и испытывает великую душевную муку. Отроку не делается легче от этого, но всё же вид скорби молчащего отца, его неровная поступь с низко опущенной на грудь головою как-то утешительны для детского сердца. От этого плачущего мальчика будет продолжение во времени той человеческой веточки, которая даст дворянский род Тураевых: на татарской чужбине полюбится он одному князю, который вырастит его на свободе, как своего сына, назовёт его Тураем и потом назначит его баскаком – управляющим над тем округом, откуда мальчик был уведён в плен. От него родятся сыновья Хаким и Назар, от Хакима, или Акима по-русски, будет целых двенадцать сыновей и четыре дочери. Назаровы дети тоже окажутся не в малом количестве – шесть дочерей и два сына, Ерёма и Фока, от которых, соответственно, было по три и четыре сына: Лука, Демьян, Пармен, Силантий, Глеб, Сысой, Саввушка, Тит, от последнего Игнашка и Милован, от Милована Григорий, Михаил, Родя...

Все эти тени, мелькающие в моих глазах, обретают смысл бытия и жизнь только в том случае, если будут расположены в стройном порядке и надлежащей последовательности во времени, что и создает рисунок большого родового древа Тураевых. Степан Николаевич Тураев, прибежавший с непокрытой головою к двурогой сосне на краю Колиной поляны, на самом деле искал сына Глеба не для того лишь, чтобы позвать его к столу, съесть хорошо упревшую в русской печи рассыпчатую пшённую кашу, – нет; старику, прикорнувшему на тёплой лежанке этой печи после ночной охоты и на несколько минут уснувшему, приснился очень неприятный сон. Будто Глеб, гостивший у него, взял тайком шведское ружьё, подарок другого сына, Антона, и отправился на край Колиного Дома к двойной сосне, чтобы там без помех застрелиться. И во сне Степану Николаевичу все мотивы для подобного решения сына были хорошо известны. Пробудившись, Степан, ни секунды не медля, соскочил с печки и отправился искать Глеба, и нашёл его там, где искал, но только не упирающим дуло ружья себе в шею, под нижней челюстью, чтобы с помощью рогатой палочки спустить взведённый курок, как было во сне, а увидел его с книгою в руках, внимательно и спокойно глядящим в его сторону. И то, что он сообщил сыну о письме Ксении, кроме прямого смысла имело и скрытый, касающийся глухой тревоги отца по поводу её давнишней попытки самоубийства: дочь собирается приехать, ей уже под тридцать лет, она не замужем, что может ещё выкинуть одинокая баба, которая в девятнадцать лет пыталась утопиться в колодце? Бессильная тоска мгновенно захватила душу отца, которому было неизвестно, как спасти

своих детей, убийственная тоска отчаяния, которая наполнила мукой последние часы жизни и Степанова пращур, когда татарский конвой подгонял колонну пленных к месту кровавой расправы.

Не мог Степан Тураев поведать сыну об этой неизбежной тоске, она протянулась через века времён сама по себе, живая нить душевного страдания, на которую были нанизаны самые разные люди, бывшие, в сущности, одним человеком, состоящим из различных человеческих существ, большинству которых никогда не встречаться друг с другом. И каждый из них, не ведавший остальных, по отношению к ним является тенью, и все они были тенью друг для друга. Смотрел Степан на дерево, под которым более трёх десятков лет назад и он сидел, прислонясь головою к корявому стволу, кряжистому у корня, наверху же разбегающемуся двумя стройно прогнутыми гладкими рогами золотистого цвета. Он ждал тогда смерти, обыкновенной человеческой смерти от ранений, болезней, от полного истощения телесных и духовных сил, а теперь сын его сидел там же и хотел того же, и смотрели они друг другу в глаза, и разом отводили их в сторону, как бы стараясь скрыть то, что было так понятно каждому.

А подходивший всё ближе к поляне, где будет кровавая расправа, пращур их вслушивался в протяжные крики конвойных татар, чуя в них что-то новое, какое-то зловещее оживление, и сын его, будущий Турай, ощутил в зримом в двух шагах затылке отца какое-то чрезвычайное напряжение, так же как и далёкий потомок его, Глеб Тураев, увидел в облике отца, остановившегося перед ним, признаки сильного душевного смятения. Между ним и отцом произошёл безмолвный откровенный обмен взглядами, и первым отвёл глаза в сторону Степан Николаевич, чего это он взялся читать божественное, подумал он о сыне, который тоже потупил глаза, переводя взор к своим коленям, где лежал раскрытый дряхлый экземпляр Нового завета. Мой старик совсем сдал, надо его обязательно забрать в Москву, решил он и, захлопнув книгу, поднялся с земли, укрытой толстым слоем сухой иглицы. Нет, надо будет мне всё бросить и переехать сюда к нему, а то ведь он в город не поедет, подумал он, – хоть перед смертью поухаживать мне за отцом, а то ведь умрёт в лесу совсем один, как старый лось.

Но Глеб тогда не бросил всё в городе и не поселился у отца, чтобы жить с ним в лесу и допокоить его старость, так же как и Степан не принял его приглашения жить в Москве и как пращур их не обернулся к сыну, чтобы взглянуть на него в последний раз: уже раздались предсмертные вопли по всей длинной колонне пленных, началась сеча безоружных и связанных мужчин, которые никуда не могли убежать и лишь, мечась в отчаянных порывах из стороны в сторону, валили наземь снизанных вместе с ними женщин и подростков.

Когда Степан Тураев, падая на серый мох под молодыми соснами, бросил последний взгляд на зелёную лесную поляну, Глеб Тураев в своей московской квартире, совершенно не думавший в эту минуту про отца, вдруг увидел его перед собою таким, каким он являлся однажды возле раздвоенной сосны: в старом пиджаке, с седой непокрытой головою, ссутуленный. Только на этот раз отец не был спокоен. "Ты зачем Ирине про бабу-то свою новую не рассказал?" – спросил сердито отец, на что Глеб отвечал, приходя в себя от глубокой задумчивости: "Ты не в своё дело не вмешивайся, отец", – после чего старик резко повернулся и молча вышел из комнаты. Вслед за ним вышел и Глеб, удивлённый тем, что он не заметил того, когда приехал отец, – на круглых часах в прихожей был уже второй час дня. Но и на кухне, и в свободной комнате отца не оказалось, его совсем не было в квартире, и вообще никто в этот выходной день к ним ещё не приходил. Чтобы окончательно увериться в этом, Глеб вынужден был обратиться к жене, с которой до этого имел напряжённый и странный разговор, закончившийся ссорой, – она на вопрос его не ответила, хотя, лёжа на широкой кровати, укрытая клетчатым пледом, вовсе и не притворялась спящей.

...Тогда, в последний свой день, Степан Тураев с трудом выполз из дома и, опираясь на случайно оказавшуюся под рукою палку, пошёл через всю поляну к раздвоенной сосне. Как будто ничего не было между тем днём сорок пятого года и этим, только тогда он плевался на мох кусочками крови, а теперь, хватая воздух широко раскрытым ртом, Степан чувствовал

такую сильную боль с левой стороны груди, будто обжѣг там электричеством, – и вернулась к нему смертная готовность давнишнего времени. Но, может быть, и действительно ничего не было – не прожил он никаких сорока лет, не женился никогда, не имел детей, и он сейчас дойдёт до сосны, сядет под нею и отхаркнет на зелёный мох алый студенистый кусочек. В одном была полная несомненная ясность: он бредѣт, пошатываясь, через эту поляну к двурогой старой сосне, чтобы там, у её подножия, принять то, что у людей называлось смертью. Поэтому он и не хотел никуда уезжать отсюда: долг умереть под сосною повелевал ему побеждать все отвлекающие соображения и задушевные чувства – например, желание хоть раз повидать внуков, живущих в городах.

Значит, всё-таки есть у него внуки? Были, значит, и эти сорок лет жизни, которых как бы совершенно не было? Степан Николаевич обнаружил в себе ещё одно никогда раньше не осознаваемое им чувство: _ничего не было жаль_, потому что вся жизнь неизвестно куда улетучилась к тому мгновению, когда он, сдерживая боль в груди, шѣл к раздвоенной сосне и потом, стоя возле самого дерева, протянул руку, чтобы коснуться ствола. Татарин подскакал и с ходу обрушил свистящий меч на склонѣнную голову длиннобородого старца, шедшего на привязи вслед за мальчиком, и старец упал меж спутанными верѣвками, полузадушенными, бьющимися на земле телами. Степанов пращур тоже повалился среди них и, весь измазанный чужой кровью, закатил глаза и оскалил зубы, – не просто притворился мѣртвым, а как бы на время действительно превратился в мертвеца.

Когда Степанов пращур очнулся, то увидел в двух шагах от себя лохматую бурую зверину, слизывавшую кровь с шеи старика, вся борода которого была вымазана этой кровью и слиплась в длинную красную сосульку, – но в следующий миг уже не было никакого зверя, лохматой собаки, а удивлѣнные конвойники подошли и окружили Степана, слегка попинывая, с трудом веря тому обстоятельству, что столь основательно изломанный прикладами труп мог ожить. И теперь они снова примутся пинать его ногами, обутыми в сапоги с короткими голенищами, с железными подковами на подошвах, бить полуметровыми резиновыми шлангами, но всё равно должно пройти больше сорока лет, чтобы пришло это ясное последнее чувство – _не жаль ничего_. И Степан не понимал на протяжении всех сорока лет, дозволенных ему судьбою для проживания главного срока своей жизни, зачем ему это надо было – он ни у кого жизни себе не просил. И четыре десятилетия выданы были не ему, в сорок пятом году пришедшему умирать на Колин Дом, а кому-то другому, но, может быть, и никому – просто не было ничего этого, и мелькнули какие-то тени на опушке леса, и шевельнулась хвоя небольших ёлок, растущих там.

Убежавший вместе со своей собакой Басеем пращур Тураевых, умевший столь искусно притворяться мѣртвым, чему он научился у лис и барсуков, вышел вскоре к пепелищу своей деревни, остатки которой дымили на земле безобразными грудями горелых брѣвен. Остановившись в сокрытости густолесья, беглец настороженно осматривал закопчѣнный пустырь, позади которого светилась чистой зеленью просторная пашня. И только он хотел выйти из леса, как был остановлен странным рычанием и одновременно щенячьим повизгиванием Басея, вслед за чем собака попятилась, повернулась и нырнула под ёлки, тѣмные лапы которых качнулись и прикрыли след исчезнувшего пса. Настороженный беглец вновь обернулся к пепелищу деревни – и тут увидел движущиеся над нею светлые тени, едва читаемые в воздухе, такие же расплывчатые, как этот дрожащий над чѣрным пожарищем дымный воздух.

Находясь между смертью и жизнью, пращур тураевского рода узрел над дымной гарью длинным строем двигавшуюся толпу людей и порешил, что это души убиенных татарами христиан идут смиренной ватагой в сторону царства небесного; и, пожелав себе такой же участи, люто позавидовав недавним землякам своим и родичам, кои были все вместе, душа человека вновь от жизни иступлѣнно метнулась к смерти.

Там на выходе из леса к деревенскому лугу шагах в семидесяти от конной тропы вправо таилось среди зелёных кочар бездонное болото, окном гладкой воды к небу, в безмолвии окружавших этот гиблый тряс ёлок и ольховой черноты – туда и понѣсся со всех

ног тураевский пращур, торопясь скорее, скорее догнать шествие душ, которым было вовсе не страшно жить и ничуть не одиноко, ибо они привычным миром, артельно шли на суд божий. И тот, кто остался цел благодаря искусству притворяться мёртвым, мгновенно позабыл обо всех стараниях своих ради живота и с разбегу, не замедлив, но ускорив своё одинокое продвижение к концу жизни, прыгнул вперёд и пролетел над верхушками трав и обрушился на кроткую гладь болота всей грудью, и лицом, и распостёртыми в стороны руками. Он не сразу исчез под водою, ибо она прикрывала бездонную толщу жидких грязей всего лишь на пядь, он побарахтался в сверкающей чёрной жиже, извиваясь, словно бобр на поверхности омута, – принимая муку. А когда эти муки закончились, душа его оказалась там, куда она стремилась.

Позабыв о своих отчаянных попытках многовековой давности, она не задавалась вопросами, почему ей не стало лучше и почему оказалась вновь в плену – опять её с проклятиями гнал конвой по безрадостной дороге, на сей раз по зимней. Колонна призраков иного века, проходившая над тем местом, где когда-то жила-была и потом дотла сгорела древнерусская деревушка и над которым сомкнулся мой Лес, – колонна оборванных, со страшно обмороженными лицами, сгорбленных людей в дырявых шинелях болотного цвета была колонною немецких военнопленных, пригнанных в Мещеру на лесозаготовительные работы.

Самоубийца, устремившийся от одинокого страха жизни в погоню за толпою родственных призраков, не заметил своего переселения в Ральфа Шрайбера, когда-то солдата, а ныне военнопленного из бывшей армии бывшего вермахта, – так же и Ральф Шрайбер, когда прорастёт из мещерской земли стройной сосною, не будет знать о своём грустном прошлом. А в тот миг, когда покачнулась подрубленная им ель, в которой возродилась уже пятым разом душа того, кто захлебнулся в болотной трясине и затем пять веков подряд возрождался только и только елью, – когда узкая верхушка дерева, вздрагивая, пошла в сторону и затем, страшно ускоряясь в своём пролёте, столетний кряж стал падать среди тоскливо замерших соседей, Ральф Шрайбер, стоявший с топором в руке, запрокинув голову, обмотанную запасными портянками и сверху накрытую военной пилоткой, – Ральф не заметил ничего особенного, только на мгновенье почувствовал тупой укол где-то в недрах правого плечевого сустава с отдачею в шею. Это от работы болит плечо, успокаивая себя, подумал Ральф, и вдруг накрыло его внезапное душевное смятение небывалой силы.

В мирное время столяр-краснодеревщик, весёлый человек с незлобивым характером, Шрайбер доселе и не ведал подобных чувств. Но непредвиденное свершилось, и Ральф Шрайбер ощутил лютейшую тоску, сразу отбросившую весёлого краснодеревщика из Потсдама в мир существ, у которых оскал тоски, злобы и улыбки невероятным образом выражает надежду выжить, уповая не на Христа, или деву Марию, или на каких-то других богов, а всего лишь на клочок мёрзлой свиной кожи, которую удалось выменять у местного крестьянина на изделие из можжевельника – вычурную тросточку с рукоятью в виде изогнутой нагой женщины. Новая тоска была для сознания Шрайбера недоступною в её определении, и она выражалась в крайних, невыносимых мучениях души, которая как бы вступала в непримиримую борьбу со всем тем, чего желало и жаждало тело. Он оглядывал зимний лес, стоявший над снегами и словно вымазанный тусклыми красками, и ему было так дико и бесчеловечно, что сразу стало ясно: из этого состояния путей назад, к прежнему существованию, нет. Конвойный Обрезов, мелькавший за деревьями, возле синего дыма костра, не знал того, что ему предстоит сделать всего через пять минут.

Сущность самоубийства состоит в неодолимом стремлении к *возвращению*. Тураевский пращур хотел вернуться от последних пределов своей жизни, овеваемых чёрным дымом пепелища родной деревни, к другим пределам, где были и милые сердцу люди, и привычная ищущему взору картина родной деревни. В душе немца Ральфа, куда сошла с падающей ели неутолённая в веках ностальгия тураевского пращура, мгновенно возникла неодолимая страсть вернуться к утраченному раю, к своему деревянному дому – и дорога к нему открылась вдруг совершенно ясная и простая.

Был в конвойном наряде сержант Обрезов, на него и надеялся Ральф Шрайбер. Этот Обрезов уже собственноручно застрелил не одного пленного, якобы при попытках к бегству, и известен был тем, что съедал за один присест весь дневной запас жиров, предназначенный для двухсот пятидесяти военнопленных. Он же забирал все крупяные продукты, зимнюю одежду, инструменты из склада лагеря и, погрузив всё это на сани, отвозил в соседние деревни, откуда привозил для конвойной команды самогон в молочной фляге... Когда Ральф, не приступая к обрубке сучьев, перешагнул через ствол поверженной ели и по просеке направился к чащобе нетронутого леса, сержант Обрезов хриплым голосом окликнул его.

И на этот раз, когда Обрезов поднял на уровень плеча тяжёлую длинную винтовку и она выпалила снопом мгновенного огня и грохота, словно старинная пищаль, – догонная пуля попала немцу в затылок и вылетела сквозь правую надбровную дугу, пробив в ней большую дыру. Чтобы перейти на пролетающую мимо снежинку, покинув падающее истощённое человеческое тело, и на этом пушистом парашюте плавно спуститься на землю, а там и слиться, затеряться в сонме других снежинок, а весною растаять и в капельке воды проникнуть в сосновую шишечку, под её чешуйчатый панцирь к семенам, приготовившимся пустить ростки – на это не понадобилось душе никаких особенных усилий, кроме тех, которые и необходимы ей для перелёта с плеча погибшего человека на зубчатое колёсико летящей мимо ледяной звёздочки.

Туча, пролетавшая над Потсдамом летним днём 1986 года, излила вместе со всем щедрым ливнем и одну крохотную водяную дольку, в которой содержалось несколько атомов душевной тоски и колющей боли в недрах правого плеча, чем были отмечены последние минуты жизни Ральфа Шрайбера на лесной мешчерской земле. Под террасами парка, расположенного вокруг дворца Сансуси, проходила худощавая немолодая женщина с поникшими плечами, с аккуратно завитой головой и ярко подкрашенными губами, и женщина эта, дочь Ральфа Шрайбера, работающая в музее, озабоченным взглядом провожала ход дождевых туч в небе. Ей не дано было знать, что в нескольких тысячах тонн воды, что изольётся на Потсдам и его окрестности, будут содержаться наконец-то долетевшие до своей родины разрозненные атомы страданий её отца, который погиб в плену, на лесных разработках в Мещерском краю срединной России. С удовлетворением думая о том, что она всё же взяла с собою дождевой зонт (так, на всякий случай, а теперь он, кажется, весьма будет кстати), женщина на торопливом ходу, отличающем её деловитость от подчёркнутой праздности мимо идущих туристов, пережила мгновенный отголосок особенной могущественной тоски. Когда она обнаружила, что в уголке её глаза набухла необъяснимая слезинка и сердце сжала совершенно беспричинная боль, – женщина остановилась и, отвернувшись к куртинам ярких цветов, старательно посаженных садовниками вдоль аллеи, вынула из сумки зеркальце, носовой платок, губную помаду – привела себя в порядок, заново подкрасилась и поспешно зашагала дальше.

Ральф же Шрайбер и двести пятьдесят его союзников лесного лагеря стали тенями для тех, что сами станут тенями по истечении определённого времени; и причина того, что лишь тени властвуют над добром и справедливостью на земле, крылась в том, что, будучи ещё телесными, грядущие тени и тени теней совершали какой-нибудь реальный поступок, после чего для них исчезал путь к дальнейшему совершенствованию. Механизм уничтожения души был прост – она подводилась к необходимости совершить какую-нибудь конкретную подлость, после которой человек вдруг ясно чувствовал, что ему незачем жить на свете. Если бы даже тот кусок сырой свиной кожи, размером с мужскую ладонь, Ральф Шрайбер мог отдать Мартину Кристельбрудеру, тот всё равно уже не вышел бы из состояния дистрофической апатии. И кожу Ральф не отдал Мартину, а сварил в котелке и съел сам, на глазах у сидящего рядом на нарах, неподвижно и странно глядящего на него соседа по нарам. Ральф прожевал и проглотил хорошо проварившуюся мягкую кожу вместе с торчащей из неё щетиной, затем выпил весь бульон до капельки – Кристельбрудер не сделал ни малейшего движения во время всей этой акции. Мартин Кристельбрудер молча сидел и смотрел, как делал он уже на протяжении двух недель – не выходил из барака, не становился в строй

рабочих, собиравшихся выйти на лесоповал, оставался в лагере и, значит, не получал той порции горячей пищи, которую готовили в полевой кухне, один раз за день, из остатков продуктов, которые сержант Обрезов не успевал съесть сам или свезти в деревню.

Однажды Кристельбрудера таки погрузили на деревянные салазки и увезли двое добровольцев: закоченевший доходяга уже несколько дней лежал без всякого движения, лишь редко вздыхал сквозь оскаленные зубы, а в этот день, придя в темноте вечера с работы, зажгли керосиновый фонарь и увидели, что бедняга уже готов и дышать перестал. Кристельбрудера увезли, а Ральф Шрайбер, его сосед по нарам, проснулся утром от холода, стоявшего в бараке, и, обернувшись нечаянно, увидел сидящего на старом месте соседа. Ральф не посмел никому признаться в том, что ему мерещится призрак: уставясь неподвижными глазами из пещер черепных впадин, завешенных густыми свисающими бровями, Мартин внимательно и загадочно смотрел на суетившегося соседа. Вечером тень была на своём месте – и так продолжалось несколько дней, пока не пригнали новенького, повара из мытищинского лагеря военнопленных, – и место на нарах занял пожилой Шульман.

В последнюю минуту жизни, когда Ральф с топором в руке шёл через открытую вырубку к чащобе леса, он обводил внимательным взглядом строй тёмных елей, ожидая увидеть где-нибудь между ними затаившуюся сутулую фигуру, но Мартина Кристельбрудера он не увидел, а, как только пуля пробила ему затылок, увидел бегущую, надвигающуюся на него чёрную громадину какой-то звериной туши, мелькающую меж стволами сосен на просвете едва синеющего ночного неба.

Однажды утром сосна, которую спилил бензопилою Степан Тураев, пала верхушкой меж двух берёз и зависла, и дерево, когда-то родившееся взамен погибшей души немецкого военнопленного Ральфа Шрайбера, передало свою тоску Степановой душе, и в последней зашевелились, прорастая, какие-то неведомые ранее, страшно далёкие, неуправляемые чувства. Степан вырубил берёзовую вагу, стал подводить конец под комель зависшего дерева, чтобы шевельнуть его, – и здесь он почувствовал, что сильно кольнуло в правом плече и отдало в шею, он выпрямился и, опираясь на берёзовую жердь, стал пережидать, но не сразу прошла боль. За те минуты, что Степан празднично стоял, глядя куда-то в пространство перед собою, он пережил лагерное томление весною, когда все те, кому удалось уцелеть в зиму, начали отогреваться в тепле солнца, и многие из них, утерев жёсткую и постоянную деятельность для сиюминутного выживания, расслабились и начали пристальнее вникать в своё несчастье. Это сразу повлекло за собою массовые болезни, и общий мор, приостановившийся было к концу зимы, после таяния снегов обрёл ещё большую силу.

Степан только сейчас почувствовал, – что всякое представление о достоинстве не то чтобы менялось, а вовсе исчезало, и сознание приходило к такому пониманию человеческого существования, что оно только в снах, неведомо кому принадлежащих, видится прекрасным, божественным, возвышенным, а на самом деле, безотносительно к этим снам, оно ничуть не значительнее и не прекраснее, чем жизнь у серых крыс. Для такого постижения не надо было сложной науки – достаточно с тоскою вялого умирания в крови, в костях, во всех жилах и связках тела проползти по вытоптанному до каменистой гладкости двору концлагеря, пытаясь найти где-нибудь в узеньких щёлках земли шнурочек ещё не выковыренного корешка. Крупные крысы с красивой, гладкой шерстью, весьма бодрые и самоуверенные, часто встречались на пути ползущего человека, и действительно ему становилось совершенно ясно, что у крыс жизнь намного вернее, чем у людей, ибо для последних особенную муку существования перед очевидным концом составляли тысячи ядовитых укусов поруганной совести, страдания от сознания собственной низости, боль за тех, кого приходилось любить, обида за то, что добрый Бог со всем Своим добром и милосердием оказался бессильным перед мордастым сержантом конвоя.

Степан Тураев не заметил того, что в мире его духовности появилась фигура, впервые созерцаемая им посредством внутреннего видения: незнакомый Степану сержант Обрезов на секунду предстал перед ним, словно один из многочисленных мучителей в его прошлом,

которых душа запомнила как одно общее лицо исчадий ада, – боль в плече медленно отпустила, и Степан Тураев вновь взялся за рычаг из берёзовой жердины. Он сдвинул комель спиленной сосны – пружинисто выгнутая вершина её сорвалась из зацепы и, сламывая свои и чужие ветви, рухнула вниз. Сосна окончательно погибла, пала на землю, и Степанова душа, воспринявшая заботы, страхи и тяжкий крест чужих судеб, переданные ему павшим деревом, ощутила некий тёмный гнёт, и человек принялся за дальнейшую обработку срубленной лесины в какой-то неизъяснимой смуте чувств. Он решил сегодня заготовить лесу для строительства нового свиного хлева (прежний, расположенный в древнем дубовом сарае, уже развалился, как старая поленница) – но работа не шла, и чего-то внезапно разболелось правое плечо, и думы стали одолевать, трезвые и ясные: скоро же умирать, кому нужно подворье в лесу? Степан Николаевич оставил дерево с необрубленными сучками, заткнул топор за пояс, взял бензопилу "Дружба" на горб и отправился домой.

По дороге он имел долгую беседу с красномордым сержантом конвойной службы Обрезовым – тот вызвал на вахту Ральфа Шрайбера и учинил ему один из обычных своих допросов, скука и тупость которых была настолько вопиющей, что сам допросчик сидел на табурете и время от времени свирепо зевал, раздирая до потолка свою желтозубую прокуренную пасть. Степан Тураев тоже знал, побывав в нескольких концлагерях у немцев, эту привычку малых по чину стражников испытывать свою беспредельную власть на узниках посредством строгого начальнического иска и проникновения испытующим взором до самого дна нечестивой души, где, таясь во тьме, зреют преступные замыслы – не раз мучительно мучили Степана эти мелкие душонки своими самолюбивыми, пакостными допрашиваниями, он старался поменьше говорить или же тупо отмалчиваться, зная, что в худшем случае будет избит, как скотина, но зато останется жив и, главное, не станет предметом мстительного внимания маленького человека, заполучившего огромную власть над чужою жизнью.

Что-то от холодной подземной тоски таких окаянных бесед повеяло на склоненную седую голову Степана Николаевича, от того времени, когда и он проходил славную школу своего века: Обрезов допытывался у громадного, костлявого, со страшно втянутыми щеками Ральфа Шрайбера, не хочет ли он снова пойти в деревню ремонтировать печки у баб. Этим вопросом сержант подводил к коварному моменту, чтобы спросить: а куда он, немчура проклятая, девал можжевелевую палку с загнутой ручкой в виде голой бабы, стоящей раком, и на что он променял эту палку? Допрос этот происходил накануне того дня, когда мгновенная суицидная решимость тураевского пращура передалась полуживому от тягот мировой войны, от вражеского плена, русского холода и общечеловеческого тоскливого голода немецкому военнопленному. Чудом избежавший гибели под татарским булатом человек, мощный зверолов, ходивший с рогатиною на вепря и медведя, вдруг через час после своего спасения кинулся головою в трясину, а Ральф Шрайбер, ещё на днях жадно съевший утаенную от сержанта свиную кожу вместе с щетинкой, направился к запретной зоне и неторопливо, ровно зашагал через просеку, не ворочая головою, в правой повисшей вдоль тела руке держа топор, который он получил при входе в рабочую зону и должен был сдавать при выходе из неё. Единый тёмный Зверь Жизни, которого узрел Ральф Шрайбер в то мгновенье, когда винтовочная пуля разбила ему голову, пройдя от затылка к правой надбровной дуге, – Зверь промчался мимо него, словно тёмная гора, и скрылся на дальнем краю просеки.

Степан пришёл домой и, сняв телогрейку, сбросив с ног сапоги, полез на печь, позабыв, что она нетоплена, и ощущение холодных кирпичей под руками как бы подтвердило всё его несчастье, которое заключалось в том, что, несмотря на троих детей и долгие годы уединения в лесу, он всё время ощущал где-то очень близко вот такую же, как эти кирпичи, мёртвую и холодную подоплёку жизни. Невыразимым таилось в нём его знание, добытое ценою пережитых ужасов и чудовищных болей, оно без всяких обиняков подводило Степана Тураева в пору его старости к принятию мысли, что всякая гибель жизни – на Земле и, очевидно, и вне Земли – есть дело законное, облегчительное и совершенно не содержащее в

себе что-то страшное, какую представлялась любая погибель ему в детстве, отрочестве и юности. *Вернуться...* вот что померещилось ему сегодня вслед за той минутой, когда он грызущей цепью бензопилы прервал жизнь нестарой стройной сосны и она, покачнувшись, пошла, пошла вершиною к земле... Вернуться к чему-то, что гораздо лучше, истиннее жизни – вот что таит в себе этот настойчивый зов!

Если бы не было зовущего голоса антимира, то деревьям моего Леса незачем было бы терпеть однозначность собственных преступлений. Но я-то знаю, что никому из моих деревьев не удастся никуда вернуться – точнее, я этого не знаю, лишь полагаю, что не удаётся, потому что если каждое срубленное дерево или умерший человек всё же воскреснет дня через три после своей гибели, то всё равно не вернётся назад, в свой прежний мир, где он столь счастливо бродил со своими учениками. Не говоря уж о том, что не вернётся в допрежний, где ему приходилось существовать в виде лучистой энергии, – он окажется в совершенно ином мире, где нет моего одиночества. Вся множественность жизни Леса не сможет в каждом своём элементе избежать той же участи – моё одиночество было подвергнуто неисчислимому раздроблению, и опыт моего страдания повторён в бесконечных вариантах. Да, я рождался и умирал во всех своих деревьях, но все эти рождения, жизни и смерти не прибавили к моему незнанию ничего. А что они могли прибавить, если в каждом из них это я рождался, жил и умирал – каждый из них лишь повторял мою бесплодную, причудливую игру в бытие. Но, рождаясь, я всякий раз ожидаю увидеть себя иным, но, умирая, я всегда надеюсь воскреснуть. И что же, что кроется за этим моим самым тёмным, самым тяжким желанием -больше не рождаться, не жить и не умирать?

Я ведь ясно понимаю, что, не избавившись от подобного противоречия, буду пропускать в свой дом, устроенный на данном небесном теле, всё большее число врагов, незримых и злых, несущих в себе идеи всеобщей тьмы и пустоты. Опьяняясь мысленным представлением инобытия, которое откроется мне, если удастся покончить с собой, я вхожу в противоречие со своим созидательным творчеством, – и странным, жалким выглядит тогда мой обречённый Лес на земных холмах и долинах. Напрасным окажется тот удивительный ход в моей игре, когда некоторой части деревьев Леса дал я взамен корней, крепящихся к земле, проворные ноги. И самым бесплодным будет высший взлёт моего творчества, когда я решил одному из видов двуногих дать то, чем сам владею – способностью мыслить. Ибо, почувствовав неизмеримое преимущество над всеми другими тварями, мыслящая тварь немедленно приступила к созиданию своей истории, которая с самого начала являет собою абсолютно верный, последовательный путь самоистребления. В проявлении подобного грустного, безнадёжного качества сказала – не могла не сказаться – коварная наследственность. В чём же можно винить бедные деревья, если сам их Отец несёт в себе фундаментальное противоречие: мощную идею существования, неуклонно переходящую в великую страсть к небытию.

Степан Тураев был бы счастлив узнать, что он всё-таки добрёл до двуствольной сосны, пал у подножия её и умер от полной остановки сердца. Сыновья его, Глеб и Антон, не успели приехать на похороны, дочь Ксения одна хоронила сильно подпорченное лесными мышами и лисами отцово тело, обнаруженное Неквасовым, деревенским учителем, через много дней после смерти лесника. Так что к своему следующему приезду на Колин Дом Глеб Тураев свиделся уже не с живым отцом, а с песчаным могильным холмиком на краю деревенского кладбища. То искажённое и гнилое, что находилось под землёю в ящике из соснового тёса, уже никак не могло отозваться на отчаянные мысленные обращения сына к отцу и уже никому, никому не стало известно о том, что в ночь перед днём своей кончины Степан Тураев снова, как в молодые годы, сходил на свою необычную охоту без ружья, ножа или просто палки в руке.

Глебу Тураеву, с сухими глазами предававшемуся скорби над могилою отца, казалось в ту минуту, что никакой тайны смерти нет, как нет ничего удивительного и красивого в лиловых цветах недотроги, в большом изобилии растущих меж могилами. И на всём погосте с их деревянными и железными оградами, с каменными и металлическими надгробиями не

было никакого духа тайны – Глеб с унынием озирался вокруг, чувствуя глубочайшее проникновение в его душу тяжёлой, холодной субстанции одиночества. А вокруг него теснились, громоздясь высокими пирамидами нарастающего роя, проникавшие друг сквозь друга неисчислимы тени. От густоты их присутствия даже пришёл в движение воздух кладбища: тени после своих стремительных продвижений оставляли, наверное, мгновенные пустоты в пространстве, которые тут же заполнялись вихрящимся воздухом. Мир, населённый тенями, тесным образом связывался с другим, который привычен мне и деревьям моего Леса.

Несколько лет спустя после смерти отца в московской квартире Глеба встретились он и его брат Антон, военный моряк Северного флота. И опять вокруг густо роились тени, которых не замечали братья, и одна из них, может быть связанная с отцом их, Степаном Тураевым, неподвижно зависла над креслами, в которых сидели Глеб и Антон. Словно дирижёр, тень эта будто руководила ходом сложного разговора братьев, которых в детстве соединял отчий кров, а впоследствии уже ничто не соединяло. Тень, которая словно прислушивалась к их словам, – это был Гость из пустоты, время от времени навещающий меня. Он появляется передо мною в самое неожиданное время и загадочно демонстрирует себя – тень среди всех моих теней, сфинкс тьмы и пустоты, куда меня столь властно тянет. В разговоре братьев, Антона и Глеба Тураевых, мы с Гостем тоже участвуем – в произносимых ими словах таится наш подтекст.

У отца были ордена и медали, сказал Антон, да, были, но Ксения говорила, что нигде не нашла их, отвечал Глеб. Неизвестно, куда подевались. Только при чём тут ордена, Антон! Ведь ты же ни разу у него не был с тех пор, как уехал, так почему тебя ордена его интересуют? А потому, что старика уже нет, а память о нём должна остаться, – вот я бы на память и взял его ордена; или хотя бы одну медаль. Антон, какую медаль? Тебе же говорят, что ничего не осталось. Ничего. А ты как будто и не понимаешь. Да, не понимаю. Куда они могли деться? Сами по себе ордена никуда не могут деться, правильно? Значит, их кто-то взял. Ну, предположим, ты прав, кто-то их взял. Тогда вопрос возникает: кто же? Ксения или я? Они нам не нужны... Да и что всё это значит? Неужели, Антон, ты думаешь, что это мы? Я так не думаю, Глеб, но где же ордена?

И я тут мысленно обращаюсь к Гостю тьмы с вопросом: может быть, это вы утащили ордена и медали ветерана? Ведь у вас, в пустоте, таких вещичек, наверное, нет. Гость из тьмы, вы пришли ко мне на свет, чтобы посмотреть, как устроена наша жизнь? И вот вам одна из наших загадок – разговор братьев об орденах и медалях их отца. Антон, что значат ордена, если отец умер, умер, понимаешь? Умер или не умер, а ордена есть ордена. Он их заслужил на войне, за них кровь проливал. Это ведь и ужасно. Что ужасно? А то, что кровь проливал. Свою и чужую. И за это ему – награды. А что тут такого удивительного? Не понимаю. (Гость из пустоты, я вижу, также ничего не понимает.) Человеческие войны – это попытки человечества совершить самоубийство. Надеюсь, это понятно тебе? Нет, не понятно. Ну что ж тут непонятного: посмотреть на человечество как на единое целое... А зачем, Глеб, смотреть на него как на единое целое, если оно вовсе не такое? Если бы оно было не таким, то ничего хорошего, связанного с людьми, не оставалось бы на Земле, Антон.

Гость из Пустоты, вы как? Воспринимаете мысль одного из братьев? Он полагает, что Человечество имеет смысл и вселенское право на самостоятельность только лишь как Единая сущность. Ему представляется в отсвете ослепительной красоты и высшей гармонии не забившиеся в отдельные подземные бункеры из непроницаемого железобетона некие беспощадные, очень умные господа и их не менее беспощадные жёны и отпрыски – представляется ему летающее вокруг земного шара замкнутое роение Человечества, где каждая пчёлка одета в золотистый бархат, с беретом на голове, и на круглой физиономии сияет улыбка...

Гость непроницаемой Тьмы! Вы понимаете сами, не хуже меня, что звёзды и планеты мельтешат в зажмуренных глазах спящего зверя, чёрного льва межгалактических пространств. Вселенная – это всего лишь мгновение из непробудимого львиного сна,

украшенное хороводом дружных искорок, связанных меж собою гравитационным притяжением. И что такое в этой феерии огромных огней Единое человечество, о котором хлопочет один из братьев? И что такое утерянные награды покойного отца, о чём беспокоится другой брат? Ты, Глеб, со своими абстракциями когда-нибудь загонишь себя в тупик, кричит один из них, офицер в чёрной морской форме, стройный и сухощавый, хорошо подстриженный, пахнувший французской туалетной водою, на своего брата, кудрявого бородача с тоскливыми глазами. Ты не можешь уже ответить на простой вопрос: куда делись отцовские ордена, ты сразу воспаряешь в космос или сворачиваешь к Единому человечеству.

Антон в тот вечер не ночевал у брата – по случайности оказалось, что его приятель, бывший сослуживец, живёт в том же доме, что и брат Глеб, и даже в том же самом подъезде – на одиннадцатом этаже, откуда бросилась и разбилась, упав на бетонный козырёк над входом, молодая женщина в матросской тельняшке. Хозяин квартиры уже отбился к тому времени от настойчивых атак следствия по делу о смерти этой женщины. Она раньше находилась в связи с ним, но уже много лет у них были просто хорошие приятельские отношения, и когда холостяк-офицер бывал в служебных отъездах, нередко пользовалась квартирой с его разрешения. Антон не знал – ни того, что однажды женщина кинулась из окна и погибла, ни того, что случай этот как-то чрезвычайно повлиял на брата Глеба. И вообще не знал о том, что на свете существовала некая миловидная женщина, в прошлом стюардесса, которая... Антон в этот вечер как снег на голову свалился к бывшему сослуживцу, тот вначале словно бы слегка опешил, замкнулся на минуту – затем внезапно весь просиял, и видно было, что неожиданному гостю он искренно рад.

Разумеется, я для Гостя тьмы тоже любопытное явление – существо материального мира, все реалии которого, от синички до вулкана Кракатау, от планеты Меркурия и до туманности Андромеды, представляются ему призрачными, неосязаемыми – мелькающими тенями, исчезающими в пространстве тенями теней. В его плотном, шершавом, осязаемом мире моя материальность столь несущественна, что он может воспринимать меня с помощью приборов, косвенно подтверждающих моё присутствие, или благодаря своему развитому воображению. Моё обиталище в материи для него есть тьма и пустота, солнца моих звёзд – чёрные дыры в его небе. Но, несмотря на это, мы любим ходить друг к другу в гости – он из своей пустоты ко мне, и я из своей к нему. Капитан третьего ранга Антон Степанович Тураев, нежданно явившийся в квартиру к капитану второго ранга Алексею Александровичу Старовойту, заметил в его глазах, отражающих пустоту, озабоченность такой глубины, какая вовсе не соответствовала столь уж незначительному событию, как неожиданное появление бывшего сослуживца. И я подумал (ведь Антон же ничего не знал о погибшей женщине), что у него, должно быть, неприятности по службе, и Старовойт, как бы разгадав мои мысли, вдруг очень добродушно заулыбался, хлопнул меня по плечу и без всякого предварения с моей стороны молвил:

– Всё у меня в порядке, не беспокойся. Проходи... Какими судьбами? Откуда? Почему раздетый? – Дело происходило зимою, в январе, Москва была хорошо выстужена морозными ветрами.

Пришлось мне ради того, чтобы всё было понятным и естественным, рассказывать, какое произошло удивительное совпадение. Я смотрел на Старовойта и понимал, что, общаясь таким способом с Существом из Пустоты, я многого не добьюсь – пустота антимира и Старовойтова пустота было не одно и то же. Совпадение адресов моего брата и моего бывшего сослуживца было равносильно чуду, которое, однако, уже через минуту перестало нас удивлять, войдя в разряд мелких сюрпризов дня.

– Как жизнь, как служба? – я понимал, что мой Друг Пустоты пытается сейчас объяснить мне, что напрасно надеюсь я, оставив и позабыв всё то, что открылось мне в моей человеческой жизни, после смерти своей обрести совершенно иное, удивительное существование. Там меня ожидали не более содержательные встречи, чем эта – с человеком, который был мне глубоко безразличен в дни, когда мы вместе служили на одном корабле; а теперь, годы спустя, когда он давно уже шёл путями военного чиновничества, делая карьеру

в министерстве, Старовойт стал, разумеется, ничуть не ближе мне.

– Служим помаленьку. А ты, Алёша? Не скучаешь по Северному флоту?

– Скучать некогда, Антоша. У меня объекты на нескольких флотах, не только на Северном. Сижу, считай, на адмиральской должности.

– Ну, какая ты важная птица.

– А ты думал.

Но весь грустный подтекст нашего разговора, с Гостем тьмы был в том, что он старался объяснить мне, что, если и окажусь я, душа из материального мира, в его антиматериальном мире, то всё равно не буду помнить, что когда-то на земле (и на море) был я капитаном третьего ранга Тураевым, который пришёл без предупреждения в гости к капитану второго ранга Старовойту, – а не помня этого, окажусь после переселения души снова тем же капитаном Тураевым, пришедшим в гости к капитану Старовойту... Я увидел в его однокомнатной квартире ту образцовую по нашим временам меблировку, какая должна соответствовать достатку и положению хозяина: югославская наборная стенка, японский телевизор "Сони", финская кухня из белого лакированного дерева. И я спросил у Гостя, который на этот раз был моим хозяином, вернее, спросил у Старовойта, но вопрос мой, в сущности, был обращён к моему другу из антимира:

– Что, Алёша, по-прежнему живёшь один? Не надоело?

– А с кем бы я мог жить? – ответил капитан второго ранга. – Мне нравится пока находиться в компании лишь одного человека. Этим человеком, Антон Степанович, являюсь я сам. Мне пока ещё не надоело быть в обществе самого себя.

– Мой брат, который живёт внизу, под тобою, любит философствовать. Он бы что-нибудь придумал, что сказать. По всякому поводу находит что сказать. А я человек простой, Алёша. И я скажу, что завидую тебе.

– Не жалуюсь на своё положение.

– Грех жаловаться.

– Ну а как у тебя служба идёт?

Я снова понимаю, что хочет сообщить мне через разговор приятелей, морских офицеров, мой Приятель из Тьмы. Тяжёлыми, мощными рычагами действует он, чтобы поддеть мою душу, свалить её долой с привычного насиженного фундамента. Мол, пусть не изображает из себя цитадель здравого смысла, пусть упадёт и расколется на мелкие части, не выдержав собственной тяжести, составленной из вековой скуки благополучного существования, из тревог рьяных чинуш, кабы не потерять место, дающее столь упоительную возможность жить в безделье, из величайшей уверенности, что такая мелкая жизнь намного лучше, чем любая, лучше, чем даже у попа или генерала. Разумеется, мне уже стало ясно, что между вожделениями чиновничьей души и клочком огненной материи, оторвавшейся от Солнца и образовавшей нашу Землю, есть какая-то связь; и намёк Гостя Тьмы, что там, у них, в их абсолютной тьме, чиновники столь же самоуверенны, как и в нашем царстве света, и чувствуют себя почти что наравне с Богом – намёк этот я понял.

И вот, другой раз оглядев великолепные просторы однокомнатной холостяцкой квартиры знакомого своего, я вижу, что она вся от пола до потолка набита картонными папками жёлтого цвета, и кавторанг Старовойт свободно проходит сквозь эти жёлтые папки, хлопоча возле домашнего бара над бутылкою армянского коньяка, появившегося рядом с натюрмортом из фруктовой вазы и тарелочки с нарезанным лимоном, принесённым из кухни. Я не стал выяснять, каким образом хозяин квартиры дышит воздухом, состоящим, очевидно, сплошь из каких-то документов, а напрямик спросил, что в этих папках, спросил, вовсе не надеясь получить вразумительный ответ. Однако я ошибся.

– В этих папочках? – вопросом ответил Старовойт, а через него напрямик высказывался Друг Иного Мира. – Это моё увлечение, хобби. В каждой папке собрано всё, что можно было узнать о личности утонувшего моряка. Я имею доступ в редкие отделы морского архива. Нет, это совершенно не секретно! Не беспокойся. Здесь списки моряков из личного состава военно-морского флота, утонувших в результате кораблекрушения или погибших вместе с

потопленным кораблём в морском бою. Конечно, далеко не о каждом утонувшем сохранились какие-нибудь сведения. Так что в некоторых папках лежит всего один анкетный листок с именем – фамилией и датами рождения -смерти. А есть у меня и такая папка, где лежит анкетный лист всего с одним словом: "Пётр". Это военный моряк, утонувший неизвестно по какой причине и найденный жителями финского рыбацкого посёлка. На руке у него было по-русски вытатуировано это имя. Его похоронили в прибрежном лесу Финляндии и поставили деревянное надгробие с надписью по-русски: "Пётр", а дальше по-фински: "Спи спокойно".

– Любопытно, – только и нашёлся я что сказать.

– Тебе хочется знать, наверное, для чего я этим занимаюсь?

– Для чего же?

– Понимаешь, уж слишком благополучным стало моё существование. Настолько благополучным, что с некоторого времени я почувствовал какую-то странную тревогу на душе. Не проходит она, и всё! Как будто кто-то шепчет мне, что это благополучие и есть уже наступившая смерть. Понимаешь? Вот тогда-то я и придумал собирать свою морскую танатотеку, это я так называю свою коллекцию. Мне сразу стало легче... Когда чувство предельного благополучия снова начинает мне мешать жить, я достаю папочки и принимаюсь не спеша читать одно дело за другим...

– И что же, легче становится?

– Всю хандру снимает как рукой.

– Выходит, тебе-то они помогают, – с завистью сказал я.

– Кто помогает?

– Тени, – ответил я без обиняков. – Те самые, которые в нашем мире сводят человека с ума. Тот, кто видит их, считается сумасшедшим.

– Ну, я-то их не вижу, слава богу. Меня сводит с ума, пожалуй, только этот Пётр... Представляешь, Антон, жил когда-то человек, чего-то делал, служил во флоте... А потом в лесу где-то в Финляндии появилась одинокая могила, кто-то ограду ему соорудил, покрасил зелёной краской. И эта надпись: "Пётр" – с твёрдым ером на конце.

– Что, грустно, Алёша?

– Грустно, Антоша. Давай выпьем.

– Не откажусь, пожалуй.

И они в этот вечер упились коньяку, благо горячительного напитка был изрядный запасец у кавторанга, они уснули в креслах – и вот их уже нет, они снова тени, я иду босыми ногами по холодному кафелю, и с них стекает на пол кровь, обильной струёй бегущая из раны на ноге, а где эта рана, я не вижу. Вышло неудачно: вначале я выглянула из окна одиннадцатого этажа и поняла, что не смогу выпрыгнуть, такая была страшная высота, и страх, и гадкая какая-то мысль всё крутилась в голове, вроде бы насмешка над самой собою, над собственным трупом, который вскоре будет валяться внизу, раскорячив ноги. Тогда я вышла из квартиры, вызвала лифт, он пришёл сразу, послушно, я зашла в кабину и проехала вниз до пятого этажа. Там вышла, лифт тут же включился и уехал, я выдавила локтями окно на лестничной площадке и, на этот раз не глядя вниз, встала одним коленом на подоконник, руками рванула на себя и выкинула тело в оконную пустоту, сквозь зубастые осколки стёкол, что торчали по краям рамы. Когда я проваливалась в темноту, сверкнули вверху какие-то тысячи огней – и как будто сразу же я ударилась, удар был таким тяжким, грубым, что и вообразить такого раньше не могла бы. Снова какая-то гадкая мыслишка полезла в голову, и я поняла, что не убита, что всё ещё нахожусь в жизни и опять надо будет что-то делать.

Она встала, всё время чувствуя, что кто-то ледяными глазами смотрит на неё, и хотя она вроде бы всё, что делала, делала в угоду *ему*, этот наблюдающий взирал на неё с жестоким презрением. И гадкая мысль была о том, что он увидит её кровь, и не просто кровь из разбитого тела, а кровь *оттуда* (ещё раньше узнала при одной случившейся авиакатастрофе, когда выносили из-под обломков самолёта трупы, что у женщин от жестокого удара бывают такие кровотечения...). И мысль эта была невыносима, она

заслонила собою всё, что могло ещё прийти ей в голову, она вновь разбила стекло и влезла с бетонного козырька над входом, на который она упала, назад в окно, снова вызвала лифт и поехала – на этот раз вверх. Дверь в квартиру была не заперта, она зашла туда, сразу увидела свой раскрытый чемодан, достала оттуда алого цвета купальные трусики. Стянув и стоптав с себя всю окровавленную одежду, она натянула эти трусики и надела первое, что попало под руки в платяном шкафу хозяина – его полосатый матросский тельник. И в таком виде она опять вышла из квартиры, оставляя за собою кровавые следы, и уже в третий раз рукою разбила стекло в окне, выходящее на лестничную площадку – на этот раз одиннадцатого этажа.

Тот, кто издали следил за нею ледяными глазами, летел в мировом пространстве, неукротимо удаляясь от меня, и я воскликнул ему вслед с горечью и упреком:

– Вот как! Ты ничего не хочешь сказать?

Ни слова в ответ, лишь растерянное мигание миллиардов звёздных огней. Гость из Пустоты отлетел со скоростью, превосходящую скорость света, поэтому словам моим было не догнать его.

– Как! – вскричал я. – Ты знаешь, что я свою волю и возможности могу проявить через звёзды, через деревья или поступки мелких людей, ты знаешь, к чему я устремлён – и ты молчишь? В неистовстве самоотречения Деметры можно предугадать всю серьёзность её трагических намерений – и ты молчишь? Если в одном малом существе, так сильно привязанном к жизни, – в человеке – жестоко и неодолимо бушует огонь самоуничтожения, то это начало присуще и всему моему Лесу... И ты молчишь? Всё моё вещество жизни трепещет от жажды зелено сиять во времени – и тут же, в самом расцвете существования, вздрагивает от вожделения вернуться к изначалу пустоты, отвергнув самое себя... и ты молчишь?! Весь мир моих дивных, таинственных деревьев готовится к последнему порыву самосожжения в большом огне – и ты молчишь, отлетаешь, скрываешься за гранью мне доступных пространств?

Отче, помоги мне, может быть, это Ты? Если хоть одна звезда в космосе окажется способной взорвать самое себя, то и вся Вселенная сумеет это сделать. Спаси, удержи меня от воли моей страшной. Отец мой неизвестный! Ведь Ты должен быть у меня, иначе откуда я? Я существую, значит, существуешь и Ты. На земле люди знают своих кровных отцов, но это скоротечные отцы, которые странным образом любят нас – почти ненавидя, а затем однажды падают и умирают с чувством глубокой вины в душе.

IV

Степан Николаевич Тураев скончался днём в лесу от внезапной остановки сердца, которое не переставало биться по протяжении более чем шестидесяти лет и не пожелало останавливаться даже в аду плена и концлагеря. В последний же день сердце начало примолкать на какие-то краткие мгновенья, совершенно непонятные для их осознания или сравнения с другими мгновениями жизни. Чтобы как-то преодолеть тот невероятный по скорби и гнёту порог истины, что вот и на самом деле пришла смерть и всей жизни как будто и не было, Степан Николаевич отправился на ночную охоту, хотя грудь с левой стороны сдавливало и жгло нещадной болью. Вот и, сходя в ночь, Степан Тураев упал под раздвоенной сосной-лирой на Колиной поляне – считать ли такую смерть шагом сознательного самоистребления?

Николай Николаевич, отец Степана и дед Глеба Степановича, свой уход на житьё в лесной пустыне совершил всё же подчиняясь этому смутному скрытому порыву. Мне в этой ветви человеческой близко именно данное трагическое свойство крови, которая течёт в её извилистых сосудах, неся в себе столь сильный заряд бунта человеческой мошки противу великой воли царственной Вселенной. Близка потому для меня данная тураевская

постоянная готовность к покушению на самое главное в себе, что во мне самом то и дело прорастает такое же демоническое зерно, и путь бунта представляется мне самым привлекательным. Облить себя бензином и сжечь на площади перед беломраморным дворцом, выражая подобным способом своё окончательное несогласие с насильственными действиями правительства, – такое решение могло прийти только к человеку, к нему одному во всём Мире Вещества, – и поэтому предполагаю, что в каждом человеке проявляюсь я и я проявляюсь в каждом человеке. Ибо мне, их одинокому Отцу, которого они не знают (так же как и я не знаю своего), – мне тоже хочется поджечь себя, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто выше меня и кому совершенно нет дела до таких, как я.

Выражая своё сокровенное, космическое, родовое через то, что говорят люди, я уже не пойму, что же они говорят. Значит, я перестал сам понимать, что я говорю и чего хочу. Для тех, кому непонятна эта моя растерянность творца, которому его творение непослушно, и живёт оно своей таинственной жизнью, а порой строптиво перечит ему, – неизвестным мне гостям из вселенской пустоты я предоставляю право судить, почему я с деревьями Леса человеческого обхожусь гораздо суровее, чем с зелёными существами древесного Леса. Майя этого леса послушна мне и в зыбучих, нежных туманах предутренних снов ластится к моему сердцу, приникает к самому нежному его средоточию, и я люблю ласки своих зеленокудрых детей. Я счастлив их тысячелетним благополучием, моя мысль полнится горделивым сознанием того, что здесь-то я, кажется, достиг совершенства. Совсем иные ощущения идут ко мне от майи леса человеческого, и связано с человечеством моё самое больное, неразрешимое и, стало быть, самое главное начало.

Входя в тёмную скорлупку каждого произносимого людьми слова, укладываясь в прокрустово ложе грамматических правил разных языков, моё желание, моё волеизлияние обретает внешнюю форму – но я бы хотел знать, почему она столь причудлива, хаотична и порою даже безобразна! Да, истинно не пойму, что же говорят люди ради постижения смысла своего существования, для определения своего места в иерархии космических тел. Я утомился, произнося устами миллионов земнородных мыслителей самую разнообразную чепуху о великой, совершенно непостижимой значимости человеческого существования. Нет! Если я болезненно и сильно люблю свою человеческую ипостась – то это вовсе не из-за того, что в своих натурфилософских представлениях земнородные придают своему существованию столь высокое значение. Пусть себе придают – не эта дерзость является главным, что вложено моим отцовством в феномен человека.

Утром явилась на кордон желтенькая корова с ремешком тёмной шерсти вдоль хребта – и, посчитав, что она отбилась от деревенского стада, обычно выгоняемого в лес, чтобы паслось по краям болот и на тенистых лесных дорогах, Степан Николаевич решил корову поймать и привязать. Когда он с верёвкой, спрятанной за спину, и куском хлеба в протянутой руке направился к корове, она вдруг принялась делать движения головою, какие обычно коровы не делают – быстро замотала ею из стороны в сторону, даже большие уши её захлопали. Как будто бы отрицательно (по-человечески) отвечала на какой-нибудь заданный ей вопрос – и отрицала бурно и очень долго, Степан даже в изумлении остановился и стал ожидать, когда же корова перестанет мотать головою. В эту минуту и вспыхнуло в голове какое-то беззвучное холодное пламя, выплыла из него неподвижная, как статуя, покойница Настя с какими-то сумками, переброшенными через плечо, и Степан Николаевич вспомнил, что соловую коровку эту, с коричневым ремешком шерсти вдоль спины, торговали они у одного куршака в Ветчанах, часа два торговались, да так и не сошлись в цене... Корова отпрянула вдруг и нелепо, тяжеловесно взбрыкивая ногами и бодая воздух головою, кинулась назад в лес, мгновенно исчезла за кустами. Исчезла и Настя, словно медленно растаяла в воздухе. Степан решил, что пришёл его последний час, коли уж среди бела дня привелось ему увидеть покойницу.

Но он так и не вспомнил, что на этом же месте много лет назад он остановился, повернулся к жене, которая с сумками через плечо шла следом, и начал ругательски ругать Настю за её жадность: очень уж понравилась красивая крепенькая коровка Степану, а не

купили её из-за каких-то трёхсот рублей дореформенными – это Настя упёрлась и отвергла покупку. Подойдя к мужу шага на три, она остановилась и молча выслушала его сердитую брань, Степан напоследок весьма круто матюгнулся и вмиг успокоился, порешив: завтра же снова пойду к куршаку и куплю корову. Тут он с удивлением заметил, что Настя плачет, тяжёлые слёзы выкатываются из её глаз и бегут по смуглым румяным щёкам. Не сказав ни слова, Степан виновато съёжился и, повернувшись, торопливо зашагал к дому – на этом месте он и увидел призрачную Настю, когда в его памяти, распространённой почти по шести десяткам лет земного времени, произошли какие-то внезапные короткие замыкания.

Вечером он уже не захотел приготовить себе еды, тянуло лечь в кровать, но Степан переселил себя, ясно понимая, что если сейчас ляжет, то больше не встанет. Он собрался, взял из-под печи трубку сухой бересты, сунул спички в карман и в сумерках вышел из дому. Последний весенний вечер в его жизни был тёплым и бархатно-смуглым, словно залитый сгущённым светом отгоревшего дня. Степан Тураев почувствовал, что в наступающей темноте прошедший день будет тихо созревать, как огромный синий плод, что много таинственных хлопот предстоит всем маленьким участникам дня, чтобы пестовать его, укрывать на ночь и оберегать. И только один он с берестой в левой руке и спичками в кармане не имеет к этим секретным трудам никакого отношения. Ему уже дальше не жить, и прожитая жизнь получилась такой страшной, что Степан Николаевич был уверен: никогда люди прошлых поколений не проживали столь страшных жизней. А теперь он ещё раз, в последний, хотел соприкоснуться с тем в чудесной всё же отлетающей жизни, что совершенно не имело отношения к суете и делам всеобщего человеческого зла.

Случайно когда-то открыл он в родных лесах эти силы весенних ночей, никогда не мог объяснить себе, что это такое – среди понятных и беспощадных сил людского созидания и уничтожения. И не рассмотрел как следует ни одного зверя или чудовища, пронесившегося мимо, – а сегодня он взял бересту и спички, чтобы в нужный момент запалить огонь и посмотреть на *это*, попытаться хоть что-то понять к концу своей жизни.

Когда в сгустившейся почти до черноты лесной мгле добрался он до старой просеки, на него по её прямому коридору, пустоту которого можно было бы ощутить, выстрелив в неё из пушки, – с тяжким топотом понеслось первое в эту ночную охоту чудовище. И Степан в заячьем страхе кинулся прочь с его дороги, но споткнулся, упал, показалось, что топот огромных ног шквалит наперерез – вскочил, метнулся назад, прыгая через заросли маленьких ёлочек. Это было место, где сразу после войны работали немецкие военнопленные, рубили лес, и здесь Ральф Шрайбер в миг, когда пуля охранника разбила ему голову, увидел то же самое мчавшееся во мгле чудовище. И здесь же, с края просеки, он был неглубоко зарыт в мёрзлую землю, а весной лисы растащили его косточки – мимо бывшей его могилы снова промчалось громадное нечто, запалённо дыша и отфыркиваясь. Степан мог бы коснуться его чёрной туши, но он, судорожно сжимая в кулаке свёрнутую бересту, лишь отшатнулся в сторону и прикрыл голову руками. Обуявший его страх был велик и леденящ и целителен тем всеуничтожающим ужасом души, после которого в ней ничего не остаётся, и она как бы робко рождается заново и, потеряв вместе с пережитым потрясением все прежние тревоги, опять жадно тянется к жизни.

В это мгновение, когда душа медленно обретала себя, тело Степана Тураева, низко наклонённое к земле, оказалось на том самом месте, где был убит Ральф Шрайбер, в которого с подрубленной им ели перешло хранившееся в дереве, как в столетнем надёжном сосуде, некое беспокойное тяготение куда-то *вернуться* – неодолимый зов утраченного рая.

Когда Ральф Шрайбер увидел несущееся на него со стремительностью громадной машины чёрное звериное тело, он наряду с этим увидел, как бы со стороны, собственное упавшее на снег тело и понял, что может пребывать в пространстве как-то и без помощи этого костлявого измученного тела, полного голодной тоски и ноющей боли в правом плече, а теперь и с пробитой пулей головой, из которой на снег вытекала, дымясь на морозе, пенная алая кровь. Но чёрный зверь набегал с угрожающей стремительностью – и Ральф Шрайбер, свободный от своего пришедшего в негодность тела, совершенно непринуждённо

и мгновенно оказался спрятанным внутри маленькой трёхрукой сосенки – и почувствовал, что ему здесь вполне хорошо. Последнее, что успел заметить Ральф Шрайбер, прежде чем впасть в столетнюю дрему, это ногу в сапоге, которая была ногою сержанта Обрезова, а чёрный зверь, пробежавший мимо, удалялся по широкому коридору просеки, делаясь всё меньше и меньше...

А сегодня утром, лет тридцать спустя, выросшая сосна задрожала, взгудела под стальными зубьями механической пилы, и спящая в ней душа очнулась в тот момент, когда, покачнувшись, стройное дерево пошло вершиною вниз – едва успела душа бывшего немецкого военнопленного взлететь над грянувшим оземь стволом и, вспомнив мгновенно тоску и боль по утерянному раю, вошла в широкую грудь того, кто спилил сосну... И вот к вечеру того же весеннего дня Тураев Степан снова пришёл к вырубке, и в его сердце была тревожная боль, и тоска по чему-то навсегда утраченному, и непреодолимое желание всё это вернуть – вернуться к вечному блаженству бытия.

Прижавшись правым плечом к невидимому дереву, в левой вздрагивающей руке держа скрученную в трубку бересту, во мраке леса стоял Степан Тураев, в ком теперь уже находился и Ральф Шрайбер – и в обоих растворился древний пращур тураевского рода с его скорбью по разорённому гнездовью, с тоскою по умерщвлённому врагом племени. Ральф так сильно любил свою дочку, первого ребёнка, что сам обихаживал её с пелёнками и подгузниками, Степан тоже жалел Ксению, старшенькую, более других своих детей, так же и его пращур, звериный охотник, сильно любил старшего сына, будущего Турая, татарского баскака на земле отцов. Пережитые пращуром муки, когда, незадолго до его смерти, слабый отрок со слёзными стенаниями обращался к нему, и сообщение Ральфу в письме о том, что его малютка научилась правильно надевать башмачки на левую и правую ножку, одинаковым образом подействовали на отцов, явившись той последней каплей, которая переполнила чашу их мучения. Степан же Тураев всю жизнь боялся получить страшное известие о том, что дочь снова чего-нибудь натворила – и на этот раз со страшным исходом – в последние часы своей жизни, затаясь в темноте леса, он на долгую минуту словно забыл, где находится и что значит для него этот ночной выход в лес, – вдруг едкие слёзы пробили толщу тьмы в его глазах, и смертельная скорбь по своему ребёнку, обречённому существовать без отцовской защиты, охватила сердце Ральфа Шрайбера и помutilа разум древнего зверолова.

Ральф с облегчением принял решение не идти больше в этот страшный лесной лагерь, где гуляющие по двору и баракам крысы выглядят гораздо значительнее обмороженных, сходящих с ума от голода и холода пленных, где на соседних нарах может появиться призрак доходяги Кристельбрудера, которого давным-давно увезли на деревянных салазках двое дежурных. А пращур Тураевых решил, увидев над дымящимся пепелищем родной деревни колонну бредущих призраков, что это души его убиенных сородичей; может быть, там и двое других его детей, – Степан Николаевич очнулся неожиданно и понял, что он на ночной охоте, что истинное знание пришло к нему: это для него последняя ночь в лесу. И Ксении теперь ничем нельзя помочь и надо её оставить в жизни со всем тем, как у неё сложилось, а самому навсегда уходить туда, откуда нет возврата.

Второй зверь оказался не менее огромным, но летающим – без всяких размахиваний крыльями, низко над самыми деревьями, бесшумно, бредущим полётом. И в другие охоты Степан видывал издали тень этого чудища, нависающую в полупрозрачной синеве ночного простора, над розными вершинами деревьев, планирующую среди звёздных искр, гася их, как текучее пятно разлитых чернил. На сей раз чудовищный летяга навис брюхом над тем местом, где пребывал Степан Тураев, и долго закрывал небо, пока проплывал в воздухе от головы своей до хвоста. Хотя зверило не взмахивал крыльями и парил в невесомости, но лёгкий шум исходил от его грандиозной массы, это было похоже на негромкое побрякивание сотен тысяч солдатских котелков или какой-нибудь другой посуды из глухозвучающего металла. Запрокинув голову, Степан Тураев смотрел в брюхо загадочному существу, похожему на чёрную самодвижущуюся тучу, с безмерно великим туловищем и совсем

маленькой, в сравнении с телом, треугольной головою на длинной змеевидной шее. Когда оно тихо и странно отбрыкало вверх и скрылось, медленно мотнув над просекою изогнутым хвостом величиною с излучину реки, Степан глубоко вздохнул и, что-то начиная постигать в глубине своего сознания, отправился в ту же сторону, куда пролетел этот летающий зверь.

Затем начались внезапные встречи, необъяснимые проявления ночных существ, которыми для Степана Тураева были и ужасны, и мистически притягательны эти сокровенные в глубоких ночах безоружные охоты. Вдруг из-под самых ног вспрынул и понёсся в сторону какой-то низкорослый, но широкий зверь на мягких лапах, впопыхах ударился черепом головы о ствол дерева и очень внятно, почти по-человечески охнул, отскочил в сторону и тут же бесшумно растворился во мгле. Пройдя краем просеки до начала просторной лесной дороги, ведущей к болотным покосам, называемым Брюховицами, Степан свернул в сторону, осторожными движениями ставя ногу на твёрдую тропу, – и вздрогнул, потрясённый ужасом, словно электрическим током, и замер на месте, остолбенев: прямо перед ним на расстоянии, исключаящем всякую надежду на бегство, покоилось на земле нечто с огромными светящимися глазами, и чёрные срединные точки зрачков были направлены так, что он ощущал на себе их пристальный взгляд. Долго стоял Степан ни жив ни мёртв, охваченный ужасом и каким-то глубоким смущением под взглядом огненных осмысленных глаз, которые редко, спокойно моргали, на мгновение погасая в темноте и вновь зажигаясь.

Но внезапно разверзлась какая-то великая ямина у самых ног его, и оттуда, словно из глубокой шахты, с гулом и всхлипываниями вырвалось какое-то мохнатое тело и унеслось вверх, а вслед за ним, сверкнув в последний раз, умчались и огненные глаза. И тогда, еле обретя дыхание, ночной охотник сломал на ощупь какую-то палочку и долго тыкал ею перед собою, прежде чем решиться ступить шаг. Ямины уже не было, она мгновенно затянулась, должно быть, – но ещё долго, шагов сто, напуганный Степан брёл по лесной дороге с предосторожностями слепца.

Какие-то очень нежные на ощупь, очень длинные – казалось, бесконечные – лианы пересекли ему путь, он начал пробираться сквозь их заросли, перебирая по ним руками, – и вдруг ощутил, что все они живые, налитые изнутри тёплой упругостью не очень мощных, податливых тел, – но стало ему и тут страшно, что этот клубок живых лиан бесконечен и он будет веками пробираться в темноте среди их нависающих нежных плетей. Но кончилось всё внезапно: Степан не заметил, как выбрался из зарослей живых лиан, – он обнаружил себя на том, что идёт по совершенно свободному месту и машет над собою руками, как ветряная мельница крылами, всё ещё убирая с пути уже не существующее препятствие.

Тут и подумал Степан, что выбрался наконец туда, куда и устремлялся, – вокруг него была пустота болотистых покосов, он выбрался на Выгора. Здесь и следовало поискать то, что он наметил в эту ночь искать, – здесь ему предстоит или погибнуть от зачаровывавших его всю жизнь таинственных ночных сил, или наконец увидеть их спокойными глазами. Он заранее достал из кармана спички, тихонько погромыхал ими, в другой руке расправил бересту и двинулся вперёд в темень. И как следовало ожидать, вскоре он услышал как бы негромкое побрякивание тысяч и тысяч солдатских котелков, словно в непроницаемой мгле ночи таившаяся огромная армия собиралась скрытно поужинать, не разжигая костров, строжайшим образом сохраняя полную секретность.

Он шёл в плотной, густой темноте безлунной ночи, разбавленной лишь светом нескольких звёзд, скоротечно промелькнувших в прорехах чёрных туч, – вытянув перед собою руки, в которых были зажаты кусок бересты и коробок спичек, он шёл и ждал, когда эти руки упрутся в нечто, – и неожиданно подумал, что если ему таким-то образом пришлось бы уйти из человеческой жизни в иной мир, то, пожалуй, каким бы страшным ни предстал этот иной мир, не будет он страшнее человеческого, где эти немецкие концлагеря, русские концлагеря, где на войне массы одних людей набегают на других, чтобы умертвить их в рукопашном бою, – и безумно радуются, когда это им удаётся сделать хорошо, безболезненно для себя, и после называют друг друга героями, и плачут под натиском

величавой гордости в сердце.

Руки ночного охотника с маху упёрлись наконец в то, к чему были простёрты ещё издали: брякнуло при этом, и Степан Тураев подумал: что бы это ни было, но знаю, что это то самое, с чем люди на земле дальше жить не смогут. Он чиркнул спичкой и, низко пригнувшись, запалил бересту, затем выпрямился и поднял над головою свой маленький трескучий факел. То, что мгновенно увидел он, было вначале и непонятно, и грандиозно: какая-то нависшая крепостная стена, вся обложенная металлическими бляшками размером с боевой щит, с чем ходили на битву древние русские воины. Но в следующую секунду, когда берестяной факел вспыхнул в полное пламя, Степан Тураев, гибнущий человек, поднял как можно выше огонь над головой и увидел извороты уходящего ввысь колоссального змеиного туловища, переходящего в длинную шею, и вдали, там, где помаргивали в небе тусклые звёздочки, неторопливо ворочалась из стороны в сторону маленькая змеиная голова.

Змей склонил бугристые ноздри вниз и подслеповато, словно старуха поверх очков, посмотрел себе под брюхо, увидел там что-то, и его голова в тот же миг стала стремительно, хотя и казалось, что медленно, опускаться на выгнутой шее вниз – и в это время береста вся сгорела в руке Степана, он тряхнул обожжёнными пальцами в воздухе – настала темнота. Теперь Степан Тураев ещё яснее понимал, что непонятной волей именно он, прошедший через кровь и гной войны, плена и концлагерей двадцатого века, он обнаружил в темноте майской ночи главную причину того, почему жизнь людей была столь невыносимой и мучительной. Он давно подозревал, что за видимой подоплёкой обычной человеческой жизни таится что-то невидимое, чудовищное, грозное и страшное, предназначением и смыслом чего является позорное уничтожение всех людей на земле. И вот теперь, во время своей последней ночной охоты, Степан Тураев обнаружил это чудовище, мирно притаившееся в темноте мягкой майской ночи – сопящего дракона, одетого в непробиваемый чешуйчатый панцирь из какого-то качественного металлического сплава.

Степан преспокойно ждал, потирая обожжённые пальцы, когда же голова чудища долетит-таки со своей высоты до земли и схватит его зубами. Но почему-то оно медлило, и Степан Николаевич перестал напрягаться в ожидании, а принялся размышлять, есть ли у него какие-нибудь возможности поймать и уничтожить дракона. Он улыбнулся в темноте – таких возможностей, увы, не было. И уже в новом нетерпении ожидания он поднял голову, как бы желая взглянуть смерти в глаза, – но вместо неё увидел он в небе самые первые нежные намёки востекающей зари. Два-три тёплых цветных пятнышка обозначились среди пепельно-синей сплошной полумглы, где ещё бодро перемаргивались звёзды. Чудище ночи незаметным образом сгнуло куда-то, а там, где недавно высились покрытые металлическими бляхами змеиные твердыни, предутренний воздух теперь был прозрачен.

Уже при полной видимости вернулся он к кордону, вошёл во двор и задержался возле колодца, журавлем черпнул воды и в последний раз напился – точно на этом месте мать его, Анисья, достала из белого нового колодца (нижние срубовые колоды которого были и сейчас те же) деревянной бадейкою на цепи нетронутую воду и жадно принялась пить, проливая хрустальные струи на свою выпуклую грудь, – и Николай Николаевич, босиком, в накинутой на одно плечо бекеше, вышел на крыльцо барского дома. От него мгновенно сквозь свежесть лесного воздуха пронеслась к молодой бабе молния желания, и разящая стрела её сверкнула точно в том кусочке пространства, где стоял, нагнувшись к ведру, её сын, старый Степан Тураев в день своей смерти. Анисья ещё не видела барина Николая Николаевича, который вскоре станет её мужем, а он уже всю её обсмотрел – от крепких ног, обутых в безобразные лапти, до крутых полушарий грудей, с которых скатывалась вода, словно с порогов водопада. "Откуда эта молодка?" – устремлялось в её сторону тёплое внимание мужчины, а она его не замечала, охваченная сладострастием утоления жажды, и со стонами пила ломящую зубы холодную воду. Потом барин окликнул её, она отвела розовый омытый рот от бадьи и повернула голову лицом к нему, подняла свои яркие зелёные глаза навстречу будущему мужу и вослед сыну-старика, обречённо бредущему через двор к своей безлюдной избе. Должно, намял барин свою рожу на тюфяке, когда спал пополудни, вон с одной

стороны красна больно, – стремительно и весело помыслила она; и с угрюмой печалью подумал её будущий сын: никто ведь не знает, почему я жил в лесу и больше не хотел никуда, а теперь я сегодня умру, и некому рассказать про ночную охоту. Его мать улыбалась его отцу со значением будущих супружеских тайн, которые раскрываются рождением детей, а четвёртый их ребёнок, самый младший, уходил в свой бревенчатый домик, чтобы переодеться во всё чистое перед смертью.

Была у Анисьи старшая дочь, своя, деревенская, не от Николая Николаевича, – рождённая в Княжах от первого мужа, который погиб в Порт-Артуре. К этой дочери она и переехала жить после того, как муж бросил её и уехал куда-то на пароходе вместе со старухой Козулиной. К тому времени Анисья осталась совсем одна в своей барачной комнате, дети её давно рассеялись по всей стране, и младшенький, Степан, уехал в Москву учиться в финансовом техникуме. Старшая дочь Марфутка, урождённая Евпалова, выросла в деревне у деда-мужика по прозвищу Гурьян-ротастый, вышла замуж в деревню Курясево – была заурядная крестьянка, мать свою жалела и давно звала её жить к себе. И под старость однажды вечером приехала на нанятой подводе с узлами и швейной машинкой "Зингер" к Марфутке в деревню Курясево плачущая Анисья, имея где-то по городам четырёх взрослых детей и покинувшего её мужа. Никого она в Курясево не знала, поэтому первое время сильно скучала по каким-то давним и даже в её памяти смутным дням хорошего прошлого, поболела с неделю, стала было просить и беспокоить дочь, чтобы та свезла её в Москву, – но вскоре стихла и начала похаживать к ясновидящей Малашке, засиживаться у неё по целым дням. Постепенно Анисья перешла в ряды самых истовых служителей Малашки, закрывала и открывала полог, за которыми находилась, покоясь головою на камушке, курясевская пророчица ростом с семилетнего ребёнка.

Была у беспутной женщины Курицы, дочь которой убили вместе с конокрадом Шишкиным, родная сестра Палага, муж которой, Демьян Халтырин, в своё время ездил в бригаде плотников на Филиппины, и вот, вернувшись оттуда, он разгулялся вовсю и однажды в Курясево, строя машинный сарай для мельника, у которого был нефтяной английский двигатель "Кингсон и К°", обрюхатил вдову, у которой жил на постое. И пожилая вдова, Липа Кучка-малая, родила в сорок три года ещё одного ребёнка к своим осиротевшим пятерым – муж её Алдаким Петров погиб в той самой трамвайной катастрофе в Москве, последствия которой видел Степа Тураев, прицепившийся к трамвайному буферу, – тогда учащийся финансового техникума. Узнав о гибели мужа, Липа страшным голосом завопила на всю деревню: "Кучка малая! Детушки насчастливы! Да как же теперь вас прокормить!" – так и звала с тех пор своих сирот – "кучка малая", и прозвище у неё стало такое же...

Новый ребёнок её, девочка, названная Маланьей, до семи лет росла как и все дети, а после семи её платья, башмачки и валенки размером остались такими же, больше не возрастали. Когда ей перевалило уже за двадцать лет, десять из которых прожила она Христа ради, побираясь в деревнях округи, шла русско-японская война, в Курясево было несколько солдатских семей, и вот одна из них, Морозовых, получила известие о пропаже с борта эскадренного миноносца "Ревущий", направляемого из Балтийского моря вокруг света в поход к берегам Жёлтого моря, Петра Николаева Морозова, матроса второй статьи. Пропажа оного в открытом море предполагает судить о внезапном падении за борт, гибели и утоплении вышеупомянутого младшего чина, сообщала казённая бумага, – вдруг пришла Малашка в дом, где зачитывали письмо, и брякнула с порога: "Петю похоронили нярусские люди в лясу". "В каком таком лясу? -удивившись, передразнил её волостной писарь Лабуда, не знавший Маланью. -Как ты можешь, зассыха, называть его Петей, а?" – "Могу, потому как он мой годок", – отвечала Малашка, крохотными ручками поправляя у подбородка концы дырявого платка. "Чего? – изумился писарь. – Пошла отсель, а то я те покажу годка!"

Но в другой раз, когда убили женщину, ножом выкололи ей глаза и нанесли восемнадцать смертельных ран в шею и грудь, опять выступила Малашка-кроха – и на этот раз волостной писарь ни в чём не мог усомниться, ибо в точности сбылось то, что тогда она

сказала: "Чёрный мужик пойдёт на семмой день за ейным мешком и сумкой, где лежат деньги и крашенные платки, два зелёных, один жёлтый и ешшо один моренго с чёрными шашечками. Мешок и сума спрятаны под мостиком на старой дороге за Двориками". Пошли ночью и нашли под заброшенным мостиком, на краю выгона, названные Малашкой вещи -оставили их на месте и стали секретно караулить. И увидели, как на седьмой после убийства день в кусты тальника, окружавшие мостик, пробрался таясь чернобородый пастух деревенского стада, человек из других мест, нанятый.

С того случая Малашкина слава велико разрослась, её стали звать повсюду, привечали как чудотворную, но вскоре отказали у неё ноги, и тогда ясновидящую нищенку стали носить на руках её приверженцы, которые образовали вокруг неё что-то вроде секты. Они же, чтобы не утомлять Маланью, перестали её возить, а утвердили в хорошем доме и стали показывать её за пологом, на крошечной деревянной кровати, где спала она, под голову положив камушек. Но питалась она теперь хорошо и вскоре пополнела.

Бывали такие, что шли к Маланье с затаённой самоуверенностью здравомыслия, не допускающего чего-нибудь такого, что выходило бы за пределы их понимания. Но Маланья таких чуяла ещё при их подходе к дому, начинала метаться, нетерпеливо хлопать в ладошки. А как только появлялся на пороге недоброжелатель с какой-нибудь провокационной мыслью в голове, пухлая лилипутка верещала из-за полога: "Пошёл, пошёл вон, бясовестный! Со-о-святыми-упо-ко-ой..." – тут же начинала петь зауспокойную таким зловещим, высоким, верещливым голосом, что никто не выдерживал и, не успев ещё снять шапки, поспешно вымётывался из избы.

Войну самоуверенных империй, скверную войну, названную первой мировой, Малашка напорочила ещё в рождество: "Гой, люди добрыя, доставайте белого полотна поболее – саваны шить, тёсу заготовливайте вдоволь – гробы строить. Зачнёт больша смерть косою косить, нападёт на землю лиха беда -унистожение ужасное".

"Долго будет?" – спрашивали напуганные приверженцы Маланьи.

"Три года, три месяца, три дни", – отвечала пророчица. "Потом же что будет?" – продолжали пытаться они. "Будет, грешники, ешшо хуже". – "А что такое, Маланья?" – "Будет всякой власти конец – придёт властвовать безвластие. Будет всякой правде конец – станет царём рогатая правда". – "А что плохого, Маланья, если правда?" – возразили окружающие. "Так ведь смерть повсюду гулять пойдёт. Брат брата, отец сына, сын отца зачнёт губить. Разорение гнезда! Дети малые брошены будут, разбегутся они, как зверята, по всей Расее". – "Так что же, Маланья, конец света наступит?" – "Конец света, родимые", – подтвердила ясновидящая.

Когда же году в двадцать девятом – тридцатом кто-то из помнивших пророчество сказал ей, что, мол, обещанного конца света вроде бы не наступило, Маланья строго принахмурилась и как отрезала: "Давно в этом живёте". – "Как же так? – недоумевала публика (и среди них была уже и Анисья). – Раз живём – значит, не умерли? Вот же, видим белый свет". – "Ничего не видите, – был ответ. – Но ешшо увидите, – пообещала Маланья. – Увидите, когда матушка-земля умрёт. Когда вода-дочь умрёт. Когда батюшка-лес умрёт. Увидите, когда в небе огненные грибы вырастут. Тады глаза ваши полопаются, боля ничего не увидите". На что несколько человек в комнате засмеялось, до того нелепо и жутко по смыслу было всё, что пророчица Маланья.

Когда начали загонять в колхозы, она сказала: "Ну, теперя, крестьяне, бягите в лес, ныряйте в болото. Всё равно вас туда побросают". – "Как так?" – "Боронами соки выжмут, на морозе высушат, обдерут с ног до головы, как липки, опосля выкинут в болото". – "Не может того быть, Маланья, матушка! Гляди – ведь землю на вечные времена нам отдают". – "Нябось! Отымут назад". – "Прикатят трактора, а на полях радостный труд". – "В деревне песни умрут. Никто уж вечером песни не заиграет. Грязь на дороге подыметса под самы окна. Будет у старухи три сына – так один сопьётся, другой повесится, третий по тюрьмах пойдёт". – "Ты чего, Маланья?!" – "Мужик бабу еть не будет, дети в деревне переведутса, назьма в поле вывозить не станут, а всё лякарствами из бумажных кульков сыпать. От тоих

лякарств земля помирать сляжет. Работа на поле зачнётся обратная, крестьяне: не пуд сеять, чтоб сам-десять собрать, а десять пудов в землю захерачивать, чтоб пуд взять". – "Маланья, чего говоришь?!"

В тридцать пятом году Маланью казённым образом увезли какие-то молодежавые люди из Москвы, говорили по округе, что, наверное, после убийства ленинградского Сергей Мироновича Кирова надо убийц его сыскать, Малашку для этого приспособить. Однако вскоре другое разнеслось: проверяют Маланьины разгадки и возвещения научным способом, может быть, ей какое-нибудь народное звание дадут, как Сулейману Стальскому. И правда: скоро несколько человек из самых главных приспешников Маланьи вместе отправились в Москву, нашли институтскую больницу, где она содержалась, и однажды выкрали её. Принялись снова поклоняться и служить Маланье по округе, секретно перевозить её из деревни в деревню, при этом укладывая в большую корзину для колосьев.

В эти дни Анисья всюду ездила с Маланьей и сделалась ей чем-то вроде мамки: кормила, укладывала её в постель, собирала для переноски в колоснике, умывала, брала с собою в баню. И однажды в бане, неосторожно намыливая вехотью белое, сытенное, нежное тельце лилипутки, Анисья вдруг заплакала, а лежавшая на широкой лавке вещунья открыла глаза, отняла руку от безволосого детского лобка, который она дотоле ревниво прикрывала двумя сложенными друг на дружку ладонями, и погладила Анисью по поседевшую рыжую голову.

– Знаю, – сказала она, – что ты убиваешься по своему мужику. Давно знаю, да боюсь тебе сказать... Ну так знай же, чтобы напрасно не мучилась боле. Муж твой помер в Москве. Он о тебе не помнил, как будто и не было тебя, и детей тож, да и себя самого не помнил. Узля него крутилася одна женщина, но он и её не помнил. Душа его далеко спокидала тело, но никому не ведомо, игде она гуляла у него. Невдолгих после уходу от тебя, Анисья, он пал на землю у какого-то дома, который не то строили, не то ломали, – лежа на земле и помер он... Сходи завтра во храм, помолись, поставь свечку за упокой души и прости ему все его грехи перед тобою.

– Каки таки грехи... – плакала Анисья, – Пальцем не тронул ведь, жили мы, Маланьюшка, душа в душу... А вот забыл же про меня в одночасье...

– Не было счастья ему в жизни, потому что не земляной он был человек, – вдруг добавила Маланья.

– Чего это? – уставилась заплаканными глазами Анисья на выпуклый мокрый животик своей руководительницы.

Та снова обеими руками плотно прикрыла свой бесполезный детский мысок, поводила головою, перекатывая ею на затылке из стороны в сторону, и, дунув над собою в горячий воздух, закрыла глаза. Вместо женских грудей у карлицы были едва набрякшие кошельки сморщенной кожи, плечики были круглые, узкие, лицо сытое и гладкое.

– Чем пахнул твой мужик? – с закрытыми глазами спросила она. – Чем-нибудь он вонял у тебя?

– Вроде бы... ничем, – растерянно заморгала Анисья рыжими ресницами, влажными от слёз и банного пара.

– Вот то-то и оно, – важно надула Маланья зоб, поворачивая голову на неё и приоткрывая один глаз. – Ангельского чину он, и послан был в люди, чтобы их скорбь впитать себе.

– Да что ты, матушка Маланьюшка! Будет тебе! – воскликнула Анисья, в волнении привскочила с лавки, тряся висячими грудями и широко растопырив локти, в одной руке держа ковш с тёплой водою. – Этта... неужели я с ангелом жила?

– С ним, с ним, – снисходительно подтвердила Маланья и, внезапно взыграв, захихикала, взметнула ручонку и цепко рванула Анисью за её мокрые волосы.

Та, в великом волнении, лишь тоненько ойкнула, не обратив внимания на озорную выходку Маланьи, и бездумно плеснула на себя из ковша.

– А как же дети? – с растерянным видом спросила у руководительницы. – Ежели он...

такой, Маланьюшка, откуда ж у нас дети?

– Оттуда! Дура! – совсем разыгралась пророчица, и маленькое тело её, оставшееся в женской зачаточности, стало совершать быстрые движения. – Дура. Хлестани-ка водички и мне туда! – приказала она.

Внезапная злоба охватила Анисью, ей тут же захотелось убить это дёргающееся тельце – и она опомнилась уже на том, что выхватила полный ковш крутого кипятку из котла и замахнулась, чтобы плеснуть на Маланью, меж её широко разбросанных детских коленок. А та ничего не замечала, по-прежнему лежа навзничь на лавке, и с закрытыми глазами опробовала разные движения, какие подсказывал ей вдруг пробудившийся никчемный инстинкт.

– Расстреляют меня, – утихомирившись враз, строго глядя снизу вверх, проговорила вещунья. – За то, что знаю всю правду наперёд. Всё знаю, всё могу угадать. Вынесут меня, сердешную, на чистой двор, посадят на землю и стреляют в самую макушку.

– И да как же Господь даёт тебе такое, чтобы всё знать, Маланьюшка? – залебезила Анисья, осторожно разбавляя в тазике кипяток холодной водою.

– Тоё и мне неизвестно, – отвечала лилипутка, блаженно растянувшись на лавке, ровненько устроив обе руки вдоль тела, красными ладонями вверх. – А как будто выхожу я в какой тёмный коридор, быстренько пробегу в нём и попадаю в большую залу, где всё и находится.

– Кто находится? – выпучила Анисья глаза.

– Дед пихто, – с досадою отвечала Маланья. – Никак тебе понять нельзя будет... как в огромной лавке-монополюке – лежит там всё, словно конфетки, завёрнутые в бумажки: и всё, что было уже, и всё, что будет. Я как будто знаю, на каку полку мне полезть, каку коробку открыть, каку конфетку выхватить.

– И чего же ты с ней делаешь? Разворачиваешь ли, сосёшь?

– Ка-аво?

– Конфетку-ти, Маланьюшка: сосательна она, как монпасейка, или с начинкою, как подушечка?

– Тебе, Анисья, я-чай, всего не разобъяснишь, – расслабленно повисая в руках своей няньки, говорила пророчица. – Простым людям тоё понимать невозможно.

– 'То-то и оно, – с готовностью согласилась Анисья, придерживая на лавке усаженное туда дитяти Маланьиного тела и полотенцем осушая её волосы. – Где уж нам. А мы люди тёмные.

При выходе из бани, когда полуодетая Анисья с мокрыми волосами бегом пронесла на руках закутанную в десять платков вещунью через огород к избе, посреди двора встретила им ручная тележка, которую толкала перед собою круглолицая, скуластая женщина в очках. На тележке неподвижно сидел такой же круглолицый мужчина и, высоко задрав подбородок, снизу – но всё же как будто сверху вниз – посматривал на встречных. Маланья задергалась и замычала в глубине платков, Анисья лишь сжала её покрепче и быстренько взбежала на крыльцо – так впервые встретились два самых великих человека этой округи данной эпохи.

Прибывший к ней человек, по имени Савоська, вообще был недвижим и мог только шевелить головою и бойко вращать глазами в глубоких глазницах. Но, несмотря на всё, уверенность великой силы годами неизменно присутствовала в парализованном теле Савоськи, и привело его к Маланье не что-нибудь мелкое, связанное с жизнью, здоровьем или потерянным имуществом, а воинская героическая задача. Он пришёл узнать, через сколько лет сможет совершить тот главный подвиг, который ждёт его, – прояснить своё терпение, чтобы оно соответствовало реальным срокам ожидания. Возила его в тележке родная сестра Акулина, или, как стали её звать на деревне, – Лина, сестра с детства знала, что в каталке сидит не просто расслабленный братец, которого надо при ежедневной нужде подержать над помойным ведром, а великое начальствующее существо, чьё всемогущество и сила совершенно неизмеримы.

Когда пророчицу выпростали из платков и полотенца, она потребовала, чтобы её

нарядили в голубую и как молния сверкающую мужскую рубаху, что была у Маланьи вместо праздничного платья (получила в подарок от касимовского купца Гирея Усманова, кому она верно указала, куда воры спрятали голландскую корову, купленную Гиреем у прасола Авдея Когина), подпоясалась красным кушачком, на ноги велела надеть башмачки от большой куклы с разбитой головою, которую взяли при грабеже Баташовского дворца успевшие к оному куряевские революционные крестьяне в восемнадцатом году. Когда полог раздёрнули, Савоська уже сидел напротив кровати в своей коляске, которую занесли в избу двое мужиков, а красная от бани и волнения пророчица предстала перед ним во всей своей красе.

– Знаю, Савостьянушко, зачем ты пожаловал, – с ужимками, которые заставили переглянуться окружающих, молвила крохотная Маланья неподвижному просителю после того, как он поздоровался.

– Знаешь, так скажи, – потребовал Савоська, по своему обыкновению повернув задранную голову и глядя через переносицу таким образом, словно бы смотрел сверху вниз; уже тридцать один год он просидел в деревянной тележке, и стало закрадываться в душу опасение, что не успеет за свою жизнь совершить задуманное; тревога в его душе переходила в безысходную грусть и обиду на эту жизнь.

– Скажи, через сколько лет?

– Двести шесть, Савостьянушко, – смущённо отвечала Маланья среди полного недоумения окружающих.

– Эх, значит, опять не успею! – огорчился Савоська. – Разве прожить человеку столько-то лет!

– Как можно! – согласилась с ним пророчица. – Брось об этом деле и думать, Савоська.

– Придётся, видать, ещё раз четыре родиться заново, ничего не поделаешь, – невесело высчитал её посетитель, – А в этой жизни как-нибудь прокантоваться.

– Три раза ещё родиться сможешь, – уточнила Маланья.

– Родиться-то легко, не заметишь как. Помирать тяжелее. Тут, бывает, кашель какой-нибудь замучит или брюхом изболеешь весь, – рассудительно говорил Савоська. – Труднее всего, девка, бесполезную жизнь проживать, вот как эту. Эх, ведь недвижим в инвалидной коляске сажу!

– А ты вновях родись с длинными ногами, как у лося! – пошутила Маланья. – Будешь бегать по болотам.

– А ты, Малашка, родись великой, как моя тётка Царь-баба, Олёна Дмитриевна, – также пожелал ей Савоська – и оба залились здоровым звонким смехом, словно были вполне обычными людьми.

Затем снова покатила деревянная ручная тележка по пыльной дороге, толкала её Лина, небольшая, но крепкая плечистая женщина в круглых очках, которые плохо держались на её потном носу, съезжали вниз, и она то и дело поднимала руку, пальцем сдвигала дужку очков повыше.

Поговорив с Маланьей, Савостьян решил прожить как можно дольше эту жизнь, а после родиться на самом деле не четыре раза, а всего три – для того, чтобы добраться через годы человеческих жизней до своей заветной цели. Пора было бы мне объявить ему, для чего я вырастил и держу этого чудовищного дракона, которого он жаждет уничтожить с помощью той внутренней силы и воодушевлённой пламенности, каковую чувствует в себе. И хотя он с самого детства не может шевельнуть ни одним членом своего тела, Савоська всю жизнь жаждет встречи со Змеем-Горынычем, о котором узнал из сказок бабушки, из рассказов своей тётки Царь-бабы, воочью видевшей Змея, а после и от раненого нерусского человека в ту ночь, когда тот умирал, лежа у них в избе на полу.

Тогда был какой-то новый переворот власти в их волостном селе, и после того, как стрельба и крики на улице давно стихли, кто-то тихо постучал в окно костяшкою пальцев, и Савоська, услышав это, сразу же приказал сестре: "Иди открой". Сестра послушно выскользнула из избы, мелькнув во тьме своей белой рубахой, и вскоре в сенях раздалась

шарканье и звуки тяжёлого дыхания.

И тогда-то устами умирающего от потери крови китайца, приверженца большевизма и мирового коммунизма, были произнесены роковые слова, он шептал тогда, лежа рядом с парализованным человеком, сам тоже бездвижный, парализованный своим бессилием: "Гидра контрреволюции летает над землёй... В меня стреляли и, пока я добежал до леса, попали... Надо, чтобы человек жил справедливо... Люди собираются вместе, чтобы мучать друг друга... чтобы обманывать. Так не нужно – пускай лучше разойдутся и живут отдельно, каждый для себя. Кто не сможет трудиться, пусть умрёт. И когда увидят, как плохо... одному... они снова соберутся вместе, чтобы по-новому жить... Если меня поймут, то у... у... Вас тоже... Гидру контрреволюции... надо... у... у..." И он затих в словах, но продолжала kloкотать воля его души, которая неслась на тачанке к краю огромного мелового обрыва на берегу реки, и там учёные кони завернули, не замедля бега, и бросили тачанку по такой крутой и тугой дуге, что меня сбросило с деревянного сиденья, как я ни цеплялся за него, – я падаю с огромной высоты мелового обрыва вниз, к летящему в моё заброшенное лицо великому зеркалу реки...

От основ своего супермонизма я могу оправдывать Змея-Горыныча тем, что он нужен мне не для того лишь, чтобы быть пожирателем металлического мусора, санитаром военных полей. Сколько я помню себя, во мне всегда жило это чудовище, а ещё истиннее – я всю вечность своего существования был этим чудовищем. И надо мне каким-то образом всем этим Тезеям и Персеям открыть, что, убивая быков, медуз и змей, они уничтожают своего Отца, его скверные, гнусные чресла, коими достигает он своих грубых наслаждений. Но, убивая своего Отца, они убивают сами себя, свои будущие точно такие же вождения, потому что со всем своим чистым пылом героизма, со своими гладкими сияющими мышцами юности пресветлые герои также являются плотью от плоти своих отцов. Если бы мне удалось убить своё чудовище, то я умер бы, захлебнувшись в гное и крови всех насильственно умерщвлённых людей, которых подвергли умерщвлению по высоким понятиям необходимости, полезности, святости и чистоты какой-нибудь идеи.

Раненый красный китаец, который скончался в доме Савоськи, своим сообщением, что "гидра контрреволюции летает над землёй", окончательно пробудил в Савоське дремавший в нём богатырский дух. И за тот день, в течение которого труп пролежал под кроватью, спрятанный там Линой от чужих глаз, – за долгий день Савоська укрепился в своей решимости самому расправиться с летающим змеем, о чём он сообщил сестре Лине, когда та вечером похоронила мертвеца за гумнами, где заранее вырыла тайную могилу. Ополаскивая испачканные в земле ладони, Лина слушала брата и молча кивала железному рукомоюнику, зная, что так оно и будет. В этот день наконец вполне определилось то великое дело, которое должен был своротить её братец. Она знала за ним с его детства много такого, о чём не догадывался и он сам. Например, что во сне брат иногда спокойно встаёт и ходит по избе, как вполне здоровый человек, что, осердясь, он может переколотить все тарелки, не сходя даже с места: просто они сами переворачиваются и падают со стола, разбиваясь вдребезги, как будто их кто-то с силою бросал вниз швырком.

Пора было, однако, всем этим бедным Савоськам узнать, что не уничтожать надо Змея-Горыныча, – а изловить его, обуздать и посадить – в крепкую темницу и обязательно кормить чем-нибудь необременительным, чего у нас в избытке. Накидываясь на змея с дубинками и мечами, видя в нём главное и, так сказать, безупречное зло человечества, они не замечают того, что в их героических организмах собственные дракончики начинают весело помахивать хвостами. И как часто бывало, героический драконобоек, обретя всенародное признание и любовь, далее кончал тем, что становился полным чудовищем, покрытым металлическими бляхами, – почище того, на кого он охотился. Или же герой внезапно подыхал, ужаснув народ омерзительным видом своих останков, в коих наполовину уже читалось беспощадное тело гигантского гада.

Савоськина неистовая устремлённость, пробуждённая словами красного китайца, была и на самом деле столь сильна, что готова была пробиться сквозь толщу двух столетий. Душа

Савоськина подвига ради готова была терпеливо пройти ещё через три или четыре человеческие жизни – может быть, тоже не очень счастливые, как и эта, проведённая больше на кровати и в деревянной каталке. Но какой-нибудь третий или четвёртый Савоська – пусть даже и не с этим именем, а с другим – ухватит своими стальными пальцами горло поганой гидры...

Борьба, борьба, борьба! Во все времена кто-нибудь с кем-нибудь борется. О сколько борьбы в истории человечества, орды между собою борются, империи, цивилизации, расы, идеологии борются. Сколько борьбы в человечестве – и никакой для него победы. Во всех видах кровавой борьбы если и побеждает кто-нибудь – человечество терпит поражение. Как будто знала об этом пророчица Маланья и обманула Савоську: не сможет он в геройском бою одолеть гидру зла, проживи он хоть ещё три или четыре раза. Я-то знал, что ничего особенного не ухватит Савоська – третий или четвёртый: обманула Маланья, слукавила ради того, чтобы отвлечь внимание мужчины от высших устремлений и перевести его на себя – и так поступают все представительницы Деметры, начиная с Евы.

Я должен был открыть Савоське свою подлинную сущность: с одной стороны, я знаю вполне достоверно, что я чудовище, хватающее пищу с полей войны, с другой стороны, я хочу бороться с причиной мирового зла, вижу её, скажем, в гидре контрреволюции и хочу её атаковать, хотя сил у меня нет даже застегнуть себе штаны. Я смотрю с подоблачной высоты своего драконьего полёта на эту гужевую ярмарочную дорогу, которая переходит в лесную, ей надлежит существовать около ста тридцати лет, затем будет заброшена, и рядом проляжет блестящее асфальтированное шоссе, прямое и ровное и такое широкое, что однажды на него благополучно сядет терпящий бедствие самолёт. А о старой лесной дороге ещё лет сорок будет напоминать просека в лесу, которая постепенно зарастёт берёзой и осиной – катила по ней тележка на самодельных деревянных колёсах, очень неудобная и тяжёлая на ходу, толкала тележку круглолицая крепкая женщина в светлом платке, в круглых очках, съехавших к самому кончику её носа.

Ехал в коляске парализованный Савоська-богатырь – и вдруг увидел медленно летящего в тучах гигантского дракона, который плавно спускался с неба, задрав кверху расправленные огромные крылья и вытягивая к земле четыре своих когтистых ноги. Он исчез за деревьями – там, где были Выгора, большое болотистое место, в недрах которого залежали мощные пласты красной болотной руды. Но, с шумом раздвигая по сторонам кусты и деревья, сквозь лес, как сквозь траву, со стороны болота проскочила к ним змеиная голова на длинной шее. Увидев её перед собою на противоположном краю поляны, Савоська издал молодецкий отчаянный крик, закончившийся матерщиной, – и вдруг резво соскочил с коляски, подхватил с земли кривую корягу и кинулся вперёд, на гидру, как он полагал, контрреволюции. Сестра его осталась стоять с открытым ртом, в котором застрял от неожиданности и никак не мог вылететь крик удивления, восторга и ужаса.

Потом люди говорили, что, погадав у Маланьи, брат с сестрою решили переселиться куда-то в Сибирь, где на каком-то полустанке железной дороги жил какой-то из детей Кондратия Ротанкова, родного брата мужа Царь-бабы, то бишь железнодорожник приходился родным братом Савоське и Лине, которые тоже были Кондратовичи. И когда один из куряевских, некто Игнат по прозвищу Генеральный, встретился нечаянно в городе Чернигове с сыном того железнодорожника из Сибири, то узнал, что никакие Савоська и Акулина у них на полустанке никогда не появлялись. Тайна исчезновения брата с сестрой долго оставалась никому не известной. Нет, я не сожрал их и не испепелил огнём дыханием своих ноздрей – Савоська вполне воинственно схватил с земли кривую корягу и кинулся ко мне, побежал, замахнулся и ударил – и палка его провалилась в мой бок, ударила о землю и переломилась пополам. Не переломись палка, Савоська Землю бы расколел, словно орех, и не обратись я мгновенно в воздух – быть бы моему хребту перебитым напополам. Так закончилась одна жизнь Савосьяна Ротанкова – и началась другая.

Стоило только исчезнуть Змею, растаять ему в воздухе, словно туманное видение,

Савоська тотчас о нём забыл, потому что вдруг обнаружил, что он на ногах, что может шевелить и даже размахивать руками, – что дана ему та обычная человеческая силушка, какая у всех, взамен колоссально-богатырской, которую он не мог проявить, но которую ощущал в себе целиком неистраченной, огромною, как река Волга. И это ощущение таящейся в нём силы Савоська потерял, как только перестал быть совершенно недвижимым. Но зато обретенная живая и юркая сила членов позволяла ему теперь всё: и бегать, и прыгать, и скакать, и играть на баяне, и жениться – заниматься тем, чем занимались все другие. Подойдя к сестре бойкой, решительной, кругленькой походкой, каковая оказалась у него, он обнял Акулину и громко, самоуверенно расхохотался. Он представил, что вот так же, как сестру-бабу, он вскоре будет обнимать чужих баб, разных и всяких, – мимоходом обозревая эти возможности, он объявил сестре, что они продают дом и затем тайно, никому не поведав о чудесном выздоровлении, уезжают туда, где их никто не знает.

Так завершилась одна из многочисленных охот на Змея-Горыныча, которую проводил один из представителей ветви Тураевых: от Родьки, из Назарова колена, которого за его недостаточность в речи прозвали Ротанком (он называл себя не "Родя", а "Ротя"), пошла отдельная ветка рода Тураевых. И хотя впоследствии Ротанки не подозревали, что в них течёт древлебаярская кровь, однако в большинстве своём мужички этой фамилии имели обыкновение ходить задрав нос и стремились к любым начальственным должностям. Один из них, Еремей, по прозвищу Шаршавый, шёл как-то по лесу с грибами, навстречу ему барин Тураев Илларион Кузьмич, в белом картузе, – тоже с корзиночкой грибов. Еремей не подал виду, что заметил барина, и с высоко задрав мордую прошёл мимо, шагах в десяти от него. Но не успел Шаршавый отойти далеко по лесной поляне – разгневанный барин резвой трусцою догнал наглеца и сзади, размахнувшись от плеча, треснул его по затылку палочкой, на конце которой была раздвоенная рогулина для поиска грибов в траве. Еремей крикнул только и умчался, даже не оглянувшись, а в руке барина осталась палочка с отломленным концом. Вполне удовлетворённый преподанным уроком хаму, Илларион Кузьмич повернулся и пошёл своей дорогой. На месте происшествия остался рогатый кончик палочки, которая была вырезана барином из цельного соснового подростка утром этого дня. Ещё зелёная, живая, веточка отчаянно хотела жить, поэтому, отлетев в сторону и воткнувшись концом облома во влажную землю, она тотчас же принялась пускать корни. Так выросла на этой поляне сосна с двумя разбегающимися стволами – словно напоминание о том, как непримиримо разбежались там эти двое людей из одного общего корня, –но один мужик, а другой барин.

Раздвоенной сосны на краю лесной поляны не раз касались руки Тураевых, первым подошёл к ней Николай Николаевич, чтобы обрести внезапное желание построить здесь дом. Затем один из его детей, Степан, почти ползком, на коленях преодолел несколько последних шагов до одного из двух изогнутых стволов, чтобы обхватить его и прислониться к нему головою. А его сын, Глеб, подошёл к сосне спокойным твёрдым шагом, огладил золотистую кору на ближайшем роге огромной лесной лиры, затем сел под её нависающей дугою, раздвинув колени, утвердил меж ними ружьё – прикладом в землю, концом ствола упирая себе в шею, точно посередине над кадыком.

Приходя в соприкосновение с каждым из них, двурогая сосна вбирала в себя теплоту их ладоней и вибрацию духовной энергии, одного прикосновения достаточно для моей сосны, чтобы она могла вмиг пройти по всем извивам притронувшейся к ней жизни – от её зарождения и до смерти и запомнить всё это; а так как любая жизнь имеет связь со сверхжизнью своего рода, а родовая сверхжизнь соединена с целостностью планетарного бытия, которое уходит корнями в почву неподвижного времени Вселенной, сосна знала всё обо всех и могла воссоздать в своей безграничной кибернетической памяти всё, что происходило с кем-нибудь и когда-нибудь. За свою двухсотлетнюю жизнь сосна-лира могла поведать немало человеческих историй, плотно расположив их одну за другою в часах и днях текущего земного времени. Но всё, что таилось в ней (как и в любом дереве, которого когда-либо касался человек), то сгорело вместе с нею и ушло в стихию огня и света,

поглощённую тьмою бесконечного космоса.

Однажды я гулял по лесу и притронулся рукою к сосне – разумеется, не всё, что было в ней зачтено, но только лишь то, что было от рода Тураевых, мгновенно было прочитано мною. И чёт одних лишь кратких фрагментов трёх жизней – Николая, Степана и Глеба – занял у меня немалую часть моей прогулки по лесу. Подробное же зачитывание хотя бы самых важных событий этих трёх жизней заняло бы время не одной прогулки – к сожалению, я располагаю возможностью одной и только одной прогулки по Лесу. Мне предстоит лишь пройти мимо Колиного Дома да бросить беглый взгляд на почтенный колодец, который был выкопан на моих глазах, – и отойти прочь, когда никакого колодца на этом месте уже и в помине не будет. Леса также не будет – и ничего живого вокруг больше не будет, кроме тюремной тоски моего одиночества, недоступной уже никакому прочтению.

И гуляю ли я крепкими ногами молодого Николая Николаевича по тихим -о, таким тихим – туманным лесным дорогам на самом востоке зари или иду неровными шагами утомлённого ужасом своего существования Глеба Тураева, создавшего вместе с коллегами-специалистами самое могущественное Оружие человеческого уничтожения, – в чувствах однажды живущего человека я постигаю эту однажды совершаемую по Лесу прогулку как истину, которая открывается не для того чтобы навечно остаться перед тобою, а, наоборот, -чтобы исчезнуть навсегда. Могучая причина прекрасного, воспринимаемого через человека, – эта единственность всего и всякого в прогулке жизни! Она и создаёт бесподобное волнение при встрече с любым существом, будь то ёлка, безрогий лось в осиннике или такое страшное с виду чудище, как ползущая улитка.

За Колиным Домом есть безлюдный, ровно отдалённый от всех деревень край леса, выходящий на болотистую низину поля, где любят гулять журавли. Барин Николай Николаевич вышел однажды туда с английским ружьём на плече и увидел двух разгуливающих птиц, которых издали принял за деревенских баб в серых одеждах, что-то собирающих или ворующих на тихой границе помещицкого поля. Но когда эти предполагаемые бабы вдруг быстро, очень быстро побежали через поле, а затем взлетели, расправив широкие крылья, Николай рассмеялся над столь забавным превращением. То же самое было и с его сыном Степаном, лишь, в отличие от своего отца, он подумал было, что на угорье за болотцем бабы в серых пиджаках ищут, склонившись к земле, белошляпные грибы шампиньоны, водившиеся там. Но прошло, может быть, семьдесят лет в одном случае и тридцать – в другом, как внук Николая Николаевича вышел на то же место и журавлей не увидел. Однако что-то серое, цвета пыльной глины, бежало через поле перед его глазами. Странное существо, похожее на громадного ежа, которое встало на задние лапы, или на волосатого дикаря пещерных времён, одетого в серую толстую телогрейку и резиновые сапоги, мчалось наперерез Глебу Тураеву. Судя по скорости передвижения, неизвестное существо должно было через несколько минут сойтись с ним. Каково же было удивление Глеба Степановича, когда он – через семьдесят лет после деда и тридцать лет после отца – увидел на журавлином месте не эту причудливую серьёзную птицу, а и на самом деле человека в телогрейке и громадных резиновых сапогах.

Перед Глебом Тураевым завершал перебежку через пустынное поле молодой человеческий экземпляр с длинными спутанными волосами, падавшими из-под шапки гривою спутанных лохм на плечи и спину. Одет он был в несуразно большую телогрейку и широчайшие, обвисшие на заду штаны мышинового цвета, в руке за горлышко сжимал прозрачно-чистую, сверкающую бутылку, из которой торопливо и жадно отпивал на ходу. Пройдя ещё немного вперёд, Глеб Степанович увидел и цель устремлений лохматого молодого существа: на обочине поля стоял, вздрагивая боками, вхолостую стучащий мотором трактор "Беларусь" – его хозяин и бегал через поле в деревню.

Почему же бедняга предпочёл броски через столь трудное поле, а не остановился прямо напротив магазина, спрашивал у себя Глеб Тураев. Для чего они полетели вправо от видневшейся вдали деревни, задавался вопросом Николай Николаевич, ведь правее нет хороших низин и прудов, все они расположены левее деревни и в них полно лягушек.

Наверное, птицы завернули направо к речке, а там, может быть, через неё и к Охремову болоту, полагал Степан Николаевич, где теперь столько молодых ужей, что вода у берегов вся морщится и трава беспрерывно шевелится. И так, журавли на поле, видимые издали, казались деревенскими старухами, одетыми в серое тряпье; слетев с этого места, птицы направлялись неуклонно вправо от деревни; лохматый же механизатор, на вид совершенно одичавшее существо цивилизованного мира, бежал, пыля сапогами по пахоте, от левого края деревни.

Наверное, хотел, таясь от начальства, незаметным образом просочиться в магазин – пытался разгадать тайну бытия Глеб, внук Николая Тураева, путями журавлей также правит, должно быть, детерминированная сверхволя – такую же попытку сделал и сам дед. Можно объяснить, конечно, всё, но тогда объясните мне, господа, в чём смысл человеческой жизни, какими путями социальный прогресс пришёл к тому, чтобы породить этого страшноватого дикаря, который бежит через поле с бутылкою водки в руке, словно с отодранным от туши вепря куском голяшки? Вот он сел в трактор, дёрнул рычаги, мотор заревел с яростью раненого зверя, машина рванулась с места, шапка съехала на глаза трактористу. Но, ослеплённый столь неожиданно, труженик не потерял своего энтузиазма и направил плужный агрегат поперёк поля, вздымая позади себя застывшие волны вывернутых из глубин мёртвых песков и глины.

На всех широких полях округи в это время года, когда журавли поднимают молодёжь на крыло, готовясь к предстоящему перелёту, хозяйства поднимают зябь – повсюду рычат трактора под водительством пахарей в серой одежде, которым давно уже непонятно, в чём смысл их губительной работы на земле: зачем работать много или мало, хорошо или плохо, если нет никакой разницы между тем и другим, а земля родит всё меньше и меньше, забыв давно вкус навоза? Степан Николаевич не задавал себе подобных вопросов, по своему положению принадлежа не к сельскому, а лесному хозяйству, где одичание тружеников было мало заметно из-за малой численности лесников. Они спивались, пропивая казённый лес на корню, по своим уединённым кордонам, сгорая от винной горячки среди величественной тишины леса, а не шараясь в замасленных телогрейках и резиновых сапогах по смертельно истощённым полям родины.

К тому дню, когда журавли взлетели над убранном полем, Николай Тураев имел уже задуманное счастье, что определилось в его молодом сознании как лесное убежище философа: новый дом из прекрасных брёвен, поставленный на красивой поляне, подворье столь же новое и качественное, свежий колодец и даже дубовый сарай, в котором находился токарный станок для ручного труда учёного хозяина. Помыслы и глубинные философические чувства его были чистыми, как родники нового колодца, он хотел постижения через себя, с помощью постоянной сосредоточенности сознания, самых высших реалий космического духа, живым признаком которого была вся полнота общечеловеческой культуры. Китайская мысль, оживляющая абстрактные понятия противоположностей образами Инь и Янь, была к тому возрасту жизни Николая Тураева наиболее привлекательной, и мечтою о жизни отшельника возле ручья, в лесу, проникся он ещё в казармах военной ветеринарной академии, живя среди буйных курсантов своей скрытной духовной жизнью, самостоятельно изучая китайский язык.

Когда побежали по полю, а затем взлетели над ним журавли, Николай Николаевич ещё полагал, что детерминированная основа всечеловеческого счастья столь же неоспорима, как и ему неизвестная, но существующая причина того, почему журавли полетели вправо от деревни, а не влево. Тогда Николаю Тураеву не было ещё тридцати лет, в славном лесном доме стала вести хозяйство молодая солдатка Анисья, двадцатый век только ещё начинался, и впереди были зима и весна, когда разольётся недалняя Ока синим морем и половодье запрет барина с кухаркою на островке. Вера философа в возможность постижения через отдельное человеческое "я" причинности сущего мира опиралась, стало быть, на молодость мыслителя и на крепость и свежесть цветущих бёдер его кухарки. Банальные основания для метафизического оптимизма! И это уже за порогом века, в котором крупно выявится главная

несостоятельность человечества как одухотворённой материи: отсутствие всякого объяснения той уверенности, с которой оно поставит собственное благополучие конечной целью движения всех вселенских систем, да и самой материи в её глубинных элементарных началах.

С теми качествами нравственной чудовищности, в которых осуществляются самые высшие притязания человеческой цивилизации, люди, эти невидимые микробы на поверхности земного шара, не имеют поля дальнейшего существования во времени, и такое представление перспектив человеческого феномена есть нечто совершенное, нежели метафизический идеализм и китаедаосийский романтизм деда Тураева, который начал в лесном углу, впоследствии названном его именем, свою новую жизнь – с тем лишь, к сожалению, чтобы впоследствии там покончил со своей жизнью его далёкий внук. Дедушка мыслит так, что его личные постижения эзотерического механизма Вселенной явятся духовным достоянием Единого Человечества, поэтому он и может отстоять в стороне да смотреть свысока на многочисленное движение народников и социалистов, активное в дни его молодости. Но проходит примерно восемьдесят земных лет, и оказывается, что новой качественностью Единого Человечества является не космический морализм неогуманистов, а изобретение нового Оружия, которое может истреблять массу человеческих микробов через их общее психополе. Между метафизическим идеализмом деда и суицидальным эсхатологизмом внука светится во тьме Моря Одиночества крошечный огонёк в избушке лесника, и я думаю тяжёлыми, как дубовые колоды, непроизносимыми словами Степановой мысли: _зачем я жил и детей наплодил, если видел тех, которых в печи сжигали, если сам ворочал трупы, работал у печи, выполнял приказы тех, которые велели сжигать не совсем мёртвых, потому что новый газ "Орхидея" оказался плохим и все валялись в зелёной блевотине_.

Дедушкина мысль: через меня откроется Божество и человечество Обожествится – сгорела от замкнутости на себя и во внуке отозвалась холодным пеплом математического отчаяния: в 10^{38} раз бог живых слабее бога мёртвых. А в Степановом безбожном мозгу прозвучала так: _если то, что я видел в войну и в концлагерях, правда, а не приснилось мне, то всему будет хана и ничего не поможет_. Неоднократно и в самых различных видах и обличьях возникла эта мысль во мне – в словах и понятиях самых разных деревьев моего Леса. И выходит, что надо – так уж надо мне выяснить, в какой мере человеческое брение содержит в себе божественную ответственность и насколько важно для существующего вокруг мира проникновение людей в его главные закономерности... Но, задавая самому себе подобные вопросы, я мог получать такой же ответ, какой получал каждый из проживших свою грешную жизнь людей от самого себя. Проходят тысячи лет, а я всё продолжаю эту тоскливую игру, задаю себе вопросы, зная наперёд, что никакого ответа не получу. Я лишь могу знать, что существую, а почему существую и кто я... Уже одного сожгли за то, что он объявил себя Богом, другого распяли на деревянном кресте – вот результаты моей игры. Но как только начнёт в каком-нибудь новом человеческом варианте набухать зародыш сей метафизической опухоли, как я тут же принимаюсь с настойчивостью, достойной лучшего применения, лелеять и растить новую человеческую беду.

– В каждом человеке проявлен Бог, – нехотя молвил Николай Николаевич Тураев в холодной полутьме подвала, расположенного под заброшенным домом какого-то ведомства на Второй Мещанской улице в Москве.

Сентенция Николая Тураева вышла диковатую в той обстановке, в которой прозвучала: человек десять самых серьёзных бродяг и люмпенов собралось в подвале, убежав от слякоти тающего на грязных улицах городского снега. И хотя подвал не спасал во время оттепельной сырости, там над жидким хлюпающим полом проходили тёплые трубы, и возле них расположились, сидя или лёжа, случайные и постоянные обитатели подвала бездомных. Среде последних и принадлежал Николай Николаевич с напуганной спутницей своей Верой Кузьминичной, с которой он вовсе и не разговаривал, на которую даже и не смотрел – словно бы и не любил её всю жизнь любовью великого отчаяния, безнадёжности и постоянства. Они

кормились совместным трудом – мыли стеклянную посуду для аптек, входя в артель специализированных в таком деле московских бродяг. Помоги аптечные собирались, делились и употреблялись данной публикою как сильнодействующее наркотическое средство – но Козулина и Никто всегда отказывались от своей доли, довольствуясь только теми копейками, что платили им за их труд.

Слова, которые произнёс Николай Тураев, были обращены своим смыслом к человеку с плоской лысиной на лобастой голове – при мелькающем свете, падающем из дырки в каменном цоколе, эта голова то вспыхивала своим верхним макушечным бликом, то выставлялась из тьмы жёлтым кругляком скулы, освещённой керосиновой лампой. Эту лампу лысый человек, уголовник Гриня, поставил на пол хлюпающего и капающего подвала, а сам сел над нею с широко разведёнными коленками, стараясь своим туловищем защитить стекло лампы от опасных для него капель со всех сторон падающей воды. Он только что, не отходя от лампы, выбрал из носа в глотку комок слизи и с силою харкнул в лицо какому-то бродяжке в каракулевой шапке, на которой почти не было меха: этот морщинистый человечек сунулся было, урча мирными звуками, посидеть вблизи керосинового огня. В ответ на плевок ему в лицо и прозвучали в подвале негромкие слова бывшего Николая Николаевича, который теперь был Никто.

– Чего проявлен? – сомневаясь, слышал ли он что-нибудь вообще, спросил Гриня, завсегдатай подвала, которому после выхода из тюрьмы пока негде было жить, – он спросил не у того, кто произнёс возвышенную фразу, а у того же шаромыжника, которому подарил свой плевок в рожу.

Старая женщина, в девичестве Ходарева, которая время одной жизни назад впервые предстала глазами Николая Тураева в доме на Разгуляе, теперь красной морщинистой рукою тронула плечо рядом сидящего бородатого старика и боязливо прошептала:

– Не надо, Николая...

Но, не внимая ни словам, ни предостерегающему прикосновению верной руки, Николай Тураев, считающий, что он теперь Никто, ровным голосом продолжал:

– В человеке явлен Бог, и всё, что происходит с человеком, то происходит в Боге, а значит вся...

Осторожно наклонившись и при этом с наслаждением вдохнув тёплого керосинового чаду, Гриня подвернул коптящий фитиль, убавляя зубчатое пламя на нём: по сторонам длинного подвала вдруг засопело, заколыхалось и враз закашляло несколько засоренных простудными плёнками дыхалок; Николая Никто самовластно коснулось совершенно никчемное воспоминание, и он умолк на полуслове.

– Тя-ак, тьяк-тьяк! – растягивая свои известные всем в подвале "тяки", со значением произнёс Гриня. – То всё молчал, бильдюга, а то заговорил? Боженька, говоришь? Тя-ак! Посмотрим.

Николай Никто с закрытыми глазами присутствовал в благоухающей чем-то хорошим и свежим большой комнате помещичьего дома, сухо овечьим печным теплом, в оранжевых обоях; открылась дверь, и вошла нестарая женщина с бледным красивым лицом, с грустными глазами; Никто увидел, как она подошла к высокому буфету, и открыла его, привстав на цыпочки, и достала с верхней полки перламутровую раковину с блюдо шириною; поднеся тяжёлую раковину к уху женщина с грустными глазами принялась слушать морской шум. Кто была она? Покойная матушка? Или помещица Лариса Зайончковская?

– И давно так думаешь, старенькая вошь?

В доме Ларисы Петровны собирались интересные молодые люди из Касимова, Владимира, иногда даже из Москвы. Однажды была там и Вера Ходарева, тогда ещё близкая подруга Лиды Тураевой – вместе заехали к Ларисе Петровне на легковых санках Андрея Николаевича. На вечернем розовом свете снег сугробов вокруг дома и в саду был столь живым и трепетным, что девица Ходарева, не объясняя никому, зачем это делает, выбежала из дома на мороз без шубы и платка, кудряво-простоволосая, светящаяся молодой красотой.

Проваливаясь башмачками в снегу, заметая длинным подолом рыхлый снег, побежала она по двору далеко-далеко, к замёрзшему фонтану, где темнела укутанная в рогожи одинокая пальма, – и никто не остановил её, все весело смеялись, глядя на Верочку из окон.

– А у этой морды – как? Тоже за пазухой Бог?

Между тем подвальный молодчик Гриня повалил на грязный пол какого-то жалкого старикашку и уселся на него верхом, чуть ли не на самое лицо ему. Бывшая когда-то девицей Ходаревой, ныне бездомная старуха Козулина громко вскрикнула и, задвинувшись меж трубами, спрятала там свою голову. Она не помнила – никогда так и не вспомнила больше, как в тот же самый вечер приехали к Зайончковской их соседи, Сергей Марин и его сестра Настя, маленькая черноглазая красавица, к тому же и отменная певица, лирическое сопрано. И как же они с Лидой Тураевой пели дуэты и романсы Гурилева! Тогда казалось, что из розового снега, Настенькиных загнутых ресничек, красоты Гурилева, добрых улыбок двух молодых симпатичных людей с бородками, их умных и славных разговоров и пирожных Ларисы Петровны составилось такое замечательное счастье, которому не будет предела и окончания. Однако всё это истаяло легче дыма, и старуха Козулина сучила ногами от ужаса, чувствуя себя за осклизлыми канализационными трубами подвала совсем беспомощной и незащищённой.

– Говори, старенькая вошь, чего с ним сделать, – спрашивал Гриня, обращаясь к Николаю Никто, за спиною которого скорчилась старуха в шляпке из чёрной соломки. – Хошь, убью его как кролика? – продолжал Гриня, одной рукою слегка удушая за горло подмятого под себя человека, другой держа керосиновую лампу.

– Гриня, чево минжуисси? Тоже хочет дышать, – раздалось из тьмы подвала, – а ты ему воздух перекрываешь, волчара.

Гриня аккуратно положил на слякотный пол лампу, не выпуская, однако, из грязных пальцев шею поверженного нищего старичка; освободившейся от лампы рукою быстро пролез под голенище сапога и вынул ярко сверкнувший нож.

– Тяк, тя-ак, бильдюги, – молвил он, слегка покачав в воздухе лезвием, в середке которого чернела канавка кровотока. – Хошь сейчас прирежу твоего Боженьку, старик?

– Ты этого сделать не сможешь, – спокойным голосом отвечал старик Никто, не глядя на возившихся у его ног. – Ты не существуешь.

– А ты существуешь? – вроде бы обиделся Гриня.

– Я также не существую, – был ответ. – С тех пор как я постиг это, меня больше нет. И никого из вас нет, что бы вы тут ни делали. Вы никто, так же как и я.

– Тяк-тяк, понятно, – поднеся близко к глазам лезвие финки и озабоченно осмотрев его с двух сторон, говорил Гриня. – Мы Боженьку любим. А хошь этого? – И он приблизил острие ножа к сморщенному кадыку нищего старика.

– Круг человеческих интересов перестал для меня существовать, – равнодушно молвил Николай Николаевич Никто.

Он отвернулся и не видел того, как грязный беспомощный старик, настолько дряхлый, что уже и говорить разучился, вдруг с силою прогнулся телом, едва не сбросив с себя насильника и, с широко перерезанным горлом, стал извиваться на полу и бить ногами. Но лампа была опрокинута и свет потух, в темноте стало слышно, как вначале разнообразно затопала ногами подвальная шантрапа, разбегаясь по городу. Затем невидимый Гриня вздохнул, сплюнул, громко испортил воздух, вытер нож о штаны и тоже исчез. Остались в подвале Николай Никто, насупившийся в чёрной мгле, старуха Козулина за его спиною, потерявшая сознание, да на полу уже вяло шевелился нищий, из рассечённой глотки которого с плеском вытекала кровь. Дыра в кирпичном цоколе всё так же светилась, и, когда улицей проходили тела, на стенке подвала обозначались их длинные перевернутые вверх ногами тени.

И предстала взору неподвижного Никто крапленая огненными брызгами ночь в лесу, где он сел на мягкий мох, прислонясь спиною к невидимому дереву, поднял взор кверху – и сквозь густые ветки, исчеркавшие каменную синеву ночных небес, увидел бесшумный лёт по

горней орбите Славы Господней. Словно поверяя в последний раз перед парадом посты своих радостных часовых, с нетерпением ждущих наступления торжеств, круглый сияющий корабль облетал небесные созвездия, следуя строго вдоль Млечного Пути. И Никто, которому выдалось узреть приуроченный к торжествам мир, утаённый в глубокой ночи и как бы секретно накрытый тяжёлым синим платком в миллионах блесков, одним из первых нечаянно увидел и понял, какое безграничное во времени и пространстве ожидается празднество Отца со своими детьми – какое великолепие!

Я тихо сидел под деревом, глядя на летящий корабль, хотя никакого не испытывал страха, решил затаиться, не объявлять себя из сокрытия лесной мглы: моей душе было весело и дорого то самообольщение, что сей миг я единственный в мире таюсь в ночи с неспящим сознанием и созерцаю яркие радости и секреты грядущей всесветной иллюминации.

Я заблудился во время грибной охоты, был серенький несмелый день, таящий в себе лишь малые радости отдельных белых грибов при множестве тоскливых валуёв на всех полянах, с будничным выходом скисших старых подберёзовиков на лесные дорожки, прямо под ноги, и с глухим провинциальным существованием о край моховых болот нелепых громадных сыроежек с алыми шляпками, столь похожими на тугие атласные подушки без наволочек. Не помню, кем я был, чьё грустное сердце билось в моей груди и от какого исторического времени удалось мне на время сбежать в лес за грибами, – но было скучноватое грибное межвременье, когда внезапно взметнувшийся вал белых грибов быстро пролетел по лесам и столь же внезапно сошёл, оставив догнивать на моховых буграх громадные недобытые перестарки.

Пробираясь по сосновым красным просторам и берёзовым белым раздольям, всюду на лесной почве видел я скудное житие всякой серой грибной сволочи вместо ядрёных боровиков с толстыми ножками. По моховым хвостам разбегались побуревшие лисички, на открытых взору палестинках, достойных самых благородных грибов, повывезали вонючие мухоморы и опять же пустопорожные валуи с обрыхлевшими и продранными, как старые соломенные крыши, унылыми шляпками. Под сенью кустов торчали здоровенные грибы-зонты, с пышными лохмотьями нищих, выставленными на всеобщее обозрение безо всякого смущения, – была пора, когда грибное благородство отошло и выродилось, столь обветшало и выгнило, что подлинная серость нищеты единственно выглядела здоровой и полнокровной. Я проходил целые поляны с побуревшими червивыми моховиками, словно проезжал через заглохшие деревни с испорченным народом, способным только на пьянство да незамысловатое воровство. В тёмных ельниках сшибал ногами затаившиеся в глухомани колонии свинушек, каждая из которых также была насквозь побита тёмным пороком червотчины.

По каким местам, в какое время года и в какой час дня пробирался я знакомым лесом – и чьё грустное сердце билось в моей груди? И где-то ведь не то ожидает, не то уже свершилось злодейское, глумливое убийство беспомощного старца-нищего – только лишь за то, что было высказано предположение: се человек, в нём явлен Бог. Что это за милосердная энергия, которая даётся человеку для преодоления тоскливых пространств безвремения, когда Лес отечества наполнен таким спудом серого мусора и жалкого гнилья, когда чистым телом сверкнёт в траве лишь бледная поганка в чулке, то бишь во влагалище собственной ядовитости – кто ведёт тебя, путник, сквозь такой скучный Лес к затаённой ночи созерцания Славы Отца?

Не зная того, что ожидает меня впереди, целый день тогда я проблуждал по лесу, добыв всего десятка два не очень крепких белых грибов, и вся радость от этого сбора не стоила даже выхода в лес. Так растревлял я себе душу, подавленную неудачей, в предвечерний час леса – время, самое безнадёжное для грибного охотника, если корзина уже не полна отборными грибами. Но к тому же, оглядевшись вокруг, я увидел совершенно незнакомый лесной угол и только тут понял, что давно уже заблудился, ведомый по неизвестным местам глухим раздражением безысходной усталости.

Смутную душу резало тонкой и жесткой как скрученная струна, непокорной мыслью о неудаче как о закономерности некоторых судеб, равно и как о закономерности некоторых исторических эпох, которые сплошь являются неудачными – вместе с государствами, народонаселением, богатствами техники и духовной культуры, с религиями и философиями, войнами, битвами и завоеваниями. Упругая петля разорванной струны возвращалась вновь и вновь, сколько бы раз ни отталкивал я эту мыслишку – неудача заложена в моём характере как фатальный материал, и ни при чём тут лес, набитый одними трухлявыми грибами. Таково, стало быть, время, содержащее в себе взращенные в нём самодействующие реактивы, которые... Но вечер всё явственнее проявлялся в сгущении лесного света, в тревоге молча пролетающих над деревьями птиц, и надо было выбираться из леса на какую-то дорогу, ведущую хоть куда-нибудь. Однако дороги никакой не попадалось – я как бы переходил из жгучих комариных объятий в другие – придурковатые, бесовские, сырые и тёмные, обещающие мне хорошую трясику для вечного успокоения.

Сколько раз бывало, что, пробираясь усталыми шагами путника через немилые времена моих лесов, я подбадривал самого себя самыми фантастическими и несбыточными картинами счастья, я воображал себя вовсе не тем человеческим существом, в ком зародились преходящие мечтания, а неким совершенным существом, который прожил въявь своё счастье и ничего не помнит о каких-то днях и годах томительного хождения сквозь время и воздух бездарной эпохи. И в самый невыносимый предвечерний час, когда уже ясно обозначалась беда и все ложные надежды рассеивались, я оказывался один перед тёмным захлампленным лесом, в котором не было никаких чудес, никакой иной жизни, кроме древесной, грибной, комариной, хищной и травоядной, грибной и болотной, гнилой и ядовитой. Как хотелось тогда встречи с кем-нибудь – пусть и самым последним отщепенцем человеческого мира, с лесным разбойником, со слабоумным, с глухонемым или даже с прокажённым с отвалившейся рукою – всё равно с кем, лишь бы он был с духом человеческим. Человеческое! – вот что было самым главным для меня взамен всех утрат и неразрешённости дня. Но было совершенно очевидным, что никакого человека я не встречу в лесу – будет только так и нет никаких кривотолков в прочтении того приговора, какой я услышал в чёрством шелесте надвигающейся ночи.

Пора было примириться с несчастной очевидностью своего существования и с убийственной мыслью, что не какой-то лесной туманной душе принадлежит подобная судьба, а тебе, тебе с бесславной грибной корзиною в руке, тебе с сапогами, с потрохами, со вставными зубами – тебе надо думать о наступающей темноте ты должен решать, идти ли дальше, доверившись отчаянию и надежде, или останавливаться на ночлег в лесу. Но принять такое решение не в силах оробевшая душа – на неё из всех помрачневших нор, пещер, щелей и ущелий лесных надвигается нечто почти осязаемое, как ветер, как липкий туман, – страх лесного Пана, его белоглазая забава на самой окраине умирающего дня, в той размытой кайме света, где она уже безысходно напиталась мутными красками тьмы. Страшно не только ночевать одному в лесу – страшно принять это как неизбежность. И хотя земли уже почти не видать под ногами, они торопливо несут вперёд, спотыкаясь и подламываясь от усталости: без надежды, без мысли и воли, ноги несут тебя сквозь темнеющую угрозу всех смертей, мимо вздыхающих болот такой непомерной глубины, что дна в них нет – дно разверзается в бархатную черноту неизвестного космоса, где горят далёкие огни звёзд, ни одну из которых не видели глаза человека.

Умирание души от страха происходит в момент слияния её с безысходностью, подобно тому, как живой атом теряет себя, отчаянно бросив во тьму Пустой Вселенной последнюю вспышку ядерного света, затем навсегда исчезая в том, что неизмеримо больше него. Бывало и так, что умирала какая-нибудь душа среди множества тех, посредством которых совершалась из века в век моя долгая прогулка по лесным дебрям. Среди смертей человеческих погибель от ужаса перед надвигающейся ночью в лесу является, пожалуй, самой милостивой – в миг остановки сердца под напором чёрной крови, в которой уже нет жизни, ты не испытываешь никаких мучений – и падаешь на мягкую землю. Лишь однажды,

кажется, я умирал в мучениях – когда нёсся дикими прыжками в темноте через ельник и, споткнувшись, с размаху наскочил горлом на острый сук, так что конец мой достигал меня по двум роковым путям: через разорванную плоть кровавой раны и по грохочущему туннелю лесного ужаса.

Но вот благая неведомая сила осеняет бедную испуганную душу минутой странного спокойствия – словно среди грохотавшей бури внезапно разверзается пауза тишины, когда раскачанные ветром деревья ещё пьяно шатаются из стороны в сторону и ураганом подброшенные к небу крыши домов ещё не успели упасть на землю, а согнанные к одному берегу озера волны ещё колотятся диким стадом и вскакивают на дыбы, прыгая друг другу на спины. Чудесная тишина смиряет смятение, вдруг ты наполняешься покоем, останавливаешься среди бега и, отойдя в сторону, тихонько усаживаешься под деревом. О сколько я знаю странных случаев в малых судьбах тех, кто гуляет по лесам, когда среди жестокости, придури и душной дикости существования вдруг выпадает ничуть не сомнительное счастье, по которому я мог судить, что люди, обладающие дарованной Богом свободой, сумели бы устроить себе совсем иную жизнь, чем та, к которой они привыкли.

Однажды был я заблудившимся в лесу конторщиком Баташовского завода из Гуся Железного, день, ночь и ещё целый день до вечера проплутал я по мещерским дебрям, кружил меж гибельных болот, пересекал одни и те же лесные угрюмые углы, отчаялся совсем и при мысли о наступлении следующей ночи почувствовал себя на грани гибели. И вот уже на вечерней заре вышел на какую-то едва заметную тропу, поплёлся по ней, и вскоре она вывела в просторный березняк, весь пронизанный полосами розового света. Пересекая их поперёк, пока они не истаяли незаметно, шёл Мефодий Замилов, гусевской конторщик, позабывший, кто он такой, еле жив по неведомой дороге. И привела она к кирпичному дому с розовой черепицей на крыше, к подворью лесной фермы помещицы Тураевой. Он вошёл в калитку, едва держась на ногах, – и упал посреди двора, как приبلудший пьяный мужик, косматый, оборванный, без картуза. Хозяйка в это время пила вечерний чай со сливками и свежим земляничным вареньем, рассеянно смотрела сквозь стекло двустворчатого окна на то, как упавшего поднимают с земли под руки кухарка Евласия и скотница Катерина, ведут его к дому, и лохматая голова того, которого ведут, низко свисает и качается из стороны в сторону. Заинтересованная, почему Евласия с Катериной тащат человека к главному входу, Лидия Николаевна Тураева оставила недопитую чашку и встала из-за стола. Ей бы знать, что от этого человека родится её младшенькая, единственная дочь Даша – так пошла бы к двери побыстрее, наверное.

За ту минуту, которую она промедлила, работницы уложили на чистые доски крыльца Мефодия Замилова, растягнули на нём рубаху, откинули кудри с лица – и перед вышедшей из дома хозяйкой оказался беспамятный измученный красавец конторщик, которому вчера вздумалось пойти одному в лес за грибами. Даже бессильно раскинутые руки и крупная шея, исцарапанная в кровь, выставлялись из рукавов и ворота одежды во всей убедительности мужской мощи. Евласия с Катериной узнали известного в Гусе Железном человека, громко раскудахтались на крыльце – Лидия же Николаевна видела Замилова впервые, с быстрым вниманием осмотрела его и велела бабам занести человека в комнаты. Барыня следила за тем, как вносят женщины в дом беспамятного человека, и ревниво, почти хищно стерегла те их движения, в которых проявлялась простодушная чувственность двух здоровых баб, ненароком причастных к телу беспомощного перед ними чужого красавца.

Для очнувшегося Мефодия Павловича было подобно воскресению в другом мире – когда он раскрыл глаза, осмотрелся и увидел себя в белоснежной постели, под высоким пологом из сарпинки, чтобы не кусали мошки и комары. За полупрозрачной дымкой ткани текла расплавленным золотом далёкая лампа, а в её свету слабым намёком сияния возвышалась женщина, держащая в высоко поднятой руке что-то светлое. Ему вспомнилось, как тяжело было ночью в лесу нести корзину с грибами, то и дело цепляясь ею за торчащие на пути невидимые сучья – и он, как бы опомнившись, понял всю нелепость своих стараний и с размаху зашвырнул корзину куда-то в затрещавшую тьму; теперь вроде бы несла из тьмы

на свет неизвестная женщина эту корзину. Она повесила высокую круглую шляпу на изогнутую деревянную вешалку-трость и, вскинув руки, сбросила с плеч какую-то незамысловатую лёгкую одежду. Потом подошла к зеркалу, пригнулась, осмотрела своё лицо – я проверяю себя, так ли всё было, – почему столь обычная явь, как женщина, устраивающая на ночь свою любимую шляпу, могла произвести столь великое впечатление на человека?

Я уже не знал былой усталости, ночь страха в лесу мгновенно забылась – чей это дом, где я очутился, и кто эта женщина, повернувшаяся от зеркала лицом ко мне? Я переживал человеческую любовь во множестве, не о той любви говорю, которая у них остаётся по большей части на бумаге, в книгах, песнях, – я испытал то, о чём не говорят, не пишут в стихах и романах, а что *творят* с полным чувством правоты и истины. В каждом таком случае не два тела соединяется, а словно извергается один вулкан, не радость и сладкий мёд достают двое из глубокой тайной пещеры, а, изогнувшись одинаково, ловят и отбрасывают прочь летящую на них молнию. Было так, что, увидев больного совершенно выздоровевшим, зрелая и нерастроченная женщина осталась со мною под сарпиночным балдахинном, не зная жалости ни к себе, ни к своей неожиданной добыче. Наутро, поднявшись раньше меня, Лидия Николаевна ничуть не была смущена тем, как поступила, лишь ласково улыбнулась румяным лицом, нежными, сдержанными глазами – сидя на краю постели и положив мне на грудь свою мягкую большую руку. Не надо было ничего говорить – ведь ни слова ещё и не было сказано! – и это свойство Деметры меня больше всего восхищало в ней. Она могла раскрыть через своё безмолвие, насколько происшедшее значительнее всего, что может принести за собою произнесение слов.

Это была женщина, способная серьёзно внимать повелениям животворящего начала и без моральной мелочности спокойно исполнять их, чего не поняли многие знавшие её мужчины, среди них и Гостев Сергей Никанорович, дважды с негодованием отвергнувший её устремление к себе – в первый раз в Москве на Разгуляе, когда она оставалась у него на ночь, – и это после долгих насмешек над ним из-за романа "Гарденины", который он любил, а она презирала за безыдейность; и второй раз к концу его жизни, в городе Боровске, когда он на санках вёз от реки Протвы воду, упал на обледенелом взгорке, никак не мог подняться, беспомощно мотая в воздухе ногами, и к нему подбежала молодая женщина, отцепившись от какого-то немецкого вояки, с которым шла по улице: "Дедушка, дай помогу", – протянула ему руку, зачем-то сняв с неё белую пушистую варежку – была она совершенно вылитая Лидочка Тураева в молодости. Те же густые брови, и глаза, и налитые сочные губы, и широкая улыбка с блеском белых влажных зубов. "Пошла, пошла, блядюга!" – хрипло кашляя, обложил старик *эту* Лиду, затем от бессилия уткнулся лицом в снег. Через два дня он должен был без мучений замёрзнуть в своём домике, сейчас же ему было столь тяжело, что он с трудом понимал всё происходящее во внешнем мире, забыл даже, что идёт война и враг захватил город, – не продажную девку, отдавшуюся немцам, отгонял он от себя, будируя свои патриотические чувства, а вновь оттолкнул Лиду Тураеву, которую он всю жизнь не мог забыть и ядовито презирал: все женщины, считал он, были такими, как она.

Впрочем, и конторщик Мефодий Павлович также не понял бедную Лидочку, когда, пробыв у неё в спальне в качестве больного (или пленного) три дня и три ночи испытал с нею то, чего он потом всю долгую жизнь никогда не мог забыть, также посчитал поведение женщины предосудительным и больше к ней не заявлялся. Его дочь Дарья, о существовании которой Замилов знал, но признавать её не хотел, потому что по слухам она была похожа как две капли на прасола Авдея Когина, с кем давно путалась помещица, – Дарья никогда ему так и не встретилась. Мефодий Павлович плыл однажды на пароходе в заграничную командировку и в каюте развернул газетный свёрток с окороком, положенным женою в сумку с дорожными припасами, – и увидел напечатанную в газете "Гудок" фотографию Даши, молодой связистки Миусского телефонного узла, которая после окончания техникума недавно начала работать и уже стала хорошим спецом – Дарья Мефодиевна Тураева, двадцатидвухлетняя ударница труда. Газету, покрытую тёмными пятнами жира, Мефодий

Павлович хранил до самого прибытия в Англию, по после командировки, благополучно вернувшись домой, и в течение всех последующих лет жизни больше он о Даше не вспоминал, но о грешной Лидии Тураевой, хозяйке лесного поместья, грустил вплоть до своей смерти на даче в Красновидово.

От самой же помещицы к этому времени даже могилы не осталось - похоронена была на деревенском кладбище, могила её, самая заурядная, с деревянным крестом, недолго существовала на земле – крест лет через десять накренился, затем и вовсе упал, его куда-то уволокли, и безымянный холм ещё лет десять был заметен, но постепенно её затоптали ногами живых, проходивших к другим могилам. А через семьдесят лет на месте захоронения Лидии Николаевны появилась странная могила. Она была за железной оградой, украшена внушительным памятником из чёрного гранита, заметно выдающимся среди окружающих траурных каменьев, старых крестов и железных пирамидок. На плите способом точечной насечки был осуществлён парный портрет: некий пожилой лысоватый солидняк во френче, упитанной комплекции, и склонённая к его лысине в жесте унылой дочерней признательности молодая курчавая девица. Выбитая по цоколю памятника надпись сообщала, что имярек и его любимая дочь такая-то родились тогда-то (цифры исторических дат были выбиты с помощью острых, твёрдых инструментов), а дальше пошла сплошная хитрость. Было написано не "умерли", "скончались" или "погибли", как пишется на могильных памятниках, а – "жили до" – и дальше опять были изображения каких-то дат, но едва процарапанных на шлифованной поверхности гранита, к тому же ещё и замазанных сверху полосками коричневой масляной краски. Однако выразительнее этих экзерсисов было то, что за оградой у памятника земля лежала ровная, поросшая зелёной травкою – и никаких могильных холмиков. Это означало, что предприимчивый солидняк заранее до смерти обеспечил себя и любимую дочь солидным местом на кладбище, для чего установил вечный памятник из чёрного гранита и, чтобы объегорить всех на свете, да и самого Господа Бога, сочинил вышеозначенный текст. Имя солидняку было: Савостьян Кондратьевич Ротанков.

Я не люблю город, где душно мне, но существование моё настолько связано с городом, что просто "не любить" уже не могу себе позволить, – я тяжко ненавижу его, но и ненависть эта ничего не стоит, потому что город убивает меня. И я вынужден был избрать для себя особенный путь – выезжающего на природу горожанина, блуждающего по лесам грибника в очках, в потёртых американских джинсах или охотника в лётчицких унтах, с дорогим английским ружьём, с надёжной лицензией на отстрел зверя и охотничьим билетом в кармане. Я прозябаю в городе, томлюсь в квартире с ванной и другим кабинетом, обеспечив с их помощью максимальное удобство бытия, а с отоплением и с горячим водоснабжением обрета надёжную защиту от губельного для меня холода внешней среды; попадая же в лес, я просто болтаюсь по нему с корзиною в руке или с ружьём на плече, и никакой жизненной необходимости в этом нет: кормления, добычи. И ничем не измерить грусти моей от подобного моего раздвоенного существования.

Разве что развеселит меня какой-нибудь городской кошмар вроде того, когда я повстречался в подземной клоаке, на бетонном берегу коллектора самого тов. солидняка, чья могила с памятником из чёрного гранита вопияла о своей обездоленности, – или разволнует меня такое событие, когда в лесу, на совершенно бредовом для хороших грибов месте, на поросшей молодым осинником вырубке, нашёл я чистый белый гриб более полутора килограммов весом! В тот день, когда у края подземных сточных вод, мрачно утяжелённых тысячами тонн использованных презервативов, мне встретился автор собственного посмертного мемориала, я был корреспондентом газеты "Вечерняя Москва" Ериным, получившим неординарное задание написать репортаж о работниках столичного канализационного хозяйства. А баснословный гриб нашёл я, будучи начинающим художником-авангардистом Филадельфом Лятомиком, который начал свой авангардизм лет десять тому назад, но не смог продвинуться слишком далеко от этого начала. Оно характерно было тем, что Лятомик поистине с могучей тоскою гения возжелал, чтобы фигуры на его живописных композициях не оставались бы раз и навсегда неподвижными, а задвигались бы,

как актёры на сцене. Но прошло десять лет, а нарисованные фигуры так и оставались неподвижными, сколько бы Филадельф Лятомик ни бился. Тогда художник, мрачно усмехаясь, стал прикалывать к полотнам раскрашенных картонных паяцев, ноги и руки которых болтались на ниточных шарнирах – как раз в этот картонный период его творчества он нашёл в лесу, недалеко от деревни Верзилово, свой фантастический гриб.

Ерин же сам напросился в подземелье канализационного хозяйства, Ерину хотелось посмотреть на нечто напоминающее, должно быть, парижские клоаки из кинофильма "Отверженные", но то, что он воочью увидел, было настолько невообразимым по своей чудовищности, что Ерин ни разу и не вспомнил про французские романтические киноподземелья и ходил вслед за провожатым, выпучив глаза под маскою респиратора, там же и широко разинув рот от ужаса и удивления. Но вот он выронил из дрогнувшей руки большой красный блокнот, куда записывал свои новые впечатления, а ему при этом посвечивал аккумуляторным фонарём провожатый, главный смотритель районного коллектора товарищ Ротанков. Сей господин, тоже затянутый в резиновую маску, хотел предупредительно поднять и подать уважаемой прессе её орудие производства, с чем и наклонился вперёд. Однако Ерин, не заметив в темноте этого маневра, сам с судорожной быстротой совершил встречный поклон – и две головы с огромной силой долбанулись друг о дружку, отбросив их владельцев в разные стороны. Ерин попал спиной на бетонную наклонную стену подземелья, а главный смотритель, взмахнув фонарём, упал со смотровой площадки в бассейн коллектора. Там с грандиозным шорохом шевелилось организованное дерьмо города, булькали сливные помои, сброшенные в единое гноище, казавшееся при свете фонарей мокрой кожей гигантской жабы.

Издав вопль ужаса, Ерин направил луч своего фонаря вперёд и осторожно двинулся к краю площадки – и увидел под самой стенкою барахтающуюся в жиже фигуру, очень похожую на немыслимых размеров крысу. Корреспондент газеты лёг на живот, ухватился левой рукою за какую-то трубу и, свесив правую руку к потерпевшему, поймал его за нос респиратора. С силою потянув на себя, Ерин оказался с резиновой харею в руке, а освобождённый от неё солидняк на мгновение с головою исчез в жидкости, но тут же появился и, выплюнув тёмную струю изо рта, крикнул загрохотавшим на всё бетонное подземелье отчаянным голосом:

– Включить аварийный свет!

Но совершенно растерявшийся корреспондент и при нормальном состоянии не смог бы выполнить команды смотрителя, ибо он не знал, как это сделать, и я помню, что болезненной и настойчивой мыслью Ерина была та, что если провожающий утонет в дерьме и фонарь погаснет, то ему материала не написать, потому что здесь в темноте он сойдёт с ума. Ерин не знал, что у главного смотрителя подземных коллекторов, выходца из деревни Мотяшово, есть уже почти готовая могила на деревенском погосте, куда он обязательно должен попасть, поэтому он не может исчезнуть в дерьме здесь, столь далеко от намеченного места – Ерин, как это ни странно, родившись и прожив тридцать лет в Москве, ни разу не побывал в лесу – а ведь на том месте, где он лежал на животе, свесившись через край площадки, героически протягивая вниз руку, когда-то шумел высокий красный бор и корни великолепных сосен оплетали собою то пространство, где плескался и булькал среди скоплений резиновых презервативов нечаянно упавший туда солидняк, в прошлом парализованный богатырь Савоська.

Прекрасными были леса моей молодости, грудь их распирало невыносимой силою древесного множества, чистая белая мышца и золотистая кожа дерев не знали ещё прикосновения к себе холодного железа. Я гулял по тем местам, где потом явится срединная Россия, провёл в солнечном одиночестве множество весен и лет, не зная ещё человеческого ощущения жизни. И утешая свой дух красотой звериных прыжков, побегом гибкой лани – оленьей женщины, весёлым треском крыл громадных тетеревов, несущихся сквозь пролёты лесных пустот, я в душе своей лелеял мечту о встрече с кем-то прекрасным, который гораздо лучше меня, – кого и люблю, значит, намного сильнее себя. Предпошущался он таким же, как

я, с тою же способностью мыслить и тревожиться неизвестным, но, в отличие от меня, – знающим ответы и не ведающим вопросов. В то время как я изначально задавал свои вопросы, не зная никаких ответов. Радуюсь тому, как совершенен и прекрасен Лес, по которому я гулял, я с непреложностью истины понял, что Тот, Кто послал меня мыслить и видеть красоту, замыслил прекрасно. Если вокруг меня был живой Лес, исполненный высшего совершенства, то творец его был Отцом Леса, – и встретиться с ним мне захотелось нестерпимо! С тех пор я и хожу в сенах Леса, надеясь на желанную встречу.

И вот уже давно появилось человечество со своей цивилизацией, которая вскоре уничтожит все леса на земле, неисчислимы исхожены мною дороги в пространствах Леса, но по-прежнему – Я ОДИНОЧЕСТВО. Может быть, иногда я слышал звуки Его мощных шагов за гулом непогоды, однажды ночью увидел Его корабль, облетающий звёздное небо вдоль Млечного Пути. А в тот день, когда я заблудился в лесу (в который уж раз), то мог бы и увидеть, наверное. Его, если бы страх не одолел меня. Был я тогда художником-авангардистом Ф. Лятомиком, которому надоело вырезать и прилаживать к своим полотнам картонных человечков, – я на время оставил живопись и, уединившись в деревне, принялся за чтение книг, которые привёз с собою в рюкзаке.

"Господа, – произнёс я, – господа, кто из вас может объяснить, что такое парляндю и фуриозо?" – сказав это, я внезапно опрокинулся и полетел затылком в бездну – и тут же проснулся. Пробуждение моё смешалось с мгновением безмерного ужаса, ибо я поначалу никак не мог понять, куда это я выпал головою вниз, – и таким страшным был шум ветра по вершинным просторам леса.

Я уснул на серебристой моховой постели, такой пышной и мягкой, что в ней блаженно утонули все мои усталые косточки. Сон мой продолжался минут, может быть, пять-десять всего, Однако и этого времени хватило, чтобы совершенно забыть, кто я и где нахожусь, а сонная душа унеслась в некое книжное чеховское время и прижилась среди каких-то учтивых господ в светлых полотняных костюмах, в шляпах канотье. Проснувшись, я и испытал ужас того книжного человека, которым угораздило меня стать в сновидении, а вокруг шумел под ветром глухой мещерский лес.

Тень облака набежала волною прохлады на тот моховой бугор, окружённый соснами и берёзами, где лежал я, а ведь придремалось мне в солнышко, когда иссушенный мох струил ощутимые волны тепла. И теперь ещё мшаный подстил был тёплым, однако не веяло над ним живым, почти домашним дыханием, которому я доверился, ложась на лесную постель отдохнуть. Из полутёмной заболоченной чащобы тянуло комариной сыростью; рыжие столбы сосен и белые берёзовые стволы стояли тесным забором вокруг поляны, серый мох которого был усеян множеством желтовато-бурых грибов. Это крупные моховики, чьё неисчислимое воинство заполнило все лесные поляны. Моя корзина полнёхонька стоит у ног, но в ней моховиков нет – я собирал только белые грибы и крепкие, самого молодого возраста, беспорочные подосиновики с налитыми багровыми сиянием шляпками.

Поднявшись на ноги, я с тревогою заозирался. Уже давно я сбился с дороги, шёл по лесу наугад, лишь придерживаясь направления по солнышку, а теперь солнце исчезло – и было совершенно непонятно, в какую сторону идти. Странное сновидение, в котором я вертелся на одной ножке перед какими-то дамами в длинных платьях с кринолином, обнажило истинные корни моей души – они были насквозь литературными. Я, видимо, образовался как человек благодаря книжному чтению, и мир книг был для меня подлинной реальностью – а вокруг раскинулся, хлюпая бездонными болотами, могучий мещерский лес, куда я осмелился вторгнуться с корзиною и перочинным ножиком. И этот подлинный, живой, опасный лес представлялся сейчас мне очередным воплощением многочисленных кошмаров, коим была подвержена моя издёрганная городская и, стало быть, литературная душа.

Но кошмары обычно заканчивались пробуждением, когда я, облегчённо вздохнув, мог перевернуться на другой бок и, торжествующе посмеиваясь над бессилием угрожающих химер, погрузиться в сладкую предутреннюю спячку... А сейчас совершенно невозможно

было подобное освобождение, и предстояло, как ни страшно подумать об этом, выпутываться с помощью каких-то собственных усилий...

Но каких? Лес дышал мне в лицо сыростью прохладных густых испарений; обомшелые стволы сосен, словно в клочьях серой ветоши, стояли тесно, угрюмо, и страшно было вступать в их чащобу, как во враждебный дикий стан; казалось, что молчаливая миллионная толпа деревьев, живых и мёртвых, взирает на меня с затаённым неодобрением и чуждостью: иди-иди, нечего озираться... И я медленно, с чувством тоски и безнадёжности двинулся вперёд, неся на ремне через плечо полную, тяжёлую корзину с грибами.

Пошёл частый нестарый сосняк, весь усыпанный жёлтыми иглинами, сумрачный под непроницаемым хвойным сводом, с буреломами и снеголомами, порою настолько тесными и спутанными, что пробраться было невозможно, и я плутал среди вывернутых с корнем палых сосенок, косо торчащих, полузаваленных, и среди согнутых дугою деревьев, изувеченных гнётом зимнего снега, спотыкался о завалы крест-накрест набросанных длинных серых жердин. А когда с тяжким дыхом я пробился сквозь буреломный соснячок и обрадованно устремился к сияющему просвету, передо мною раскинулось большое, круглое, с плавучими лохматыми кочками болото, киснувшее в неподвижной коричневой воде.

Отчаяние начало брать верх над волей – я не представлял, какими силами одолею обратный путь через сосняковый завал. Тяжёлая корзина, наполненная превосходными грибами, стала исподволь вызывать во мне глухое раздражение: куда волоку эту лесную плесень, если мне приходится пропадать здесь, среди гнилых болот? Я снял с плеча ремень, на котором держалась увесистая корзина, поставил её на землю, с трудом удерживая искушение поддать ногою и раскидать по мху весь бесполезный грибной сбор. И всё же бурые, матовые крупные головы белых – каждая с кулак величиною – были настолько хороши, настолько благородны, красивы и безупречны видом своим, что я не осмелился покуситься на них. Внезапная жгучая печаль пролилась в душе, и я, присев возле корзины, отдался этой печали.

Я сидел на краю безвестного мешчерского болота и горевал о том, что было давно, о своих первых грибных охотах в Подмоскowie, о страсти небывалой, внезапной и чистой, о молитвенных выходах в лес на предрассветной мгlistой заре, когда ещё темна и тяжела сонная земля, набухшая холодной травяной росой и лишь над дальней стеной леса сплошная пепельная окраска мира бывала нарушена светящимися полосами и огненными завитками рассвета... Вспомнились многие часы тогдашних безуспешных блужданий по лесу и внезапная удача, приносившая невероятное счастье, – а речь шла о каких-нибудь пяти-шести белых, найденных семейкою, что выросла вокруг берёзы ровным кольцом, или о громадном, невероятно красивом грибе, стоявшем на кочке перед мелким, тесным густолесьем из молодых осин и берёзок... Особенную боль причинило воспоминание о том, как старуха, хозяйка дачи, бралась высушить в своей русской печке грибы, нанизывала их на проволочные стержни и засовывала в печь, а после того, как они обвялятся в жаре, досушивала на лежанке, где была разостлана бумага, – и наконец отдавала мне совсем малую толику грибного сушенья, и я ещё радовался, ничего не понимая, толком ещё не зная, сколько сухих грибов получается от одной только корзины... Она грабила меня, эта жующая губами, нерешительная на вид, добропорядочная бабуса!

Между тем надо было выбираться от болота на какую-нибудь дорогу и идти по ней до тех пор, пока не приведёт она на знакомое место или пусть хоть в незнакомую деревню. Солнце, видимо, спряталось надолго – небо скрылось за сизовой мутной завесой, предвещавшей не то дождь, не то наступление невдолге вечера. Я не знал, сколько было времени, – часов не взял в лес; и та случайность, что я уснул на мягкой моховой перине, теперь казалась предрешённой злым роком: пока спал, исчезло солнце. И сколько длился мой сон, тоже неизвестно, – и хотя мне кажется, что минуты, но на самом деле могли ведь пройти часы...

Близилась ночь! Я подхватил с земли корзину и, укрепившись сердцем, ринулся обратно в сосняковый бурелом, шёл путано, торопливо, натываясь на острия сухих веток,

ломаю ногами навалы полусгнивших тонких сосенок, какими-то неведомыми силами старательно уложенных на землю. И с трудом уже поднимал я ноги, обутые в резиновые сапоги, когда собирался перешагнуть через толстые палые лесины...

И вот наконец захламленный сосняк кончается, где-то впереди должна быть та поляна, где я отдыхал. Я вижу просвет и устремляюсь туда – передо мною открывается ещё одно болото, гораздо мрачнее и больше того, которое я только что оставил позади.

Я не знаю, каким образом оно оказалось здесь, ведь никакого болота не встретилось мне, когда я выбирался к той моховой поляне... И где теперь она? От неё, по крайней мере, я мог бы определить примерное направление, чтобы выйти к проезжей Княжовской дороге... Настолько закрутился, что даже не в силах сообразить, в какой стороне мне искать знакомую полянку.

И тут древний Пан, козлоногий и козлорогий, тихо зашелестел в гуще чёрного ольшаника, обступившего болото. Невнятный страх пока ещё смутно обозначился в душе, словно скрытая в белом тумане болотная трясина... Над туманными глыбами лишь чернеет скрюченная рука коряги. Я должен только одно знать – что всё это пройдёт и что по-прежнему вечерами я буду сидеть в кругу семьи... мирно читать свои книги. Деревянная шишковатая голова, обросшая лохматой бородой, лишь померещилась мне. Никто не стоит за кустами и не подсматривает за мной. И никто сейчас не выскочит из болота...

Вокруг стало заметно темнее, а на глубину леса и оглянуться было страшно: там зияли, словно глухие пещеры, какие-то проходы и коридоры между деревьями – сверху чернела сплошная тяжёлая крыша. Комары, которых я раньше не замечал, вдруг стали густо облеплять лицо и руки – видимо, кончилось действие противокмарной мази. Я тихо двинулся краем болота, чтобы только не стоять на месте, но с каждым шагом мне казалось, что лес становится глуше и непроходимее, а *он* скрытно наблюдает за мною и с жестоким коварством направляет мои гибельные шаги. Сердце моё то колотилось всполошенно, то замирало, как на краю головокружительной пропасти.

И, настороженно озираясь вокруг, я впервые распознал лес как живую, неимоверно могучую силу, и она составлялась из сжатой силы всего глухонемого зелёного воинства. Каждая из этих прямых сосен, косматых чёрных елей и выросших в сырой чащобе сутулых берёз – каждое дерево со всею громадою своей древесной мышцы, с тайными струйками соков, с клубком корневищ, уходящих под болото, оказалось гораздо могущественнее меня. И теперь, когда их было много, а я среди них один, – деревья и кусты, мхи и папоротники раскрылись в подлинной сущности, явили свою душу – она была враждебна и беспощадна ко мне.

Уже не имело никакого смысла, что я знаю какие-то слова, могу их произнести или написать. Парляндю... Зачем мне слова, если я был не значительнее любого гриба, лежавшего в моей корзине, и *он* готовился расправиться со мною так же, как и тысячи лет земного времени молча расправлялся с каждым из этих жаждущих вечной жизни, но обречённых на гибель и гниение былинок, грибов, деревьев и комаров. Мне открылась тяжкая тяжкая трагичность лесного бытия без всякой надежды на перемену судьбы – стой на месте в общем строю обречённых и гибни, вались под ноги ещё уцелевших и истлевай в синюю светящуюся гнилушку.

В лесной тесноте каждому дереву так томительно, душно, беспросветно и безнадежно, что не было и не могло быть здесь хотя бы чего-нибудь отдалённо напоминающего человеческий свет и сочувствие. Мрак беспощадности исходил от каждой жизни, брошенной в мучительную тревогу собственного выживания, и, находясь во чреве мещерского леса, я понял, где начинаются истоки людской жестокости и безнадежности. Они эти истоки, начинались там, в не постижимой глубине напластований эр, где зарождалась первая жизнь, – и при этом *он*, холодный математик и игрок, всё рассчитал так, чтобы жизненная сила каждого жаждущего своего бытия была бы прямо пропорциональна его беспощадности к ближнему. На этом и замешено право могущественного, прекрасного леса, об это пока что разбивались все усилия божественного человека, – и я не мог рассчитывать ни на какое чудо,

находясь в жестокой зелёной толпе.

Но ведь и я родился не от книг – нет, не от них; панический страх, зарождавшийся в моей душе, вдруг как-то съёжился и затвердел в комок небывалой во мне звериной настороженности; включились доселе неведомые энергии, и я уже забыл о своей усталости, ноги мои будто подменили, они налились свежей силой, и я прытко устремился куда-то, движимый таинственным вдохновением. Я побежал по лесу зверем, стоило моей душе стряхнув с себя бесполезные надежды, понять, что никому дела нет до моего спасения и что я такая же брошенная жестокою рукою в мир случайность, как этот полуосыпавшийся можжевельник, как разлапистый папоротник, хрустнувший под ногою... Моё возвращение к первозданному началу, моё принятие извечного одиночества и отчуждения зверя, дерева, травы – моё человеческое поражение я принял без горечи и печали. Я хотел лишь одного – спасти свою шкуру, а вместе с нею и душу, и в деле этом мне не должно было ждать посторонней помощи.

Куда-то я выбежал: мелкие ели тесными рядами, березняк чахлый, тонкоствольный, высокая, падающая в разные стороны жгутами трава. Неужели снова болото? Их тут тыщи... Но вроде ноги идут пока по твёрдому, хотя дальше, под ёлками, начинаются круглые шапки зелёного пушистого мха. Я смотрю: между стволами берёзок стоят как на картинке несколько штук ядрёных белых грибов. Охотничья привычка сильнее всего – я на ходу смахиваю ножом одни шляпки, кое-как уещаю их в переполненной корзине.

И в эту минуту, только что выпрямившись над корзиною, я увидел за ёлками белую огромную фигуру. Словно из облака – ослепительно белый великан ростом с сосну двигался за мелкими деревьями вдоль старого леса. Длинные белые волосы свисали за спиною... Женщина? Кажется, нет... Великан стал медленно разворачиваться лицом ко мне: прямые плечи обозначились в вышине, голова обернулась – сейчас мы встретимся с *ним* взглядом. И в эту секунду слепящий, как солнечный взрыв, сверхъестественный страх застлал мне глаза. Я хотел повернуться и бежать, но вместо этого упал лицом в мох и прикрыл руками голову. Срывающимся голосом я бормотал, внушая себе: "Это... показалось. Это тебе... показалось. Ты подними голову... посмотри... Этого быть не может... Подними, посмотри..." Но я не мог поднять головы, я лишь сильнее втискивался лицом в сырой, прохладный, пахнущий болотом мох. Не испытанный доселе, непобедимый страх вмял всё моё существо в землю. Я никогда не предполагал, что во мне живёт такой страх. Нет, я не мог сам спастись, ибо перед вселенной был беспомощным, как голый птенец. И я не знаю, сколько времени бы пролежал там, в лесном прахе, если бы вдруг не услышал, как где-то совсем недалеко шмелем гудит мотор. Это проходил по дороге грузовик, отвозивший рабочих в деревни Пашинки и Княжи...

В кабине грузовика сидел за рулём молодой мужик Славик – он же и одушевлённое орудие труда колхоза с таким же названием, как и его звучное имя, – подбрасываемый на сиденье, словно на горбу взбесившегося верблюда, сей профессиональный наездник с утра был в очень сложном душевном состоянии, и ему было не до загадок и красот леса, через который он ехал по широкой песчаной дороге. Сын Козьмы и Марьи, внук Игната и Лариона, чей племянник Гришка был расстрелян самосудом, правнук Гордея Сапунова и Алексашки Жукова, чьи предки уже неразличимы в сонме бесфамильных крестьянских существований в глухих лесных деревнях, где копошились крепостные рабы господ Бутурлиных, Волконских, Гречковых, Тураевых, знаменитых Гагариных – Славик козьмомарьянский ехал на рабочем грузовике прочь от своей родной деревни. На лице его было выражение лукавства и значительности, чего никто на безлюдной дороге видеть не мог, кроме меня. Но никто, кроме меня, и не знал того, что Славик, несмотря на выражение своего лица, сам не знает, куда он сейчас едет, нещадно погоняя свой фантастически раздолбанный драндулет, у коего даже акселератор не работал – вместо него имелась некая верёвочка, за которую нужно было потянуть, чтобы добавить газку.

Он ехал потому, что не знал, как ему прожить этот ещё длинный вечер в деревне, где нет молодёжи, кроме него и ещё двух парней – вечно улыбающегося Егорочки и дебила

Васьки, жирного и грязного, как поросёнок, который целыми днями возит из конца в конец деревни двухколёсную тележку-рухлядь, груженную копёшкой прошлогодней соломы. С утра Козьма да Марья, родители Славика, напились и подрались, затем помирились, снова сели за стол и угостили поднявшегося с постели сына, и он поначалу не хотел пить столь отвратительную поутру, по свежему лесному воздуху да по ясному солнышку, совершенно ядовитую водку. Но отец разорался, хотел бить его, мать качалась, как дурочка, сидя на лавке у печи, икала и тарасила глаза на полыхавший огонь – и, зверем покосившись на родителей, которые ничего, кроме добра, ему не желали, Славик махнул сто пятьдесят из гранёного стакана. А после выехал на работу, с фокусами заведя стоявший перед избою грузовик, – и целый день испытывал два желания: сокрушать своей машиной всё, что попадалось на пути, и отчаянную жажду добавить ещё, потому как ста пятидесяти граммов было мало.

Но за целый день проклятая жизнь не сделала бедному инвентарю колхозного труда никакой поправки, в карманах его были сплошные дыры, даже расчёску было негде носить, и поэтому Славик ходил лохматым как чучело, а такому ведь кто из приличных даст рубля взаймы. В среде же неприличных, к которой принадлежал шофёр, почти все бегали лохматыми, жаждущими, без денег на обед. А теперь, когда рабочий день кончился, бесполезно было и домой являться, потому что к этому времени родители высосали всё, что можно было, и сами теперь ждали небось, что сынок каким-нибудь чудом раздобудет бутылку, сам не выжрет, а принесёт её, застрявшую в кармане штанов, и поставит на стол перед папашей и мамашей. Вот на воротник вам! -кошунственно подумал о них сын и решил из деревни уехать, как только три старика и две старухи – вся рабоче-крестьянская сила деревни – выгрузятся возле заколоченного здания сельской школы. Кроме этой мёртвой школы в деревне находилось ещё два здания выморочной государственности: бывший клуб и закрытый по причине смерти фельдшера амбулаторный пункт.

В клубе, где даже дверей не было, распоряжался доброволец культуры Егорочка, восседал за длинным ученическим столом, взятым из ликвидированной, за неимением учеников, деревенской школы; с неизменной своей ласковой улыбкой на круглом густобровом лице встречал Егорочка посетителей очага культуры. Этими посетителями чаще всего бывали последние молодые люди деревни, жившие там уже при полном отсутствии девушек: работник колхоза Славик и колыхающий жирами на груди, небритый безобидный дебил Васька, по такому случаю оставивший свою тачку перед входом и осторожно пролезавший в дверной проём, собрав перед собою в кулак подол длинной, до колен, чудовищно грязной рубахи. Они собирались долгими летними вечерами или в праздники, чтобы перекинуться в картишки, сыграть в "очко" или "сику", хотя и в том и в другом все трое мало чего смыслили: Егорочка и Васька в силу своего слабоумия, а Славик из-за головных болей, которые начинались у него при малейшем умственном напряжении. И, глядя в окно на этих троих наследников деревенского алкоголизма, я из глубины старой липы, чья ветвь скреблась в стекло полусгнившей рамы, обращался к ним с вопросом: кто вас послал в эту жизнь, господа? Есть ли в вашем существовании какой-нибудь смысл, как и в существовании короля Центральной Каландрии или президента Соединённых Штатов Америки? И никак не мог определить, кем же из этих трёх мушкетёров Бутылки являюсь в данный миг я: Егорочка, Васька или механический работник колхоза "Слава"?

Да, это я всё же ехал в грохочущей, как сама катастрофа, машине, потягивая одной рукою шнурочек, уползающий сквозь дырки панели к дроссельному рычажку карбюратора, – это я, Господи, еду по Княжовской дороге сам не зная куда. Кто меня ждёт на этом свете? Кому я нужен не как живой инструмент производства, а как привычная к постоянной муке душа? И вдруг неожиданно вспомнил, что весною, в апреле, когда в потеплевшем лесу дотаивал последними клочьями снег и наступило могучее соководье в деревьях, я где-то здесь в больших берёзах ставил свою посудину. Да, надсёк кору топором и вниз под ранку забил дюралевую трубочку, по которой сразу же струйкою выбежал сок и брызнул в стеклянную литровую банку. Её я поставил на землю меж узлами корней и, чтобы не

заметили с дороги, до горловины заложил сырым лесным мусором. Вон за тою наклонной берёзой с висячим, как подгрудок у коровы, длинным наростом в лишайниках – стоп, машина, банка должна быть где-то здесь! Хотел на другое утро подъехать и взять полнёхонький сосуд прозрачного холодного сока, тут же выпить его с великим наслаждением – и забыл об этом. Небось банка переполнилась, и сок полился через край на землю – прошло эвон сколько месяцев с апреля! Я без труда нашёл под берёзою забытую литровую банку, никто её не тронул, – волнуясь, достал её из кучи веток. Всё стекло банки помутнело, дно и стенки были покрыты слоем грязи, а на самом доньшке посерединке чернел скрюченный скелетик засохшей мышки.

Когда я бросил банку в кусты и повернулся назад, то увидел, что с машиною, стоящею на дороге, происходит что-то необычайное: она искрила изо всех своих щелей, из-под капота вырывались дым и пламя, докрасна раскалился участок изогнутого крыла сбоку, вспучилось на этом месте железо и прорвалось светящейся дырою, откуда хлестнуло струёй огня. Всё вокруг потемнело, что-то громадное и плотное накрыло небо, буря искр поднялась в наступившей темноте с того места, где стояла машина, грянул взрыв, вметнулось ввысь пламя – и всё стихло. Свет дня постепенно вернулся в лес на Княжовскую дорогу, там никакого грузовика больше не стояло, как будто его и никогда не было. И лишь на нижней ветке сосны, стоящей о край дороги, довольно высоко, на уровне полёта сороки, висела рваная стерва от замасленной шофёрской телогрейки, которую Славик возил за спинкою сиденья в кабине. А вдали, где-то уже над Брюховицами или Горелым болотом, летел, слабо дымя пастью, вытянутый в длину Змей-Горыныч.

В этот вечер я несколько раз терял себя и находил – то оказывался в чьей-то комнатухе, тесно заставленной верстаками, чурбаками, железными станинами электромоторов, деревянными колёсами старинных самопрялок, пол был забросан селёдочными головками довольно свежего вида, и кто-то пихал мне на колени гипсовую маску лица мёртвого Пушкина, настойчиво и одновременно насмешливо втолковывая мне что-то насчёт давно погибшего поэта, чего я никак не мог понять сквозь свою головную боль... То меня били как Славика, каким-то образом попавшего на терраску куряевского клуба, где какой-то приезжий из столицы пижон, весь в металле, с портативным магнитофоном в одной руке, нагло вертел задом, изображая какой-то танец, и Славик, не выдержав, смазал его кулаком в скулу, и тот Славика смазал, а затем налетели пижоновы дружки, окружили Славика и, отчаянно трусая, несильно порезали ножами ему грудь и правую руку меж пальцами. В дальнейшем глубокой ночью я брёл, спотыкаясь, по окраине районного посёлка, налетел в темноте коленом на железную водопроводную колонку, долго тёр ушибленное место, стиснув зубы от боли, затем нагнулся и попил, нажав на рычаг, заодно помочил голову, избитое лицо и обмыл раны на руке. И несколько освежённый, но по-прежнему голодный и жаждущий, брёл я по каким-то буграм, глядя на далёкие огоньки, и дул изо рта на свои озябшие кулаки, в одном из которых была зажата железная гайка на семнадцать, которую кто-то положил на плоский верх колонки.

Эту гайку днём ещё нашла женщина с двумя паспортами в сумке, своим и материнским, увидела на истоптанном пяточке возле колонки, – правнучка священника Грачинского, который однажды чинил грифельный карандаш, напялив на нос очки, а за столом напротив сидел работник Емельян, смотрел, как батюшка орудует перочинным ножиком. Новенькую гайку женщина бездумно подняла с земли и положила на плоскую маковку железной колонки, затем нажала рычаг, нагнулась и стала пить, поп же Грачинский вдруг наставил карандаш, словно пистолет, на Емельяна и воскликнул: "Застрелю!" Емельян нырнул под стол. У женщины её мать приходилась внучкой этому шутивому попу, который с укоризною молвил работнику: "Дурак, разве палочка сия стрелять может?" На что Емельян отвечал из-под стола: "Чего не бывает! Долго ли до греха, батюшка". Паспорта нужно было предъявить в местный Совет, где секретарём оказался внучатый племянник этого Емельяна, – дело у женщины было о принятии в наследство дома, построенного сто лет назад священником Грачинским, который чинил карандаш, а затем дом перешёл к его сыну

Венедикту Грачинскому, тоже священнику, затем к дочери этого сына, которая теперь умерла – и это с её паспортом и завещанием женщина и ходила сегодня в местный поселковый Совет.

Внучатый племянник поповского работника с подозрительностью отнёсся к правнучке попа, имевшей судимость за убийство, но затем признанной невменяемой, – душевнобольным же, законно полагал Емельянов потомок, недвижимым имуществом владеть не полагается и право унаследования их юридически не касается. Но она предъявила справку, где на пишущей машинке была отпечатана документация о полном её выздоровлении и поставлена гербовая печать, которой не верить было нельзя. Но оставался всё же факт убийства этой женщиной одного человека, что в своё время широко обсуждала вся округа. Убит был дядя женщины, один из Грачинских, чей родитель не был священником, и родитель этого родителя не был священником, а был либералом, социалистом, большим приятелем Николаю Илларионовичу Тураеву и землемером при уездном земельном управлении. Это он однажды совершенно потряс старика Тураева, народовольца, своим предположением, что впервые социализм будет именно в России. Сын этого Грачинского уже пожилым чахоточным человеком объявился однажды в доме своего родственника, гонимый за какие-то провинности властями, на что отец Венедикт Грачинский молвил сакраментальное "яблоко от яблони недалеко падает", однако приют родичу дал.

Когда Николаю Илларионовичу Тураеву сообщили, что в его России будет социализм, он просто ахнул: не может этого быть, неправда всё это, да за что же нам такая честь? – на что хилавый Грачинский, дед убитого, выпятил грудь и молвил: "Неправды не мог бы сказать, даже чтобы выжить, для спасения жизни-с". И сын его умер чахоткою в двадцатом году в доме священника, тогда же Пульхерия, дочь отца Венедикта, вдова священника тож, родила девочку, которая впоследствии зарубила пожилого родственника, настигнув его в бане.

Он сводил её с ума постоянными нашёптываниями об отсутствии демократии в стране и о том, что настали времена, когда для того, чтобы выжить, надо говорить неправду, неправду и только неправду. Девушке же в те дни было столь лихорадочно и нестерпимо на душе, что она каждый день к вечеру чувствовала, как у неё вскипает кровь в голове и мурашки бегут в щеках, внутри кожи. Ночами к ней в спальню пробирался домовый, он шептал при этом: "Это я, домовый", – и несло табачной затхлостью из его рта, точно такую же, как от дяди. Но то, что в темноте делал с нею домовый, то не могло исходить от грязного и слабого родственника, который жил в их доме, сколько она помнила себя. К тому же дядя открыто сожительствовал с её матерью, и к этому давно привыкли в посёлке: он появился там вскоре после смерти чахоточного Грачинского, оказался его младшим братом, тоже гонимым властями, на этот раз новыми, за что-то, и его со столь же непонятным великодушием принял к себе отец Венедикт. А со времени ареста старого священника Грачинского в тридцатом году брат чахоточного стал в доме подлинным хозяином, и росла рядом молчаливая красивая девочка, которая в скором будущем познает сладострастие ночного домового. Но однажды днём, не дослушав нудных речей дяди о загубленном большевиками социализме, она выбежит в сени и вернётся назад с топором в руке.

Этот человек, младший сын землемера Грачинского, возрос в семье, где забота о социальном равенстве и постоянные слова об установлении справедливого строя в России звучали с утра до вечера, причём по зимним временам холодина в доме землемера стояла собачья, и, кроме жидкого чая, гости там не могли рассчитывать на особое угощение, а домашние так привыкли существовать впроголодь. Землемерша попивала, но была добродушным существом, двух своих сыновей никогда не бранила, как и не баловала, и они с самого юного возраста привыкли сами варить щи, жарить говядину, потому что прислуги у них никогда не было. Мать же обычно спала до часу дня, потом вставала и долго упражнялась на фортепиано, проливая при этом мелкие слёзки, отец же пропадал на службе или где-то по людям. Разница в возрасте у мальчиков была в девять лет, так что особенной дружбы между ними не было, разве что старший брат, умерший впоследствии от чахотки,

очень заботился о младшем в его беспомощные годы, от двух лет до семи, лечил лишаи и золотуху на нём, научил читать-писать.

А в дальнейшем и младший вынужден был овладеть всеми необходимыми навыками для выживания. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, матушка его скончалась – в том же самом халате, который был на ней всю жизнь, седая и растрёпанная, – однажды свалилась на пол, головою в угол, и была готова. Младший же сын только что пришёл из училища и, не видя ничего с уличного света, споткнулся об её тело и чуть не упал: это он почему-то со всей отчётливостью вспомнил в последние минуты жизни, когда, нанеся первый неумелый удар топором по его плечу, племянница на миг замешкалась, перестраиваясь, а он воспользовался заминкой и выскочил из дома. И пока бежал через весь огород к бане, он, задыхаясь, широко раскрыв рот, отчаянно желая спастись, – непроизвольно, с неотвязной пристальностью вспоминал то, как он пригляделся в полутёмной комнате и увидел толстые ноги в серых шерстяных вязаных носках, затем облезлый знакомый халат... руку, лежавшую полураскрытой ладонью вверх... своё желание молча, на цыпочках выйти из дома и убежать куда-нибудь подальше. Он так и поступил тогда: ушёл из дома, и забежал во двор к своему приятелю Ипполитову, и сел возле Ипполитова на траву, и даже закурил папироску – тут, словно выбивая эту папиросу изо рта, хлестнула его по губам колючая яблоневая ветвь, пробегая под которой он не успел нагнуть голову. Желая вытереть кровь во рту, он хотел поднять правую руку, но она не слушалась, подрубленная у плеча косым ударом топора, тогда он утёрся левой. Забежав в баню, он нашарил запор и попытался задвинуть его, но уже сил на это не хватило – дверь дрогнула от удара снаружи, затем с невероятной силой была отброшена в сторону.

Итак, два духовных потока развели род Грачинских – православие и социализм, и на протяжении трёх поколений в одном родовом потоке были сплошь священники, в другом – поборники социальной справедливости и общественной собственности на средства производства. В одном рукаве рода Грачинских накапливалось кое-какое поповское имущество, из другого рукава всё вываливалось – и вот в сороковом году, когда оба эти рукава смиренно были сведены воедино в столетнем доме потомственных священнослужителей, последняя в роду сих зарубила топором последнего из представителей либерал-социалистического направления рода Грачинских, очевидно угадав в нём ночного домового. Во времена февральской революции он был рьяным эсером, состоял даже в правительстве какого-то южного уезда, но затем, бежав от войны, переселился в дремучие леса Мещеры, стал жить в доме священника.

И вот сверху вниз обрушилась через порог бани топор на склонённую голову дяди кимовка тридцатых годов, тщательно скрывавшая в Рязани, на новом поприще работницы кирпичного завода, своё социальное происхождение. Но въедливый и пронизательный юноша Флютин, сам скрывавший своё происхождение от рода богатых подрядчиков ольфрейной росписи в Москве, с помощью двух свидетелей изобличил поповну, внучку арестованного и сосланного за вредную деятельность попа, которая и не была вовсе поповной, а происходила от матери поповны и отца-социалиста, гонимого властями. Пришлось девушке бросить свою карьеру на кирпичном заводе, в формовочном цехе, и вернуться потихоньку на родину, где её ждал ночной домовый. Дневной дядя много лет просвещал двух женщин, свою усталую сожительницу, доставшуюся ему по смерти старшего брата, и её юную дочь в том, что новая власть действительно дала всё её руководящему составу и отняла всё у трудящихся, в особенности лихо разделалась с их правом самим распоряжаться своим трудом и результатами этого труда. И вот, не достигнув шестидесяти лет, последний из социалистов Грачинских навсегда потерял возможность пылить в углу на новую власть, которая обошла и без него, а его прекратительница, души его закрывательница, никчемности его уничтожительница спустя четыре десятилетия после этого пришла в Совет посёлка с паспортами в сумочке, своим и материнским – Пульхерия Бенедиктовна умерла недавно в глубокой старости, насыщенная жизнью, в возрасте девяноста шести лет.

Самой же девушке, исключённой из рядов союза КИМ за сокрытие своего социального происхождения, теперь минуло пятьдесят шесть лет, и она ходила в местный исполком Совета, чтобы установить права унаследования родовым домом. Однако для начала получила от секретаря отказ – потомок слуги словно мстил внучке господина за то, что когда-то оний хотел застрелить своего работника из карандаша. Ей сказано было, что если она тридцать лет пробыла в сумасшедшем доме, то никакая справка не докажет, что она теперь нормальная, но она возразила, напомнив, что последние десять лет провела там не как больная, а в качестве обслуживающего персонала, работала санитаркой и за это получала даже благодарные листы. Секретарь велел принести эти грамотки, а заодно выписку из трудовой книжки, и после этого Совет подумает, как решить, потому что даже невооружённым глазом видно, признался он, что клиентка с большим приветом. И вручать ей во владение домище с мезонином, под железной крышей, помещение пятидесятипроцентного износа – вряд ли кто возьмёт на себя такую ответственность: ещё подожжёшь дом, а заодно спалишь и соседние строения. Тогда она резко напомнила, что село, где она живёт, уже не существует, люди разъехались и дома посвозили, а недавно и церковь сгорела, и вот её-то действительно подожгли, и ему-то, конечно, известно, кто поджжёт, потому что недаром он приезжал накануне пожара с какими-то двумя на машине, и они всё крутились возле церкви, которая давно была заброшена, разворована, загажена и в ней отдыхала скотина в жаркие дни... Он отвечал: ты понапрасну клевету не возводи, а докажи, попробуй; насчёт же того, как ты говоришь, что вернулась из психбольницы допокаивать мать престарелого возраста и что, как ты заявляешь, вы вместе прожили ещё восемь лет, так это и есть, понимаешь ли, доказательство тому, что обе вы были ненормальные: какой же нормальный останется жить один на краю кладбища, в чистом поле, можно сказать, в доме, где даже электричество отрезано?

Она вышла за пределы посёлка и направилась по пустынной дороге, ведущей к шести деревьям вдоль реки Оки, где во всех шести не было ни одного жителя, который не умирал бы, скоро или постепенно, от величайшей тоски бытия, иногда даже и не подозревая, что он не живёт, а умирает. Беспамятство народной жизни, которое выражалось в том, что люди жили только реальностью пищи и умножения имущества, создавало фантастические обстоятельства на стезях действительности, которые мало чем отличались от тех ахинея, что возникали в несуществующем мире сумасшедших, возле их скорбных несчастных головушек. Она свернула с этой дороги направо и со старинною дамской сумочкою в руке зашагала через лес по глубоко задумавшейся извилистой дороге.

Есть весьма странные уголки в моих притаившихся на исходе дня лесах, где лишь разум таких, что прошли через сумасшедшие испытания нашего века, может обрести свои пространственные координаты. Женщина-путница, одинокая Деметра, ни разу не побывавшая беременною, спокойно приближалась к одному из таких мест: засветились впереди, на фоне темнеющего леса, длинные кирпичные стены, когда-то давно беленные известью, а нынче омытые дождями так, словно кто-то мощно помочился на них сверху; высокие ворота из двух кованых железом створок были раз и навсегда широко раздвинуты и несимметрично расположились в замусоренной и утоптанной чёрной земле. У ворот стоял в белом халате, с непокрытой головою, юный и стройный дежурный врач Александр Сергеевич Марин, курил сигарету, это он с огромною связкою ключей в руке проходил ночью по коридорам отделений, заглядывал в палаты, а в подвалах с буйными поверял посты санитарных стражников. Женщина-путница подошла к нему, бросила свою сумочку на землю, выдернула из юбки полы блузки, задрала вверх – и подступила к молоденькому врачу с высоко поднятою штапельной блузкою, из-под которой, нацеленные прямо в лицо доктору, высгавились белые груди с тёмными кружками сосков. Но прижать к своему телу молочные губы юноши ей не удалось, вместо этого она прошла, как сквозь воздух, через толщу крепостных стен старинного монастыря и оказалась в келье-палате, где когда-то находилось трое монахов, а теперь человек десять умалишённых женщин.

Совсем в другом краю, вдали от этого Леса, вблизи города С. был построен и

просуществовал благополучно более пяти веков некий монастырь. Он действовал вплоть до революции, после чего был закрыт по распоряжению волостного исполкомовца Баранова, который позже был переведён в Радовицкий Мох заведовать всеми сетями уездного коммунального хозяйства. А в горних палатах, трапезной, келарной, в подвалах, во флигелях гостиниц и прочих помещениях монастырского ансамбля через несколько лет разместились процедурные кабинеты, приёмный покой, палаты и камеры психиатрической лечебницы, для специфических нужд которой старинный монастырь подходил удивительным образом хорошо. Ничего не пришлось перестраивать, даже убирать толстые решётки из подвалов брата-интенданта, где раньше хранились прославленное монастырское вино и разнообразные наливки, а теперь запирались связанные и зарубашеченные больные с самым диким, сверхъестественным буйством. Было здесь на что посмотреть – но я проник вслед за одинокой путницей, бесстрашно проследовавшей вечером через мой лес, сквозь толстые монастырские стены в палату, где находились раньше три монаха, а теперь располагалось десять человек умалишённых женщин. Быстренько переодевшись в ночную рубаху с чёрным штампом сзади на вороте, женщина со вздохом облегчения возвратилась из своего двадцатилетнего будущего в родную палату и с тихой радостью легла в казённую постель.

Уже закрыта дверь палаты на задвижку снаружи, и не видно громадной ноги со вздутыми узлами вен, принадлежащей дежурной санитарке Лине, сутки караулящей у входа, а потом двое суток отдыхающей у себя дома. Санитарки на ночь собираются в закутке сестры-хозяйки, где штабелями высятся старые ночные горшки с тёмными блямбами железа там, где скололась эмаль; под молчаливыми горшками за крашеным белым столиком дюжие санитарки пьют чай в своё удовольствие, соорудив складчину из принесённых с собою домашних съедоб; среди них и Акулина-Лина в круглых очках, сползающих ей на кончик потного носа. Это очень добрая женщина – за небольшую плату, всего за десяток крашеных яиц, принесённых на пасху матерью Серафимы Грачинской, санитарка позволяет больной делать то, чего ей делать запрещено. Но доброта существует на свете – Акулина и сама когда-то любила, был у неё муж, который, правда, бросил её ради одной воровки – вора сама, вору вся её семья, расстреляли их на краю леса у деревни Мотяшово...

Уже пять лет, как перевели её в эту палату для спокойных, из них года три она дружит с Линой-Акулиной – но об этих сроках сама Грачинская ничего не знает, потому что перестало для неё существовать измерение времени. Её уже не печалит такая значимая для большинства живущих на земле утрата, как бесполезно истраченная жизнь, представляющая из себя одну сплошную ошибку. Ей почти ничего не известно, кто такая была девочка Сима, подросток Симочка, девушка Серафима, член КИМ и ворошиловский стрелок, мечтающая к тому же совершить прыжок с парашютом. Она даже не помнит о ночном госте в её спальню, домовом, которого надо было зарубить. Прошлое от неё было отсечено ударом топора, а далее ничего не накапливалось, чтобы в свою очередь стать прошлым, – она знала лишь своё имя, которое не менялось во времени, и не узнавала даже свою старую мать, которая приезжала раз в год, под пасху, привозила ей куличик и крашеные яйца.

Даже не было памяти о том холодном и вонючем времени, когда несколько лет она прожила в буйном отделении как животное, за железной решёткой, на грязном полу среди своих испражнений. Голая, лохматая, чудовищно сильная, как дикая обезьяна, она рычала и выла, сотрясая прутья решётки, и оравшие по соседству буйные сумасшедшие примолкали на то время, когда расходилась она. Это ревущее в дикой ярости и тоске страдание, в сущности, беспомощное и незащитное, как младенчество, уже придвинулось к самому краю своего существования, оставалось ещё какое-то мгновение боли и ненависти, ещё две-три вспышки – и жизнь свалилась бы в яму смерти. Но протянулась из тьмы невидимая рука.

Один из дежурных буйного отделения, возрастом уже старик, состоял на службе недавно, и ему нестерпимы были ночные часы, когда не положено спать и он оставался один в длинном, как туннель, подвальном проходе. Он придумал таскать с собою на службу ящик патефона с пластинками, и в ночное время, когда начальство отсутствовало, страж заводил машинную музыку. Это обнаружил один из дежуривших в ночь врачей, Александр

Сергеевич Марин, который не только не запретил нововведения, но и вместе с санитаром стал слушать музыку. И однажды тонко залилась какая-то крохотная женщина, совсем игрушечная, однако такая уверенная и сильная, пылкая и неудержимая. Её поющий голос вполне независимо пронзал звериные вопли безумцев, исторгаемые из таких глубоких шахт ада, что могучая сила диких криков угасала на протяжении пустоты, которая лежала между бездной и жизнью.

Маленькая женщина в своей патефонной комнатке пела, опираясь руками на резной столик карельской берёзы, и вход в её жилище начинался с той железной ямки, которая темнела у задней стороны патефонного ящика. Об этом ясно вспомнила лохматая, опухшая обезьяна, которая в подвале орала более грозно и громко, чем все остальные существа, тоже мало чем напоминающие людей. Она вспомнила и туалетный столик карельской берёзы, в столешнице которой было светленькое пятно, очень похожее на кудрявого младенца. Вспомнив эти две вещи: столик и железный провал сзади патефона, она как бы включила некий слабый ниточный свет в своей голове.

Никому не дала знать, что услышала пение крохотной женщины из патефона, просто замерла, лежа ничком на полу, покрытом бугорками засохшего кала, -и в таком положении неподвижно, совершенно перестав кричать, она пролежала долго, несколько месяцев, – но для неё это было и не долго, и не месяцы, – было просто ожиданием. Тем временем старичок уволился, не выдержав условий новой службы, и патефон свой унёс, но она не знала этого и ждала, притаившись на полу. И в этом ожидании стали возвращаться в её сознание отдельные разрозненные предметы, удивительные частички от чего-нибудь цельного, вроде белой щербинки на переносице деда Венедикта Грачинского или одинокого облачка над крышею дровяного сарая. Она села на полу и огляделась. И увидела, среди какого ужаса и безобразия находится, осознала, что совершенно нагая сидит перед множеством прыгающих за решётками существ, и эти страшные звери не что иное, как голые мужчины. Прошлое стало потихоньку оживать в её испорченном сознании, значит, человек – это прошлое, которого уже нет, но оно всегда есть и никогда не перестанет быть, если в нём хоть одну минуту побывал Отец.

Каждая эпоха Леса человеческого содержит некое достоверное очарование для его молодёжи. Это собольи шапочки и парчовый наряд, или государевы ассамблеи, хождение в народ, а может быть, и выщипывание скрученной ниткою бровей, синкопы чарльстона, мотоциклы, Жерар Филипп или, наоборот, Бельмондо – быстротечные и лёгкие, бессмысленные и обольстительные, нужны эти чары для молодости как блеск волшебного зеркала, в котором всего на мгновение, но так весело и ярко отразится смеющийся лик целого человеческого поколения. Ночной домовой и разоблачение Флютина лишили Серафиму Грачинскую, красивую и сильную девушку, щедро оснащённую для любви и счастья, возможности выступить в живой пирамиде "Серп и молот", где она дерзнула бы стоять самой верхней единицей пирамиды, подняв в руке картонный серп; не пришлось ей и прыгнуть с парашютом. Грачинская вынуждена была вернуться назад в поповский дом всего лишь со значком "Ворошиловский стрелок" на груди. В дальнейшем вся изумительная эпоха предвоенного энтузиазма молодёжи пронеслась мимо неё, как проходит огромный корабль мимо выпавшего за борт и никем не замеченного человека.

Но всего этого не возникло в замерцавшей слабым светом прошлого памяти Симы Грачинской – бывшей Симы Грачинской, которой теперь было что-то около тридцати двух – тридцати трёх лет, но и об этом она не знала. В глубокой задумчивости своей, прикрывшись скрещенными на груди руками, она просидела в углу своей клетки ещё целый год, пока врачи не заметили резко изменившегося характера её болезни. И какое-то время ещё понаблюдав за нею, было решено перевести её в общую палату для женщин.

Одна из них была чайником, другая помещицей, третья набитая тараканами, четвёртая вспышкой ехидного смеха, который прятался у неё под кроватью, пятая Совнаркомом, и ей подчинялся сам товарищ Фролов... и т. д. до девятой. Серафима стала десятой, ждущей маленькую женщину из патефона, -однако об этом никому не говорила, она просто ждала,

затаившись, когда опять раздастся этот голос:

Не пробуждай воспоминаний

Минувших дней... минувших дней.

И однажды явилось то, что никогда не умирало, ей исполнилось двенадцать лет, стояли жаркие дни июля с розовыми густыми вечерами, когда она гуляла по опустевшим дорогам, затем сворачивала на луга и одна далеко уходила от дома, наблюдая, как постепенно смуглеет и загорается сено в копнах и свеженамётанных стогах наливаются светящейся зеленью тёмный лес за полем, а колокольня и купола храма, тонко и стройно приподнятые надо всем земным вокруг, струятся расплавленными золотыми потоками. Она, гуляя по полям и дорогам одна, задыхалась от благодарного волнения, глядя окрест широко раскрытыми глазами, прижимая к твёрдым и нежным персям раннего девичества бесполезные васильки. Не разумом, а всем пробудившимся существом Деметры понимала она, как чудесен дар этого мира, жизни и её присутствия в этой жизни. И уже не девочка, не женщина, не просто человек – а душа неизмеримая, неопалимая, приникала она к ласковым рукам Отца, который трогал её лицо и волосы. И с подобным приуготовлением в душе подошла девочка к какому-то дому в незнакомом селении, куда выбрела случайно из лугов. Ещё издали услышала она звуки пения рояля и чистого женского голоса, такого же красивого и прекрасного, как золото лугов и тёплое дыхание Отца в небесах. Она перекрестилась, улыбнулась и скорее побежала к дому, чтобы увидеть ту, которая поёт, и вручить ей собранные в полях васильки.

На этом обрывалось то прошлое, что было возвращено ей, а остальное умерло и пока не воскресло, и Серафима Грачинская не знала всего, что последовало за этим июльским вечером и почему она оказалась в палате больницы, на скрипучей узкой железной койке. Ей неизвестно было, что маленькую женщину из патефона, которую она ждала, звали Анастасией Мариной, – это ей подарила васильки незнакомая красивая девочка с удивительными пепельно-золотистыми волосами, внезапно появившись откуда-то у рояля и столь же внезапно убежавшая из дома – в дверь, через двор и через всё выкошенное травяное поле, оборачиваясь на бегу и прощально махая высоко вздетой рукою. И все гости Мариных, и сама взволнованная Настенька стояли у распахнутого окна террасы и, растроганно улыбаясь, махали платочками вслед убегающей загадочной девочке. Теперь она лежала под страшным вытертым одеялом на железной кровати – страшным той бездушностью, которая видна на всяких предметах, употребляемых в человеческих местах, где не бывает любви.

Ей неизвестным осталось и то, что племянник певицы, Александр Сергеевич Марин, подарил пластинку с голосом своей тётки дежурному санитару, когда во время ночного обхода обнаружил того сидящим на табуретке в дальнем углу подвала, где орала буйные, и слушающим патефон. Александр Сергеевич остановился в полутьме и, повесив на пояс халата связку ключей, закурил; под вопли идиотов старина услаждался пением Карузо. Явно любитель вокала, – улыбнулся Александр Сергеевич и докурив, пошёл далее, а к следующему дежурству принёс старику тётушкину пластинку с двумя русскими романсами. И под вой и рёв буйнопомешанных они вместе прослушали нежное исполнение Анастасии Мариной. Так маленькая женщина пришла из того золотистого летнего вечера в полуразрушенную душу Серафимы Грачинской.

Она не открыла в докторе Марине что-либо относящееся к духу чудного пения, но, *впервые* увидев его, то есть в первый раз обратив на него внимание как на нечто особенное,

существующее отдельно и самостоятельно от всех этих горшков, клизм, смиренных рубашек, уколов в зад, санитарок и врачей в халатах – выделив его из ряда ужасной обыденности, почувствовала вдруг пронзительный импульс любви. Внезапно – ведь раньше он не раз на осмотрах подходил к её кровати, но она не видела его, а тут совершенно внезапно: лицо его и серые глаза как бы впервые возникли в пространстве, где находились не только горшки, койки, мухи и страшные санитарки с широкими спинами.

К Серафиме Грачинской каким-то образом вернулась женская хитрость, с помощью которой она принялась потихоньку действовать, чтобы иметь возможность приблизиться к доктору Марину. Когда соседке по койке, чайнику, приходило в голову вскипать слишком часто, врач лишней раз приходил к ней, чтобы осмотреть её, а после увести в процедурный кабинет. Учтя это, Серафима тоже стала мочиться под себя, сидя на матрасе, но её поколотила санитарка, а врач так и не пришёл. И тогда она, совершенно убеждённая, что женщина из патефона находится у врача дома, решила как-нибудь выйти из на латы и сходить к нему в гости. В её разбитом сознании, где постоянно продолжало возникать что-нибудь по отдельности из прошлого, исподволь стали складываться системы понятий, которые в конечном итоге превращались в зачатки мыслей – все устремлённые на поиск выхода из палаты.

Так она обратила внимание на толстую ногу в буграх и верёвках синих вен, перегораживающую дверной проём – это была Акулина. Для Грачинской Акулина была всего лишь ногой, закрывающей выход, – и пришло из прошлого смутное понимание, что если нога очень толстая и её нельзя одолеть, то надо чем-нибудь её расположить к себе. И Грачинская впервые самостоятельно вылезла из-под одеяла, встала с койки. Пошла, озираясь вокруг себя, по палате, и её провожали внимательными взглядами помещица, Совнарком, проснувшаяся чайник и та, чей злорадный смех прятался под её кроватью. Когда Серафима Грачинская почти благополучно добралась до выхода, вскочила помещица и, стоя на кровати, протянув указующий перст к беглянке, приказала: замучить в бане, накрыть половиками и поливать сверху кипятком. Приказ прозвучал слабеньким голосом, но палата словно мгновенно взорвалась: кто-то в углу зарыдал от ужаса, и сразу же тонкий и поклатливый, как горошек, смех выскочил из-под кровати и забился в горле седой тощей женщины. Совнарком вскрикнула хриплым голосом: "Фролов! Вызывай команду!", а чайник, воспользовавшись суматохой, мигом совершила своё дело, о чём возвестила ликующим возгласом, хлопая в ладошки: "Вскипятила! Вскипятила!"

Акулина просунула в дверь своё круглое очкастое лицо, наткнулась близоруким взглядом на Грачинскую и спросила у неё ласковым голосом: "Тебе чего, девушка?" Но тут же посоображала и велико удивилась: "Да никак ты сама гулять пошла? Милая ты моя! Ну-ко, иди сюда, иди сюда!" И она вывела Грачинскую из палаты в коридор и усадила её на стул рядом. Так началась их дружба, которая продолжалась несколько лет, но для Грачинской это было не долго и не коротко, санитарка же с добродушной ухмылкой хвалилась за чаем в комнате сестры-хозяйки: "Вот ведь как её приручила! Водю землячку за собою, как собачку какую. Говорить понемногу учу. Я ведь знавала её деда, поп был красивый, и мать её знаю, которая бывает здесь". Серафима же только тем была озабочена, как бы расположить толстую ногу к себе получше, для того чтобы однажды незамеченною юркнуть в дверь, куда обычно скрывался доктор.

И чтобы это сделать, она ждала, когда придёт на дежурство Акулина, встречала её, стоя у двери, затем целыми днями находилась рядом с нею, изредка посматривая на желанную дверь. Покорная своей идее, Грачинская всё, что исходило от Акулины, воспринимала с бесконечным терпением, стала даже заново учиться говорить, хотя этого ей не хотелось. Какая-то невероятная тоска грубо схватывала её сердце, когда она вдруг произносила какое-нибудь слово, которое словно воскресало на её глазах из мёртвых. Акулина, приходя домой, рассказывала своему брату Савостьяну Кондратьевичу, небольшому, сытому мужчине, который приехал из Москвы навестить сестру: "А сегодня, слышь-ка, Савося, моя-то повторила за мною слово в слово: мол, Валентина Сидоровна сама кусок домой

унесла. Сказала всё это и заплакала..." На что Савостьян Кондратьевич, следя за тем, как Акулина режет хлеб некультурными толстыми ломтями, буркнул сестре через стол: "Нашла себе забаву, Лина. Лучше бы поросёнка завела".

...Минувших дней... минувших дней...

Вместе со словами воскресало и прошлое, но только такое, где бывали радость и красота, мелькало присутствие Отца, и всё другое для возрождающейся жизни было мертво и не нужно. Таким образом, новое существование Серафимы Грачинской строилось из материала прошлого, которое равно могло быть отнесено к настоящему или к будущему. Кирпичи вновь возводимого здания были разбросаны по цветущим лугам и лесам всех времён существования – ведь каждая любовь строилась из того же весеннего тепла и цветения, из той же никому не принадлежащей, но присущей всякой душе надежды никем не постигаемой, но всему доверяющей. Ничего не зная о том, что эта надежда существует как океан, а любящие плавают в нём, как рачки или рыбы, скелетами своими устилающими толщу океанского дна, Серафима Грачинская вновь рождалась в мире, словно тот же рачок или рыба, наполненная световыми импульсами любви.

Но, в отличие от первого, второе рождение души Серафимы Грачинской происходило не в красивой, сильной девочке с пепельно-серыми, с золотым отливом, блестящими волосами, а в неопрятной идиотке с волосами седыми, в мутной перхоти, и столь редкими, что сквозь них виднелась исцарапанная, в струпьях, кожа на черепе. Много лет никто из окружающих не знал о том грандиозном процессе возрождения человеческой души, который начался от единственного сохранившегося в её памяти атома прошлого: пения кукольной женщины, которая жила в своей патефонной комнате, вход куда начинался в железной ямке у задней стороны патефонного ящика. Но однажды врачи лечебницы увидели, среди них и Александр Сергеевич, что безнадёжная идиотка ходит по коридору в тапочках, придерживает отвороты халата на груди и свободно вступает в разговор с санитаркой Акулиной, которая самодовольно посмеивалась и хвасталась, что это она выдрессировала больную и научила её разговаривать.

Далее потянулось время, когда врачам представлялось, что на их глазах происходит исключительно редкостное в медицинской практике ренессансное зачатие нормальной психики из хаоса безумия, обусловленное, очевидно, загадочными ресурсами человеческой природы. Серафима Грачинская не только восстановилась в речевых навыках и вновь начала соблюдать гигиену, но и принялась помогать санитарке Акулине следить за поведением больных женщин в палате. И однажды она предотвратила суицидную попытку той, у которой внутри жили тараканы, – больная где-то нашла трёхкопеечную монету, отточила её о край железной койки, словно бритву, и пыталась этим оружием распороть себе живот, в котором кишмя кишели рыжие прусаки. Когда она, сидя на койке, задрала больничную рубаху и наклонилась меж своими широко разведёнными коленями, Серафима Грачинская прыгнула на неё через кровать соседки, чей злорадный смех жил в отдельности от неё, прячась в темноте возле ночного горшка. Перелетев через соседку, Грачинская успела схватить руку тараканьей мученицы, которая, закрыв глаза от предстоящего ужасного зрелища, приложила лезвие монеты к туго обтянувшей живот бледно-синей коже. За этот поступок Акулина дала Грачинской сладкую ватрушку из своих припасов и погладила по голове. И тогда Серафима Грачинская попросила, указав пальцем на заветную дверь:пусти меня туда.

Незачем тебе туда, ласково отвечала Акулина, рассеянной рукою отстраняя от двери свою подопечную, которая вдруг упёрлась и стала сильной, непоколебимой, словно Акулинина тётка, Царь-баба, которая недавно прислала из деревни письмо: "Привет и низжайший поклон мой племяннику Савостьяну Кондратичу, также племяннице Акулине

Кондратовне. Кланяется вам тётка ваша Олёна Дмитриевна. Войну я пережила, слава Богу, не померла, как многие другие, потому работа была ужасная и всех гоняли на лесоповал, и девок, и баб нематошных, кому детей не кормить. А теперь на счастье наше война кончилась и лес рубить гонют пленных немцев, которые ужасно как мрут, потому их летом комарик поедает, а зимою хворма ихняя не греет, больно сукно тонкое, и шапок на них нету..." Акулина с удивлением воззрилась сквозь очки на упёртую перед нею, словно скала, небольшую женщину в больничном халате, с виду нисколько не напоминающую тётку Олёну, но такую же спокойную и такую же страшноватую в этом спокойствии неимоверно сильных, словно бы и не люди они, загадочных существ.

Однажды в девках подслеповатая Акулька, тогда ещё не носившая очков, услышала на улице гармонь и, быстро схватив с печки платок, проскочила тёмные сени, сбежала с крыльца, барабаня пятками по деревянным ступеням -мигом выскочила во двор и там со всего размаху налетела на Царь-бабу, которая только что вошла в ворота, пригнув голову. Акулина-девка была такою же упитанной и плотной, как и впоследствии всю жизнь, уже легко таскала на себе четырёхпудовые мешки, к тому же вечерний разбег её навстречу звукам гармонии был столь силён, что она могла бы, словно лесная веприха, пробить своим корпусом дыру в досках ворот – однако отскочила, ударившись об тётку, словно от каменной стены, и, отлетая обратно, наткнулась на старые сани, которые были от этого удара жестоко исковерканы. И, лежа на санях, Акулька расплакалась, потому что зад отшибла начисто, даже нечем было в этот вечер потрясти в пляске. Усевшись рядом с нею, Царь-баба утешала её: "Ня муташись, девка, ня ори, жопка твоя заживёт. А ты глянь, чего я тебе принесла! – и вытащила из-за пазухи огромной своей ручищею глиняного котика в шляпе, с высунутым красным языком, в полосатых штанах, с надписью на пузе: "Коть астраханской". – Глянь Акулька, нахал какой! – умильно дивилась тётка на раскрашенную игрушку. – Нынче в Гаврине на ярмонке купила". Быстро вспомнив всё это, Акулина махнула рукою, поправила на носу очки и молвила печально: "Иди прогуляйся, да недолго, девка".

Там, за дверью, был длинный коридор, все выходы из которого охранялись, на окнах стояли решётки, и, очутившись в этом коридоре, впервые попав в мир совершенно неизвестный и странный, Грачинская тихо пошла по нему, внимательно приглядываясь к тем разрозненным предметам и человеческим фигурам, что попадались ей навстречу. Длинный стол, на столе носилки с ремнями; существо в мужской пижаме, сгорбленное и маленькое, не то старик, не то худенький юноша, одиноко стоит лицом к стене; полуприкрытая дверь, заглянув в которую она увидела такую же палату, в какой жила сама, но здесь на койках лежали молчаливые мужчины с неподвижными глазами, уставленными на неё, – лежали почему-то на газетных листах, брошенных поверх железных сеток кровати. Пройдя до конца коридора, Грачинская заозиралась, не зная, что делать, куда ещё попытаться заглянуть. Она полагала, что найдёт Александра Сергеевича, как только пройдёт сквозь заветную дверь, но всё оказалось не так, и теперь стало совершенно непонятно, где его искать.

Она видела его достаточно часто у себя в отделении, но никаких особенных чувств при этом не испытывала, потому что *это* было одно, сей минуте принадлежащее. А то, что искала она, к чему стремилась, находилось где-то очень далеко. Он бывал на осмотрах вместо с другими врачами, приходил иногда один, что-то делал, с кем-то разговаривал, но она равнодушно посматривала на него со своей койки или проходила мимо, почти задевая его.

Он был рядом, и можно было даже к нему притронуться – но *тот*, которого она хотела достигнуть, к кому стремилась со всей своей затаённой страстью, *находился далеко*. И ему, наверное, это было известно также, поэтому он столь равнодушно смотрел в её сторону, словно бы вовсе не замечая её. Она должна была как-нибудь исхитриться и прийти домой к нему -тогда *он* и будет самим собою; а сейчас, почти ежедневно встречаясь с нею, он не *тот*, по крайней мере *ещё* не тот, каким он будет впоследствии, когда она однажды обретёт возможность прийти в его таинственный дом, где живёт в патефоне маленькая женщина.

Она вернулась в своё отделение под надзор верной Акулины, которая удовлетворённо кивнула ей, – и прошло ещё несколько лет. Шли голодные послевоенные годы, внешний народ страны был охвачен терпеливым страданием, но пациенты старинного монастыря мало чего смыслили в этом, счастливо пребывая в своём собственном, придуманном мире. Тараканья бедолага так и умерла, не избавившись от лохматых полчищ коричневых прусаков, лазающих по всем ходам и изворотам её внутренностей. Чайник продолжала своё кипячение, давно уже лишившись матраса и сидя на голой сетке кровати – ей только на ночь выдавали теперь матрас, и то не всегда вспоминали про это. Злорадный смех по-прежнему прятался под кроватями, но в последнее время иногда сбегал из палаты, прошмыгивал под ногами дежурных санитарок и, припрыгивая по каменным ступеням монастырских лестниц и переходов, разгуливал по всему сумасшедшему дому. Хозяйка этого смеха слышала его как-нибудь в полночь или на рассвете – он звучал из раскрытой форточки окна, расположенного напротив того, за которым находилась потная, напряжённая как струна женщина, чей смех самовольно сбегал по длинным коридорам монастырского здания.

Неизвестным было для них, какие благодеяния или великие преступления совершал огромный внешний мир, – но в их палате наступили тяжёлые времена из-за голода и холода и, главное, из-за того, что помещица совершенно расхотелась и не давала другим житья. Днём при надзирающем медперсонале вела она себя обычно, злобно сверкала на всех глазами, порою что-нибудь невнятное выкрикивала, словно трубила журавлём, и тут же отворачивалась лицом к стене и скрипела зубами. Ночью же, когда санитарки запирали двери палат снаружи швабрами и шли пить чай, помещица поднималась с койки и, расхаживая по проходу, как злой дух, отдавала свои ужасные распоряжения. "Вот эту макаку надо верёвками распялить на полу в риге, – стоя над бедной трясущейся хозяйкой смеха, в подробностях объясняла помещица. – Растянуть за руки, за ноги и острым секачиком насечь её, голую, вдоль и поперёк. А потом принести ушат огуречного рассола и полить её из ковшичка".

Над чайником приговорила: "Эту надо спереди защитить суровыми нитками, потом перевернуть и надавать сто ударов шомполами". – "За что? Ай, за что?" – возопила тщедушная маньячка, мечась на скрипучей койке. "А за то, – криво усмехаясь, отвечала помещица. – Мешаешь мне обедать. В следующий раз, как сяду кушать, прикажу слугам, чтобы тебя на лавке растянули и утюг горячий на живот поставили". – "Ай, не надо! Не надо!" -плакала чайник, закрывая руками свой живот, но помещица была неумолима. Народ по углам палаты начинал всхлипывать и роптать, и грозная помещица, довольная собою, переходила к следующей койке. За тот страх, который она нагоняла по ночам на больной народ, помещица получала с него продовольственный налог: каждая из безумных женщин что-нибудь припрятывала от своего обеда, хоть кусочек чёрствой каши на пальце, хоть пяток варёных горошин, завёрнутых в бумажку из-под порошков и таблеток, чтобы дарами и пожертвованиями отвести от себя страшные угрозы мучительной гибели, обещанной помещицей. А та, осуществляя под удобным образом свои сословные привилегии, набирала весу и жирела, в то время как остальные больничные жители худели день ото дня, постепенно становясь похожими на узников концлагеря.

В эти тяжёлые для всех времена пришло к Серафиме Грачинской окончательное просветление. Началось с того, что она узнала свою мать, которая приехала навестить её, и при их встрече в вестибюле отделения присутствовали все дежурившие врачи, сестры и санитарки. Сцена была трогательная, некоторые даже прослезились, например, Акулина и медсестра Хайруллина: "Надо же, маму родную узнала, а мама всё ехала, ехала каждый год сюда, ай всё ехала!"

И в ночные часы она вскоре также привлекла к себе всеобщее внимание, на сей раз – больного народа палаты, устроив бунт и революцию против засилья помещицы. Заметив, что именно Грачинская сдавала продналог в виде завёрнутых в бумажки варёных горошин, помещица однажды не получила любимого кушанья в удобной упаковке, засим и объявилась грозной тенью подле кровати бунтарки. Для начала она объявила, что прикажет слугам взять

её в плети и надавать полторы тысячи ударов, чтобы спина её превратилась в кровавую кашу, на что в голос зарыдало в углу какое-то робкое существо, а испуганная Совнарком разразилась целым градом команд: "Эй, пулемётчики, сюда! Усилить охрану в Совнаркоме! Фролов, ты куда отправил латышей? Немедленно сюда латышей!" Но Грачинская не дрогнула и объявила помещице: "Дура". Ощувив сильную угрозу своим сословным интересам, помещица пробудила в себе ту ненависть, лютее которой не бывало в практике существования человечества: ненависть богатого класса к бедным. И, шипя этой ненавистью, владельница привилегиями приказала своим палачам: повалить, развести пошире ноги... Однако закончить приказа она не успела, потому что сильная Грачинская вскочила с кровати и, схватив за волосы дворянку, рванула её голову на правую сторону, потом на левую. На их дикие крики сбежались санитарки и, скопом налетев на помещицу и революционерку, повалили обеих и надели на них смирительные рубахи.

Но именно после этого случая произошли очень важные для неё положительные события. Она призналась Акулине, которую все в больнице звали Линой, что очень хотела бы как-нибудь ночью сходить в гости к доктору Александру Сергеевичу Марину. Лина-Акулина поначалу уставилась с недоумением, сквозь очки, на сумасшедшую, затем смекнула, в чём дело, и широко заулыбалась, выдавив в своих тугих щёках глубокие ямочки. "Влюбилась, что ли, девка? Хорошо, что у доктора жены теперь нету, на курорт уехала жена, а то показала бы Инкери Урповна тебе любовь!" На что Грачинская ничего не могла ответить, потому что прошлое ещё не вернуло ей таких понятий, как "любовь" или "жена". Объяснять же Лине, кто эта маленькая женщина, живущая в доме доктора, у которого обязательно должен быть патефон, Грачинская не стала. Её свидание с Александром Сергеевичем было опять-таки устроено с помощью Акулины-Линой: на пустынном монастырском переходе глубокой ночью, когда дежурный врач со связкою ключей следовал из одного больничного корпуса в другой.

Она как будто вышла из стены или прошла сквозь стену – он мог бы всерьёз это утверждать, если бы не знал, что такого быть не может. Мало того, но в первую минуту он полагал, что разговаривает с юным монахом, который заблудился во времени и из прошлого шагнул прямо в сегодняшний день. Луч фонаря, с которым врач Марин делал ночной обход, выхватил из тьмы именно молодое фанатичное лицо мужчины-монаха в грубом тёмном подряснике. Но когда Александр Сергеевич, посчитав неделикатным столь упорно светить человеку в глаза, отвёл в сторону луч, раздался голос женский, высокий и дрожащий, который с трудом можно было бы посчитать отроческим альтом:

– Доктор, вы сейчас будете разговаривать с человеком, который уже давно умер.

– Простите, уж не себя ли вы имеете в виду? – отвечал вопросом Александр Сергеевич, почему-то иронически настроившись по отношению к явно мистическому началу беседы.

– Можно бы сказать, что да, но ещё точнее будет сказать, Александр Сергеевич, что через меня, посредством моего голоса к вам будет обращаться давно отсутствующий в вашем мире человек... Простите, но иначе он не может.

– Когда-то в ранней молодости я занимался всякой оккультиятиной, не чуждался и мистики в самом зверовидном её выражении, крутил столы, -признался Александр Сергеевич, усмехаясь. – Но всё это давно прошло, и теперь я ничему подобному не поверю. Так что говорите лучше без всяких фокусов, что вам от меня надо.

– Александр Сергеевич, отсутствующий человек – одна, в общем-то, неплохая женщина, просит передать вам, что очень, очень любила вас, когда была жива.

Врач при этих словах уже без всяких деликатностей, со всей решительностью направил луч прямо в лицо собеседнику – и вместо монашеского и впрямь увидел женское лицо.

– Грачинская? Вы что тут делаете? – вскричал он в замешательстве. -Что за фокусы, Грачинская?

– Александр Сергеевич, – отвечала та, подслеповато моргая под направленным в глаза ярким светом, – выслушайте же меня спокойно. Ведь то, что я вам скажу, так печально, что только одно это даёт мне право быть выслушанною вами.

Сказано было столь спокойно и убедительно, что Александр Сергеевич даже слегка смутился.

– Продолжайте... Я ведь слушаю, – не совсем твёрдо произнёс он.

Луч фонаря при этом он снова отвёл в сторону.

Была пауза.

Вздыхнув, Грачинская продолжала в темноте:

– Вся грусть, вся непоправимость в том, Александр Сергеевич, что та, которая теперь мертва, при своей жизни никогда не встречалась с вами, даже не знала о вас.

– Что вы говорите! – не выдержав, он вновь позволил себе тон иронии. – Это почему же?

– Потому что она жила совсем в другом времени, – был ответ, – чем живёте вы.

– Но как же она... позвольте вас спросить, как же она, эта ваша протеже, могла бы тогда меня... любить? – с большим трудом выговорил он это слово.

– Она и сама всю прожитую жизнь не знала об этом, – ответили ему. – Её только очень мучила эта жизнь. Там было много нехорошего для неё. И надо было только умереть ей, чтобы понять, как же она вас любила! Жизнь её не состоялась-таки, потому что она никогда не узнала, что любила вас.

– Ну вот что, Грачинская... Что вы хотите этим сказать? – желая прекратить нелепый разговор с больной, потвёрже заговорил Александр Сергеевич. – Чтобы я тоже скорее умер? И та, которую вы представляете сейчас, могла бы со мною наконец встретиться?

– Нет, Александр Сергеевич, – прозвучал скорбный женский голос. – Она желает, чтобы вы долго и счастливо жили на свете.

– Спасибо.

– Она просит вас принять, если это можно... Умоляет вас, если это не будет вам противно... через то, что ещё осталось во мне от женщины... после всего, что было...

Грачинская смолкла, и врач вновь направил луч света на неё – и увидел, что она, распахнув полы серого халата, судорожными и неистовыми движениями рук пытается оттянуть вниз круглый вырез больничной рубахи и высвободить грудь.

– Грачинская! – прикрикнул Александр Сергеевич.

Она заплакала и, чувствуя, что не успеет, не сумеет, – нагнулась, схватила подол рубахи и рывком подняла её обеими руками к самому горлу. И в таком виде, выставив на оторопевшего врача своё избитое нагое тело, слепо двинулась к нему.

– Прекратите, Грачинская, – взяв себя в руки, спокойным профессиональным голосом молвил Александр Сергеевич; фонарь он погасил. – Даже в силу того, что я врач, а вы моя больная, ничего меж нами произойти не могло бы. Но знайте также, – мерно звучали его слова в темноте, – я христианин, Грачинская, и всякие прелюбодейские варианты для меня исключены. Однако я люблю вас – той любовью, какой учит нас любить Отец наш, и я тоже хочу научить вас любить такой любовью.

Когда он кончил говорить, наступила подозрительно долгая тишина, и Александр Сергеевич вновь включил фонарь. Он увидел, как, отгораживаясь от света рукою, молодой монашек с реденькой бородкою на слабой челюсти вздрагивал ресницами, зажмурился и отступил в стену, совершенно скрывшись в ней. Врач подошёл к стене вплотную и стал осматривать камни, освещая их фонарём, ничего особенного не заметил, и отправился дальше; но там раньше был ход (впоследствии замурованный), оттуда и выскочил, с другой стороны, монах и, озираясь, крестясь на бегу, быстро удалился. Он торопливо поспешил вперёд по длинному переходу, где только что испытал дьявольское искушение: ему привиделась преподобная баба, задрывшая подол рубахи выше груди и в таком виде стоявшая на его пути. Только зажмурившись и трижды перекрестившись, смог он благополучно преодолеть проклятое место соблазна.

Врач уходил по другому проходу, под прямым углом по отношению к пути испуганного монашка, и между ними всё увеличивалось расстояние, умноженное на разделяющее их время. Ещё мгновение – и больше никаких надежд не останется, что два

этих человеческих существа, занимавших одно и то же пространство, то есть свободно проходившие один сквозь другого, когда-нибудь снова столкнутся на путях своей жизни. А в обратном направлении от шагавшего по монастырскому проходу доктора Марина, звонко и нервически потряхивавшего связкою ключей на ходу, торопливо шла в темноте, придерживаясь одной рукою за стену, мёртвая женщина, таившаяся в живой, которая только что, четыреста тридцать два года тому назад, до полусмерти напугала молоденького монашка видом своих больших ляжек, тёмноволосого лона и двух крутых грудей с тёмными бутонами сосков.

Она тихо вернулась в палату и легла в свою кровать, заливаясь бесшумными слезами, чувствуя сердцем, сколь тяжело и прекрасно то горе, которое испытывает сейчас мёртвая женщина в ней. Александр Сергеевич поражался замечательной и очень точной образности, с которою больная сумела объяснить свою сложную трагическую ситуацию. Он даже не обратил внимания на свои галлюцинаторные состояния, при которых женщина превращалась в некоего молодого монаха – последний же спустился по угловой лестнице в подвал, где среди многочисленных колодин с зимующими пчелиными семьями жил Прокопий, брат-пасечник, молчаливый человек с такими мохнатыми ушами, что они казались звериными. Ему и решил поведать юный монах всю правду о том, чего он видел на повороте дальнего монастырского перехода.

Этот Прокопий к концу жизни совершенно вроде разучился говорить, только ворчал с ласковой улыбкой, и ни в одно его шерстяное ухо за всю жизнь в обители не вошло ни одного слова из Писания, но был он человеком святой незлобivosti, и какая-то духовная мощь таилась в нём. Потому и тянулись к брату-пасечнику многие из монахов, в особенности молодые, не забывшие ещё мирских утех и материнской ласки. Вот и на этот раз – юный инок отвёл душу, рассказывая сатанинскую быль Прокопию, который с младенчески бессмысленным выражением синих глаз сидел на скамейке и парил ноги в деревянном ушате, беря длинными щипцами горячие голышики из очага и по одному подбрасывая в воду, чтобы не остывала.

Доктор Марин, Александр Сергеевич, тайно приобщённый к евангелической церкви, был последним живым отростком той ветви духовных людей, к которой принадлежал и пасечник Прокопий. Но, в отличие от своего далёкого предка, Александр Сергеевич был интеллектуален, женат и, при сильном внешнем сходстве с пасечником, совершенно лишён волос в ушах и на темени. Пока юный монах рассказывал пасечнику, тараща глаза и показывая жестами, что он видел, Александр Сергеевич недалеко от них через четыреста тридцать два года проходил по ступеням той же лестницы, под которой находилась каморка Прокопия. Доктор Марин вернулся к размышлению о том, что видел он, – и по глубокому анализу сделал вывод: если был монах, то не было Грачинской, если она была, то не было монаха; а может быть, их обоих не было; но вернее всего – это меня там не было, нигде не было, потому что меня нет; а то, что кажется мною, – это вовсе не я, а неизвестно что такое.

Как уже и с самого начала видно, монашек Исидор сбежит из монастыря, одолеваемый блудливыми видениями и потерпев сокрушительное поражение в битве с дьяволом, – он окажется в Мещерском краю и пустит там корень под именем Сидор Софронов, от него родятся Потап, Игнат и Каллистрат, от Каллистрата Левонтий и Клепак, от Клепакова, чьё крещёное имя Абрам, родятся Силантий, Паисий, Лука и Митроха, чей зад был наполовину откушен медведем – и мужик хромал; Лукины дети: Петрован, Славутий, Мишага, Ероха Жук, а уж от последнего пошли все эти Жуковы, лесные мастера, углежоги, скипидарщики, по дереву токаря, в деревеньках лавочники, в больших селах печники, шерстобитчики, коновалы.

Алексашки Жукова племянница, Марина, однажды явилась, посланная Царь-бабой в далёкий от Мещеры край, в сумасшедший дом при бывшем монастыре, чтобы навестить там Акулину, ныне Лину, любимую Царь-бабову племянницу. Постаревшая великанша наказывала своей подруге: "Посчитай, эвон сколь годов прошло! Я-чай, с самой леворюции племянныша с племянницей ня видела. Теперя, Маринушка, поезжай и скажи им: отжила своё

тётка Олёна, помирать собралась. Огрузла, разрослась, сама-горой стала, уж ноги не держут. Приезжай, мол, Акудинка, коли ты меня живой застать хочешь. Есть ещё баранчик, и поросёнок есть. К мясоеду поспеет, так не без мяса же уедет". Услышав всё это, Акулина горько расплакалась, а потом повела землячку в комнату сестры-хозяйки – чаем поить.

К этому времени у Акулины была уже новая сменщица – Серафима Грачинская, которая после того, как комиссия признала её здоровой и выписала из больницы, никуда уходить не захотела и осталась работать в том же отделении санитаркой, сама села у входа на стул. Больше она не бродила по тёмным монастырским переходам, подстерегая ночами Александра Сергеевича. Он же не спешил выполнить своё обещание – научить её любить по-другому, нежели она понимала, открыть ей любовь чистую, носимую христианами в душе по заветам их Отца. И она снова ждала, и по-прежнему время для неё было не долгим и не коротким.

Сам же доктор Марин за это время сильно продвинулся к старости, благополучно поседел вокруг своей глянцевиной лысины, перенёс чудовищную операцию на желудок, сократившую онный на треть, но по-прежнему работал в лечебнице, на лето куда-то уезжал с женою в отпуск, жил уединённо в своей неизменной квартирке, во флигеле у дальней монастырской стены, -Грачинскую он ничем не выделял, вида не показывал, что между ними был некий значительный уговор. Но вот однажды он пригласил санитарку посетить вечером его квартиру.

Всю жизнь сознанию доктора Марина представлялось одно и то же видение, которое волновало его душу, но было необъяснимым по смыслу. В солнечный день где-то в Древней Греции забежал хорошенький крепкий мальчик в храм, исполосованный наискось широкими полотнищами лучей, упавшими сквозь колоннаду. Разгорячённый только что прерванным бегом или буйной игрой, с живыми блестящими глазами и с отважным выражением на круглом лице, малыш остановился посреди портика и без страха заозирался. В храме было совершенно пусто, тихо и необычайно хорошо... Вот и всё видение! Во все прошедшие годы, вновь и вновь предстывая перед ним, оно ничего ему не говорило, и только сегодня ясная мысль пришла к Александру Сергеевичу. Античная картинка являла собою символ всей его жизни: он должен был прийти к Богу, и столь же непосредственно и вольно, как этот мальчонка. И ему будет не страшно, а хорошо. Но полное безлюдие и тишина храма означали, что вся ощутимая жизнь его исчерпается до дна, но так и не будет никакой встречи с тем, кто призвал его в свой дом. Хотя тёплым движением его доброты и благовониями его отческой ласки наполнен был весь воздух храма.

И никому нельзя увидеть Отца, даже Сыну Человеческому нельзя было в день своего позора и вечной славы узреть хотя бы Его мизинец. Такими и надлежит нам всем быть в жизни – навсегда отчуждёнными от чудес и в чуде постоянно пребывающими. Об этом он и хотел сказать бедной женщине, которая жила теперь в той полуподвальной каморке под лестницей, где когда-то была отдельная келья брата-пасечника.

Но беседа получилась у них вовсе иная, чем он ожидал. Грачинская отведала торт с влажной пропиткою, выставленный на стол женой Александра Сергеевича, и затем попросила:

– Если можно, покажите мне маленькую женщину, которая живёт у вас в старом патефоне.

– Откуда вы знаете, что у нас есть патефон? – удивилась Инкери Урповна, жена доктора. – Или вам Александр Сергеевич сказал?

– Нет, ничего подобного я не говорил, – внимательно глядя на гостью, молвил доктор Марин. – Показать женщину не могу, но можно будет её послушать.

– Давайте послушаем, – воодушевилась Грачинская. – Вы не представляете, как это много значит для меня, – продолжала она, обратившись к Инкери Урповне, муж которой пошёл за патефоном. – Может быть, я никогда и не слышала её пения, но я почему-то всегда так волнуюсь, когда воображаю себе, как она стоит у рояля и поёт... Ваш дом, где она находится, виделся мне волшебным дворцом, и вот я здесь...

Александр Сергеевич принёс из чулана старинный синий патефон и круглый чемоданчик для пластинок, поставил всё это на стол, осмотрел с добродушной улыбкой, протёр тряпкою пыль – и весь вечер они слушали шипучие старые пластинки с голосом Анастасии Мариной. За всё время гостя только однажды пошевелилась – когда Александр Сергеевич локтем спихнул фарфоровую корейскую чашку и она полетела со стола – Грачинская с невероятным проворством поймала вещицу на лету и осторожно поставила на место. А во всё остальное время она неподвижно просидела в кресле, бережно и полно впитывая в себя содержимое каждой крутящейся на патефонном диске чёрной пластинки.

Когда супруги вышли из дома проводить Грачинскую до хозяйственного корпуса, где она жила, Александр Сергеевич попытался всё же, испытывая укоры совести, завести разговор на душеспасительную тему, но взмолилась Инкери Урповна:

– Сашенька, умоляю, давай сейчас не будем говорить ни о Боге, ни о смерти, ни о спасении души. Такая чудная ночь, звёзды какие – уж ты не обижайся, Сашуля.

– Ладно, Инночка, не будем, – легко согласился Марин. – А звёзды, ты права, сегодня весьма впечатляющие.

– И всё же я скажу, потому что говорю, может быть, последний раз с вами... – нарушила своё молчание Грачинская. – Скоро я уеду на родину, к матери, ей уже почти девяносто лет... Александр Сергеевич! Вы сегодня вечером словно распахнули мне двери – вот в эту ночь и к самому Богу. Спасибо вам! Ведь то, для чего живёт каждый человек на свете, обычно ему не известно, – а вот мне сегодня стало известно, для чего я родилась на белый свет. Я родилась, оказывается, для того, чтобы один раз, всего один раз послушать, как поёт Анастасия Марина. И это произошло благодаря вам – в вашем доме, Инкери Урповна! Вот для чего я должна была вылечиться и встретить вас, Александр Сергеевич. Я почти ничего не помню, что было со мною до болезни, но кроме этого, мне кажется, помню всё, что происходило со всеми людьми на свете. Я теперь поеду к своей матери, буду ухаживать за ней до самой её смерти – пусть! А потом и я исчезну с земли – пусть, пусть! Зато я слышала, как поёт Анастасия Марина.

Серафима Грачинская, крутоплечая, широкобёдрая, с бесшумными и очень быстрыми движениями, отделилась от них и незаметно скрылась у кочегарки, в подъезде, где находилось её жильё, – словно нырнула в потайную нору. Инкери Урповна крепко ухватила за руку мужа и с глубоким состраданием воскликнула:

– Мне очень жаль бедняжку Серафиму! Ведь она, кажется, Сашенька, не совсем ещё нормальная. Как ты считаешь?

– Как я считаю?... – выждав время, не сразу отвечал Александр Сергеевич. – Я считаю, Инночка, что все мы без исключения не совсем нормальные. А о ней ради справедливости надо сказать, что она счастливейший человек. Ибо не каждому на этом свете дано узнать, в чём смысл его жизни. А она, видишь ли, услышала Анастасию Марину... Ах, тётя Настя, тётя Настя! Слышишь ли ты в своём раю, у престола Господня, что говорят о тебе тут на земле?

– Сашенька, ты опять за своё, – ласково упрекнула Инкери Урповна.

Серафима Грачинская вскоре и на самом деле оставила лечебницу, вернулась в родное село, которого почти уже не было, и последние избы, брошенные хозяевами, и большой деревянный храм, покинутый верующими, были охвачены мучительным процессом разрушения. С годами остатки изб окончательно растащили, церковь сгорела, и уцелел на краю огромного кладбища один лишь дом Грачинских. Туда и вернулась Серафима допокаивать свою престарелую мать, восемь лет ухаживала за нею, затем и схоронила её.

И теперь с её паспортом и со своим паспортом в сумочке возвращалась по лесной дороге из Гуся Железного постаревшая Серафима Грачинская, в долгом пути позабывшая все огорчения дня и не заметившая того, как душа её совершила ещё более долгое путешествие, слетав за тридевять земель в далекий монастырь, преображённый в приют сумасшедших, – где погибла и вновь родилась её душа и где она вновь пережила все положенные ей страдания.

Вскоре она, не выходя из зачарованного лесного угла, повстречалась с человеком, который давно заблудился и, выйдя на эту дорогу, еле плёлся по ней на непослушных ногах, словно пьяный – и это заводской конторщик из Гуся Железного, который закрутился в морочном лесу, сейчас идёт прямо по направлению к берёзовым рощам, к розовым черепицам усадьбы Лидии Тураевой, которую Серафима Грачинская никогда не видела, потому что родилась в двадцатом году, два года спустя после смерти владелицы берёзовых рощ – в восемнадцатом же году усадьбу Тураевой разграбили и сожгли курясевские и астаховские мужички, и хозяйка умерла. Конторщик Мефодий Павлович Замилов прожил ещё много лет, при новой власти стал крупным чиновником торговли, побывал в Англии, Швеции и Финляндии, – его также никогда не видела и не знала Серафима Грачинская. Он прошёл сквозь неё, как обычно и проходят люди сквозь всё, что происходит на этом месте в далёком будущем – с полным безразличием. И ничего особенного в этом не было бы, если бы и в Мефодии Павловиче, и неистойой Серафиме Грачинской, чьи пути пересеклись, не сжалось бы сердце от одной и той же мысли.

— Кому-то здесь было хуже, чем мне сейчас... Кто-то вон под тем кустом упал и, подавленный древесным безмолвным вниманием леса, остался лежать, уже не в силах больше встать и идти дальше, раскрыть глаза и взглянуть над собою в небо. Кем-то испытано отчаяние одиночества такое страшное, что мой страх даже не идёт в сравнение...—

V

Он шёл с огромной корзиною, полной груздей, которых наломал у края березника, где тот сходится с сосновым бором, а на эту дорогу вышел случайно, решив напрямик пробраться к своей деревне. Он выбрался из сосновой чащобы на дорогу пока ещё смутно соображая, в какой стороне Лидина роща, а где направление к деревне, – и внезапно был охвачен сильным головокружением, отчего он пошатнулся, уронил корзину со спины и упал лицом на мох. И, находясь в состоянии, сходном с неподвижностью смерти, он увидел – вынужден был увидеть кем-то насильственно представленную его взору картину собственной гибели в море. Тело его почти бездыханным лежало на зелёном мху, головою в кустах бересклета, но сам он – подлинный он, плыл в огромных серых волнах, в смертельно холодной воде. Вскипали пенные барашки на гребнях раскатистых водяных гор, которые неслись, дыбясь, диким табуном по краю неба, то вдруг стремительно проваливались в преисподнюю – и он так ясно увидел, как выглядит его смерть. — Она была громадной водяной пустыней, где никого нет. И волны там были живыми существами. — Он лежал под влажным кустиком, не в силах шевельнуться, а тот, кто плыл по воде, охваченный её леденящим холодом, почему-то изо всех неисчислимых жизненных видений в гибельный час остановился на этом: как он лежал, недвижимый, под нарядным кустом, и рядом на зелёном мху валялись, вывалившись из корзины, круглые большие грузди, студенистые сверху и чистые, белые, равнополосатые исподу. Глядя на эти грибы, он и пришёл в себя, вернулся из водяной смерти на мягкий мох, под кустик бересклета.

Дома он нехотя сказал своему отцу, что в лесу с ним была падучая и он валялся на земле, но отец, огромный, кривой на один глаз Елисей ничего на это не ответил, высморкнулся на землю и пошёл в угол двора затёсывать топором колья. Сын к этому больше не возвращался – а вскоре подошло время рекрутского набора, его признали годным для службы, и он с пьяными рекрутами, сам тоже пьяненький, отбыл на барже незнамо куда. Пройдя долгий кошмар карантина и обучения, он попал на морскую службу, его зачислили матросом на миноносец, где новый дружок, белобрысый матросик Ляхов сделал ему услугу: на тыльной стороне крепкой и красивой крестьянской руки салаги выколол якорь и синие буквы: "Пётр".

Жил-был финский рыбак Юхани Бергстрём, прадед которого был чистым шведом. Он

наткнулся на вымоченный в солёной воде белый труп, который прибило к берегу возле Кривой косы. Юхани похоронил найденного в прибрежном лесочке, ничего не сообщив об этом властям, потому что не хотелось ему дурной и долгой мороки с ними. Но через несколько месяцев, когда он повёз сайру в Кеми, встретился там в таверне с русским купцом Таратушкой и спросил у него:

– Скажи-ка, брат Таратушка, ты не знал никогда матроса по имени Пётр?

– А фамилия какая? – недоверчиво косясь, как и всегда, молвил купец.

– Фамилия неизвестна, но известно, что он служил в русском военном флоте, – продолжая скрытничать, разъяснял Юхани. – Я подумал, что, может быть, совершенно случайно ты знаешь русского военного матроса по имени Пётр.

– Так ведь сейчас у нас война с японцем, – воскликнул хмельной Таратушка. – Эвон их сколько, военных моряков, кругом стало. И каждого зовут то Пётр, то Сидор, то Иван, как тебя. Ты бы, Иван, чего другое у меня спросил?

– Я ведь не совсем финн, Таратушка, – загадочно улыбаясь, сообщил Юхани. – Во мне есть шведская кровь, и фамилия у меня шведская -Бергстрём.

– Ну так что ж? – ничуть не был удивлён русский купец. – Я ведь тоже наполовину цыган.

– Мой дедушка был уже чистым шведом. А его прадедушка был личным камердинером короля.

– Ишь ты, – на сей раз удивился Таратушка. – Так ты, значит, не финн?

– Финн, – возразил Юхани, – но есть во мне четвертушка шведской крови.

– Ладно, – миролюбиво махнув рукою купец. – Сойдёт и так, брат.

– Чистый финн не спросил бы у тебя то, о чём я сейчас спрошу.

– Давай спрашивай, Иван! Ничего не бойся.

– Настоящий финн не подумал бы сделать то, что собираюсь сделать я.

– Это почему же? – слегка обиделся за финнов русский купец Таратушка.

– Потому что слишком долго пришлось бы ему думать, чтобы до этого додуматься.

– Ага, – икая, произнёс купец.

– Скажи мне, Таратушка, кто друг мёртвому человеку? – со значением в голосе и в выражении лица спросил Юхани Бергстрём.

– Чего? – возмутился купец. – Да ты, брат, пьян. Поди пропись! Чёрт ему друг, а то кто же!

– Нет, Таратушка! – просветлённо улыбнувшись и гордо выпрямив свой длинный корпус, молвил Юхани Бергстрём. – Мёртвому человеку друг живой человек. И я друг матросу, которого, звали Пётр.

– Уби-ил?! – пригнувшись к столу, с придыхом спросил Таратушка. – Ну Иван!! – погрозил он пальцем.

– Нет, этого не могло быть, – пренебрежительно отверг Юхани. – Я честный христианин, людей убивать не могу.

– Врёшь, Ваня! Убил. Признавайся! – настаивал купец.

– Из нас двоих ты пьян, друг Таратушка, а не я вовсе, – спокойно ответил Юхани Бергстрём.

Он, как был величественно прям, словно палка, так и повернулся на лавке, достал из своего дорожного мешка деревянный инструмент с натянутыми струнами и утвердил его на коленях.

– Теперь вижу, что ты и впрямь финн, – рассмеялся купец. – Каждый в твоей Чухне брэнчит на этой самой бандуре.

– Да, финн. Теперь послушай, Таратушка, – призвал финн Юхани и запел, подыгрывая на кантеле: – "У песчаной косы я нашёл утонувшего человека. Он торчал из песка, одетый в русскую форму. Чайки выклевали ему глаза, солёная вода сделала его белым, как белый камень. Но на руке его, чисто омытой, виден был нарисованный якорь, под ним написано: Пётр. Мне неизвестно, угоден ты был Господу, или Он тебя отверг. Но я предал тебя земле и

тихо постоял над твоей могилой, грустя, потому что человек ближе к человеку, чем Бог, – прости меня, Боже..."

Звуки задумчивого инструмента постепенно стихли, выплеснув последние струи мелодии, и купец Таратушка вытер волосатым кулаком глаза:

– Иван, уж песня твоя больно хороша, – произнёс он растроганным голосом. – Уж больно жалостлива. За сердце так и берёт...

У рыбака Юхани Бергстрёма был единственный сын Сеппо, который имел четырёх дочерей, Арью, Тарью, Лесну, Ирму, от Лесны и родилась Инкери, её отец Урпо Паркконен был арестован в Карелии, а семья его перед самой войной выселена на Кавказ, в Северную Осетию, там и встретила Инкери Урповна со своим будущим мужем – когда он, молоденький врач, недавно закончивший институт, в свой первый отпуск поехал в горы собирать лекарственные травы – он как раз в то время увлёкся траволечением.

В роду русских крестьян Морозовых, что из деревни Курясево, старший брат Емельяна, Еремей, был мужик рослый и на удивление красивый, силы непомерной, до семидесяти пяти лет на палках перетягивал всякого, – а уж тут старика перетянул продавец из кооперации Лапин, толстенный, как боров. Старшая дочь Еремея Морозова тоже получилась красавица отменная, золотая коса, и её полюбил горный инженер Евгений Марин, исследовавший в этом краю запасы болотной руды – вышла славная свадьба между крестьянкой и дворянином, о которой вспоминали много лет в округе Гуся Железного. Детями Евгения Марина и Настасьи были Сергей и Анастасия (по святцам выпало то же имечко, что у матери) – таким образом, кровь рода Морозовых, коим принадлежал Пётр, лежащий в одинокой лесной могиле, и кровь Бергстрёмов, коим принадлежал его вечный упокоитель Юхани, соединились в браке их потомков – Александра Сергеевича Марина и Инкери Урповны, урождённой Паркконен. Их детьми были две дочери, родившиеся поздно, но вместе, -двойняшки вышли совершенно непохожими, одна высокая шатенка, с нежным ломким телом, другая миниатюрная хрупкая блондинка, обе стали кандидатами наук по филологии.

Сестра их деда, Сергея Евгеньевича, Анастасья Евгеньевна Марина оказалась безмужнею, бездетною, потому и удочерила она сиротку из деревни, что была рядом с их помещьем. Девочку барынька взяла годовалою после смерти матери и сама её крестила, назвала также Настей – стала она впоследствии женою Степана Тураева. Своё господское житьё в раннем детстве она почти не запомнила, потому что была по исполнению шести лет препоручена заботам одной крестьянской семьи, в которой и выросла. Самой же певице, подхваченной волной недолгого, но шумного успеха, возить с собою и воспитывать девочку было невозможно, а после революции её подхватила другая волна, более грозная, катастрофическая для всей прежней русской жизни – на мутном гребне эмиграции умчало навсегда из России признанную ею певицу и донесло до другого края земли – на островные Филиппины и опустило посреди бревенчатых хоромов, принадлежащих русскому хозяину. С ним Анастасия Марина познакомилась во французском Дъепе, где пела в дешёвом кабачке. Доживая свой век кем-то вроде приживалки в доме покровителя, который был намного старше и умер за семнадцать лет до её смерти, Анастасия Евгеньевна хлебнула горя, живя среди его многочисленных наследников, из которых никто не говорил по-русски, никто не любил её, всяк норовил выразить ей своё презрение, ибо хозяин, покидая мир, не удосужился подумать о том, каково будет оставаться его сожительнице, которую он приобрёл во Франции и привёз домой, чтобы она пела ему русские песни. И жизнь свою она считала ужасной и пустою, страшась предстать перед Господом после смерти в столь опустошённом виде: разорив и тщеславно промотав талант, дарованный свыше. Но она не знала, что пластинки с её голосом, записанные ещё во Франции, когда богатый покровитель не жалел на неё денег, – пластинки будут размножены на её далёкой родине, что услышат её вновь многие любители романтического вокала уходящей России и что её пение, стихнувшее вместе с временем жизни, сможет воскресить одну погибшую душу.

Но я не понимаю, в чём смысл воскресения, зачем нужно воскресать, если ты уже умер,

– разве за чертою смерти и впрямь ничего нет? Ведь я продолжусь и *там*, за этой серой пеленой воды, плеснувшей мне в лицо. И вот, опрокинутый мягкими и сильными ударами волн, словно щенок лапою льва, надолго погрузился я в морскую пучину – и всплыл уже совсем неузнаваемым, иным существом, от прежнего осталась лишь надпись, выколота на тыльной стороне руки: "Пётр". Моя одинокая могила на безлюдном финском берегу, в сумрачном лесу, повторила эту надпись, а ниже имени, начертанного русскими буквами, было по-фински выведено: "Спи спокойно". И кто лежит под этой деревянной скрижалей, прибитой к осиновому столбушку, – Пётр ли Морозов, крестьянский сын, или, может быть, сын плотника из Галилеи?

Я никогда не воскресал, потому что не умирал, я не умирал, а только менял дома, в которых жил, разнообразил свои повадки, менял походку, забавлялся сложной начинкою наций и рас, правой рукою покорял левую, императорствовал, диктаторствовал, размещивал эпохи, подливал в котёл истории смуты и революции – делал всё то, чего никогда больше не будет. Вручал шагающей по снегу вороне, важной и деловитой, верховную миссию объединения всех разумных существ на планете, под эгидою послеобеденного сна. Давал имена и названия всему, что является мною самим и потому не может никак называться. Придумал добро и зло и долго этим забавлялся, провозглашая славу первому и проклиная второе, пока однажды дело не дошло до того, что я сам перестал различать предназначение каждого из этих начал. Я открыл способ высвобождения огня сатаны из материи, а затем нашёл ещё более простой и лёгкий путь истребления себя в человеческом материале. Новый путь развития материи, явленный человеческой любовью, будет отвергнут, видимо, волею Вселенной, потому что любовь полностью зависит от такого ненадёжного космического препарата, как род человеческий на Земле. Испытав всё то, что испытал Пётр, тонущий в море, я не стану больше утверждать, что мир создан для нужд моего потребления. Огромное серое море, отвратительное своей абсолютной пустотою, открыло мне всю ненужность и неприкаянность моих крохотных вожделений. Перед тем как навсегда исчезнуть из жизни, уйдя в солёную морскую пучину, я мгновенно просмотрел все свои поступки, совершённые в припадках невероятных усилий, длившихся тысячелетиями, и нашёл, что целиком всё это было нехорошо. Что меня заставляло так действовать? За тонкой плёнкой океанской поверхности я оставил всю кошмарную мешанину своих человеческих заблуждений, утонул в море, а затем вернулся на покой в Лес.

Увы, только теперь, в тишине длительного досуга, мне стало наконец понятно, почему все мои превращения завершились печалью и болью. Взлетев над глиняным гробом, выкопанным усердным финном, я замер в воздухе на минуту, длительностью в историю человечества. А затем минута сия миновала, как было ей положено, и я, очищенный раскаянием, отправился в беспредельное странствие, находясь внутри вырвавшегося из меня облака. И вот повлекло оно мою душу, как грозовая туча будущую каплю, которая вызреет на путях её и выпадет где-нибудь на нечаянную землю.

Лечу над пустым свинцовым морем своего прошлого и сам диву даюсь тому, как это я не заметил с самого начала, что, выйдя из леса на поляну, сразу же поставил себя на второе место после БОГА – но на самом деле мыслительность свою тайно направлял таким образом, чтобы постепенно убедить себя, что человек есть, пожалуй, главная причина всего – причина даже БОГА.

Облако несёт меня над мёртвой землёй, которая умерла потому, что Деметра не захотела больше жить. И вот ни одного дерева не зеленеет на материках земного шара. Отец-лес переселился на другую планету, а Лес человеческий, отживший свои миллионы лет, весь уместился в моей душе. Я ОДИНОЧЕСТВО – миллионы миллиардов деревьев моего Леса прошлестели своими жизнями ни для чего. Нулевым вариантом – струйкой дыма, втянутой в чёрную дыру, завершилась жизнь Леса на Земле.

Я вынужден взять на себя всю ответственность за пустую трату одной вселенской возможности, ибо моя вина и только моя в том, что посредством жизни Леса, через Большое

Число её возможностей я попытался рассеять сверхплотность своего одиночества. Напрасным было моё бегство от самого себя в неисчислимый сонм бедных деревьев, которым казалось, что они есть, но которых никогда не было. Мне по-прежнему неведомы время, смерть, исчезновение, хоть всё это я столь убедительно придумал для своих фантомов. Я сожалею теперь, что, вызвав взрыв зелёной жизни, я лишь понапрасну подверг её неисчислимым страданиям, насылал мечты, которые сам и предавал глумливому осмоянию. Человека можно убить – это открытие было сделано людьми гораздо раньше, чем открытие, что его можно любить. И сё проистекло время всемирной истории Леса – она вся выстроилась на постижении первого открытия, на нём и завершилась.

У каждого человека в душе есть своё чудовище, но не каждый представлял его столь ясно, как Глеб Степанович Тураев: человек изобрёл способ мгновенного уничтожения людей сразу тысячами миллионов – миллиардами! Исходить надо было из того, что являлось *любимым* для такого количества людей: при определении этого удар наносится по общему психополю. И все до последнего человека, любившие это нечто, оказываются в пределах смертельного поражения.

Глеб Тураев постепенно начинал постигать, что это такое – вселенская жажда самоистребления как избавления от невыносимого одиночества. Человеческая мысль, вдруг прозревающая нечто для себя непостижимое, наполнялась убедительной силой правоты и законности самоубийства. Ведь всякий непокой, всякое движение вещества уже есть поиск иного состояния, чем то, в котором вещество пребывает. Жажда самоубийства, стало быть, освящена высшей волей, внушающей вечной Деметре желание небытия.

Но в ту секунду, как пришла эта мысль в голову Глеба Тураева, он замер от ужаса, внезапно подумав: да ведь подобные желания не что иное, как убедительный признак того, что новое Оружие противника успешно завершено и, возможно, уже пущено в ход! Сама неотразимость и привлекательность идеи *законного* суицида была тому подтверждением!

Его десятилетняя дочь Нина отказалась пойти в магазин за молоком, заявив отцу, что боится выйти на улицу, – ибо час тому назад, когда она возвращалась из школы домой, в тамбуре входной двери, в подъезде, валялся некий старик, загородив своим телом проход, пришлось перешагивать через его ноги. Глеб Степанович с удивлением спросил, почему же она ничего ему не сказала, ведь он же был дома, на что девочка ничего не ответила и даже головы не повернула к нему, продолжая смотреть телевизор. Глеба Степановича привело в глубокое негодование то равнодушие, с которым дочь говорила о валявшемся на земле человеке.

– Неужели цользя было помочь ему? Ведь ты уже большая и сильная.

Молчание, пауза.

– А вдруг он болен – сердце, или что, или вдруг умер?

Быстрый взгляд дочери в его сторону, но ещё не на него; взгляд подбирающийся, звериный, озирающий ближайшие окрестности. И как странно воспринимается вид обычного поля, тёмной стены еловой опушки леса, розовой просёлочной дороги, вьющейся по полю.

– Так я же боялась, – потупившись, ответила дочь.

– Понятно, боялась – но сказать-то мне можно было?

Что-то шевельнулось в кустах, нет, даже не шевельнулось, а внятно обозначилось за их неподвижной листвою – невидимое ещё, но уже явно угрожающее, конкретно опасное. Ты существуешь по-волчьи не одну тысячу лет, подобная опасность встречалась столько раз, что тебе вовсе не надо видеть её, чтобы распознать.

– Могла бы сказать мне, что там, внизу, лежит на земле какой-то человек?

Стремительно выпрыгнул из кустов огромный борзой пёс, с лохматыми плоскими боками, в прыжках своих подбрасывающий себя выше далёкого горизонта, отороченного голубым зубчатым лесом.

– Вот ещё! Надо мне очень! Да он, может быть, пьяный валялся?

– Нина, дочка, нельзя перешагивать через лежащего человека...

– Слушай, чего ты ко мне лезешь?

– Это ты так с отцом?!

– А ты не лезь, если тебя не трогают.

– Вот как! – вскричал несчастный отец, начиная терять рассудок в беспредельном гневе. – Ты ходишь по человеку – и тебя ещё обижают? Человек для тебя грязная скотина, о которую можно только юбку испачкать? Так? Так? Говори!

– Да, так! – с жалким привизгом выкрикнула девочка, вскакивая с кресла. – Я бы вас всех убила, понятно? – И слезами беспредельного ожесточения и безысходности завершили её нестойкие действия в свою защиту.

Маленькую оборванную девочку легко и стремительно настигла крутобрюхая гигантская борзая, волчатник-кобель. И семенящий, вперевалку, неуклюжий бег девочки, кое-как обутой в драные лапти с выбившимися лохмотьями онучей, -нелепый бег девочки по ровному пустому полю был страшным. Сироту-нищенку специально побили, напугали и выгнали из леса на край поля, и холоп по кличке Жвома, барский ублюдок, перед тем всю её старательно потёр свежей волчьей шкурой, недавно снятой с доски-распялки... В последнее мгновение девочка оглянулась на бегу через плечо, увидела собак и вдруг остановилась. Она нагнулась, подобрала с земли рогатую ветку и, повелительно вскрикивая, принялась издали махать ею на несущихся к ней зверей. Скакавший впереди на доброй лошади-вятке холоп Жвома видел, как волчатник с ходу взял девочку за горло, словно куклу, и, не приостановившись, поволок её дальше, подгоняемый лаем и завываниями подступавшей своры.

– Ладно, успокойся, – сурово произнёс Глеб Тураев, глядя на плачущую дочь, – слёзы твои никому не помогут.

– Опять у вас что-то случилось? – спрашивала испуганно жена, заходя в комнату.

– Случилось то, Ирина, что у нас вырос не ребёнок, а жестокий зверёныш, – отвечал ей муж, неподвижный, бледный, как мертвец.

– Сам ты зверь, – отчётливо, спокойно выговорила девочка, вмиг перестав всхлипывать, и, повернувшись к отцу, уставилась на него исподлобья горящим, неподвижным взглядом.

– Вот видишь, Ирина... – Глеб Тураев отвёл, не выдержав, свои глаза в сторону. – Это наш ребёнок.

Вернувшись однажды из поездки в город, мещерский помещик Полуторацкий велел растопить баню, кликнул Таньку Топташку, свою банную наложницу, велел ей взять сухих липовых веников с цветами и идти вперёд. От этого раза Топташка, здоровенная небеременная девка, понесла, но барин подозревал, что здесь могло обойтись и не без участия ублюдка Жвомы, который парился вместе с ними, а потом был удалён в предбанник, ибо Топташка стеснялась его. Жвома благополучно прожил в дворне до самой глубокой старости, у него было много непризнанных детей от дворовых баб и на деревне. Дитя же, рождённое Топташкой (Авдотьей по-христиански), девочка-сирота, отданная в дальнюю деревню в дом многодетного – шестнадцать душ, – лесника Шикина Зосимы, побиралась Христа ради. И это она была разорвана собаками помещика Полуторацкого, при участии холоуя Жвомы – умерщвлена по воле тех, из которых кто-нибудь являлся её отцом.

В доме Зосимы Шикина дети жили вольно, как зверята, за обедом хватили горячие картохи со стола и разбегались по углам, – на пришлую девочку и внимания поначалу не обратили. Но когда ей исполнилось лет пять, к ней привязалась одна из белобрысых лесниковых дочерей, они и спали рядом на полатах, и ели в одном углу, ни на час не разлучались – пока куряевская нищенка Чуда-Дикая не увела однажды девочку с собою в походы. Белобрысую же дочь лесника, когда она выросла, взяли в дворню – кто-то из людей барина вспомнил, что леснику была когда-то отдана дворовая сирота, дочь Топташки. Решено было её вернуть, но никак не могли разобраться, которая из нечёсаных, оборванных, лесниковых девок она – и взяли наугад белобрысую Феклушу. Во дворне она прижилась, была потом выдана замуж за псаря Маркушу, – от её детей и пошло потомство, к которому принадлежала Ирина, жена Глеба Тураева, и, стало быть, его дочь Нина.

В глазах дочери отец увидел не просто ненависть к нему: это были концы двух оголённых контактов, направленных прямо в его зрачки; через эти контакты должен был выплеснуться прожигающий огонь и, пройдя по психическому полю любви, поразить мгновенной гибелью жизненные центры в нём. Это и было проявлением в действии того Оружия, в создании которого Глеб Степанович Тураев принимал участие как математик, вычислитель основных параметров поражения противника. Было только непонятным, почему это оружие – должно быть, уже завершённое – направлено сейчас в обратном направлении по психополю.

– Ты бы оставил девочку в покое, – натянуто проговорила жена и подошла к дочери, прижала её голову к груди. – Ну чего вы вечно воюете?

Дочь снова завсхлипывала, уткнувшись лицом в надёжное тело матери, –приникая к ней, как после бури трава к земле. И, глядя на них, таких любимых и безнадежных, Глеб Тураев до конца ясно осознал свою гибель.

– Имеются, Ирина... есть такие вещи на свете... Уже всё это сделано, – с трудом заговорил Глеб Степанович. – С этим жить дальше нельзя. Невозможно...

– Глеб, дай нам жить спокойно, – перебила мужа Ирина, теснее обнимая стоящую рядом дочь. – Мы просто хотим жить, Глеб, а ты своими словами как будто стараешься нас отравить. Зачем ты это делаешь?

– Да, ты права. Я вас убиваю... По закону я не имею права существовать.

– Какой закон, Глеб? Что ты такое говоришь...

– По закону Вселенной, где таким, как я, нет места.

– Не плачь, успокойся, птичка моя, – стала покачиваться мать вместе с приникшей к ней девочкой.

– Поэтому я уйду, Ирина.

– Почему? Что случилось? Ведь ничего не случилось, – говорила жена, виновато глядя на него.

– Я не могу больше оставаться.

– Почему?

– Потому что меня давно нет рядом с вами, Ирина. Я давно мёртв. Я погиб раньше, чем пришла смерть. Неужели ты ничего не заметила?

– Не надо, Глеб, при ребёнке... Она и так, бедняга, испугана.

– Ирина, неужели ты ничего не поняла?

– Почему же? Я поняла. Ты уходишь от нас. Но это не так. Ты вернёшься ещё, обязательно вернёшься. Потому что никаких причин, чтобы уйти, у тебя нет. Тебе станет плохо, и ты вернёшься.

Но дело в том, дорогая моя Деметра, что никто из нас никогда не хотел жить, – все мы, рождённые тобою, не хотели жить, поэтому звери беспощадно пожирали друг друга, а человечество создало ядерную бомбу. И вся подоплёка кровавой, страшной истории человеческой в том и состоит, что с самого начала, едва ещё рождённый тобою, человек страшно закричал, протестуя против того, что его ожидало – рождаясь, он оплакивал себя. В дальнейшем он жил – это значит, что с самого первого дня и до последнего он умирал. И ты, Деметра, это видела, но не хотела знать трагической истины. Ты давала человеку жизнь, а он за это мстил тебе. Ты тяжко боролась со мною за право любить меня, но я надругался над тобою как только мог, осквернял твои поцелуи и твою красоту – и вот, кажется, я одолел тебя. Ты прижимаешь к своей груди нашего ребёнка, дочь, маленькую Деметру, в которой уже восторжествовало и действует гибельное чувство.

Однажды во время летней грозы над немецким городом Потсдамом, когда несколько атомов Ральфа Шрайбера выпали вместе с каплями щедрого ливня и случайно пролились на завитую голову сухощавой, подтянутой женщины, которая была его дочерью, родившейся в ноябре сорок первого года, в то время, когда отец воевал на скованных лютым холодом подступах к Москве, – раскрывая над собою зонт, Анна-Мария Гундерт, в девичество Шрайбер, вдруг увидела над собою, подняв глаза, не розовый купол зонта, а полыхающую в

клочковатых языках адского пламени, беспредельную сферу огня – сплошное Огненное Небо.

Анна-Мария не придавала значения мгновенному видению, она быстро направилась по красиво обсаженной цветами дорожке парка Сансуси, не желая, да и, во всяком случае, не умея, себе объяснить, что значит подобное видение. Это было в июле, а в октябре этого же года Анна-Мария Гундерт безвременно скончалась, прожив короткую, но содержательную и наполненную разумным трудом жизнь, воспитав троих детей и принеся много пользы музейному делу своей страны – об этом сообщалось в траурной листовке, разосланной всем хорошим знакомым, родным и близким усопшей.

Одна такая листовка попала в мешцерскую деревню Курясево, к сельскому учителю Василию Петровичу Неквасову, который когда-то давно отвечал на письмо Анны-Марии Гундерт относительно захоронений немецких военнопленных бывшего лагеря за номером полевой почты 17405... Неквасов кратко отписал по поручению председателя сельсовета, что, как местный историк, изучавший архивные материалы и собиравший устную информацию от жителей, знает о существовавшем в послевоенные годы лагере военнопленных, но ничего не может сообщить о месте захоронения умерших. По некоторым предположениям, писал учитель, место это попало в зону лесного пожара, случившегося в сорок седьмом году, и стало неопознаваемым в силу того, что берёзовые кресты, наверное, сгорели, а могильные насыпи постепенно заросли травой и кустарником.

Василий Петрович Неквасов был одним из сыновей бывшего председателя колхоза "Новый путь", тот самый, который первым приезжал из армии в отпуск, чтобы поискать в лесу запропавшую сестру (девушку-фельдшерицу в косо надетом тёмно-синем берете). Василий Петрович во время летнего отпуска съездил на велосипеде в дальнюю лесную глушь, где когда-то был расположен лагерь для немецких военнопленных. Это находилось километрах в семи от ближайшей деревни Ушор, на песчаных буграх между могучими болотами, там рос теперь густой, тонкоствольный сосняк, весь заваленный жердевым буреломом. Неквасов прислонил велосипед к дереву и, чтобы не потерять из виду стоянку, сделал топориком белый затёс на стволе сосенки и надломил ещё ветку берёзы рядом, на чахлам обомшелом деревце с покорно склоненной вершиной. Совершив эти необходимые заметки, учитель пошёл в глубину сосняка, внимательно разглядывая землю под ногами.

За сорок лет до этого шла по тому же месту, чуть наискось того направления, которого держался Василий Петрович, небольшая партия немецких военнопленных. Это были остатки контингента специального лесопромышленного лагеря, полевая почта 17405, которые сохранились за прошедшую зиму и весну, – три десятка истощённых немцев от тех двухсот пятидесяти, пригнанных в лес год назад. И теперь охраны стало больше, чем военнопленных, и надо было, очевидно, закрывать лагерь, однако этому мешало то обстоятельство, что всё ещё живыми оставались тридцать человек пленных, а необходимо было, чтобы они все умерли.

Василий Петрович искал на земле каких-нибудь заметных следов от лесного лагеря, который сгорел вместе со всеми своими заключёнными, охранниками и вольнонаёмными лесорубами, со всеми бумагами и тоскливым казённым имуществом, с костями людей и лагерных животных – конвойных собак, лошадей, крыс и полудиких кошек, исчез в пламени, сопровождаемый оглушительным треском и гулом, с которым сгорело бледное отчаяние последних оставшихся пленных, коим в очень скором времени всё равно надлежало бы погибнуть – в долгой, вялой прохладе голода, при отсутствии всякой пищи, как умерли за зиму и весну остальные две сотни человек, похороненные метрах в семидесяти справа от полянки, через которую проходил теперь учитель Неквасов. Он нашёл бы в земле большое количество полуистлевших костей, кое-какое недогнившее тряпье и даже не превратившуюся полностью в землю чёрную, смрадную органику, в которой ещё сохранилось неисчислимое количество атомов от людей, представлявшихся неприятельному сельскому историку сборищем мрачных арестантов, покорно несущих на сгорбленных спинах груз своих военных преступлений. Василий Петрович держал в сосуде

своего разума, полученного им в *манвантаре* полного и окончательного подавления личности, только такие слова, которые были правильными: "А что их было жалеть? Фашисты бы нас не пожалели. Было их здесь всего двести пятьдесят душ, а из наших деревень не вернулось с войны тысячи".

Купец Липонтий Сапунов воровал тяжёлые бочки с остатками засохшей, окаменевшей замазки; в тёмном лабазе и так было мало места: колёсное железо, печные дверки и вьюшки, привезённые из Гуся, лежали навалом, громоздкими кучами, через которые надо было перелезть на четвереньках, обдирая колени; деревянные части для хомутов, кованые оси, пуды веревок, колодезные цепи – вся эта неразбериха, большая и железная, многотрудная и лязгающая, была в тягость Липонтию. Но он покорялся неизменному ходу житейских соображений: сухую замазку надобно отбивать с помощью зубила, и как бы при этом не повредить бочкам.

В том, что пленные немцы умерли все до одного, виноват прежде всего послевоенный голод сорок седьмого года, тогда и всем нашим по стране приходилось нелегко; в ходе истории нельзя обойтись без жертв, так думал Неквасов Василий Петрович. Неквасовский предок, сельский учитель из тех русских людей восьмидесятых годов девятнадцатого столетия, которые хотели просвещать народ и шли работать в деревни, полагал: прав был Герцен, сельская община – это и есть социалистическое будущее России, – звали *того* предка Казимиром Степановичем, он был выходцем из поляков, учитель. И его потомок, тоже учитель, Неквасов уже ничего не думал о будущем социализме, потому что полагал себя пребывающим внутри него.

Сгоревший в этом лесу дальний потомок лабазника Сапунова, сержант конвойной команды Обрезов, удобный себе социализм представлял весьма ясно: в виде продовольственно-фуражного склада, откуда можно получать всё для жизни, предъявив только накладную, требование или какую-нибудь другую бумагу с печатями и подписями начальства. Казимир Степанович однажды где-то высказал мысль, что российское общинное землепользование при условиях, исключающих появление латифундий, и есть прообраз истинного социализма на земле. Купец Липонтий Сапунов в это время катал по лабазу бочки с засохшею замазкой.

Его внучатый племянник, сержант войск охраны Обрезов, однажды сделал поразительное открытие в самом себе: он вдруг отчётливо и неспешно подумал: "Чего-то сегодня убить хочется". И с этого дня, когда он вполне осознал это подымавшееся время от времени в нём неодолимое желание, сержант стал уничтожать пленных немцев, сначала поодиночке, стреляя в конвоях на рубке леса, а затем и другими способами, которые постепенно и привели к полному уничтожению всех немецких военнопленных в лагере. Теперь на месте этого лагеря росли чахлые сосенки, в большой тесноте, земля была устлана жёлтыми иглинами палой хвои, и по ней пробирался, осторожно переставляя длинные ноги, оглядываясь вокруг себя, что-то приговаривая себе под нос, сельский учитель, любознательный историк периода великого застоя.

Василий Петрович Неквасов шёл по лесу, то и дело оборачиваясь назад, стараясь не потерять из виду белый затёс на сосне, единственный ориентир во времена чудовищной лжи, к которому можно было привязаться, – перешагивал через навал палых сосновых жердин, нигде не находил никаких трагических следов от бывшего когда-то здесь лагеря, и ему невесело подумалось: уничтожить двести пятьдесят человек – это такой пустяк. И внимательно продолжал осматривать безответную землю, устланную хвоей чахлых сосенок, стоявших вокруг в таком же безрадостном молчании, как последние тридцать узников спецлагеря, подошедшие к шлагбауму, толпились перед воротами жилой зоны.

На том месте, где Василий Петрович споткнулся о торчащий из земли обугленный сучок, стоял пожилой костлявый немец Шульман, он был на должности повара для пленных, но так как давно уже никаких продуктов ему не выдавалось, он уже ничего не готовил, а вместе с другими выходил на лесные работы. Высушенные долгим и жестоким голодом до самых костей скелета и черепа, пленные немцы лесного спецлагеря выглядели совершенно

так же, как и узники тех концлагерей в Германии, Польше и в Финляндии, где побывал Степан Тураев... Он в сорок седьмом году начал строить избу на Колином Доме, и с билетом на строительный лес приехал в спецлагерь – и на миг словно опять вернулся в ад, где когда-то провёл он целых два года. Особенно похожим это было на его последний, финский лагерь – тоже в лесу и тоже высоко огороженный колючей проволокой, протянутой прямо между деревьями, с такою же чёрной зловонной грязью в тесном дворе между бараками. Подошедшие к воротам зоны пленные немцы так же горбились и кутались в тряпье, по голодной немощи своей замерзая даже на тёплом воздухе молодого лета. И неподвижный, глубоко ушедший в дистрофическое равнодушие взгляд костлявого узника знаком был Степану Николаевичу по тем не уходящим из его памяти глазам, которые давным-давно уже закрылись и умерли – в польском лагере, в финском, в немецком...

Шульман же смотрел на бородатого русского человека, сидевшего на передке длинного, без кузова, тележного возка, и думал свою неотвязную думу – и мысль его была почти дословно такая же, как и у проходящего сквозь него, через сорок лет, деревенского учителя Неквасова: если ты виноват, то надо отвечать, и ничего тут не поделаешь. Но русский учитель думал так, желая подавить в себе чувство жалости к тем, что погибли здесь голодной смертью сорок лет назад, а немецкий пленный, солдат Шульман, думал о подлинной вине, требующей искупления, и вот оно теперь наступило, время искупления. Шульману хочется сказать об этом бородатому русскому человеку, стоящему чуть в стороне от лагерных ворот у длинной фуры: мол, не считаю вас виноватыми в том, что вы меня убиваете, – это не вы меня караете медленной смертью, а я сам караю себя.

Жалость Неквасова к погибшим военнопленным была из духовного материала иного, чем тот, который пошёл на построение его собственной души. Она появилась на свет в конце двадцатых годов двадцатого же столетия и окрепла в середине пятидесятых годов, пройдя через службу в армии и затем через программные занятия исторического факультета Рязанского пединститута. Шульман же, погибший в сорок седьмом году, тогда очень хорошо понимал суть и свойство подобного духовного материала – на спокойной ненависти и отчуждении победивших русских как будто бы лежал отсвет высшего суда.

Такой свет отражало и лицо бородатого возницы у ворот лагеря, и дистрофик Шульман смотрел на него с восторгом мученика, взирающего с последней ступени эшафота на возникший прямо посреди огромного голубого неба символ его священной веры. И душа стоявшего перед шлагбаумом немецкого военнопленного не приняла бы смутной и неопределённой жалости русского учителя, которая возникнет однажды в сосновом лесу через промежуток времени в сорок земных лет.

Устремлённая вспять сквозь лесные влажные сны, туманы и ночи, сквозь огонь лесных пожаров, эта жалость Неквасова, столь похожая на христианскую любовь, явилась признаком истощения твёрдого душевного материала, который был одинаковым в своё время и для того, кто погибал, и для того, кто убивал. Надёжная, прочная ненависть – вот что тогда было здоровьем наций, государств, партий, правительств, отдельных государственных индивидуумов, – а всякая жалость, возникавшая где-либо в организме общечеловеческой популяции, говорила о наступившей болезни.

Шульман стал ужасаться, раскаиваться и сожалеть о тех противочеловеческих деяниях, какие совершала германская раса против ни в чём не повинной России – Степан Тураев (не зная этого) когда-то с ним уже встречался, это было в первый день, когда он попал в плен и его заперли вместе с другими русскими пленными в сарай. Шульман же тогда находился в команде по ликвидации раненых и забору в плен всех, на то ещё пригодных – до вечера трудилась команда и набила пленными бревенчатый сарай столь туго, что, когда привели к вечеру русских санитарок, их едва удалось втиснуть внутрь толпы и прикрыть воротные створы.

И вдруг на исходе дневного света произошёл странный налёт одинокого немецкого штурмовика на деревню. Самолёт сбросил несколько бомб и, не разворачиваясь, лихо покачивая крыльями, улетел догонять уходящий день. Две бомбы ударились в землю близко

с противоположных сторон от сарая, набитого пленными, и разорвались столь точно одновременно, что получился как бы единый взрыв весьма странного свойства. Всю деревянную трухлявую массу сарая унесло вертикально вверх и там, вверху, расшвыряло в стороны по всем направлениям. В результате подобного взрыва пленная толпа, ранее заключённая в стены сарая, как бы вмиг освободилась от деревянной скорлупы – и глазам изумлённых немецких охранников предстала слипшаяся человеческая масса, отформованная в виде прямоугольного куска, – которая какое-то время безмолвно простояла в подобном виде, лишь потом начала распадаться на кусочки кричащих, стонущих, кашляющих, кровоточащих людей.

В тот день и сталкивались лицом к лицу Шульман со Степаном Тураевым, прошло шесть лет, и оба они не помнили, как, изгибаясь и страшно кашляя на бегу, понёсся куда-то обезумевший русский пленный, и ему навстречу выбежал из сумерек вечера немецкий солдат-верзила с автоматом на груди, в расстёгнутом мундире, пригнулся и широко расставил руки, словно желая поймать бегущего зайца, а русский упал на колени и выкашлял, наконец, из глотки кусочки древесной трухи и полужидкую соломенную пыль. Умиравший Шульман как раз вспоминал сейчас этот день, этот эпизод, но, в упор глядя на _того самого русского_, не узнавал его, а Степан Тураев в доходяге с лицом черепа, с востреньким горбатым клювом-носиком, также ни за что не угадал бы огромного немца, который спокойно подошёл к нему и, тронув его кончиком короткого сапога, не задержался, а прошёл дальше, к другим лежавшим и сидевшим посреди двора потрясённым и оглушённым взрывом пленным.

Шульман тогда лишь удивлялся тому, что все они, валяясь на земле, одинаковым образом изгибались и кашляли, схватившись за грудь, – и только теперь ему пришло в голову, что это вовсе не удивительно, если в наши времена люди что-нибудь делают совершенно одинаковым образом, – кашляют или чихают, разрезают в смертной агонии рты, танцуют в огромном дансинге фокстрот перед самым началом войны или в тысячной толпе вскидывают руки в приветственном салюте фюреру. Тот прямоугольный мясной кирпич, во что были спрессованы живые люди, чудовищно тесно набитые в помещение сарая, во многом открыл глаза повару Готлибу Шульману.

Но эти открывшиеся глаза его видели теперь лишь некрашенный шлагбаум перед воротами лагеря, нескольких союзников-доходяг рядом, тех, с которыми вместе ему надлежало умирать в эти последние дни, и за дорогою видел Шульман бородатого русского мужика. Степан Тураев, собиравшийся строить дом, теперь совершенно ясно постигал предсмертные думы, чувства и душевные состояния тех, чья серая кожа тесно обтягивала кости. Никакой плоти между этими костями и кожей давно не было, как не бывает ничего между золою в сгоревшем лесу и землёю. И там, где высохла вся искрящаяся розовая плоть жизни, в пустыне меж кожей дистрофика и его скелетом окажется блуждающая тень – Я ОДИНОЧЕСТВО.

Ничего не нашёл учитель истории в лесу на том самом месте, где сорок лет назад располагался лагерь военнопленных лесорубов, ни клочка, ни щепки, лишь споткнулся о какой-то обгорелый сучок, что торчал из земли. Степану Тураеву, приехавшему в спецлагерь с выписанным билетом на строевой лес-кругляк, не удалось в тот день нагрузить брёвна на кряжевозную телегу с помощью немецких пленников, как он рассчитывал, – никто из них не смог бы поднять и сухой ветки, не то что брёвна ворочать. На работу их выводили неукоснительно по предписанию, но в лесу последние из доживавших своё узников садились под деревьями на землю и дремали, не сгоняя даже комаров с лица.

Степан поехал тогда в деревню, чтобы взять кого-нибудь на подмогу, и по дороге долго вспоминал, уронив голову на грудь и не глядя, как справляется с дорогою лошадью, свой последний финский лагерь, где тоже рубил лес для немцев и был в таком же состоянии одинокого умирания в толпе себе подобных доходяг, как и эти пленные немцы.

Шульман пришёл к одной светлой навязчивой мысли, от которой никак не мог отделаться в последние дни своей жизни, как только его перевели из подмосковного лагеря в

этот лесной. Тому способствовал случай, когда новый сосед по нарам, Ральф Шрайбер, такой же высокий и костлявый, как Шульман, но, должно быть, намного моложе его, однажды вдруг пошёл ровной походкою, с топором в руке в свободный лес через просеку запретной зоны, не остановился на окрик охраны и был застрелен. Этот случай стал причиной возникновения внезапной мысли не только для одного Шульмана – много лет спустя, прочитав письмо-запрос от Анны-Мари Гундерт, местный учитель истории Неквасов впервые подумал о том, что, несмотря на великую нашу победу, человечество как общее потерпело поражение столь же великое, и даже большее, потому что потери человеческих жизней надо было при этом учитывать общие.

Мысль же Шульмана, сводившая его с ума, состояла в том, что свою голодную смерть в этом лагере, в русском лесу, немцам надо приветствовать со светлым энтузиазмом. Давайте умирать с радостной улыбкой на устах, приставал он к ещё живым товарищам плена, но его соузники, уже не имевшие под кожей ничего живого, кроме костей скелета, не хотели его и слушать. (Что-то подобное приходило в голову и Степану Тураеву, русскому узнику немецкого лагеря смерти, когда после весенних дождей на всех доступных местах огороженного колючей проволокой пространства начала прорастать нежная травка, но тысячи абсолютно голодных людей тут же её выщипали жадными пальцами. Степан тогда, вспомнив, сколько же этой травы было на болотистых лугах и деревенских выгонах его родного края, вдруг воспрянул в горячем душевном подъеме: он увидел, что при способности выжить, питаясь просто травой, человеку природой даны неограниченные возможности для существования. Стоило только упасть этим заборам с колючей проволокой и людям шагнуть через них на просторы! Они могли бы все, все жить на свете, жить, а не умирать тлеющей смертью дистрофиков.) Светлая мысль и рождала непомерную глубину отрешённого взгляда Шульмана и странную, вроде бы наклеенную, улыбку-плёночку, которую Степан успел заметить на устах неизвестного ему доходяги немца.

Неквасову же через сорок лет стало страшно, и он даже остановился в лесу и присел на палую ель, преградившую ему путь: мысль о величайшей нашей Победе, которая одновременно была едва ли не вдвое большим поражением – очередным горьким Поражением всеобщего человечества, мысль эта явилась настолько опасной для скромного сельского учителя, что он задышал тяжело и, преодолевая муторное сердцебиение, надолго остался неподвижен, сидя на обомшелой лесине. И лишь подозрительно озирался беспокойными глазами теснящиеся рядом деревья.

Выходит, что каждая военная победа на земле была отмечена точным количеством взаимно уничтоженных людей, – и выходило также, что История человечества двигалась вперёд взрывами войн, как межзвёздная ракета реактивной тягой. И выходило наконец, что несмотря на огромное количество всяческих побед, человечество никогда не побеждало, а терпело одно общее сокрушительное поражение.

Я с сочувствием следил за признаками нарастающего страха и растерянности у сельского учителя, который, собственно, не был виноват в том, что родился и жил там, где он родился и жил, к кому пришли подобные мысли только лишь потому, что он остановился на том месте, где когда-то громоздились двухэтажные нары в бараке, и на нижних нарах, там, где раньше спал, а потом умер некто Кристельбрудер, фотограф из Дрездена, лежал впоследствии повар Шульман, – и возле него уже не было соседа Шрайбера, и вообще никаких соседей не было – барак почти весь пустовал. И в полном одиночестве Шульман мог уже сколько ему влезет проповедовать о светлой кончине немецких военнопленных с добровольной радостной улыбкой на устах. Да, никому уж не мешая, мог он вслух произносить свои слова:

– Мы принесли в эту страну слишком много страдания, мы вонзились в тело этого народа – в такое же, как наше, белое беззащитное тело – острым клювом ворона, за это положены возмездие и кара. Или уже забыто, что существует Божья справедливость? Но ведь и этого недостаточно, камрады! Что толку, если сначала мы убивали, а потом и нас убили? А кто будет отвечать за то, что каша уже сварена? За то, что одни люди сгоняют

других в огромные массы, а потом эти массы сбивают в четырёхугольники, вроде тюков прессованного сена? Кто же ответит за ужас адский, кроме нас самих? Так давайте же, камрады, мы с вами первыми из немцев – и самыми первыми из людей на свете – умрём со светлыми улыбками на устах! Так и только так мы переделаем себя и немедленно переделаем весь человеческий мир. Потому что люди, умирающие со светлой улыбкой на устах, это ведь совсем другие существа, чем те, чью страшную смерть мы столько раз видели своими глазами на этой поганой войне. Ведь если мы все, сколько нас было на свете, знали только одно – что нет ничего страшнее и противнее смерти, то мы и были её пленниками и рабами! А теперь, камрады, мы только улыбнемся ей в лицо и даже ничего, ничего не скажем. Мы больше не станем её слушаться – и люди никогда отныне не будут воевать, чтобы устроить друг друга высшей властью смерти.

Так говорил Шульман в полной темноте барака, больше не окружённый безответными слушателями, лежащими на деревянных голых нарах, потому что этих безответных, тихо и тоскливо дышавших, погружённых в некую холодную ясность души, порождённую голодом, тех самых, у которых меж их кожей и скелетом уже ничего не было, ибо трепетная розовая жизнь ушла оттуда, – не оставалось на нарах никого, кроме Шульмана, ибо только у него ещё хватало силы духа войти в барак как в жилище и занять своё спальное место, соответственно человеческой привычке к порядку. Остальные, как только заходили в лагерь, разбредались по грязным дорожкам кто куда, будучи безнадзорными, ибо осталось их на пять барачков всего горстка, и на них как на рабочие единицы внимания уже не обращалось. Они расплзались поодиночке, каждый находил на земле какое-нибудь уединённое место, откуда непосредственное всего мог видеть звёзды в небе и вершины леса и где оказывался, будучи даже внутри ограждённого лагеря, вновь близким к природе.

Травы с наступлением лета стало много, её можно было срывать и жевать сколько угодно, и (как померещилось когда-то в концлагере Степану Тураеву) трава могла бы спасти жизнь всех умирающих от голода, но немецкие пленные, пережившие зиму гибели остальных двухсот, уже неспособны были выжить с помощью трав. Степан Тураев распознал в доходягах немцах, лишь взглянув на них, тихое завывание в их остывающей крови – лютую пургу смерти, бушующую в них, ледяной ураган её отчуждения, отторгнувший души этих людей друг от друга и от всего мира. В своё время и его душу уносил подобный ураган, и если бы не освобождение извне, ему бы уже не вернуться к таким обычным жизненным влечениям, как желание построить новый дом.

Заклоченных же немцев в спецлагере 17405 никакое освобождение не ждало, война давно была проиграна, в лагере всю полноту власти захватил сержант Обрезов, который специально изводил или съедал все продукты, предназначенные для кормления заключённых, и поэтому Шульман, будучи их новым поваром, ничего не готовил на кухне почти с первого дня прибытия сюда из подмосковного лагеря в Мытищах. Степан Николаевич Тураев всю свою жизнь после войны и плена прожил без всякой надежды на возможность забыть, понять или поведать хоть кому-нибудь то истинное о человеческом существовании, что открылось ему в минуту, когда он в истощённых немецких пленниках вдруг угадал образ Того, Кто таится в кудей, как тень, жизни каждого человека. Некто узанный Степаном в огромном скелете с птичьим горбатым клювом на черепе, в Готлибе Шульмане, прошёл вместе с лесником Тураевым через всю его одинокую жизнь, но ни разу лесник не обратился к Нему, не попросил помощи и не попытался даже пристально взглянуться в Него.

Я хорошо знаю эту тайную боль и обиду простых душ на Того, Кто становился, может быть, рядом и спасал их в ужасную минуту, но никогда не объяснял им, почему Он это делает и куда исчезает потом. Чего Он хочет, столь затрудняя путь к Себе, бесконечно удлиняя его и внезапно ломая силою мышцы Своей давно наведённые мосты, выставляя на посмешище самое высокое искательство? Разве не обидно мне, что вместо того, чтобы видеть Его, я должен лицезреть какого-то мордастого сержанта по фамилии Обрезов? Неужели таким образом даётся мне знать, что путь к Отцу может быть указан только

человеком?

Обрезов любил вызывать к себе на беседы повара Шульмана, и при этом, подражая кое-какому начальству, которое ему приходилось видеть в жизни, сержант широко разводил колени, сам валился назад, ломая спинку единственного на вахте дрянного стула, пыхтел и обеими руками устраивал поудобнее своё свисавшее отягощённое брюхо. Шёл второй послевоенный год, голодный для всей страны, и столь упитанные пузачи были редкостью среди обычного народа. Но Обрезов вот уже почти двести дней съедал один все жиры, положенные для военнопленных. И вначале, получая на складе суточный провиант для немецкого контингента, делал это как бы в шутку, как бы ради спортивного интереса: съедал кружку комбижира, макая в него куски наломанного руками хлеба, опять-таки предназначенного для пленных немцев. И не прерываясь ни на день, шутка эта длилась всю зиму, а когда из-за наступившего всеобщего по стране голода был резко сокращён и дотолё суровый рацион заключённых, Обрезов уже перестал шутить, а просто увозил мешок с чёрным хлебом или рюкзак с пшеном прямиком в деревню, где менял провиант лагерников на свёкольную самогонку.

Когда прибыл из Мытищ выписанный по разнарядке новый повар на место старого, умершего, Обрезов сам его встретил в плановом конвое и с особенной значительностью приветствовал: "Здорово, милоч. Будешь работать под моей командой". С этого первого дня он и установил обыкновение подолгу беседовать с Шульманом.

Проходили эти беседы в странном круглом сооружении, называемом юртой, где располагались караульные помещения, канцелярия лагеря, гауптвахта для провинившихся солдат конвоя, красный уголок для читки газет. В первые дни собиралось много народу, чтобы послушать сержантские беседы, но потом всё это надоело публике и разговоры происходили уже наедине. С неизменностью ритуала Обрезов задавал вначале один и тот же вопрос:

– Шульман, а где ж твой белый хвартук?

На что добросовестный немец поначалу пытался отвечать, что старый фартук, колпак и половник сдал в Мытищах, а здесь рабочий инвентарь ещё не получал; но сержант лишь утомлённо махал рукою на него:

– Не ври, Шульман.

И в дальнейшем немец молчал, стараясь не глядеть на сержанта, не слышать его слов и не понимать их, хотя за годы плена изрядно овладел чужим языком. Шульман к тому времени ещё не пришёл к своей идее умирания со светлой улыбкой на устах, он полон был ревностного устремления исполнять свой долг, то есть готовить пищу для соплеменников, волею судьбы оказавшихся в плену. Поэтому Шульман очень страдал, с утра раньше всех в лагере поднимаясь и приходя в холодную, пустую кухню, расположенную в первом бараке, напротив казённой "юрты", откуда сквозь ржавую путанку проволочной ограды можно было при желании разглядеть одинокого повара, растапливающего плиту, на которой стоял огромный пустой бак.

– Чего-то не каждый день ты печку топишь, – замечал как-нибудь сержант. – Или дров не хватает?

– Дров мало, – соглашался Шульман, начинавший понемногу втягиваться в эту мёртвую игру.

– Ты смотри, – удивлялся Обрезов, – в ясу живём, а дров не имеем. Приказываю тебе, Шульман, выйти в наряд с пильщиками. Принесёшь на себе пуд дров. Я сам буду у конвое, прослежу. Ясно?

– Так точно, – отвечал Шульман, вытягиваясь.

– А чего ты приготовил сегодня на пробу?

– Перловый суп с прожарками, – равнодушным голосом сочинял повар, продолжая и развивая игру.

– Ну-ка, Шульман, проверим твой суп.

Дело доходило до того, что повар как бы подавал горячую посуду двумя пальчиками,

ставил на круглые колени сержанта, а тот столь же осторожно придерживал миску и начинал воображаемой ложкой отправлять в рот обжигающую пищу, для остужения которой сержант поматывал высунутым языком и дул сквозь дыркую сложенные губы. И в эту смертельную игру, теперь уж неизвестно когда и каким образом затеянную Обрезовым, были втянуты все – начиная от начальника лагеря, майора Алтухова, и кончая конвойным псом Японом, которого Обрезов в конце концов кастрировал и перевёл из сыскной службы в караульную.

Мне пришло подобное в голову не потому, что я не любил пса – наоборот, эту жёлтую большую, как телёнок, собаку я очень любил, и я стал сержантом Обрезовым не для того, чтобы вызвать отвращение и ненависть к самому себе. Пытаясь понять, почему такая большая часть людского Леса выбирает мерзость существования, я не вправе идти другим путём, чем тот, которым иду. Я должен быть Обрезовым и, барахтаясь в его дерьме, всё же стараться полюбить себя больше всего на свете. И мне надо очень и очень ясно представить себе, как это в мою небольшую душу, весом в восемьдесят один килограмм, время от времени приходит неодолимое желание: "Чего-то сегодня убить хочется".

Это обычно бывает у меня с утра, когда я просыпаюсь и сижу на казарменной койке, держа сапог в руке, а вокруг гремят табуретками полуодетые солдаты, уборщики шмыгают швабрами, а за окном ещё царит бескрайняя темень ночи, и я так отчётливо представляю всю глубину окружающей жизни, чёрной от тягот громадного подневольного труда и преисполненной тоски бесчисленных мертвецов, которым когда-то так неистово хотелось жить, а их умертвили. И, навёртывая на ноги портянки, натягивая один сапог, потом второй, я даже не пытаюсь понять, почему так тяжело даётся хорошая жизнь, которая снится человечеству уже столько тысячелетий, и я скорее перевожу ход мыслей своих на злободневные дела.

Среди конвойных собак, которые отданы под ответственность сержанта Обрезова, ищейка по кличке Япон, громадная немецкая овчарка, впала в чрезвычайную озабоченность, и на учебных занятиях вместо того, чтобы взять след, кобель рвался в сторону деревни, сваливая с ног и таща по следу собаковод. Обрезову такое поведение служебной собаки было не только не по нраву – а показалось оно особо опасным по отношению лично к нему, сержанту Обрезову, и к той удивительной власти, которую он обрёл за последнее время. Да, он стал замечать, какую силу придаёт ему это внезапно появившееся в нём по утрам желание убить. Однажды решил удовлетворить его, пристрелив с пяти шагов рыжего фрищика, когда тот, отойдя чуть в сторонку от движущейся колонны, расстегнул штаны и начал было поливать какой-то кустик. С этого дня и появилась его особенная власть.

Она стала быстро расти, когда я пристрелил ещё нескольких немцев, – и вдруг моя голова озарилась великой мыслью: власть будет увеличиваться по мере того, как я буду это делать, хоть до беспредельности! Так оно и подтвердилось в дальнейшем – я не слушал никого и пристреливал этих фрицев, где только мог, – и вскоре весь лагерь боялся меня, а я делал всё, что было угодно мне. Сам капитан Алтухов не мог смотреть в мои глаза, никто уже не смел вписывать моё имя в списки дежурных по внутреннему наряду, по конвойной или караульной службе. Когда я убил около пятнадцати или двадцати немцев, то я стал как бы служить по особенному уставу, существующему только для меня одного: вставал когда хотел, принимал пищу, заряжал оружие и шёл в зону, чтобы вывести на лесные работы небольшую партию, человека три-четыре; и обязательно кто-нибудь из них в лесу пытался бежать, и мне приходилось сваливать его наземь метким огнём на поражение.

Примерно с этого времени я и начал свою шутку с ликвидацией жировых продуктов, потому что обычно лагерное начальство не спешило подавать в вышестоящие инстанции списки умерших и погибших из контингента: хлебное и жировое довольствие оставалось в прежнем виде, – и вначале я съедал только эти излишки. Но однажды я шутки ради поднатужился и изничтожил всю суточную жировую норму на 250 человек, т. е. литровую железную кружку (в таких отмеряют пиво или квас) растопленного комбижира. И что же? Сила духа моя только увеличилась, и всё чаще я начал по утрам говорить себе: "Чего-то сегодня убить хочется", – и меня нисколько не мучила изжога от вчерашнего комбижира. А

вокруг бегали, сустились солдатики, наводя утренний марафет в казарме, и все они были послушные мне, как дети, и что угодно сделали бы по моему приказанию, потому как стал я для них главнее всех начальников, главнее даже майора Алтухова... И вдруг однажды этот жёлтый кобель Япон валит меня, понимаешь ли, с ног долой и тащит по снегу, словно чурку какую, – и это на глазах всей колонны пленных и конвоя, который должен был усилить я со своей служебной собакой. Пришлось мне Япона этого кастрировать.

Ещё до того, как Обрезов стал возвышаться над своими сослуживцами, он был уже признан ими за своё брадобрейное делание, чему отдавался с увлечённостью любителя и смело болванил головы всем казарменным жителям, солдатам и сержантам, а иногда почикивал ножницами и над покорно выставленными ушами какого-нибудь закабалённого лесной службою офицера. Любил сержант и ровно подбрить затылок, отсечь виски по косой или прямой линии, для чего имел опасную бритву немецкой фирмы "Золингер", которую ему посчастливилось конфисковать у одного военнопленного гансика во время обыска. Этого гансика Обрезов убил одним из первых, застреленных им при "попытке к бегству", – подстерёг его на переправе заключённых вброд через речку Маху, когда колонна невольно разбрелась по сторонам, стараясь найти неглубокое место в воде.

И надо сказать, что для меня этот способ отстрела – почти как из засады на зверином водопое, принёс большую пользу, ибо я открыл для себя особенное удовлетворение в том, чтобы стрелять не в кого попало из этого серого, покорно бредущего по воде стада, а именно в того, которого заранее выбрал. В того, кому принадлежат эти самые быстрые и вороватые глаза на свете, глаза человека, который всегда с постоянной тревожной ненавистью следит за тобою, потому что ты отнял у него бритву "Золингер". Но стоит только тебе чуть повернуться в его сторону, как эти глаза молниеносно уйдут в другую сторону, ты уже не увидишь их, а лишь увидишь коротко остриженный затылок огуречиком...

Едва ли не половину списка поражённых за побег мог бы я составить из тех, которых поймал на мушку у переправы через Маху. Именно там и, может быть, целясь в ту самую голову с длинным, как огурец, затылком, вдруг я понял, что никакого милосердия нет во мне, ни доброты, никакой любви к ближнему – ничего этого нет, не было. Всё это ещё только может быть. Возможно будет, а пока это лишь приснилось несколько раз кому-то из бедных деревьев моего Леса.

Был всего один подлинно милосердным и добрым, ему удалось прожить 33 года – и то он оказался не духом дерева, на котором его распяли, и не человеком, а Гостем из космоса. Как это было, мы знаем. Умер, будто человек. Воскрес и вознёсся в небо. Как это?.. Никогда мне со всем сонмом моих деревьев не узнать, что скрывалось в этом Человеке. Только Слово его, тревожное и прекрасное, осталось звучать в наших тугих, забитых кровавыми сгустками ушах... Он был не из нашего Леса. И никакого отношения не мог иметь ко мне, потому что я породил себя из своего одиночества. Он был моим Гостем, но я плохо обошёлся с ним, и Он ушёл из моего дома.

Как-то двое из моих деревьев, самые заурядные – из тех, что обычно длинными рядами растут вдоль южных дорог, однажды сошли с места и отправились из Иерусалима в Еммаус. Шли эти двое не спеша, живо обсуждая последние новости округи, и среди них самой интересной была весть о том, что некие женщины из новой секты пророка, количеством три души, хотели взять тело казнённого из выдолбленной пещерки, но гроб сей оказался пуст, камень у входа отвален. И какие-то сверкающие, но вместе с тем и прозрачные, словно крыло стрекозы, похожие на людей существа мелькнули перед ними и скрылись, а женщины испугались. Они прибежали в дом, где находились его ученики, и всё им рассказали, а одна из женщин сообщила, что ей ясно послышались слова, произнесённые сверкающим существом: "Его нет здесь. Он воскрес". Убитые горем, глубоко разочарованные и подавленные, ученики пророка, количеством одиннадцать душ, не захотели ей поверить.

И только один из них, бородатый рыбак, вдруг вскочил с места и выбежал из дома, ничего никому не сказав. Буря слепой надежды гнала его вперёд -словно ребёнок, от слёз не видящий под собою дороги, устремил он свой отчаянный бег в сторону серых скал, где была

пещера гроба его Учителя. Но, придя на место и заглянув в каменное отверстие, он увидел там лишь валявшиеся тряпки, все испятнанные засохшей сукровицей. И ученик опустился на корточки и взвыл, сокрушая кулаком горячие камни вокруг. Он в этих грязных тряпках увидел всю дикую подлинность смерти и горевал о том, что никогда уже рядом не будет Учителя.

А те двое, следовавшие в Еммаус, за разговором как-то не заметили, что идут уже не вдвоём, а втроём – какой-то человек нагнал их по дороге и шёл рядом с ними. С удивлением один из них, по имени Клеопа, оглянулся на ходу, разглядывая незнакомца, и лишь мельком отметил про себя благонадёжную просветлённость его лица.

– Хотелось бы знать, почтенные раввины, всё ли благополучно на вашем пути, – заговорил первым неизвестный путник. – Хотелось бы знать идущему рядом с вами, о чём вы столь озабоченно беседуете? Почему лица у вас, господа, такие печальные?

– Незнакомец, идущий рядом, ты удивляешь меня своими вопросами, – несколько выпренне отвечал Клеопа, невысокий, полный, с чёрной бородой. – Разве ты идёшь не из Иерусалима?

– Оттуда, почтенные раввины.

– Тогда как же ты можешь спрашивать, о чём мы говорим? Разве ты не слышал, _что произошло_ за эти дни в этом городе?

– Что же там произошло?

– Странно! Ты мне кажешься человеком просвещённым, не купцом, не мытарем даже, упирающимся взглядом только в свои тюки или в свои деньги, – с упрёком заговорил Клеопа, призывно оглядываясь на своего безмолвствующего товарища. – Твой вид говорит, что тебе не чужды интересы более широкие. Не правда ли, уважаемый Лука? – обратился он напрямую ко второму путнику.

Но тот предпочитал молчать, внимательно приглядываясь к незнакомцу. И пришлось Клеопе продолжать далее одному:

– Между тем ты не слышал о казни пророка из Назарета, мужа светлого, могущественного и достославного. Свою силу доказал он многими чудесами, но сильнее чудес было его пророческое слово. И всё же начальники наши и первосвященники оказались ещё сильнее, учти это, незнакомец. Они распяли на кресте Того, Кто обещал нам спасение, и вот уже третий день, как мы живём без Него. Событие это имеет чрезвычайное значение для всего нашего народа, а ты даже ничего не знаешь об этом, господин.

– Не только лишь для Израиля, досточтимый Клеопа, но и для народов Рима, Египта, Мадяна и Кедара, далёких от нас Лидии, Мидии и Елама, вплоть до Виффинии и Арарата, – и до самых крайних пределов Ойкумены возымеет значение это печальное событие, – высказался наконец спутник Клеопы, но снова умолк, потупив лысую голову; мерно шагал он по пыльной дороге, заложив руки за спину, подбрасывая коленями полу длинного платья.

– Тем более! – воскликнул его товарищ. – Не знать о событиях подобного рода!.. К тому же говорят, что Он воскрес из мёртвых и жив! Правда, никто Его воскресшим не видел.

– Как же не знать об этом, досточтимые раввины! – с улыбкою воскликнул незнакомец. – Об этом должно знать каждому, кто внимательно читал пророков.

И во всю остальную дорогу, вплоть до поворота на Еммаус, незнакомец наизусть читал из Писания, начиная от Моисея, приводя те места из пророчеств, где говорилось о пришествии великого Мессии к людям. Два спутника, оба хорошие начётчики, ревностно следили за ходом речи незнакомца, удивляясь его памяти и прозорливости в этом стремительном, небезопасном путешествии по ветхозаветным дебрям. И, остановившись на развилке дорог, удивительный незнакомец завершил свою устную диссертацию, затем с улыбкою поклонился и хотел идти дальше, но тут Лука придержал его за рукав платья:

– Равви, уже поздно, солнце скоро закатится, – стеснительно проговорил он, худой, лысый, по-римски бритый, высокий, ещё не старый человек. – Не знаю, куда ты держишь путь, господин, но если тебе всё равно надо будет переночевать – то почему бы не остановиться у нас?

– Да, господин! Пойдёмте к нам, и отдохнёте! – с искренним радушием присоединился Клеопа к своему товарищу.

– Что же, я пойду к вам, добрые люди, – согласился незнакомец.

И вскоре гость был в моём маленьком, но уютном доме. После омовения он, освежённый, блистая гладкой молодой кожей лица, возлёг за столом. Длинные локоны его, усы и борода, ещё влажные, были тщательно расчёсаны гребнем. Молодая толстощёкая рабыня, сиенская египтянка, подававшая тёплую воду, полотенца и гребни, споткнулась о ковёр на полу и, вскрикнув испуганно, едва не упала, держа в руках тазик для омовения ног, – и упала бы, если бы гость не удержал её за плечо. Смеясь, он вдруг дунул на её низко склоненную голову и сказал:

– Чудесный голос! Ты будешь петь, дитя, и пение твоё станет угодным Богу.

Широкоплечая и смуглая, как та сиенская земля, на которой она родилась, маленькая египтянка вдруг повела себя странно. Она опустила на колени, всё ещё держа в руке начищенный бронзовый тазик, и безмолвно замерла перед гостем, не смея поднять глаза с влажными от проступивших слёз ресницами.

– Будь благословенна, дочь, и ступай, – благословил её гость.

– Встань и иди, впредь постарайся быть осторожнее, – сказал я ласково рабыне, и она наконец благополучно вышла.

Но как она была легка и бесшумна во всё остальное время вечера! С каким гибким проворством ставила на стол блюда с белыми ягодами тута, с горою медовых груш, с янтарным и синим виноградом, с какой nepостижимой бережностью наливала из кувшина полные чаши густого молока буйволицы из вечернего надоя, как радостно, одним вспархивающим движением внесла и поставила на середину стола низенькую плетёнку со свежим хлебом.

И тогда, весёлыми глазами посмотрев на неё, на нас с Клеопой, на жизнерадостный стол сей, гость взял в руки круглый пшеничный хлеб и сказал:

– Беру этот хлеб у Господа Нашего, Отца небесного, и передаю его вам. Благословляю вас тёплым духом хлеба, вкусом хлеба и добром хлеба. Да не будет зла на земле, а будет над нею воля Отца нашего.

И с этим он преломил хлеб в руках и протянул его нам – и в то же мгновение я постиг, кто он. Глаза мои открылись. Перед нами был Человек, а мы перед ним были – три земляные куклы. В глину наших фигурок вмазаны спутанные нитки жалких вождельний, и полная неизвестность была на том, преобразиться глиняному болвану в милосердное существо или нет. Се, ловец – и так стало больно, так захотелось вдруг узнать, зачем ему нужны мы, неумелые куклы, если по земле бродит такое великое число прекрасных, совершенных зверей.

Я простёр к нему руки, и одновременно с моими, будто дождавшись знака, вскинулись руки Клеопы и моей рабыни-египтянки. Единый вопль вырвался из наших уст. Но не успела ещё утвердиться новая весть в наших сердцах, как место, где он находился, стало пусто. Гость, которого мы узнали, стал невидимым для нас. Лишь оставался в плетёной корзине хлеб, преломленный его руками...

...Я никогда не смогу забыть то мгновение, когда в человеке, преломляющем хлеб, открылся мне Тот, Кто мог быть спасением мира. И поэтому в каждом из людей, кто брал в руки испечённый хлеб, я выискивал, напряжённо вглядываясь в него, знакомые черты своего небесного гостя. И надо ли говорить тут, сколько раз я досадовал и ожесточался, когда хлеба касались не персты Спасителя, богочеловека, а скрюченные лапы хищного зверя, с виду столь похожие на мирные руки обыкновенного труженика.

Так – странным образом – приглядываясь к людям во время их трапезы, я пытался снова и снова увидеть в разных людях образ Того, Кто однажды был гостем в моём доме. Но ещё ни разу после этого Он не появлялся. Всякий человек, который преломлял хлеб на моих глазах, делал это не так, как делал Он.

Сержант Обрезов добился-таки своего: всех подчинил своей воле и окончательно убедил их в том, что, расстреливая пленных, имеет на то некое высшее соизволение. И даже начальник лагеря майор Алтухов, никаких приказов на сей счёт не получавший, сделал вид, что ничего особенного не видит в действиях Обрезова, что убивающий сержант действует как лицо особенное, чрезвычайное, обладающее правом уничтожать пленных немцев. И сам Обрезов, тоже поверивший в свою исключительность, говорил при всяком удобном случае: "Ненавижу хвашистов! Если враг не сдаётся, его унистожают".

Время проходило, служба шла – и вдруг я ощутил в себе некое новое поползновение. До сих пор, ощущая по утрам, что мне сегодня хочется убить, я свою охотку сбивал выстрелом из карабина. Домогаясь смерти намеченной жертвы, я оставался всё же на некотором отдалении от неё. А теперь мне захотелось вплотную приблизиться к предмету исполнения моего желания, соединиться с ним – и чтобы никаких расстояний полёта пули или даже дистанции, необходимой для выпада и укола штыком, не было между нами. То есть мне стало ясно, что я должен прикоснуться непосредственно ладонями, пальцами к той жизни, которую я сейчас беру во внимание.

Для начала я попробовал кастрировать служебного пса Япона, действуя немецкой бритвой "Золингер", но пёс зализал рану и выжил, только потерял всякую злость, разучился лаять и растолстел, словно молочный телёнок, пришлось его перевести на караульную службу. Стали пса на ночь подцеплять к длинной проволоке, натянутой вдоль запретки, однако Япон ложился на взрыхленную землю и мирно дрых на свежем воздухе до самого утра. И, снимая его с поста, я с каждым разом всё острее чувствовал нарастающую неудовлетворённость, крепко поддавал носком сапога в раздутый бок пса, который при этом жалобно вякал – но не мог же я его вторично кастрировать!

Так и жил я в смутных переживаниях, притом что внешняя жизнь моя проходила по-прежнему. Все меня боялись, над всем лагерем был мой суд, моя власть не Алтухова, я уже больше не мог жрать льносемя, крупу и все жировые продукты гансиков, нажрался, и теперь даром раздавал провиант своим шестёркам. Всё было у меня, но без того, чтобы самому запустить руку в тело другого человека, как в кровавую рану пса Япона, – без этого облегчения мне не могло быть. Теперь стало невыносимым даже моё мирное увлечение цирюльным делом. – когда я подбирал затылок или ровнял бакенбардину какому-нибудь товарищу по службе, то чего стоило удержаться мне от искушения погрузить острую сталь бритвы в белую или розовую шею! А ведь за такое дело под суд – это тебе не шея полудохлого фрица, недобитого фашиста, которого всё равно ждёт очередной берёзовый крест на лесном кладбище. Брить же или стричь фрицев я не мог по своему положению старшего сержанта войск охраны, это делал специально выделенный из их числа парикмахер. Так что и надежды никакой не было мне когда-нибудь добраться до их горла с "Золлингером" в руке. Но зарезать своими руками или хотя бы задушить, нажимая большими пальцами на "яблочко" спереди шеи, хотелось постоянно и нестерпимо. Я не знал, куда деваться от этого мучительного зуда в руках, рубил телячьи туши для нашего повара, кастрировал поросят и резал баранов в деревне, но всё это было не то.

И однажды на исходе необычайно душного лета, когда все кругом только и говорили о скором закрытии спецлагеря для военнопленных, потому что они наконец-то почти все вымерли и лишь две-три тощие фигурки иногда шатались меж бараками, – однажды необыкновенная мертвящая тоска напала на меня.

Я смотрел на свои руки с ужасом и омерзением: исполняя не мою, а некую чужую волю, они торопливо вершили свою последнюю работу. Они собирали с нижних полок двухъярусных нар барака № 2 ключья истлевшего чёрного сена, наваливали в один угол, туда же летело рваное тряпье, потерявшее своё первоначальное обличье.

Торопливые руки хватают наваленную горку тряпья – оттуда вдруг со стуком выпадает на нары громадный человеческий скелет с круглым черепом, посреди которого клювиком торчит изогнутый узкий нос. Руки мои в тот миг, когда сгребали тёмные лохмотья, прикоснулись к чему-то горячему и гладкому. Это было совсем нагим телом последнего

узника спецлагеря, Готлиба Шульмана, который и выпал из поднятой охапки гнилья на деревянные нары.

Вдруг смрадное облако ядовитого газа окутало сержанта Обрезова и Шульмана, соединив их вместе в гибельной тишине последней минуты. Мои проклятые руки судорожно метнулись к карманам кривых штанов галифе, захлопали по ним – я выхватил коробок со спичками, произвольно погромел ими, встряхивая в воздухе, затем торопливо вынул одну спичку и, несколько раз чиркнув ею по коробке, зажёл огонь.

Как странно! Поднося пламя к ошмётку сена в боку гнилой копны, перемешанной с концлагерной ветошью, я не думал о Шульмане, который был совсем рядом, и он не думал обо мне, хотя и видел, наверное, что я делаю. Мы оба ни о чём не думали – за несколько секунд до того, как огненная плазма развеет атомы наших существ в своих стремительных тугих порывах. Думать больше было не о чём. Гнилая трава и обрывки облепленных лагерной грязью тряпок загораются нехотя, увеличение пламени происходит сначала не ввысь, а в стороны, и единого большого огня никак не получается – идёт огонь в наступление не вскинутым знаменем, а мелкими красными флажками.

Но вот скопление более лёгких, чем воздух, газов, давно образовавшееся под плотной толевой кровлей барака, приходит в соприкосновение с огненной струйкой костёрка – и не успел сержант Обрезов дойти до выхода из барака, а Шульман, свесивший голову через край нары, ещё видел своего мучителя живым, толстым и здоровым, – газ мгновенно воспламенился, и во втором бараке стало как внутри взрывающейся бомбы.

Сержант превратился в частицу огня, даже не оглянувшись на того, кто был самой последней его жертвой, второй барак взрывом своим задел рядом стоящие бараки № 1 и № 3, которые тоже вспыхнули почти одновременно, и мгновение спустя взорвался, словно лопнула бомба с жидким газом, барак усиленного режима под номером 4. Брызги его огней и упали на окружающий лес, на помещения охраны, на управленческую "юрту", на собачьи будки за солдатской казармой. И на пространстве радиусом в километр сомкнулся в единое пламя и огненным столпом взметнулся к небу невероятной ярости пожар.

Горели зелёные деревья, дома, вышки для часовых, они сами и приклады их винтовок, столбы ограды и ржавая колючая проволока, ощеренные конвойные собаки и цепи на них, телеграфные столбы. С треском сгорел продуктово-фуражный склад, похожий на длинный блиндаж; вспыхнул, как сигнальный факел, скворечник на высоком шесте, прибитый к фронтому дома, где жил майор Алтухов. И сам дом полыхнул скорым пламенем, и майор сгорел, и жена его Марго, и всё вывешенное на длинных верёвках солдатское бельё возле бани, и тридцатиместная рубленая баня, и колодцы, и ротный свинарник с поросятами, столовая с кухней и со всеми ложками и мисками, одеяла, шинели, зимние шапки, портянки, конвойные тулупы, документация, учебное оружие и новенькие плакаты по гражданской обороне при ядерной войне. Бегущие кошки, крысы в подвалах и на чердаках, солдатские письма, тяжёлые телеги с бочками для подвоза воды, шайки банные и лавки, лыковые мочала и старые берёзовые веники, боеприпасы в деревянных ящиках и жестяных коробках, офицеры, старшины, сержанты и рядовой состав, гражданские люди -Вертунов и Гладиличкин, маркировщики леса, командированные в лагерь, и последний военнопленный Шульман – всё это быстро сгорело.

Горение это было не чем иным, как возвращением всего вышеназванного вещества в своё первоначальное состояние. Медленно скользя внутри огня, я мог в извилах и сплетениях пламенных струй увидеть все формы всех существ и предметов, коим надлежит появиться на свете. В постоянной изменчивости этих форм и в неустойчивости самых выразительных физиономий вещей, людей, животных и камней, валяющихся как попало в горных отвалах или на дне рек, можно было угадать грустную закономерность всякого вещного мира, что возникнет из мира огня: всё будет появляться и исчезать, как будто ничего и не было.

И вот я вижу неразрывность свою с Ними, имя которым мириад миллиардов, с Теми, которые боятся смерти и потому знают радость жизни. А я не знаю смерти и потому вечность моего существования безжизненна и тосклива. Они хотят жизни – и я хочу жизни!

Но для того, чтобы у меня была жизнь, я должен научиться смерти, а для того, чтобы для Них жизнь не была лживым сном, Они должны преодолеть свою смерть. Я должен жаждать смерти, которая избавила бы меня от пустоты моего вселенского одиночества, и деревья моего Леса, ощущая в себе эту жажду, приходят к идее самоистребления. Итак, вечность моего существования и конечный ноль их страданий соединятся наконец в тех невесёлых огнях, малых и великих, которые научились Они добывать из вещества – чтобы однажды шагнуть в пламя и снова стать огнём.

Разумеется, я могу побыть на месте любого человека, а точнее – в положении любого из Них, неопределённым образом распространённом во времени. Но я побуду в нём и уйду, обожгу его изнутри своей тоской и покину. А он останется в пределах пространства, по которому размазан тонким слоем времени – и потом время оное куда-то исчезнет, от него ничего не останется.

А что же всё-таки было с купцом Липонтием, который перекачивал по лабазу бочки с засохшей замазкой? Я смотрю из огня на тот внешний мир, который постепенно выделился из огненного мира, и вижу вблизи штук пять бородатых мужицких лиц.

Носы их и скулы блестят, словно медные, а в глазах пляшут яркие блики от пламени. Это горит, пожалуй, дом лесного барина, Николая Тураева, среди собравшихся зевак стоит и Липонтий Сапунов, купец, ворочавший бочки с замазкой. Он примчался на пожар в тарантасе, с двумя работниками и кучею пожарного инвентаря – баграми, топорами и ведрами. Но, прибыв к горящему Колину Дому, увидел толпу спокойно стоящих мужиков, от которых и узнал, что тушить огонь не надо, они сами и подожгли дом. Зыркнув на них с изумлением, ненавистью и завистью, Липонтий стал в рядок с ними и, сердито двигая усами вверх-вниз, принялся созерцать картину чужой беды.

Его тарантас стоит недалече, из огня мне видна гнедая лошадка, что прядает ушами и беспокойно вскидывает голову, косясь на пожар. Работники Сапунова привязали её к дереву и, видимо, влились в толпу – смотреть на то, как лихо горит барский дом, принимать исторический урок: скоро и купцу Липонтию Сапунову будет такая же огненная потеха. Он понял это, оглянувшись на мужиков рядом, и душа его заревела, она готова была зверем кинуться и разорвать в клочья этих молчаливо возбуждённых крестьян из двух ближних деревень. Но они, распалённые грабежом, теперь сами были страшны и сильны – вздыбленная душа Липонтия пала на четвереньки и, поджав хвост, тихонько попятилась в кусты, прокралась к тарантасу, и, поспешно отвязав лошадь, купец повёл её в поводу вон со двора горячей Тураевской усадьбы.

Подальше того места, откуда ушла Липонтиева гнедая лошадь, сидели кучкою на узлах притихшая семья помещика, а сам он, отойдя немного в сторону был невнятно виден, с головы до колен освещённый багровым заревом пожара – в длинном светлом офицерском сюртуке с оборванными пуговицами, в старинной дворянской фуражке, но в смазных сапогах, которые сливались с чёрным фоном обступающего поляну леса. Испуганная Анисья сидела на сундуке, прижимая к себе младшенького, четырёхлетнего Степашку, таращила глаза на огонь, на знакомых мужиков, среди которых рьяно подвизался и её бывший тесть Гурьян, по прозвищу Ротастый. Он захапал больше других, утащил к лесу, в свою кучу, скатанные ковры, четырнадцать чёрных венских стульев, картины в рамках, подхватил вместе со вторым сыном, Ермилкой, огромный рояль "Беккер", но не мог никак протащить в дверь, пока Анисья не надоумила его вывинтить у рояля ножки.

Гурьян прибежал из деревни на Колин Дом раньше других, вроде бы предупредить барина и бывшую сноху: "Сход был, порешили тебя жечь, Миколай Миколаевич, – теперича всюду леворюция идёт, жгут помещиков-ти. Мир так решил: мол, барин человек добрый, бясплатно дрова нам давал из своего леса, его не тронем, а дом пожгём. Ишшо жана из нашенских, тебя вспомнили, Аниська: мол, жалко её с детьми, цево там, пушай возьмёт манатки, каки пожелает. А остальное, извиняй, барин, грабанём". И теперь, глядя на то, как возбуждённый, потный Гурьян бегаёт мимо пожара то туда, то сюда, ощерив свои конского размера зубы, Анисья орошала свои щёки мелкими слезами ненависти и горя: вспоминала,

как Гурьян, едва успев произнести грозное возвешение, тут же кинулся снимать со стены картины в золочёных, с резными выкрутасами, красивых рамах, а далее молча грабил, соревнуясь в усердии с самой хозяйкой, которая в лихорадочной спешке принялась набивать сундук и вязать узлы, собирая наиболее ценное и необходимое из погибающего скарба.

Внимательно рассмотрел я, глядя сквозь огонь, одну маленькую деталь внешних событий: Анисьины дробные слёзы на её круглых щеках. И через эту деталь вдруг самым простым образом постиг смысл всего происходящего передо мною там, за пламенной стеной огня. Это была величайшая дозволенность тащить имущество, которое ранее считалось не твоим, это было дикое недоумение у того, кто считал себя хозяином этого имущества, глядя на то, как чужак с враждебной выгнутой спиной тащит шесть штук твоих венских стульев, взгромоздив их пирамидою один над другим – и вид тащителя при этом азартный, трудовой и уверенный.

На следующий день по сожжении усадьбы Николая Тураева мотышовские мужики сожгли и дом Андрея Николаевича, старинную родовую усадьбу Тураевых. К Андрею Николаевичу, пользовавшемуся большим почтением у крестьян, доброхоты приходили предупредить о предстоящем заранее, так что хозяин смог бы спасти и вывезти из усадьбы много добра. Но он до последнего часа не верил, что столь любящие его мужики способны совершить подлость, Тамара Евгеньевна была того же мнения – так что, когда в сумерках зашли во двор мужики с двумя вёдрами керосина, бездетные супруги ничего толком не успели взять и ушли из дома лишь с небольшим баульчиком.

А на следующее утро в село приехал на крестьянской подводе Николай с семьёю и застал брата с невесткой сидящими на скамье под липами, перед кучей обгорелых брёвен, во что превратилось родовое гнездо Тураевых. Пожарище ещё курилось голубоватым кудрявым дымом, ветер сносил его к уцелевшей садовой скамье, выкрашенной зелёной масляной краской, дым был едким, горьким, и представлялось мне, что это от него столь опухли и стали красными глаза у Тамары Евгеньевны. Николай Николаевич оставил жену с детьми сидеть на заваленной узлами телеге, а сам подошёл к скамейке и опустился на неё рядом с невесткой. Она почему-то с виноватым видом посмотрела на него и с привычной чопорностью, столь жалкой теперь, протянула ему руку и молвила:

– Слышанное ли дело, Николай... Вот, сожгли и нас мужики.

– Всё равно я народ не виню, – перебил жену Андрей, произнося слова безжизненным деревянным голосом – сейчас особенно чёрствым и безжизненным. – Народ не виноват, это мы виноваты.

– Какой народ, братушка? – ответил Николай. – Грабители это, а не народ... Это мы с тобой теперь народ, потому что мы – обездоленные. Ведь так выходит по твоим понятиям? Народ – значит обездоленные...

– Не будем спорить, – устало отмахнулся Андрей. – Чего стоят теперь наши споры. Революция пришла, новые силы всколыхнулись.

– Насилие пришло, новые грабители всколыхнулись, – ядовито вторил Николай. – И теперь можешь быть уверенным: народ твой возлюбленный испытает такое на своей шкуре, – и он показал кнутовищем на свою семью, испуганно замершую на телеге, – что не раз вспомнится нам и фараоново рабство, и российская крепость. – И он показал при этом почему-то на пожарище. – Но в данное время я согласен с тобою: не время, брат, спорить.

И однако, они тут же заспорили, вскочив с места и размахивая руками в виду своих жён, отупевших от горя. Андрей стоял на месте, выпятив грудь, Николай же сердито прохаживался перед ним туда и сюда, хлопал яблоневым кнутовищем по сапогу. Спорили обыкновенно, как должно было спорить русским людям, подверженным всяческой мыслительности, и мне, струйкою дыма вылетевшему из-под угольного бревна и вмиг внедрившемуся в возбужденные очи спорящих братьев, было видно в каждом из них фатального неудачника, исконного русского идеалиста, хотя один из них мог величать себя поборником социализма, а другой – считать свою самобытность несуществующей и назвавший в конце концов себя самого весьма конкретным именем: Никто. Оба они

заморгали часто, у обоих ресницы увлажнились слёзами, вызванными воздействием едкого дыма, но никто из них не обратил на то внимания.

И я уже с великим удивлением гляжу на своего братца Николая, этого лесного философа, который совсем ведь недавно ядовито клеймил в своём лесу, отмахиваясь от комаров, весь омерзительный механизм монархической государственности, пророчил близкое возмездие со стороны бесправных народных масс – и вдруг такая разгневанная *несимпатия* к революционным надвинувшимся фактам. Неужели же имущество, отнятое у тебя, стало причиной твоих столь быстрых переоценок, бросил я Николаю. А у самого глаза стали совсем мокрыми – выходило, что я плачу, произнося свои слова презрения.

Но так же и я невольно плакал, произнося *свои* слова презрения: а для тебя, Андрюша, факт наглого ограбления имущества и сожжение дома, вот, - снова ткнул я кнутовищем в сторону дымок, – вызывают, вижу, великий приток новых либеральных сил. И мы оба одинаковыми движениями рук вытирали кулаком глаза и спешили высказать каждый свою правду, не зная того, что это, может быть, самый последний диспут свободных умов, произносимый вслух, – завершение всех горячих либеральных речей в России, звучавших почти что целое столетие. И это – несмотря на имевшуюся исправную жандармерию, смертную казнь через повешение и целые полки проворных филеров. Но пришло время, приканчивающее всякое свободное излияние мыслей путём механического уничтожения родников подобных мыслей, – сколько бы миллионов их ни было в стране.

– Откуда всё это известно тебе, – кричал я на него, – вот уж интересно! Ты, Николай, вещаешь, будто ветхозаветные пророки.

– Очень скоро никто даже шёпотом не будет говорить такое, что я сейчас могу говорить тебе. Почти на сто лет один только "социализм" твой будет звучать, а другие истины окажутся недопущенными к жизни, – "вещал" далее я, – и все инакомыслящие в России вымрут, как динозавры.

– Это было бы чудесно! – вновь крикнул я.

– Да, чудесно! – крикнул и я. – Но если бы только это было! А то ведь сплошной грабёж будет и насилие, и обман тех, которых ты, ты, братец, называешь народом!

– И всё же, Николай, я не стала бы на твоём месте высказываться столь категорично, – вмешалась тут моя жена. – Я понимаю твои чувства, нас ведь тоже подожгли, облили стены керосином и подожгли... Но всё же я на стороне Андрей Николаича: народ тут ни при чём. Революция – это вам не просто грабёж, а народное мщение. И насчёт "социализма" ты не смеешь так пошло распространяться – не ты страдал, это наши с Андрей Николаичем выстраданные убеждения! – И красноглазая моя жена завсхлипывала в платочек.

– Ах, Тamarочка, Тamarочка, – закричал я, с привычным раздражением набрасываясь на её невыносимый пафос, – не надо столь выпендренно выражаться, прошу тебя! Ты попросту спроси у Николая: если тебе сейчас бы дали власть, была бы твоя воля – ты бы этих мужиков в кнуты? В кандалы? В нагайки?

– Нет, – ответил я.

– Ты просто устал, Николай, – примирительно начала моя добрая Тамара Евгеньевна.

– Я бы их не в кнуты, не в кандалы, – перебил я невестку, – я бы сказал им: вот вам, братцы, берите себе власть. И делайте то, что вы должны сделать.

– Правильно, Николая! Вот видишь, – обернулась она ко мне, – он устал... Впрочем, и мы тоже, Андрей... Да как же это можно всё-таки? Плеснули керосином на стену и... Боже мой!

– погоди, Тamarочка! – придержал я жену. – Дай Николаю высказаться до конца. Ну и что, брат, что *они* должны будут сделать?

– Совсем не то, братушка, что ожидали от *них* целых сто лет такие вот доброты, как вы с Тamarочкой.

– То есть? Прошу быть поконкретнее.

– Прощай, Андрюха... и вы, Тамара Евгеньевна, – вдруг разом сник, почувствовав огромную усталость, и с угрюмым видом отвернулся я в сторону от брата. – Перееду пока в

Касимов. Думаю местечко приискать там по ветеринарной части... А вы куда?

– Коленька! Горе-то какое! Бездомными остались под старость лет, -запричитала наконец моя жёнушка, долго и с титаническими усилиями сдерживавшая сердце.

– Ещё не знаю, Коля, – ответил я. – Может быть, в Москву. А пока нас Морозов пустил, будем жить у него.

– Прощайте, – повторил я.

– Да хранит вас Бог... Матерь Божья, – сквозь рыдания пролепетала Тамара и перекрестила Николая, повернулась в сторону телеги и осенила широким крестом сидящую на узлах Николаеву семью (однако и не подумала подойти к "кухарке", как называла всегда Анисью).

– Опять мы с тобою не успели договорить, – сказал я, провожая брата до телеги. – Так ведь и не сказал ты, в чём была, по-твоему, наша вина -грех наш? Чего же другого мы хотели, брат, кроме блага народного?

– Пройдёт лет пятьдесят или семьдесят, и весь мир увидит, чего же на самом деле хотели и *вы*, и *они*. Но к тому времени, к счастью, ни меня на свете не будет, ни тебя, Андрей Николаевич.

С этим я взмахнул кнутом и стронул с места лошадь, а я остался стоять на месте и смотрел вслед отъезжающей телеге и вспоминал потом слова брата, находясь в тюрьме, незадолго до своей смерти. Я умер в возрасте шестидесяти семи лет в лазарете московской Бутырской тюрьмы, – а меня смерть взяла раньше, настигла на улице, под стеною ремонтного дома, цоколь которого начали облицовывать голубоватыми плитками. Вокруг на земле валялись какие-то ржавые трубчатые узлы с вентилями, под головою торчали обломки кирпичей – в моей же тюремной палате было чисто и под головою у меня лежала набитая ватой подушка. Но каковы бы ни были наши смертные одры, в последний час каждый из нас мысленно обращался с него к брату – и поэтому час смертный был у нас общим, несмотря на то что один прожил на земле дольше, чем другой.

И в этот общий час приобщения к тому, что вечно и истинно, мы опять говорили друг с другом, опять поминали какие-то возвышенные материи, в то время как смерть, словно крыса, уже наполовину стащила нас в свою тесную нору. Разумеется, когда она окончательно затащит каждого, час нашей чудесной "свиданки" кончится, и далее, как говорится, тишина, – в которой крыса грызёт, грызёт – с хрустом да так громко, что тому, кто слышит её, уже не уснуть в эту ночь.

Я лежу под оббитой до красного кирпича цокольной стеною, широко разеваю рот и хочу вдохнуть воздуху, но воздух, Андрюша, нейдёт в грудь по опавшим путям воздушным, я хриплю, дёргаюсь, пытаюсь пошире развернуть грудную клетку, хватануть воздуху, и только теперь, в эту беспомощную свою минуту, начинаю постигать всю красоту твоих мечтаний, брат. Да ведь социальная справедливость – это чтобы дышать, дышать можно было бы полной грудью, социализм же твой, Андрюша, это беспредельный океан самого свежего, самого чистого воздуха, дышать которым могут равноправно все. Но где взять этого воздуха, брат? Его нет, и у меня темнеет в глазах, в висках стучат молоты – и вдруг ты идёшь ко мне, уже давно идёшь и что-то такое ещё издали говоришь, жестикулируя руками, и лет тебе трицать пять – сорок с виду.

Что я говорю тебе? А рассказываю, Коля, как случилось со мною нечто странное в жизни, случилось два года спустя после смерти моей Тamarочки -странное и страшное, наверное, потому что за мой поступок меня до полусмерти избили и посадили в тюрьму. Итак, умерла Тamarочка, я остался один в своей коммунальной комнате. У соседей было двое детей, молодые соседи были, вдруг заболевает хозяйка и попадает в больницу, муж на работе, мелкий чиновник, младшего ребёнка отдают в недельные ясли, старшая девочка пошла в школу, её надо после занятий кормить дома обедом – и я соседу предложил свою помощь. А что? Я мог готовить и кормить девочку, она была хорошенькая, полненькая, послушная, со своими затаёнными фантазиями, которым отдавалась где-нибудь в укромном уголке, что-то шёпотом говоря себе, покачивая головкою и водя руками в воздухе.

Я стал готовить обеды и кормить её за небольшую плату, рубль в день, отец её был доволен, мне нашлась добрая забота, дело пошло хорошо. И вдруг однажды я понял, чего мне хочется... Я умираю, Коля, в полной ясности сознания, у меня рак желудка, прожита длинная страшная жизнь, я на семь лет пережил тебя, брат. Вот и скажу тебе: мне захотелось, и однажды я сделал это, а потом продолжал делать, благо девочка молчала. Но как-то раз отец её, вернувшись ненароком домой, застал меня совершенно голым перед девочкой. Он был молод, силён, к тому же я вовсе и не пытался защищаться, так что избил он меня крепко, ох крепко, меня вынуждены были отвезти в больницу. Там я постепенно выздоровел, после чего, Коленька, и предстал перед судом – но как только после суда поместили меня в пересыльную тюрьму, то стал я сильно слабеть, меня снова положили в больницу, и обнаружился рак желудка. В общем, всё какая-то дрянь, разве так я предполагал закончить свою жизнь?

Женившись, я во всю совместную жизнь никогда не видел жену голою, а только в её заношенных платьях и костюмах и в этих ужасных ночных рубашках до пят, с тесёмочками завязок на груди. Видел же я нагую женщину только один раз в жизни, это была Лариса Петровна Зайончковская. Нет, она не любила меня, да и как могла бы полюбить носатого, скучного и некрасивого человека эта холёная, умная красавица? Муж – офицер, петербуржец, герой Порт-Артура, носил пышную бороду надвое а-ля адмирал Макаров, зачем же она мне отдалась однажды осенней ночью? Я приехал к ней с визитом, дело обыкновенное, она же сказала больно и попросила меня съездить к соседям, к доктору Марину, за астматическими палочками, я тотчас же повернулся и поехал. И через час привёз эти палочки... В доме никого не было, она же кликнула из спальни, велела пройти к ней.

Когда я едва не умер от этого наслаждения, от этой красоты и неожиданного счастья, никогда не подозревавший о такой полноценности и силе нежного женского тела, Зайончковская вдруг проговорила: "Но какой же вы скорый, однако", – и, отодвинувшись от меня, повернулась лицом к стене. А я лежал на краешке постели и не знал, Коляня, что же мне дальше делать, я не посмел попросить повторения, настолько был смущён, однако Лариса Петровна спокойным и ласковым голосом сама попросила меня, чтобы я оделся и сходил бы в людскую за горничной Любашей. Больше от неё ничего никогда мне не было, а я, если помнишь, в те дни загулял с наезжими охотниками из Касимова, и мы пропьянствовали от Покрова чуть ли не до Михайлова Дня.

Брат, скажи мне в этот общий для обоих час: зачем мы с тобой прожили со столь непостижимой неловкостью свои жизни? Но ведь хотелось же каждому из нас провести эту жизнь как миссию великого предназначения, и одному представлялась эта миссия в делах суховатой, деловитой любви к народу, а другому виделась дорога в лесу, которая приведёт того, кто напряжённо мыслит, в страну бессмертных, совершенно не похожую на Россию, Европу или даже Америку.

Но послушай, брат, – Ларисе Петровне, повернувшейся ко мне розовыми шарами своих ягодиц, а лицом к стене, где висел роскошный персидский ковер, – Зайончковской не пришлось заглянуть в мои глаза и заметить в них искажённую улыбочку неприглядного лицемерия. Мне хотелось, чтобы она оглянулась на меня, Коля, но этого не произошло, а я не осмелился сам призвать её. И далее всю жизнь мне затаённо хотелось только этого одного, и не может человек, несущий в себе столь гнетущее желание, приносить пользу обществу, помогло, брат мой Коля, всё то, что делал я в девятьсот втором году в земстве, принести для крестьян уезда пользу, ежели в тридцать шестом году, в самый разгар сталинизма, я впопыхах демонстрировал маленькой девочке свои обнажённые срамные части. И теперь, когда я умираю в тюремной больнице, знай, страдания мои велики, мне горько осознавать, что вся долгая, долгая мучительная жизнь моя была предназначена для осуществления этой мелкой пакости, и я теперь не знаю не только того, для чего надо было мне жить, но и того, для чего теперь надо умирать с такими тяжкими мучениями. Только тебе могу сказать, потому что ты уже давно умер: то, что произошло со мною, может случиться и с каждым. И может стать, что за всеми декларациями какой-нибудь новой

империи добра таится, Коленька, всего лишь некая мелкая страстишка какого-нибудь пакостного старика.

Мир справедливости не может быть построен, если его будут возводить такие же мелкие стратотерпцы, как я, и ты имел в виду это, наверное, когда говорил, помнишь, что я всё-таки хочу чего-то другого, а не социального рая для своего народа. Ты был прав, брат Николай: именно такие, как я, стали рьяными строителями Вавилонской башни, поэтому она должна была рухнуть.

А что было бы, брат Андрей, если Деметра в то мгновение, когда решалась вся твоя судьба, оглянулась на тебя? Галки слетели бы со своих ветел, окружающих старинный помещичий дом с колоннами, дикие сизари слетели бы с колокольни церкви и закружились над крышами, забрехали в деревне собаки, и чёрный, косматый бородач Агапён Курин, далёкий потомок лесного разбойника Кури, ехавший на обшарпанной навозом и глиной телеге, отпрыгнул бы в прохладный воздух горячим сивушным облачком да подпрыгнул на заднице, взмахнув локтями, когда колесо тележное с маху наскочило на придорожный камень... Что было бы, Андрей Николаевич, если башни наших человеческих судеб возводились по законам светлого счастья, предначертанным космическими небесами?

Агапён Курин тогда не забил бы до смерти своего кума, горбоносого озорника и вора Гришку, железным шкворнем, галки по-прежнему летали бы над ветлами, и дикие голуби водились под крышей колокольни. Маленький мальчик, нечаянно забежавший в пустой храм, увидел бы Хозяина сего дома, и Тот не стал бы наказывать ребёнка за его дерзость. И можно было успокоиться на том, что Вера Кузьминична Козулина, в девичестве Ходарева, умерла не в коридоре переполненного корпуса Боткинской больницы – подобранная милицейским патрулем в Хлебном переулке, в подворотне дома № 17, – а скончалась на руках человека, который всю свою жизнь любил её как богиню. И бывший Николай Николаевич Тураев, ныне по имени Никто, вовсе не оставил её валяться в подворотне (ушёл, даже не оглянувшись) – нет, он по рассеянности вначале не заметил, правда, отсутствия рядом привычной своей тени, неизменной спутницы по московским бродяжьим кочёвкам, но вскоре хватился её отсутствия и отправился назад. Филиппинский же русский богач не вернулся из Европы на Филиппины, а поехал вместе с новой женою, певицей Анастасией Мариной, к себе на родину в Мещерский лесной край. Там он уже не застал в живых ни родителей, ни своего единственного брата, но зато увиделся с племянницей Маришей, которая ещё не вышла замуж, занималась извозом вместе с огромной Царь-бабой, и был у Мариши замечательный крепенький мерин сивой масти по кличке Хомка.

В смертный час каждого из братьев Тураевых, Андрея и Николая, в смертный час их сестрицы Лидии, а также внука Николаева Глеба – каждому из них мгновенно и ярко представилось одно и то же. Огромная раздвоенная сосна с лирообразными стволами золотистого цвета, стоящая на краю лесной поляны. Идёт к сосне человек, до пояса сокрытый в траве. Не доходя до дерева шагов двадцати, он вдруг останавливается и оборачивается лицом к тому, кто сейчас со своего смертного одра внимательно следит за ним. И никому из Тураевых, так или иначе связанных духовными узами и с этой лесной поляною, и с лировидной сосною, до конца не известен облик представшего путника. Но каждый перед смертной минутою словно начинал угадывать в нём черты где-то однажды встреченного уже человека, и встреча та, оказывается, имела огромное и прекрасное значение.

У Лидии Николаевны, лежавшей в глубоком шоке кровавого излияния мозга, вспыхнула и стала быстро разгораться в душе надежда, что человек, оглянувшийся на неё поверх шатких травяных верхушек, несёт ей чрезвычайно важную весть или даже верные документы относительно того, что жизнь её удивительно задалась, и небывалым счастьем, мало кем из людей испытанным, отмечена она, и об этом записано в казённых бумагах, принесённых к двойной сосне малоизвестным путником, напоминающим углежога и лесного духовика Алексашку Жукова, который ездил на свою духовую скипидарку по той же лесной дороге, по которой часто езживала на чистенькой чернолаковой бричке и Лидия Николаевна

к своему брату.

Однажды они встретились-таки возле самой двойной сосны – он ещё издали свернул пару лошадей с дороги, приостановил свою длинную фуру со скипидарными и дегтярными бочками под деревом, а сам, оставаясь сидеть на передке воза, чёрной рукою сдёрнул с головы немисливо закапанный смолою и дёгтем картуз и неподвижными, непонятными, словно у зверя, тёмными глазами уставился на барыню, которая с приветливой улыбкой на цветущем лице проезжала мимо. Она кивнула ему, на миг обернувшись в его сторону, – и поверх его согбённых плеч и лохматой головы увидела две мощные излучины стволов, взлетающих вверх, как само радостное устремление жизни к небу.

А косматый углежог, на минуту остолбеневший при виде барыни Тураевой, как бы почувствовал тогда лесной провидческой душою печальную и роковую общность свою с этой женщиной. Она лет через десять, а он лет через двадцать, считая с этого дня, – оба скончаются одинаковым образом. У неё мужики сожгут усадьбу – дом под розовой черепицей вспыхнет как костёр, черепица страшно затрещит в огненных вихрях, и у хозяйки, павшей за смертью, отнимется язык, парализует левую руку и ногу, и она умрёт через два дня. Алекшашку Жукова удар хватит после того, как ему объявят в сельсовете, что он подлежит раскулачиванию, – и, путаясь в длинном дерюжном фартуке, в котором он приехал из леса, прямо от духовой кучи, мужик вышел из казенной избы на крыльцо и тут же свалился с ног долой... Он-то и привиделся, наверное, Лидии Николаевне перед её смертью – весь прокопчённый, закапанный смолою, протягивающий чёрную руку к стволу дерева.

Братьям, Андрею и Николаю, тот человек, что появился у раздвоенной сосны в общий час кончины, представлялся неким посланцем, отправленным от одного из них к другому. И Андрей Николаевич в этом вестнике от брата Николая узнал самого себя, тридцати шести лет, подтянутого, приталенного господина в вицмундире. А Николай Николаевич с земли, лежа на острых углах кирпичных обломков, вглядывался в путника, медленно приближающегося к лирообразной сосне, и не узнавал в нём своего внука, который появится на свет двадцать один год спустя.

У всех троих Тураевых, у Андрея, Николая и сестры их Лидии, рождённых в прошлом веке, предсмертное видение завершалось тем, что посланец, шагая к раздвоенной сосне, так до неё и не добирался. Лидия Николаевна скончалась в доме лесника Власьева, лежа на соломенном тюфяке, – в тот миг, когда посланец, несущий к любимому дереву Отца-леса радостную грамоту, вдруг зашпешил и ещё издали протянул вперёд руку – словно догадавшись, что дерева так и не успеет коснуться. И вот из глубины огня, наполнившего розовый дом под черепичной крышей – в яростном грохоте лопающейся в огне черепицы, в мечущихся синих лентах раскалённых газов, вытекающих из огневых недр пожара, перед Лидией Николаевной возникло на одно мгновение закопчённое лицо посланца, столь похожее на лицо углежога, которого видела она всего несколько раз в своей жизни...

А теперь я, Глеб Тураев, идущий к той же самой знаменитой сосне – всё ещё идущий, с трудом пробираясь по высокой некошеной траве, и в руках у меня старенькая двустволка, которую я взял в доме егеря Власьева.

Я уехал из колоссального Города, который был системой, неким огромным организмом налаженных систем для существования многомиллионного народа, -вначале поехал в метро, затем прибыл к автовокзалу и сел в "Икарус" – и метро, и автобус также были системами по перемещению людей в пространстве с места на место. И каждый из нас, пользующийся транспортом, также был самостоятельной системой в мировом пространстве. Громадный Город, энергично выплонувший всех нас, пассажиров, в железном автобусе по направлению Ново-Рязанского шоссе, буйно функционировал, хмуровато дымил трубами, глухо грохотал и пульсировал, постепенно затихая позади едущей машины.

Я знал, что Город будет и дальше гремять, налаженно колыхаться и отщёлкивать колёсиками, обеспечивая жизнеспособность миллионов людей. Я только не знал, какая жизнь должна быть обеспечена гигантской работой этой Машины – качество жизни, которое

должно было обрести каждое человеческое существование, нельзя было определить. И со всем тем, что делала со мною Машина, я был не согласен, и все то, что осталось позади, я покинул не только без малейшего сожаления, но с содроганием ужаса и отвращения.

Метро будет, как и всегда, проглатывать и переносить по своим бетонным внутренностям человеческие толпы; глубокой ночью оно останется пустым и неподвижным, но это будет не пустота сна или неподвижность отдыха – ночным перебоем ритма выразится всего лишь неизменность раз и навсегда созданной системы, её постоянная сущность, метафизическая константа. И только человек как система может быть изменён внутри себя – лишь только он в каждом своём случае, самостоятельно изменяясь, способен привести новое в замыслы Великого Кибернетика.

Начался путь – куда-нибудь да выведет. Пока вывел к огромным вырубкам – пустотам на месте прежних лесов, что сведены руками узников, которые были сначала вооружены простыми топорами и пилами, затем механическими бензопилами. Обезглавленные и освобождённые от сучьев стволы вывозили на трелёвочных тракторах к огромным штабелям, где мёртвые деревья лежали, дожидаясь окончания зимы. Весною брёвна сбрасывали в реки и сплавляли до моря, где их ждали огромные плавучие лесовозы. Дальнейшая судьба выловленных из воды лесин была самой надёжной: все они аккуратным образом попадали на рамные пилы, где из выровненных кусков древесных тел выпиливали доски, деловой тёс и разного калибра строительный брус.

Но многие из деревьев, что были сброшены в реку для сплава, до моря так и не доплывали, они быстрее других набрякали водою и постепенно тонули, погружаясь одним концом вниз – так и влеклись по течению, стоя в глубине реки и покачиваясь, словно призраки. И это были самые бессмысленные жертвы из всех неисчислимых жертв того последнего Лесоповала, который я помню. В тусклой мгле подводного мира, роковым образом движущегося в одну лишь сторону, зыбкая невесомость и глубочайшая апатия порождали ощущение жизни, неотличимое от небытия. И нас, подобных утопленников, потерявших смысл собственного существования, скопилась неисчислимая толпа, которая двигалась призрачной процессией в глубине загнивающей воды. Ещё больше было тех, что лежали беспорядочными завалами на дне реки, образуя огромные залежи будущего горючего материала для новых эр существования, которые окажутся, может быть, более удачными, чем эта, где я потонул с отрезанной вершиной и отрубленными сучьями и лёг на дно реки с едкой горечью недоумения в своей душе. Для чего мне надо было метаться в грозу, стенать в бурю, раскачиваться и плакать в пургу, если огонь грядущего времени станет итогом всех моих былых страстей и усилий? Каждое дерево Леса, сгоревшее в виде полена или куска каменного угля, – это очередное моё поражение, повторная тщета, ещё раз сотворённая напрасность одинокого упования. Напрасным был всякий случай ухода моего из огня и напрасным – весь путь, совершённый мною вне огня, – ибо он был путём возвращения обратно в огонь.

Пусть бы неизменно светили прекрасные звёзды на фоне бархатной черноты космоса – зачем же путь человеческий? Тысячи раз задавал я себе этот вопрос, выглядывая во внешний прохладный земной мир из пламени возведенных человеческими руками разновеликих огненных строений, и не находил ответа. Однажды я, выглянув из огненной головки только что начавшегося взрыва девятимегатонной бомбы, мгновенным взором окинул большое очеловеченное пространство, которое должно быть уничтожено, – и оно показалось мне столь прекрасным, это существующее пространство ноосферы, словно и впрямь предстала передо мною картина безмятежного рая! А было-то всего: зелёные поля южной Саксонии, хутор с крышами из старинной черепицы... Они теперь не имеют названий, эти леса и равнины земные, они промелькнули в моих глазах и навсегда исчезнут под таинственной мантией времени, которая имеет разные цвета: то бархатно-чёрная, как пустота осенних ночей, то жемчужно-голубая, с синими размытыми далёких лесов, как в августовский грибной день. Накрытый этой прозрачной мантией, мир земли для меня остаётся безмятным, бессловесным и неприкосновенным, как отражение небесных звёзд в земной

воде...

Так где же стоит сосна о двух изогнутых, как рога лиры, золотистых стволах, доберусь ли до неё и зачем это мне надо – непременно прийти к ней и дотронуться рукою до ствола? Я всё ещё еду, трясусь на сиденье в большом "Икарусе", и только что я видел, выглянув из огненной головки взрывающейся ядерной бомбы, как сгорела внизу, среди зелёных лугов, крошечная немецкая деревушка. Но вполне возможно, что это видел в последний миг своей жизни Готлиб Шульман, находящийся внутри вспыхнувшего лагерного барака, или всплыла она в воздухе перед глазами деревенского учителя Неквасова, когда он усталой ногою наступил как раз на то место, где сгорел Шульман, шипя с треском и распадаясь на отдельные огненные лоскутья.

Ко мне рядом подсел на свободное место человек с длинным кривым носом, с депутатским значком на пиджаке, заговорил со мной, – и всё, что минутой раньше подавляло и мучило меня, исчезло куда-то. Пришло же чувство совсем другого порядка: Василий Петрович Неквасов назывался этот самый распространённый среди людей вид одиночества. Он считал себя атеистом, человеком свободным от всяких суеверий, – но взамен отвергнутого Бога Василий Петрович поклонялся разным фетишам, вроде депутатского значка или партийного билета. Мы с ним познакомились, я представился Глебом Степановичем Тураевым – и вскоре замолчали, не зная, о чём говорить, глядя в окно автобуса на убегающие назад картины лесного края.

Минут через десять оба мы погибнем при страшной дорожной аварии – а я, называвший себя Глебом Тураевым, отделюсь от бездыханного тела и за те несколько секунд странной тишины, что наступит вслед за грохотом катастрофы, взлечу над полями, над шоссеиной дорогой, над зелёным мещерским лесом. Мне захочется побыть некоторое время вне пределов чьей-либо судьбы, вспорхнув пушинкою над клочкотанием шумных и бесплодных человеческих усилий.

Итак, я Пушинка Летнего Дня, высоко над землёю вознёс меня тёплый воздушный поток, я лечу в пространстве между белыми облаками и вершинами деревьев. Сверху видна простирающаяся через лес голубая асфальтированная дорога, по ней букашками ползут машины. Недалеко от блестящей, как сухое стекло, извилистой реки, возле моста, этих разноцветных букашек собралось уже довольно много. Они остановились у сброшенных с ленты шоссе двух длинных ящиков – это исковерканные кузова "Икаруса" и "Колхиды"

С той высоты, на которой я кружусь, подхваченный восходящими потоками, мне уже не различить, как выглядит человеческая смерть. Движение и суeta людей, что собрались у разбитых машин, были проявлением жизни – смерть же ничем себя не проявляла. Ясно видно было каждое деревце, кустик, каждую травинку, сверкающие крыши автомобилей, бегущих людей, окружённого лопухами зайца.

Я над разомлевшими лесами и нагретыми полями – и всё живое, что было во мне, вокруг меня, не могло никуда исчезнуть или закончиться. Живое там, внизу на земле, лишь сменяло друг друга, смерти никакой не было. Смерть была выдумкой людей. Того, что они называли этим словом, не существовало.

Была *погибель* жизни, не уничтожающая и не заканчивающая, – а переводящая жизнь в другое состояние. Лежало на земле окровавленное тело, в котором замерло всякое движение, – но я, дотолё называвший себя Глебом Тураевым, уже летал Пушинкой Летнего Дня возле белоснежных облаков. И мне было грустно, грустно видеть разбитый сосуд человеческой жизни, столь тщательно ранее оберегаемый, хрупкий и неповторимый.

В каждом из погибших также был я, но всё, что неподвластно гибели, сейчас снова со мною, во мне. Я пролетаю над ними – рядом с Тураевым лежит Неквасов, возле него – Иванов...

Когда влобовую столкнулись "Икарус" с тяжёлым грузовиком "Колхида", погибло шестнадцать человек. Все они, истекающие кровью, тихо замерли в опрокинутом, отброшенном на обочину автобусе – среди криков и стонов раненых пассажиров.

У всех погибших, включая обоих шофёров автобуса и водителя "Колхиды", внезапная

гибель не выявила в застывших чертах признаков смятения или страха. Словно они смогли узнать, может быть, перед самой гибелью, что каждый из них – всего лишь странствующий Никто, обязанный вернуться в родное Ничто, – поэтому краткий миг своей гибели встретил с надлежащим спокойствием. Застыв в неподвижности, все они, казалось, слушают негромкую музыку, проникающую сквозь миры.

Уложенные на зелёную траву в ряд, испачканные кровью, они словно смотрели на меня снизу вверх и ждали моих слов. Но мне нечего было им сказать. Ведь я был одним из них и, лежа с разбитой головою на земле, находился в их неподвижном строю. И раньше звали меня Тураевым, Неквасовым, Ивановым – теперь же я стал самим собою, и подлинное имя моё – Никто.

Смерти нет, потому что существую я, – там, где я, смерти не может быть. Гибель деревьев моего Леса лишь искажает сознание человека: бессмертие Леса не могло бы состояться из отдельных смертей.

И если, угрожая смертью, – именем её творится всякое человеческое беззаконие, то как разгадать причину общечеловеческого безумия? Почему от них, обладающих бессмертием, исходит столь противоестественный страх смерти, более никому не ведомый? Истребление Леса, поругание Деметры, попытки самоубийства через войны – человечество сошло с ума не от ужаса перед тем, что натворило. Нет, это произошло гораздо раньше, и оно сошло с ума потому, что сошло с ума.

Итак, всё уже заготовлено, припасено, собрано. Деметру супружески развели с крестьянином, её теперь лишь механически насиловали, начинали ей лоно ядовитой химией, заставляли рожать экстенсивным методом, интенсивным. Были превращены в ядовитые помои ещё не все озёра, а в морях оставалось ещё довольно много чистой воды. На Западе не весь химический воздух был кондиционирован, и на Востоке не все великие реки повернуты вспять, вздымались на них супергигантские плотины, столь же нелепо грандиозные, как Китайская стена. Ещё выглядела издали Земля зелёною, молодою, привлекательною...

Но начались бесчисленные самоубийства женщин по всем племенам и странам. Деметра бросалась под поезда и машины, выпрыгивала из окон небоскрёбов, кидалась в колодцы, запутывалась в петлях бесчисленных удавок. Она использовала для неистовой битвы с собственной жизнью яды и лекарства, наркотики, бритвы, грязные шприцы. В песчаных пустынях Средней Азии, там, где на бескрайних полях, залитых насильственной водою, тело Деметры разъедала мучительная соль, начались самосожжения совсем юных женщин. Они обливали свои темноволосые головы бензином, они обматывали эти головы старыми халатами, и поджигали себя, и, тихо потрескивая, сгорали в огне, чтобы только не жить. Не хотела больше Деметра выносить человеческое сумасшествие, омерзели ей насильники.

Вырвался из вулканической темницы своей Горыныч-змея, пожирающий металлы, и вновь распростёр над землёю свои перепончатые крыла. Он летел над государствами разных идеологий и народов, разделёнными прихотливой линией границ, совершенно не понимая, что такое границы, но внимательно присматриваясь к положению дел на планете и полагая, что они находятся в превосходном состоянии. Металла было вынута из земли, выплавлено в огне и затем выставлено для удобного пожирания Змеем-Горынычем в таком количестве, что ему уж не о чем было беспокоиться.

Вот он, от тучности своей уже не способный летать, пополз по раздольным российским полям, подбирая ржавое железо и сталь на огромных кладбищах сельскохозяйственной техники. Теперь он мирно пасётся, видимый издали как громадный холм, неспешно продвигающийся вдоль горизонта. Но придёт время, когда Змей, сожрав все старые машины, брошенные на полях, покосившиеся силосные башни, расшатанные мосты, старые рельсы железнодорожных путей, сгоревшие атомные станции, заржавелые линии электропередач, – Змей-Горыныч станет неохватной для человеческого взора горою металлических мускулов. И от тяжести его нарушится равномерное вращение Земли вокруг своей оси, и соскочит она со своей орбиты и, неотвратимо приблизившись к Солнцу, сверзится, наконец, в его

клокочущий океан...

Со стороны, чуть сверху, я вижу, как к отброшенному с дороги, опрокинутому "Икарусу" подъезжает машина, золотистого цвета "Нива", останавливается, и из неё выходит, приглаживая руками седые волосы, небольшого роста бородатый человек. Тут же следом подъезжают и другие машины, – люди поспешно и как-то настороженно, словно боясь нападения, приближаются к лежащему на боку автобусу... Затем я вижу всю безрадостную картину извлечения трупов из опрокинутой машины; вижу, как через разбитое переднее окно вытаскивают обмякшее тело с раздавленной головой, со слившимися в крови волосами...

Золотистая "Нива" далее катит по Егорьевскому шоссе, приближаясь к Спасс-Клепикам, машиною правит Глеб Тураев – и мы должны полагать, что он вовсе не погиб при лобовом столкновении автобуса с тяжёлым грузовиком. Так что же выходит, господа, задаюсь я риторическим вопросом, – значит, всё происходило в воображении этого человека? Тяжкая ненависть к Городу с его дымом, гамом и дьявольством; бегство из дома, знакомство в автобусе с Неквасовым... Но ведь с деревенским учителем Глеб Степанович знаком уже много лет и уехал нынче из Города на своей машине, а не в автобусе ("Икарус" он обогнал где-то уже за Егорьевском) – последствия же страшной аварии, случившейся несколько дней назад, видел Глеб возле моста через речку у посёлка Фрол...

Выходит, и картину собственной гибели представил он в воображении, и свидание со своим трупом, – и то, как душа его, покинув тело с раздавленной головой, взмыла над полями и лесами... Сложно мне разобраться во всём фантазмагорическом хаосе его видений, бреда, воспоминаний и уяснить, что есть истина, а что воображение и мечта. Даже в таких ясных, казалось бы, положениях, как смерть или бессмертие, меня этот человек с двойственной душой заводит в тупик, – и я, следуя ходу его мысли, сегодня смерть считаю чисто абстрактным понятием, а завтра, наоборот, – неоспоримым доказательством подлинности существования.

Знакомое шоссе подводит навстречу деревянные, крытые шифером и железом посёлки; вдалеке, слева от дороги, промелькнули светлые одинаковые коробки многоэтажных домов: случайный авангард урбанизма; но далее снова пошла русская одноэтажная провинция, составленная из брёвен, под серым шифером и буровато-красным суриком, которым уже лет сто красят здесь железные крыши. В свойствах этой краски, сурика натурального, есть что-то очень схожее с людской жизнью: столь же груба на вид и далека от всяческого изящества, но прочна под воздействием солнца, дождей и унылых туманов, вдруг накрывающих мещерские просторы своей непроницаемой тоскою. Да, неказиста эта суриковая буро-красная житуха, но может продлиться благополучно лет семьдесят, если время от времени подновлять на крышах краску. Сонлива, тиха и сладка эта провинциальная жизнь, затянутая в пелены осенних и зимних туманов. Какие глухие, восхитительные тупики бытия образуются в забытых богом и начальством селениях, какая здесь даль и свобода от всех несчастных, возвышенных, мучительных проблем века! О милосердная дорога, ты уже подвела к самым колесам моей машины серый рабочий посёлок Туму. В его широкой панораме самым выразительным местом является чёрная труба асфальтового завода, изрыгающая в небо клубы чёрного дыма.

А ехать предстоит дальше, – проскочив длинную, извилистую тумскую улицу, мчатся пустынным шоссе мимо просторных летних полей, тонущих в нежной пелене перламутровой дымки. Она там, у голубых полосок леса, делается особенно белесой, текучей и нежной. О эта особенность пространства и света русских полей – жемчужная дымка, в которой меркнут дали! Словно вековечный смог скорби, образовавшийся над кроткими просторами. Именно эта странная прозрачная туманность, коей зыбится видимая глубина России, не даёт спокойно жить и мирно умереть русским людям, оказавшимся по воле судьбы вдалеке от неё. Находясь в дивных краях иных материков, они ищут невольно вокруг – и нигде не находят – этой сизой дымки особенного воздуха, которая есть не что иное, как "лесная боль

полей"*****.

***** Сказано поэтом Александром Орловым.

Филиппинский богатый негодник был милосердно отпущен ангелом смерти на минуту – полетать чибисом над тощим кусочком супесчаной земли, которая когда-то принадлежала ему. Но чибис не узнал своего поля, не внял материнскому зову измученной Деметры. Настойчиво помня об одной всего лишь минуте свободы, душа, тем не менее, делала вид, что не замечает грозных сигналов ангела и горестных призывов родной земли, умолявшей хоть на миг прикоснуться к ней. С пронзительными стенаниями чибис кружил над полем, и в крике его совсем не было слов, как нет их в радостных воплях бегущего ребёнка, подхваченного на широком лугу внезапным вдохновением. Душа-чибис, большая птица с длинным хохолком, увидела наконец вблизи себя ту сизоватую нежную дымку, в которой тонули ностальгические дали родины.

И с упоённой энергией полёта врезаюсь в это жемчужное облако, птица видела вокруг сверкающие блёстки солнца, и каждая световая капля могла быть родственной душой, которую душа-чибис утратила в далёком прошлом. Окружённая неисчислимым роем искрящихся вспышек, она летела над зелёным полем, которое было разделено ровной полосой асфальтированного шоссе, и по синевато-серой дороге в ту же сторону, куда летела птица, мчался чистенький золотистый автомобиль. Отмеченный милостью доброй смерти, филиппинский богач исходил на смертном одре пронзительными криками чибиса, делясь своей детской радостью со всем остающимся на земле миром людей.

"Пивик кричит, – говорила молоденькая Марина, племянница филиппинца, своей старшей товарке по извозу Царь-бабе. – Пивик кричит, деток ищет. Детки в траве разбежались". И вот, оказывается, пивики-то кричали не потому, что детки потерялись. "Чи вы? Чи вы?" – звали они всех тех, которые были когда-то на земле и которых не стало. Чи вы были, почему вас не стало, куда вы подевались – вот самые простые вопросы, которые и задавала вопленница-душа, обращаясь к высокому небу и просторной земле.

– Кума, ты здесь ли? – первым делом спросила Марина, когда её, семидесятивосьмилетней покойницу, привезли наконец хоронить на большое деревенское кладбище. Гроб сняли с кузова грузовика и утвердили на двух крашеных табуретках сразу же, как вошли в ворота. Люди отправились рыть могилу в песчаной земле, работёнка была не трудная – все отошли от гроба и оставили Марину одну, вот и не помешал никто ей поговорить с теми, кто раньше неё пристроился на погосте.

– Кума? – повторила Марина, но ответа не дождалась и вдруг спохватилась: – Да что это я? Ведь ты, кума, пока не умерла, живёшь в своей однокомнатной узля метро "Динамо". Прости, кума, прощай. Это я по нечаянности тебя беспокоила, а не по специальности. Живи себе на белом свете... Теперь я другую скличу. Олёна Дмитриевна, ты здесь ли?

– Здесь я, игде мне быть? – спокойно отозвалась крайняя могила, у самого кладбищенского забора. – Долго тебя дождалась, оманула ты меня, Марина. Помнишь, после войны ты съездила по моей просьбушке к племяннице Акульке в её сумасшедший дом? Там цай пила с ними, с сумасшедшими няньками, подхватила себе порцу на руку. Заболела ты, а я помирать собиралась как раз. Цово же ты сказала мне тогда? Не помнишь? Мол, тётка Олёнка, не жить мне долго на свете. Жди, мол, я вскоре буду за тобою. А сама, гляди-ко, до старости дожила, померла-таки на восьмом десятке.

– Ты прости меня, Олёна Дмитриевна, ради Бога прости за этот суровый обман, но я не виноватая! Господь пожалел малых деток, вишь, дал мне выздороветь. А порцию наслали на

меня не в сумасшедшем доме, а вовсе другим разом, в другом доме, за хорошим столом. И рука у меня, тётка Олёна, осталась закрученная, кость-то по кусочкам вышла вместе с гноем. Не могла я, тётка Олёна, рукою этой даже платок поправить на голове или гребешком причесаться.

– Ин ладно, Марина! Своё, знать, прожила на свете, не чужое.

– Какое своё, Олёна Дмитриевна! – стародавним жалобным манером заныла Марина. – Сына ведь здесь схоронила, знаешь поди – сорока лет, чуть больше, преставился, помер от сердца, пил он у меня сильно. Внучка от дочери, дитя двух лет, тоже схоронена здесь. Вон, тётка Олёна, нынче роют-ти могилку и для меня, грешной, рядом с ними лежать буду... А ведь ня думала ня гадала, что сына переживу. Тогда, как рукою болела, кто скажи мне, что я до стольких-то лет доживу – так веришь ли, нет, плюнула бы тому в глаза. Не ври, мол. А вот и дожила. Неужели же, Олёна Дмитриевна, я своими годочками доживала? Коб не так – ихымя годочками доживала, которыми они не дожили, мои сердешные. И отец не старый умер посля леворюции, захирел, как всё у него отняли, и мати в тридцатом году, как кулачили, с испугу умерла без срока. Испугалась мати-то на сходе в сельсовете, когда объявили, что голосом её лишают. Мол, кулацкая ты семья, права голосом не имеешь... Вот, и за мать недожитое я дожила, и за отца, за сына и за внучку, Олёна Дмитриевна.

– Теперя, Маринушка, слава богу, рядышком будем лежать.

– А чья эта могила между нашими, тётка Олёна? Я такого не припоминаю.

– Это, слышь, племянник Савоська, утёк он смолода из деревни, в довоенное ишшо время. А теперь объявился – и место себе купил. Заранее смерти, вишь, памятник поставил – себе и дочери. Ох, не к добру это, Маринушка.

– А справее тебя кто лежит?

– Козьма Когин с семья и со внуки.

– А в ногах?

– Твой же дядька Алексашка Жуков, жена его Пелагея. Тоже помер в тот же год, как раскулачили. В чёрном от дёгтя фартуке пришёл на сход-ти, где его кулачили. Помнишь?

– Помню... В головах кто?

– Девуля молоденька. Сапуновых правнука какая-то. Привезли её в закрытом гробу – пополам перерезанную поездом.

– Господи, помилуй! Нюжли сама кинулась?

– Бог знает. Не наше дело.

– Ох, Олёна Дмитриевна, много же вас тут собралось, я-чай! С того времени, как матушку хоронила, погост втрое против прежнего стал... А похоронила мати, так мачку старую допокаивать пришлось, отцову мачеху. Помнишь ли её, Дмитриевна? Бывало, прохожу мимо её кровати, дак поймает меня за руку и шепчет: Маринушка, поверь, мол, деушка, что Бога молю день и ночь, коб скорее прибрал, да ить не даёт Господь смерти! А тогда мы и стали с тобой компалионами, тётка Олёна, вместе возили в Касимов мешки с углём и скипидар бочками, помнишь?

– Помню, как же. Ты ишшо лаптями моими дивовалась: больно, мол, велики. Это когда в корцме ноцевали, лапти на пецке сушили.

– Поди, все наши тут собрались – родня, шабры, подруженьки милые!

– Которых снесли сюда, все тута, Маринушка. Никого отсюда не раскулачили, не сослали в Сибирь, никто и сам теперя не спокинёт вечный погост. Лежать нам в жёлтом песоцке аж до самого судного дня, пока не затрубят архангели.

– Надёжка, соседка милая! – кликнула Марина.

– Я! – готовно отозвалась кладбищенская земля знакомым хрипатым бабьим голосом.

– Настя Кириллова!

– Тута!

– Пелагея Ротанкова!

– Тута.

– Матрёна, лежишь?

- А чаво, лежу себе.
- Вероцка!
- Я!
- Дмитрий Прокопыч!
- Ну!
- Гну! Всё такой же, ершисси?
- Тебе не покорюсь!
- Иван Стяпаных!
- Ждесь я, штарая ты бждунья.
- Сам такой! Раба божия Арина!
- Здеся я, шабра.
- Дуся Лобзова!
- Я.

– Дед Прокон! Таньша, Вовик, Аринин сын! Лидочка, касаточка бедная! Анисья! – вела далее переключку новоприбывшая, и старинное кладбище, поросшее большими золотоствольными соснами, вздрагивающими кустиками недотроги, отвечало ей тихими голосами знакомых и родных, соучастников по большой жизненной артели.

И пока шла эта переключка, а самые деловитые мужчины из похоронного содружества вдали от стоящего на табуретках гроба копали яму, сменяя друг друга, а остальные толпились вокруг, в тесноте могильных оград, разговаривали и следили за ходом работы, к воротам кладбищенским подъехала жёлтая "Нива". Вышел из неё ещё не старый человек, прошёл в приоткрытую калитку и оказался перед гробом, покоящимся на двух табуретках. И услышал последки того разговора.

– Ну, вот и пришла к нам святая.

– Дядя Алдаким! Дмитрий Прокопыч! Иван Стяпаных! Да какая же я вам святая? Такая же, как все, грешница. Ничяво хорошего людям не сделала, ничяво и плохого, а мы люди нетральные.

– Святая! Потому что тебя все любили. Такие люди – они и есть святые, а ты с нами не спорь, – загудела нестройными голосами кладбищенская земля.

В одиноком покойнике, возлежащем в гробу с восковым лицом, с поджатыми губами, он не узнал той женщины, которая когда-то уснула, сидя на меже, увидела его во сне и почему-то приняла его за Спасителя. (Впоследствии выяснилось, что в тот день и час, когда она видела этот сон, Глеб Тураев родился в сельской больнице, куда направлялась больная Марина.) А спустя лет тридцать, при случайной встрече старой Марины и Глеба в лесу, она рассказала ему об этом сне, и он поразился удивительному совпадению...

Накануне вечером он читал Евангелие – и когда благовествование от Луки подошло к хлебопреломлению в Еммаусе, он вдруг почувствовал необычайную переполненность в душе. Это было _состоянием истины_ – могучим чувством абсолютной красоты. Не взлёт разума – нет, это был невыносимый, мучительный восторг бытия. И в порыве стремительного болевого движения он схватил с печи ковш горячего молока и плеснул на себя. Но вместо неминуемого ожога он ощутил шелковистую прохладу стекающего по груди молока.

Вечер этого дня и всю ночь он не спал, сон не нужен был ему. Отец ворочался за перегородкой и шумно дышал старой грудью, но небывалые думы сына и безбрежная нежность были обращены не к этому ветхому отцу. Привычный всё вокруг себя представлять в пределах каких-то систем или абстрактных организмов, называемых мировыми моделями, Глеб Тураев своё _новое чувство существования_, новый уровень бытия не мог вместить ни в одну из систем, известных ему дотопе.

Он всегда жил разумом, и более всего – математическим мышлением, космос представлялся ему бесконечной сетью формул, наброшенной на сверкающие звёзды и галактики. И мозг его, не способный охватить необъятности мира, мог всё же уцепиться хотя бы за одну ячейку этой сети -и закачаться на ней, как тёмный паучок.

Новое чувство, и своё новое разумение, и всё то, что он увидел, глядя в раскрытую Книгу, словно в магический кристалл, он получил не как результат напряжённой, незаурядной мысли, а как головокружительный дар внезапной любви. Христианство в его представлении было впечатано в какой-то один из блоков мировой информатики, – но любовь ко Христу непосредственным образом хлынула из его души, как мгновенно кровь из насечённой раны. И при этом -любовь к каждой уходящей капле крови, вместе с которой уходит жизнь, любовь к самой жизни, творящей эту кровь.

Христос предстал перед ним не иконным символом и даже не как фигура колоссально развитой культуры, а как чувство живое, огромное, пульсирующее – скорбь над ним самим, над его погибающим одиночеством. Христос был ему добрым Отцом, и в сравнении с Ним отец человеческий, тоже добрый, хрипло дышавший за деревянной перегородкою избы, вдруг умалился настолько и стал таким жалким, словно это не родитель его, а совсем наоборот: беспомощный маленький ребёнок, рождённый им.

Об этом он думал ночью, а рано утром, как только завиднело в окне, он взял корзину, вышел из дома и направился по знакомой дорожке. Прохладный воздух, смуглота рассветного неба, протекавшая сквозь ветки в тёмные низины, тишина и мягкость серебристых моховых полей, мнушихся под ногами, начали славно успокаивать ночное волнение Глеба. И вскоре он встретился с седенькой хрупкой старушкой, бредущей меж берёзами с корзиною в руке, и это была Марина, – теперь она лежала в своей аляповатой домовине, а он даже не узнал её.

Но, пройдя дальше среди могил, он увидел всё похоронное сообщество живых вокруг почти уже готовой ямы, на дне которой ворочались два человека с лопатами. Одним из них был знакомый Глебу человек по имени Иван, по прозвищу Гусёк, сын другого Ивана, а тот – Петра, который сын Данилов, Данила – Миная, Минай – сын Фадея, которому турок саблею ухо отсёк, и пошла от него фамилия Карнауховых... И этот Иван Карнаухов вдруг, отбросив лопату, схватился за какой-то длинный твёрдый предмет, который обозначился, когда обвалился кусок от торцового края ямы, – ухватил и рванул на себя предмет, оказавшийся потемневшей коричневой костью. Это был остаток голени, стопа же отсутствовала – видимо, была незаметным образом выброшена из ямы гробокопателями. Гусёк тянул на себя здоровенное берцо, оно застряло в песке, словно укоренившись там, – не сумев вытянуть кость, Иван начал её выкручивать и выламывать из того места, где она застряла. А застряло берцо в своём родном коленном суставе, когда-то принадлежавшем Демьяну Халтырину, который как-то возводил сарай для мельника Клиншова, владельца нефтяного мотора "Кингсон и К°", и промеж работами заделал на постоянной квартире брюхо хозяйке, вдове Алдакима Петрова, а у неё было уже пятеро детей -родился шестой ребёнок и это была пророчица Маланья.

Среди сыновей Петрова был Харлам, а у Харлама – Веневит, а у этого -Александр Веневитович Петров, участковый милиционер из Москвы, дальний родственник усопшей Марины Жуковой. Он присутствовал в числе столпившихся у раскрытой могилы людей, совершенно не подозревая, что это ногу бывшего друга его матери, отца пророчицы Малаши, со столь жутким хрустом выворачивает из рыхлой земли хваченный ста пятьюдесятью граммами водки Иван Гусёк. Хватить с утра успели многие из гробокопателей, так что физиономии у некоторых были красными, у других, наоборот, слишком бледными, но отнюдь не скорбными – ибо хоронили они сегодня весёлого, доброго человека...

Я теперь узнал, кого хоронят, и решил вернуться к воротам кладбища, к стоящей на двух табуретках домовине, где лежала и ждала своей дальнейшей участи покойница. Пробираясь тесными закоулками между могильных оград, я как бы ощутил на себе взоры множества знакомых и незнакомых людей: было тягостно идти сквозь толпу заключённых, просто шагать под их спокойным наблюдающим взглядом, и Глеб Тураев, конвойный солдат, невольно опускал свои глаза.

Он вместе с другими солдатами шёл в баню, находившуюся в зоне, сегодня был их банный день. Без оружия, в одном х/б, зажимая бельё и полотенце под мышкой, конвойнички

пробирались через лагерьный двор в состоянии некоторого смущения, многие горбились на ходу и заискивающе улыбались. А стоявшие разрозненно и небольшими кучками зеки никакой враждебности к солдатам не проявляли, наоборот – отдельные весёлые возгласы выдавали их довольство тем, что сегодня они как бы хозяева, а конвой вроде бы у них в гостях.

Глебу тогда подумалось, что разобщению людей способствует всё же начало неестественное, чувство самое противоестественное – зависть к чужой доле. Он всматривался в оживлённые лица заключённых, особенно в те из них, которые светились откровенным самодовольством, и ощущал то же самое, что однажды испытает он много лет спустя: пробираясь между тесно составленными могилами, я словно увидел весь народ мёртвых, скопившийся на этом погосте, и *дело* их представлялось мне навеки свободным от всякого ужаса и страдания, в то время как моё ожидало меня с грозной неотвратимостью небесной кары.

Я понимал теперь, каким благом было бы для меня погибнуть в дорожной катастрофе, и я сказал Марине, лежащей в гробу: "Завидую и преклоняюсь перед тобою, старушка". Вроде бы прожила она свою жизнь на той же земле, что и я, но ведь ничего общего между нами! Словно два существа из разных миров. Она знала, что жизнь каждого человека дороже всех вещей, которыми люди владеют, и она всегда берегла жизнь, свою и чужую. Я же, существовавший в Городе, сидя верхом на унитазе и греясь в лучах паровых батарей, никогда не представлял человека поштучно – я сразу считал их десятками миллионов, охватываемых поражающим действием Оружия.

Нет, меня земля не должна принять, думал Глеб Тураев, выйдя за ворота сельского кладбища и подходя к своей машине, – я понимал его безмерное отчаяние, которое ни с чем нельзя было сравнить. Мне стало невыносимо жаль этого человека, и я никак не мог постичь, для чего понадобилось ему вдруг прозревать, раскаиваться, угадывать в своём существовании дьявольское начало, отречься от себя – почему бы ему не продолжать жить так, как он жил раньше, как живут почти все подобные ему образованные люди с добротной сатанинской начинкою? Ведь лучше уж так, чем то лунное одиночество, безвоздушное и холодное, в котором он оказался в результате своего отречения. Работающим на князя тьмы физикам, математикам и прочим специалистам не советую хоть на миг усомниться в себе – я желаю им нескончаемого самодовольства и самого несокрушимого апломба.

Я знаю, кажется бездны человеческой души, в мою тысячелетнюю картотеку занесено всё самое чудовищное, на что оказывался способным человек, и весьма убористым почерком записаны туда неисчислимые истории самых невероятных страданий. Однако всё это доселе известное и в сравнение нейдёт с подлинными качествами души и ума тех людей двадцатого века, которые невероятно успешно содействуют делу всеобщей гибели. Их ледяной сатанизм и ненависть к жизни в 10^{38} раз превышает мою любовь к ней. Лес человеческий может стать смертным не потому, что деревья его передушат друг друга -человечество может погибнуть, если в нём будет оставаться даже небольшое число подобных людей.

Моя натуральная сила приумножения жизни, весь мой труд под солнцем не могут противостоять такой ненависти. Моя зелёная материя не уверена в себе и мнительна, она может существовать только при особенных, благоприятных условиях. Глубокая меланхолия, свойственная мне, родилась от чувства моей малости во Вселенной – тайное устремление моё к смерти есть не что иное, как желание слиться с этой малостью, вернуться в неё, как после скитаний блудный сын возвращается к отчому дому.

Но невозможность смерти, невозможность моего исчезновения вне материи наполняет мукою моё существование, – человек мучается не только потому, что сам виноват во всём, но и потому, что он страдал бы всегда, где бы он ни оказался. И те злыдни мира, которых я хорошо знаю, потихоньку подтачивают оболочку атомного ядра, чтобы выпустить заключённый туда огонь сатаны, – они ненавидят, в сущности, не врагов своих, которых смутно представляют, и не всё человечество, которое иногда даже любят, – они ненавидят меня, своего несостоятельного отца, породившего их на мучения. Им противно благоухание

моих белых лилий, они с презрением отвергают мою любовь.

Сотворившие в моём Лесу столько чудовищных порубок, они хотят только одного: скорее вырубить остальные деревья. Для этого они изобретут лучевой резак с лазерной установкой. Им не нужны все райские уголки на Земле -мёртвая планета, на которой не видно ни одного зелёного ростка, это и есть для них красота неземная.

Человек, таящий в себе подобную ненависть к жизни Леса, и есть сам сатана, другого нет. Он живёт, заранее дико пугаясь видом своего мёртвого черепа и голых костей, которые пока ещё носит в своём теле. И, назвав этот страх смертью, он начинает служить ей, получая зарплату в виде огненных ассигнаций, на которых изображён портрет князя тьмы с козлиными рогами. Хватая жизненные блага и увлакивая их в темноту своего уединения, он полагает, что теперь ничто человеческое, презренное и жалкое, отношения к нему не имеет, потому что он теперь не человек, которому скоро подышать, а блестящее ловкое насекомое – хихикающий таракан.

Когда я утрачу своё зелёное царство на этой планете и мне придётся отсюда переселяться на другое небесное тело, – может быть, тогда подобные тараканы переймут идею экспансии жизни и захотят устроить мир без красоты, истины и любви... Но я всё ещё здесь, я еду в автомобиле по безлюдному шоссе, пересекающему массив зелёного, свежего леса ровным коридором, в глубокой задумчивости правлю штурвальчиком машины своей и безмолвствую перед самой главной Тайной, объемлющей этот замкнутый мир, название которому Ничто. Существует ли где источник – прибывает ли звёздное вещество, множится ли сила любви, возвещённой Иисусом Христом?

И откуда берутся в нашей замечательной жизни тараканы, думаю я дальше, – и вот перед ним трёхэтажная больница, крупноблочное длинное светло-серое здание. Он направился вдоль стены в правую сторону, подошёл к третьему от края окну первого этажа больницы. Окно было раскрыто, и, остановившись, он заглянул внутрь палаты. Артём Власьев, егерь, лежал на койке в одних полосатых пижамных штанах, с обнажённым мускулистым и жилистым торсом, босиком. Он сразу же вскочил и, улыбаясь всем своим ясным лицом Емелюшки-дурачка, подошёл к окну – и вдруг палата подверглась нападению каких-то шустрых детей, ещё совсем маленьких. Странными были глаза малышей, одетых в одинаковые, побуревшие от многих стирок пижамы: быстрые зверковые глаза, настороженные, без тени какого-либо человеческого чувства в своих глубинах. Нырря под кровати и выскакивая на проходы меж ними, малыши захлопали дверцами тумбочек – и на эти звуки стали сбегаться в палату больные в пижамах. Тут началась весёлая и азартная война, взрослые действовали увесистыми ватными подушками, метали поверх коек больничные тапочки. Так же внезапно, как было совершено нападение, удивительные дети покинули палату, протиснувшись меж ногами взрослых к выходу. А эти, торжествуя победу, стали проверять тумбочки, каждый определяя размер своих потерь после набега.

Весело скаля белые, здоровые зубы, егерь Власьев разъяснил Глебу, что детишки эти – брошенные матерями сразу же после рождения. Оставленные при больнице, малыши подрастают и живут сами по себе, как стая одичавших щенят. Своих спальных мест у них нет, на довольствии они не состоят, не знают своих имён, неизвестно также, могут ли все разговаривать и понимать человеческую речь. Количество этой детской стаи точно не определено, но полагают, что их – разных возрастов: от двух до пяти лет – душ пятнадцать. Они делают набеги в кухню, лазая туда через подвал, грабят тумбочки у больных, ночуют где-то в казематах прачечной и кочегарки.

Егерь передал Глебу ключи – их было два, они висели на серой пеньковой верёвочке. Жена Власьева сбежала, сам же он заболел почками и попал в больницу – на кордоне было пусто, и гостю надо было одному жить там.

Глеб Тураев проделал на машине весь тот путь, который когда-то прошагал его отец, еле живым вернувшись с войны. Но сын потратил не семнадцать часов, как Степан, чтобы добраться от Гуся Железного до Колина Дома, а всего час, ту же дорогу Николай Николаевич, дед Глеба, на бричке своей проезжал за два с половиною часа.

На поляне не стояло большой, о двух стволах, лирообразной сосны – был широкий пенёк на месте дерева. Как я теперь смогу подойти и прикоснуться ладонью к стволу, недоумевал Глеб Тураев, если дерева уже нет? И всё же я должен совершить то, ради чего явился сюда вслед за отцом своим и за дедом.

Пошире расставив ноги, он утвердил меж ними на мягкой земле приклад ружья, дулом упёрся в шею спереди, над кадыком, и затем, скосив вниз глаза, дотянулся рогулькой веточки до спускового крючка и нажал: зелёная верховина берега плавным изволоком спускалась к реке, туда, где начинались крутые обрывы, но до них было ещё далековато, и воды совсем не видно, так что не догадаешься, если раньше ты здесь не бывал, что за травяным краем пустоши проходит большая, могучая река.

Стоявший в совершенном одиночестве старый добротный дом с мезонином, сумрачный и печальный, напомнил мне, где я нахожусь. Если на широком пустыре без единого дерева стоит одинокий дом без какой-либо ограды, без каких-либо окружающих служб, то это производит странное впечатление...

Со стороны дома двигалась по направлению ко мне женская фигура, несла на руках ребёнка. Когда они подошли поближе, я узнал Серафиму Грачинскую -узнал её молоджавое, красивое лицо и особенную, всегда чем-то для меня беспокойную, недобрую усмешку. Ребёнок спал, обняв ручонкою её за шею и лицом уткнувшись ей в плечо...

Серафима Грачинская... Какое-то было необыкновенное чувство у Глеба Тураева к ней, к санитарке из лечебницы душевнобольных. Мне кажется, любовью это нельзя назвать, хотя, увидев всего один раз, он уже всю остальную жизнь не мог забыть Грачинскую и, вспоминая её, неизменно испытывал тревожное и болезненное волнение, содержащее в себе, как это ни странно, и некую надежду будущего... Хотя о какой надежде могла идти речь? Скорее всего, здесь вновь проявилось тураевское свойство мгновенного наполнения великим чувством к человеку, увиденному в первый раз в жизни. Но в Глебе это роковое начало проявилось не в полном свершении и чистоте – он не успел, правда, полюбить её за время той единственной встречи, но уж и забыть не мог никогда...

Он тогда поехал в городок С., где в бывшем монастыре располагался сумасшедший дом и работал там врачом Александр Сергеевич Марин, племянник Анастасии Мариной, дореволюционной русской певицы, а Настя Тураева, мать Глеба, была её приёмной дочерью. Глебу тогда захотелось хоть что-нибудь узнать о певице, чьи пластинки нашёл он в материнском сундуке после её смерти... Монастырь виднелся на высоком берегу реки, возвышаясь частью стены, четырёхугольной башней и кучкою луковиц полуободранных куполов над тёмным безрадостным строем деревьев. Подходя к монастырю по песчаному берегу, пустому в прохладный день осени, печальному, обрамлённому с одной стороны кустами и деревьями, а с другой – гладкой, застывшей сиреневой водою, Глеб увидел сбегавшую к реке женщину в белом халате. Простоволосая, с ловкими и сильными движениями небольшого тела, туго охваченного халатом, она могла бы пройти перед ним, но, не желая, видимо, перебежать ему дорогу, остановилась, пропуская его.

Он улыбнулся и, благодарно кивнув ей, прошёл мимо; она никак на его улыбку не ответила – и необыкновенно загадочным, странным показалось ему лицо женщины. Впоследствии от доктора Марина он узнал историю жизни этой бывшей сумасшедшей – и уже никогда не встречался с нею...

Также от Александра Сергеевича узнал он впоследствии, что Серафима Грачинская оставила лечебницу и уехала к себе на родину, чтобы допокоить мать на старости.

И всё это было *там*, до выстрела, – или никакого выстрела из охотничьего ружья не было и опять лишь воображению Глеба Тураева я обязан присутствию *здесь* ?

Серафима Грачинская подошла и остановилась напротив. Лицо её, как и в первый день их встречи, было напряжённым, недоступным в своём странном выражении... Ах да, ведь это передо мною женщина, которая могла бы стать той самой, но не стала ею, подумал Глеб Тураев. Я вижу перед собою то, что было возможностью любви, но любовью не стало.

– Ну и зачем вы пришли сюда? – сказала она, склонив голову к свободному плечу – на другом покоилась головка спящего ребёнка.

– Мне почему-то кажется, что я знаю этого малыша, – ответил я, показывая на него. – Откуда он у вас?

Она ничего не ответила, и мы, не сговариваясь, повернулись и неторопливо пошли в сторону реки.

– Как же вы могли, открывшись в Христе, совершить то, что вы совершили? – с упреком молвила она, не глядя на меня.

Она и не могла бы видеть меня, ибо лицо её отгораживала голова спящего ребенка. Что-то в искажённых чертах его лица, повернутого в мою сторону, действительно показалось мне знакомым.

– Но ведь могло случиться, что я погиб бы при дорожной катастрофе, – попытался я оправдаться. – Изменилось бы что-нибудь?

– Ах, это действительно не имеет никакого значения! – был ответ. – Единственное значение имеет то, к чему вы всегда стремились в своих тайных помыслах.

От нашего громкого разговора проснулся ребёнок, поднял голову с её плеча и сразу же упорным взглядом уставился на меня. Отводя глаза от пристального, необычного взгляда мальчика, я произнёс:

– А сам Христос... Не принял ли Он сам рокового решения в Гефсиманском саду? Ведь знал же, какая чаша его ожидает. И не захотел же отклонить её?

– Что ж, исходя из *вашего* понимания, это действительно так, – отвечала Грачинская; заметив, что малыш проснулся, она быстрым движением прильнула щекою к его лицу. – Но представьте себе, что Он сделал то, чего вы тайно, постоянно желали себе. Он сделал и это за вас.

– Да, но меня всё равно ничто не спасло.

И вдруг я узнал малыша, – он забежал однажды в какой-то пустой храм... в Древней Греции. И остановился посреди портика, сквозь колоннаду которого широкими полотнищами падало солнце... Он остановился среди быстрого бега своих игр, нечаянно оказавшись в этом незнакомом доме. И маленькое сердце гулко стучало, и дерзновенные глаза смелого ребёнка стали робкими, вопрошающими...

– В вашей воле было делать или не делать... – Грачинская остановилась и повернулась ко мне – мальчик на её руках тоже повернулся, но, вывернув голову, смотрел уже поверх другого своего плеча. – Вы не любили своей жизни.

– Разумеется, – ответил я, улыбнувшись ребёнку. – Прошло около двух тысяч лет, как Он умер. И Он уже никогда не появится среди людей. Так чего же мне было любить свою жизнь?

– Почему вы полагали, что Он больше не вернётся? – спросила Грачинская.

– Потому что за эти две тысячи лет всё было сделано для того, чтобы Он не вернулся. Мы ни в коем случае не хотели, чтобы Он вернулся.

В этом месте нашего разговора ребёнок, внимательно слушавший мои слова, дёрнулся на руках у женщины, взмахнул ручонкой, закривился весь лицом и вдруг неумело плюнул в мою сторону. Нежная детская слюна стекла по пухлой губе и повисла прозрачной ниткой, Серафима Грачинская мгновенно поймала её пальцем и, смеясь, вытерла рукою мокрый ротик ребёнку. Всмотревшись в искажённую гневом физиономию малыша, я вдруг узнал в нём одного из тех шустрых тараканчиков, которые бегали под кроватями в больничной палате, опустошая чужие тумбочки с продуктами. Грачинская с весёлой улыбкою взглянула на меня и кивнула головою.

– Да, это так. Он из тех детей, – сказала она, стараясь удержать в нежном объятии расхолодившегося мальчишку. – Через две тысячи лет после Христа появились у нас вот они, голубчики, не знающие любви. Люди ничего не могли дать таким, как он.

Мы подошли уже к самому краю старого погоста, который располагался на ровной верховине обрывистого берега. Внизу под глиняными обрывами начиналась и уходила к

далёким излучинам, в обе стороны горизонта, громадная водяная равнина серебристо-сиреневого цвета. Ни одной морщины не было на её плоскости, ни одной лодочки или пенного всплеска – бездонное небо отражалось в этом громадном зеркале вод, одно серебристо-сиреневое затянутое небо. И лишь под кручей берега, на котором мы стояли, внизу водная гладь вздымалась валами струй, длинными мускулами реки, и отображение небес в них слегка было колеблемо. Что-то беспредельно спокойное и властное таилось в глубине тихого плёса и в туманном небе над вечным человеческим покоем.

– Вот и пришли, – сказала мне Серафима Грачинская. – Дальше вам нельзя.

– А вы? – спросил я. – Вам можно?

Не ответив, она подошла к самому краю обрыва; громко смеясь, оторвала от себя руки малыша, который цеплялся за её шею, и с размаху швырнула его в пустоту. С воплем и хохотом ребёнок пролетел вниз и врезался в воду, подняв высокие фонтаны брызг. Затем он показался на секунду, вновь прозвенел звонким хохотом и после исчез – река сомкнулась над ним и вновь разгладилась.

Серафима Грачинская быстро уходила от меня, не оглядываясь, вдоль неровного края обрывистого берега. Звонкий крик малыша раздался уже откуда-то с середины плёса – мгновенно удалившись на очень большое расстояние от берега. Женщина взмахнула рукою, глядя в ту сторону, затем побежала, стремительно удаляясь от меня.

Всё ещё не веря, что мне дальше нельзя, я хотел последовать вслед за бегущей вдоль реки Серафимой Грачинской. Я не знал, куда удаляются женщина и этот смеющийся чудесный ребёнок, мне за ними было нельзя, но всё равно я полагал, надеялся всей душою, что когда-нибудь снова встречу с ними. И я понял, что я вовсе не Глеб Тураев, – уже давно мечется по свету моя душа неприкаянной, ищет своего Преображения.

И, думая об этом, я сделал первый шаг: двое с Еммаусской дороги были уже в Иерусалиме, в тайном доме среди одиннадцати апостолов, и запыленные путники рассказывали им, перебивая друг друга, как Гость был узнан ими в момент преломления хлеба.

– Когда Он благословил и взял хлеб в руки, я заметил, господа, два одинаковых красных пятнышка на тыльных сторонах кистей, – говорил бородатый Клеопа, румяный от волнения. – Присмотрелся я и вижу, что это две не совсем зажившие раны...

– Такие же раны на голених заметила моя рабыня, египтянка из Сиены, когда смывала ему ноги, – дополнил рассказ Клеопы его спутник, высокий, сухощавый Лука с бритыми, по римской моде, плоскими щеками. – А когда Он преломлял хлеб, я смотрел в лицо этому человеку – и вдруг понял, господа, что это лицо существа, какого на земле не бывает. Он же поднял глаза на меня, и взор Его был такой силы, что дыхание моё пресекалось, и стал я как мёртвый, не имеющий ни памяти, ни собственной воли...

Никто из присутствовавших не мог потом сказать, как Он возник меж ними, никто ничего не заметил, а двери дома были крепко заперты. По завершении рассказа Луки выступил Он вперёд и, одиноко стоя посреди комнаты, где все возлежали или сидели на разостланных войлоках, с приветливой улыбкою на лице молвил:

– Мир вам.

Кто-то привскочил с места, другой отшатнулся назад, а кто-то пополз вдоль стены, пробираясь к выходу из дома, и тогда Он сказал, обращаясь ко всем:

– Вижу, приняли вы меня за духа. Но чего боитесь? Что смущаетесь? И почто мысли такие входят в ваши сердца? Я сам пришёл к вам, а не дух мой. Вот руки мои и ноги, посмотрите! – И Он протянул перед собою ладони, посреди которых были уже затянувшиеся чистые раны; затем прихватил рукою и откинул полу длинного платья – и все увидели Его раны над стопами ног, обутых в новые сандалии. – Потрогайте Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как то видите у Меня.

– Господи! Господи наш! – вскрикнул первым рыбак и кинулся Ему в ноги.

И тут все, сколько было в доме, вскричали и заплакали от радости, среди них был и я в образе одноглазого лохматого раба, слуги, который снял сандалии с ног Его, когда Гостя

усадили наконец на двойной мягкий войлок. И тут, обнимая кого-то, совсем юного, длинноволосого, который громко смеялся и плакал и дрожал всем телом, Он превесело воскликнул:

– Дети мои, _найдётся ли в этом доме какая-нибудь пища для Меня?_ Проголодался Господь ваш.

И я опрометью кинулся в кухню, в спешке зацепив большим пальцем ноги за каменный порог, и сорвал ноготь, и не заметил этого – я принёс Ему то, что ещё оставалось из еды: хорошую головную часть печёного карпа, и с полки схватил блюдо с сотами диких пчёл, которые я накануне вырубил из дупла засохшего дерева.

И Он взял всё это и ел пред нами.

...А потом я был среди тех, кто провожал Его до Вифании, – остановился раньше других, отстал и смотрел издали, как Он, подняв руки, благословляет учеников. А потом Он, продолжая оставаться лицом в их сторону, с простёртыми вверх руками, стал отдаляться и медленно возноситься в небо. И вскоре незаметным образом исчез с глаз. И тогда я подошёл к ученикам Его, наклонился к плачущему Луке, который оказался передо мною, и шепнул ему такие слова. Гость улетел от нас безвозвратно, сказал я Луке, но в моём сердце, пока оно есть, память о Нём останется навсегда.

И, сказав это, я повернулся спиной к апостолам и пошёл назад: была предо мною огромная сосна с двумя изогнутыми рогами, словно исполинская лира. И под нею, у самого комля, едва виднелся, затянутый плетением трав, сечённый дождями и беленный солнцем многих лет голубой переплёт старинной книги. Когда-то, будучи в образе молодого человека, я читал её, сидя под этим деревом, но тут подошёл ко мне мой ветхий отец, чем-то озабоченный, и я отложил книгу на чистую траву.

С тех пор прошли годы, книга обрастала мхами и травами, их шуршащие семена осыпали её, ветер переворачивал страницы, ничего не понимая, – и вот я подошёл и поднял книгу из травы. Бумага её слиплась и покоробилась, а в том месте, где книга была раскрыта, на выбеленной солнцем странице оставалось заметным лишь одно слово: "Еммаус".

Прошло две тысячи лет, как побывал Гость у меня, а нынче я держу в руках книгу о Нём, потерявшую всякий облик свой. И с грустью в душе вспоминаю миг хлебопреломления, когда я узрел Звёздного Гостя в его истинном свете. И за все эти две тысячи лет, произрастая на земле Лесом и Человечеством, я ни разу не смог полюбить другое дерево или другого человека так, как учил любить небесный Гость, Сын Человеческий.

Осталось сто или, может быть, сто двенадцать лет до того времени, когда Гость снова посетит мою маленькую планету: увидит ли Он новый мир на Земле, который родится без тех свойств, что погубили прежний? В новом мире я сначала умру от ненависти, которая исходит от моего одиночества, а затем воскресну от любви, которая не сможет умереть вместе со мной. И на земле вырастет новый Лес, благоухающий без гнева и зла, и его Отцом будет тот маленький мальчик, которого Серафима Грачинская бросила с обрыва в реку, а он только засмеялся громко и стремительно поплыл вперёд.